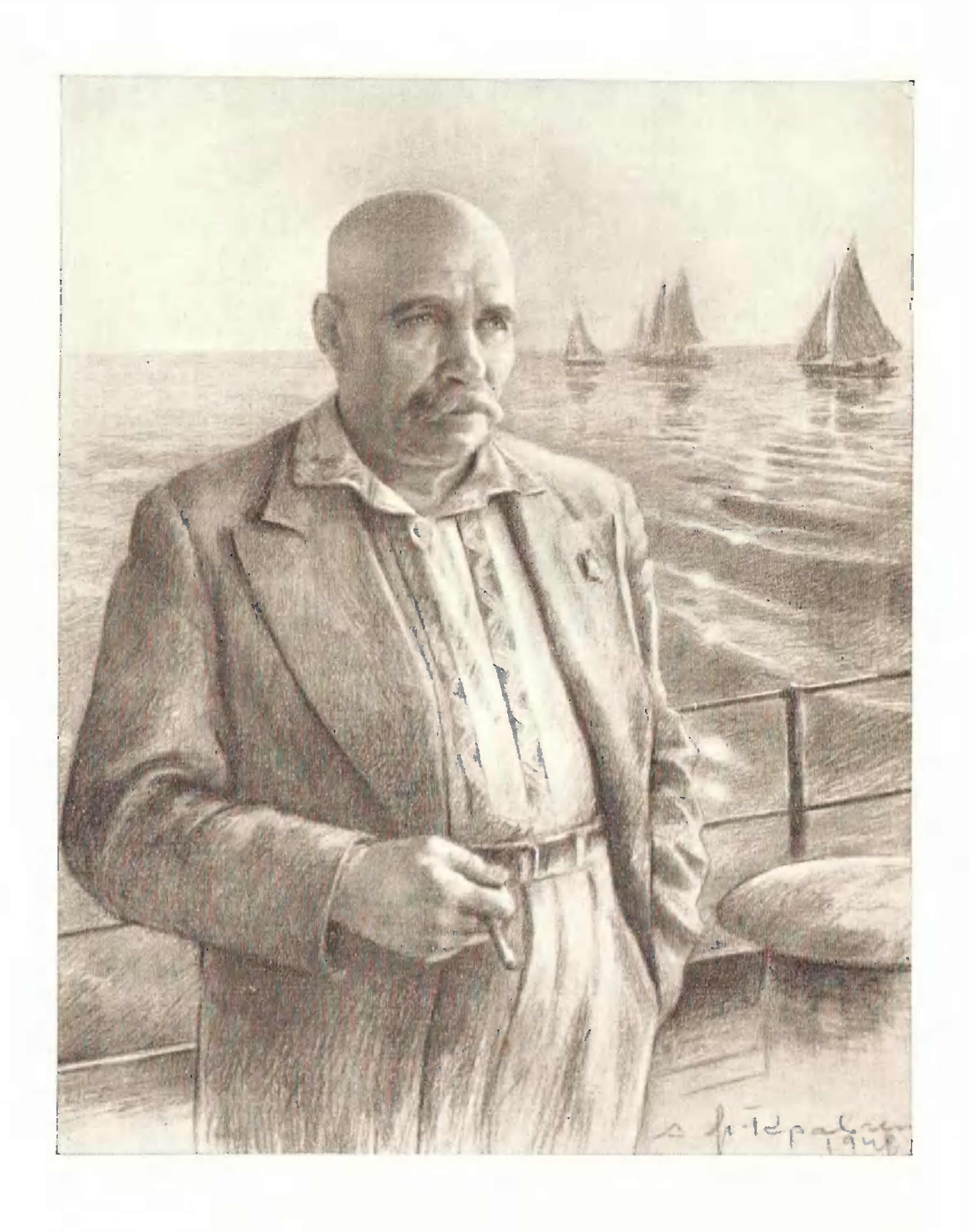
А. Новиков-Прибой



А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1963

Портрет Новикова-Прибоя
работы художника
А. Яр-Кравченко.

А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Алексей Силыч Новиков-Прибой обрел счастливую судьбу писателя: он нашел своего читателя, и читатель этот уже многие годы верен ему. Безыскусственность нередко родная сестра самого высокого мастерства, простота и доходчивость являются ближайшими спутниками искусства. Новикову-Прибою привелось немало увидеть и испытать на своем веку, и он рассказал об этом, не измышляя, а с сердечной и суровой простотой. Кстати, жизнь писателя называется большой не по признаку ее длительности, а по тому признанию, которое получает писатель у своего народа.

Много лет назад, разбирая одну морскую библиотеку, я тщетно старался найти книжечки безвестного автора, скрывшего свое имя под псевдонимом «Матрос А. Затертый»; книжечки эти, написанные о цусимском бое, носили названия: «За чужие грехи» и «Безумцы и бесплодные жертвы».

Толстые тома и огромные атласы с картами и гравюрами, раскрашенными иногда от руки, повествовали о смелых плаваниях и открытиях наших прославленных моряков Крузенштерна или Коцебу, Врангеля или Лисянского, Хвостова и Давыдова или Головнина... Это была история жизни людей моря, отважных мореплавателей со всеми их судьбами. О маленьких книжечках, которые я искал, вряд ли знал какой-либо историк русского морского дела: это были первые, тотчас же по выходе конфискованные книжки простого матроса, баталера Алексея Новикова, которому суждено было стать известным русским писателем. Книжки эти заключали в себе не только страницы о цусимской катастрофе, но и удивительную судьбу их автора.

Из самых глубин народа, жадный к знанию, вышел простой крестьянский сын, стал в русском военном флоте матросом, глубоко осознал бесправие своего народа и всю подлую несправедливость российского самодержавия, взял в неопытную руку перо, написал о пережитом и о своем отношении к пережитому, как мог, не помышляя, конечно, что станет когда-нибудь писателем и именно в своей освобожденной стране получит известность и признание.

Книжечек «матроса А. Затертого» я так и не нашел, разбирая морскую библиотеку, но я нашел впоследствии самого автора, подружился с ним и полюбил его, и теперь, когда пишу эти строки о нем, я вижу его не отдаленным, а только приближенным, таким, каким его знал, очень своеобычным и глубоко располагающим к себе своими душевными качествами.

Основная сила книг Новикова-Прибоя в их народности. Народность — это не только доступность, но еще и то, что созвучно множеству людей с их трудом, заботами и делами и что поднимает их сознание и обращает к высоким целям улучшения жизни. Новиков-Прибой писал главным образом о прошлом: его основная книга, имевшая всенародный успех,— это «Цусима». Достаточно было бы и одной этой книги, чтобы Новиков-Прибой остался в литературе: книга эта не только своего рода летопись беспримерной катастрофы русского флота, но как бы и летопись тех первых подземных ударов, которые невосстановимо потрясли основы русского самодержавия. В. И. Ленин по поводу цусимской катастрофы писал: «Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия».

Конечно, Новиков-Прибой не помышлял о таких масштабах своей книги, масштабы эти определило время и законы движения литературы. Новиков-Прибой написал не одну эту книгу, но только после «Цусимы» к нему пришло широкое признание. После «Цусимы» читатели вернулись к прежним его книгам: «Морские рассказы», «Подводники» или «Женщина в море».

Народность Новикова-Прибоя была органической. Он никогда не подгонял себя к людям, а так естественно входил в мир других людей, что сразу возникали и дружество и задушевность. Следует, однако, сказать, что при всем своем расположении к людям Алексей Силыч был весьма требователен к нравственному облику других, и если что-нибудь не удовлетворяло его в человеке, то в лучшем случае он становился молчалив и уходил в себя.

Он был удивительно легок на подъем и удивительно жаден к любому движению жизни, восторжен и впечатлителен в высшей степени, причем по-детски впечатлителен, несмотря на суровую школу многих испытаний, через которые пришлось ему пройти. Школа эта была не только суровой, но и потребовала формирования цельного и, если можно так выразиться, огнеупорного характера. Дело не только в той матросской муштре, которую Новиков-Прибой познал: о жестокости таких адмиралов, как Чухнин, или Дубасов, или Скрыдлов, написаны целые книги. Суровую школу Новиков-Прибой прошел и на первых порах своей литературной работы: писательский труд требует и навыков и большой всесторонней культуры, и здесь Новикову-Прибою пришлось многое наверстывать.

Я познакомился с ним в ту пору, когда известность еще не зашла к нему в дом, когда не только книги, но и отдельные рассказы приходилось пристраивать, нередко с трудом и с ущербом для самолюбия. Этот путь испытаний Алексей Силыч, как мне кажется, прошел мужественно, не приспособляясь и не разбрасываясь. Его темой было море. Мы знаем в нашей литературе не одного писателя-мариниста, начиная с Николая Бестужева, и собирательным в этом смысле может быть К. Станюкович. Но море Новикова-Прибоя было несколько иным: его море было связано с ростом самосознания некогда бесправного матроса русского военного флота, матроса, знавшего и линьки и зуботычины, показавшего образец беспримерного героизма в цусимскую катастрофу и поднявшего затем знамя свободы на восставшем броненосце «Потемкин».

Море в книгах Новикова-Прибоя, даже в его «Цусиме», служит лишь фоном для действия людей; можно сказать, что слово «прибой», ставшее приставкой к его литературной фамилии, означало не только стихию моря, или, вернее, не столько стихию моря, сколько тот революционный прибой, который сформировал из простого матроса Алексея Новикова советского писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя.

Людей Новиков-Прибой по своему опыту да и по своему душевному складу понимал добро и расположенно к ним. Признаком таланта писателя, помимо непосредственной профессии, является и его умение привлекать к себе людей и обогащать их особенностями личных своих качеств. Те, кто знал Алексея Силыча, уже немало рассказали о том, каким он был верным другом и человеком слова и твердых правил. Он искал в людях искренность и правдивость, ибо сам был искренен и правдив, за это его и любили. Где бы ни появлялся этот коренастый человек, с большим

лбом, серыми добрыми глазами, сивыми усами старого моряка, всюду ему радовались и душевно теплели. Он был, как говорится в просторечье, легкий человек: в широком смысле легкость означает отзывчивость, общительность и открытый характер. С легкостью Алексей Силыч собирался в путь, с легкостью входил в круг незнакомых ему дотоле людей и почти не тратил усилий, чтобы расположить их к себе; но он становился угрюмым и твердым, если встречался с несправедливостью: для восстановления правды он не жалел сил.

Мне привелось как-то совершить с ним поездку из столицы Калмыкской Автономной Республики города Элиста по астраханским степям. По дороге мы останавливались в редких калмыцких аулах и даже ночевали в них. Новиков-Прибой сумел сразу найти общий язык со старыми чабанами, хотя некоторые из них очень плохо понимали по-русски. Он сел в их круг, будто всегда жил среди них, мгновенно уловил все особенности их быта, ел и пил с ними так, словно прожил не один год здесь, и пел русские песни с такой задушевностью, что старики чабаны располагались к нему и настойчиво приглашали пожить у них подольше. На Горьковском автозаводе Новиков-Прибой сумел влюбить в себя рабочих, а уж про влюбленных в него охотников или рыбаков и говорить нечего: многие из тех, кто знал его, и поныне вспоминают о нем с теплотой и нежностью, хотя его давно уже нет на свете.

Но особенно его любили и ценили те, кто вместе с ним был крещен в соленой купели «Цусимы». Они приходили к нему, эти представители редеющего, а ныне почти вовсе сошедшего племени, дорогие ему по братству цусимцы, и для Алексея Силыча, казалось, не было бо̀льшей радости, если обнаруживался еще какой-нибудь матрос или кочегар с того или другого корабля, погибшего или чудом уцелевшего в цусимской катастрофе.

Образованнейший морской историк и географ Николай Николаевич Зубов, ныне покойный, сказал мне как-то: «У Алексея Силыча я всегда вспоминаю свою молодость... в его комнате, как в кают-компании, и застольные речи те же, и дружба та же, удивительно, как он умеет спаять людей».

Обращаясь к книгам Новикова-Прибоя, всегда как бы слышишь живой его голос. Случается, что автор поддается соблазну позабавить невзыскательного читателя прибауткой или матросским словцом, иногда без строгой меры, и со стороны это может показаться лишним. Однако это в строе речи Новикова-Прибоя, его нужно принять именно таким,

писательская его речь безыскусственна, но он никогда и не искал ее усложнения. Он писал, как говорил, образно, нередко круто, нередко смешливо, но все же всегда думая о читателе. Он понимал, что круг его читателей, особенно после выхода «Цусимы», не ограничивается любезными его сердцу моряками. Читатель был строгий, и требования у него были большие, мне кажется, что именно в силу этого ощущения Алексею Силычу в последние годы его жизни становилось все труднее и труднее работать.

Писателя нередко долгие годы питает его автобиография, познанное и узнанное им самим. Но приходит пора, когда мало-помалу иссякает этот источник, и на смену ему приходит воображение, на то он и сочинитель, по старому определению, чтобы сочинять; да и книги его называются сочинениями. Этот переход всегда нелегок и почти не обходится без издержек.

Здесь будет к месту сказать о трудности его работы над романом «Капитан 1-го ранга». Он бывал и на кораблях, и неутомимо вел беседы с моряками, и жадно старался понять и уловить то новое, что было в людях флота, иначе в близких его сердцу моряках, но новой формации и нового самосознания. Понятие «советский моряк» означает не только принадлежность к советскому флоту; оно означает нового человека, со всеми особенностями его внутренних целей и политического мышления.

В старом флоте Новиков-Прибой был участником, в новом флоте он был лишь наблюдателем. Автобиография, то есть познанное им самим, не могла служить источником, надо было сочинять по всем правилам канонического закона о «сочинительстве»: ведь в старину авторы надписывали свои книги именно «от сочинителя». Этот переход от автобиографического материала к сочинительству был для Новикова-Прибоя труден: требовались иные приемы и в описании характеров и в композиции, и в пору, когда он работал над этим романом, я все чаще и чаще видел Новикова-Прибоя неудовлетворенным ни собой, ни своей работой, ни ее результатами. Книги «бывалых» людей всегда строго ограничены событиями их биографии, нередко увлекательной и примечательной, но все же это только история одной жизни, а писателю надлежит описать сотни жизней, и у каждого из его героев должна быть своя биография.

Новиков-Прибой понимал это, сознавая вместе с тем масштабы предстоящих ему трудностей. Дело критиков — разобраться в удачах или неудачах писателя, я говорю об этом романе только применительно к тем трудностям, какие

испытывал автор, работая над ним, и о которых он много раз говорил мне при встречах.

Мне кажется, что он сознательно искал иногда помехи, которые могли служить для него внутренним оправданием, почему он не может планомерно работать. Помехи для писателя всегда найдутся, стоит только поискать их или даже лишь подумать о них.

Мешала Новикову-Прибою работать и его привычка к странствиям, к перемене мест, любовь к ночным привалам на охоте, потребность встретить восход солнца где-нибудь в лесу, бродить с ружьем или даже без ружья, но двигаться; и если нельзя плыть по морю, то двигаться по суше, слушать голоса ветра и вдыхать запахи земли. Он любил садоводство, был своим человеком у мичуринцев. На дачке под Москвой высаживал он редкостные породы деревьев и ягодные кустарники, и не раз можно было увидеть его нагруженным черенками, с карманами, оттопыренными от цветочных луковиц или клубней. Так же восхищенно, как и о людях, говорил он о плодовых деревьях и так же недоумевал и огорчался, если деревья по той или иной причине не плодоносили: он не прощал им этого, как не прощал неправды человеку.

Однажды на охоте Алексей Силыч, сговорившись с другим неутомимым охотником, писателем Александром Степановичем Яковлевым, решил подзагонять меня, городского человека. Они оба почти целый день таскали меня с собой по болотам и буеракам, нетерпеливо ожидая, когда я взмолюсь наконец; но я не взмолился, и, уже подходя к главному дому военно-охотничьего хозяйства в Завидове, Алексей Силыч достал вдруг из кармана складной нож и протянул мне.

— На, держи,— сказал он,— за выдержку. Золинген.

В его устах охотника и ходока по земле это было высшей похвалой: интеллигентской расхлябанности он не любил, даже считал ее корнем всяческих зол. Я никогда не был охотником, а те писатели, которые охотились с Алексеем Силычем, особенно Павел Низовой или Александр Перегудов, в маленьком доме которого в Дулеве трогательно чтят и поныне память о Новикове-Прибое,— писатели эти рассказали, каким неутомимым охотником был он, и каким занимательным человеком он был, и каким верным хранителем душевной дружбы проявлял себя на протяжении многих лет. Книга А. В. Перегудова «А. С. Новиков-Прибой» — благодарная память о человеке, которого Перегудов сердечно любил и который, в свою очередь, так же сердечно любил Перегудова.

Алексей Силыч Новиков-Прибой примером всей своей жизни показал, что высшая гармония — это та, когда человек слит со своим делом, а в данном случае — когда личная жизнь писателя неотделима от того, что он написал. Мы знаем немало примеров расхождения на этот счет, но нас всегда пленяет слитность личности писателя с его книгами. Новиков-Прибой весь в своих книгах, он говорит в них тем голосом, каким говорил в жизни. Голос этот был искренний и в отношении словесной инструментовки не притязательный, и за это мы и любим книги Новикова-Прибоя, хотя многие из нас пишут совсем иначе.

Историкам литературы дано установить и то в перспективе времени, чтó у писателя осталось и чтò ушло, но можно заранее сказать, что «Цусима» Новикова-Прибоя не вызывает в этом отношении никаких сомнений. Существуют книги монументальные по своему голосу и по тому, какую роль сыграли они в жизни общества. «Цусима» относится к числу этих книг. Мы слышим в этой книге не только горький протест одного из тех, кто был свидетелем гибели мужественных людей с их честью и подвигом; мы слышим в ней не только гневное осуждение того строя, который послал людей на гибель. В книге Новикова-Прибоя звучит прежде всего восхищение перед величием духа человека, который в огромном большинстве случаев вышел из тех же народных глубин, из каких вышел и автор книги. Это уже не «матрос Затертый» говорит о безумцах и бесплодных жертвах, а писатель нашей эпохи с ее правдой нового устроения жизни на земле.

Особенность советской литературы состоит именно в том, что писатель даже исторические события прошлого видит глазами современника. Написать «Петра I» так, как написал Алексей Толстой, мог только советский писатель; равным образом написать «Цусиму» так, как написал ее Новиков-Прибой, мог только советский писатель с его глубоким пониманием времени и исторических соотношений. Следует вспомнить, что с 1907 по 1913 год Новиков-Прибой скитался, как политический эмигрант, по Франции, Англии, Испании, Италии и Северной Африке, плавая матросом на коммерческих судах. Но, говоря об этом, он напоминает, что именно в Балтийском флоте, где отбывал воинскую повинность, началось его политическое пробуждение и что тут он впервые познакомился с тюрьмой за распространение среди моряков нелегальной литературы. Его «Морские рассказы», подготовленные к выпуску в 1914 году, оказались нецензурными по своему политическому характеру, и лишь после Октябрьской революции книга эта увидела свет.

Мне легко писать об Алексее Силыче Новикове-Прибое. Мы жили с ним ряд лет в одном доме, дружили и встречались, и в поздний вечерний час Алексей Силыч нередко перебегал двор ко мне или я перебегал двор к нему, и в ночной беседе мы глубоко узнавали друг друга. Это был справедливый человек, хорошо из нелегкого опыта своей жизни понимавший незадачи или горести другого, умевший разделять их, умевший и радоваться чужой удаче. Успех и известность пришли к нему поздно. До этого все было не очень устроено в его жизни, и к широкой дороге литературы он только пробирался, преодолевая не одно препятствие.

— А помнишь, как мы с Яковлевым чуть не загнали тебя на охоте? — спросил он меня раз очень серьезно.— Не из озорства, честное слово. Писателю нужны испытания и трудности. Я вот этакой же дорожкой, по болотам да косогорам, пробирался к литературе.

Ему наивно казалось, что, не дав себя загнать на охоте, я тем самым показал и писательскую выносливость. Но он считал себя не только писателем-мореплавателем, но и писателем-ходоком, и я не стал его ни в чем разуверять. Я только спросил его:

— Так в твоих глазах после этой охоты я вырос?

Он подумал и ответил:

— Конечно.

Сам он был крепок, неутомим, складно скроен, шагал кряжисто. Всюду, куда он ни приходил, его встречали дружески, и редакционный день для многих становился веселее и легче, когда в ту или другую редакцию заходил Новиков-Прибой. Я не знаю, как и когда к нему подкралась болезнь; знаю только, что он упрямо боролся с ней, не хотел ее признавать, временами даже побеждал ее, но она была хитра и коварна, а он был простодушен.

В первые же дни войны я уехал на фронт и ничего не знал об Алексее Силыче, где он и что с ним. Вернувшись на короткое время в Москву, я встретил его во дворе нашего общего с ним дома: он помрачнел, был невесел, и не только потому, что шла война, но и потому, что болезнь уже явно подтачивала его. Ехать на фронт он не мог, писал только статьи во славу русских военных моряков, очередные подвиги которых предстояло описывать уже не ему, и он горько понимал это.

А потом я снова уехал на фронт, и лишь много позднее, в Москве, узнал, что Алексей Силыч умер, и понял, что перевернулась одна из страниц и личной моей жизни.

Литературе дана необыкновенная власть над человеческим сознанием. Можно сказать, что целые эпохи и, во всяком случае, огромные события в жизни общества получили свое исключительное выражение благодаря литературе. Мы не можем представить себе Отечественной войны 1812 года без «Войны и мира» Льва Толстого, своему историческому звучанию дело Дрейфуса в огромной степени обязано Золя. Говоря о партизанской войне на Дальнем Востоке, мы вспоминаем в первую очередь «Разгром» А. Фадеева, а представление о гражданской войне было бы неполным без «Железного потока» А. Серафимовича.

«Цусиме» Новикова-Прибоя дано играть такую же роль, и величайшую трагедию русского военного флота именно этот роман приблизил не только в исторической перспективе, но и с критическим осмыслением всего того, что тогда произошло.

После цусимской катастрофы ее участник капитан 1-го ранга Вл. Семенов написал получившую в свое время широкую известность трилогию под общим названием «Расплата». Вторая и третья книги этой трилогии носят подзаголовки «Бой при Цусиме» и «Цена крови».

Семенов хотел быть документальным и в пределах того, что видел и пережил сам, восстановить картину цусимского боя. Он находился вместе с командующим адмиралом Рожественским на флагманском корабле, и вся картина морского сражения действительно прошла перед ним; но по своему воспитанию, принадлежности к привилегированному кругу высшего офицерства да и политическому мышлению он не смог ничего увидеть в исторической перспективе. Кроме того, все его усилия были направлены к тому, чтобы оправдать действия Рожественского и представить его героем. Семенов оказался в числе тех, кого судили на пресловутом суде над адмиралом Рожественским, когда преступное и бездарное царское правительство выискивало виновников среди морских офицеров, чтобы отвести от себя народный гнев. Но судьи понимали: стоит только глубже копнуть — и докопаются до таких гнилых корней бюрократического аппарата, что лучше поскорее оправдать Рожественского. В своей статье «Падение Порт-Артура» В. И. Ленин писал: «Бюрократия гражданская и военная оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепостного права».

В. Семенов, несомненно, хорошо знал офицерский состав военных моряков. Но был и другой класс в тихоокеанской эскадре — класс людей бесправных и униженных, тысячеликая матросская его громада, безымен-

ные герои, оставшиеся лишь в списках флотских экипажей.

Французский военный комментатор капитан 1-го ранга маркиз де Баленкур писал в комментарии к «Бою при Цусиме» Семенова: «Пройдет менее столетия, и учителя истории будут рассказывать нашим внукам, что 28(15) мая 1905 года русские были разбиты наголову при Цусиме... Разбиты наголову — бесспорно, но позорно — нет, никогда!

Разве можно считать позорной гибель двадцати двух судов с поднятым флагом и потерю шести тысяч человек экипажа?

Ах, сколько беззаветной отваги было в этих русских!..»

Новиков-Прибой не был в ту пору писателем, он был простым матросом Алексеем Новиковым. Несомненно, немало одаренных людей и народных талантов было среди матросов двух эскадр, соединившихся в Тихом океане для общей гибели. Но если глубоко разобраться в истории, то их гибель, несмотря на всю ее трагичность, явилась поступательной силой для русской революции. Именно об этом написал впоследствии свою книгу «Цусима» Новиков-Прибой. Он писал ее в те годы, когда правда совершившейся социалистической революции расчистила исторический горизонт и все то лучшее, что отдало свои силы или даже жизнь во имя этой правды, было поднято на поверхность в благодарной памяти потомков, засияло совершенным подвигом и своей любовью и верой в родной народ.

Книга эта напомнила людям старшего поколения об одном из самых сильных потрясений их юности, молодых она учила урокам прошлого. Сила этой книги в ее доходчивости. Искренность чувства, с какой она написана, глубоко расположила читателей к автору. Когда «Цусима» Новикова-Прибоя получила уже широкую известность, я как-то шутя спросил у него, не кружится ли у него голова от этой известности. Он несколько наставительно сказал: «Это успех тех, о ком я написал... а я только радуюсь, что мне удалось напомнить о них». Он бережно хранил в своей памяти облик людей Цусимы и трогательно встречал тех ее последних участников, которые, прочитав его книгу, появлялись у него.

Успех книги, однако, налагал на него новые обязательства, и он хорошо понимал, что признание всегда делает писателя должником перед своими читателями. Это ощущение никогда не покидало его в дальнейшем. Его рабочий стол все неотступнее напоминал ему о долге писателя.

Проезжая как-то через Тулу, я остановился у памятника командиру миноносца «Варяг» В. Ф. Рудневу. Памятник этот поставили его земляки. Я вспомнил, как тревожно и побудительно звучала для детства моего поколения «Песня о Варяге», которую пели нередко вместе с «Варшавянкой» и похоронным маршем «Вы жертвою пали». Но, стоя возле памятника Рудневу, я вспомнил и один ленинградский день, связанный с Новиковым-Прибоем.

Мне привелось однажды принять участие в учебном походе кораблей Балтийского флота. Я хорошо сдружился в этом плавании с командирами линейного корабля покойным Константином Ивановичем Самойловым и здравствующим ныне контр-адмиралом Николаем Брониславовичем Павловичем, писателем.

Новиков-Прибой всегда ревниво относился к знакомствам с военными моряками. Узнав, что я иду к своим друзьям, он несколько стеснительно попросил меня созвониться с ними и узнать, не будут ли они возражать, если он придет вместе со мной. Новикову-Прибою были рады, и мы поехали с ним на Петроградскую сторону. Был осенний вечер, когда в Ленинграде, единственном в мире по своей особой тональности городе, молочновато голубел принесенный с моря туман, в котором слоисто лучились нимбы уже зажженных фонарей. Широкое Марсово поле торжественно и печально лежало перед нами со своими братскими могилами, а за ним двойным рядом, желто-пушистые в тумане, словно венчики, уходили по обеим сторонам Троицкого моста фонари.

— Остановитесь,— сказал Новиков-Прибой вдруг шоферу такси,— подождите нас минуту.

Он взял меня за руку, повел куда-то в сторону, и я понял, что он направляется к памятнику морякам миноносца «Стерегущий». Памятник этот изображает моряков в тот момент, когда они открывают кингстоны, чтобы затопить свое судно и погибнуть вместе с ним.

Алексей Силыч никогда не был подвержен лирическим слабостям, да и романтику он воспринимал материально: он любил не столько красоты природы, сколько ее дары. Но сейчас, стоя у памятника морякам «Стерегущего», он словно заново переживал молодость, и в глубинах его памяти возникли люди, с которыми он начинал свою жизнь. Людей этих давно уже не существовало, никакие памятники не заменят живого человека, и когда он наконец отвернулся от памятника, в его глазах были скупые слезинки человека, который приучил себя никогда не плакать.

— А теперь идем,— сказал он.— Говорить ничего не буду.

Но он все же не смог ничего не сказать.

— Открыть кингстоны,— усмехнулся он, когда мы уже снова ехали дальше,— легко сказать это... да изобразить тоже нетрудно. Хлынула вода в клапан — и всё. А что̀ люди в это время думали и что̀ пережили, и что̀ семьи их передумали и пережили!..

Казалось, он испытывал законное удовлетворение писателя, что сумел хоть отчасти передать это, что он стал своего рода летописцем великих подвигов простых людей своего народа.

Книгам Новикова-Прибоя суждены еще многие плавания. Не один молодой человек нашего времени, прочитав их, задумается о неправде прошлого мира и, сопоставляя, еще глубже оценит ту жизнь, которая сделала тамбовского крестьянина-земледельца, бесправного матроса российского военного флота, известным писателем нашей страны.

Алексей Силыч Новиков-Прибой очень чисто прожил свою писательскую жизнь, чисто и правильно. Иной жизни, по своей совести и своему пониманию задач писателя, он и не мог прожить.

Вл. Лидин

Рассказы

ПО-ТЕМНОМУ

I

Грязный и жалкий трактирчик, какие бывают только в бедных кварталах. Почерневший потолок. Обои на стенах оборваны, висят клочками. Кое-где виднеются картины лубочного производства. В одном углу скучно тикают большие старые часы со сломанными стрелками. За несколькими столиками сидят извозчики, мелкие торговцы и рабочие. Отдуваясь, звучно прихлебывают из блюдечек горячий чай, пьют водку и жадно уничтожают дрянную закуску. За буфетом, облокотившись на руки, дремлет сиделец, толстый, лысый, в полосатой ситцевой рубахе и засаленном пиджаке.

Духота. Пахнет поджаренным луком, гнилой пищей и водкой. Над головами клубится облако табачного дыма. Говорят вяло, неохотно, избитыми словами. Изредка кто-нибудь крепко выругается, и то не от сердца, а так себе — по привычке. Ни мысли, ни желаний, точно все уже давно передумано, рассказано и тысячу раз решено. И жизнь кажется такой же бессмысленной, как ход тех часов, у которых сломаны стрелки.

Скучища невыносимая.

Я приютился за угловым столиком, в стороне от других. Передо мною стоит наполовину опорожненная бутылка с пивом. Часа уже два сижу я так, занятый одной лишь думой: куда бы скрыться из этого города...

Оставаться здесь больше нельзя. Товарищи аресто-

ваны. Я тоже хорошо известен полиции, и она разыскивает меня повсюду. Ускользая от нее, я уже несколько недель бегаю по городу с одного конца его на другой, как затравленный зверь. Паспорт мой провален, достать другой нет возможности. У меня положительно нет никакого крова. Треплюсь между небом и землею. Правда, я имею несколько давнишних знакомых, у них можно было некоторое время провести безопасно, но при моем появлении они начинают трепетать за свое благополучие. Некоторые даже не узнают меня. Все это заставляет искать по ночам убежища в каком-нибудь строящемся здании или под мостом; иногда провожу ночи, скитаясь по улицам. Чувствую усталость. Почти в каждом человеке вижу шпиона.

Необходимо куда-нибудь уехать, хорошо отдохнуть, осмотреться.

Но... в кармане у меня всего шесть рублей...

А главное — меня страшит мысль, что и следующую ночь мне придется скитаться по улицам, дрожа от холода, пугливо озираясь и страшась своей собственной тени. Да и деньгам моим скоро конец...

Что тогда делать?..

Неприятное чувство подавленности и беспомощности овладевает мною. Так жить нельзя; это все равно, что болтаться на гнилой веревке над зияющей пропастью, ежеминутно рискуя сорваться и разбиться вдребезги.

Мрачные думы мои были прерваны двумя лицами, только что вошедшими в трактир. Они сели за столик, рядом с моим, заказав сороковку водки и яичницу с колбасой.

Мое праздное внимание останавливается на них.

Один — здоровенный мужчина лет двадцати восьми. Роста выше среднего. Кряжистый, мускулистый. Голова большая, круглая, крепко сидящая на короткой шее. Русые щетинистые волосы всклокочены. На широком, типично русском лице с небрежно спутанными усами запечатлен тяжелый труд. Но серые глаза смотрят весело и самоуверенно. Голос твердый и сочный, точно пропитанный морскою влагою.

Товарищ его, наоборот, маленький, тощий человечек, в каждом движении его чувствуется забитость.

Первый наполняет стаканы водкой и, добродушно улыбаясь, треплет по плечу товарища:

— Ну, брат Гришаток, пропустим. Последний разок русскую пьем. Через неделю позабавимся английской виской.

— За счастливое плавание,— приветствует Гришаток.

Из дальнейших разговоров их я узнал, что оба — матросы и плавают кочегарами на коммерческом пароходе. Слушаю дальше.

Боже мой, они на следующий день уходят в Лондон!

А что если попросить их, чтобы увезли меня в Англию.

На минуту отвожу взгляд в сторону, стараюсь не выдать своего волнения.

В России для меня, разбитого и измученного, нет больше дела. Если только эти ребята пособят мне, уеду за границу. Посмотрю, как другие люди живут на свете, отдохну...

В воображении, как в туманной дали, уже рисуется новая жизнь, еще неизведанная, манящая, полная разнообразия.

Как с ними заговорить? С чего начать?

«Смотри, не промахнись, а то пропадешь!» — всплыла предостерегающая мысль.

«О, нет! Я сам моряк и знаю, как со своими разговаривать: умирай, а шути».

— С корабля, что ли, братцы?

— Да,— отвечает мне здоровенный, как после узнал, Трофимов.

— Надо полагать, роль духов исполняете в преисподней?

— Верно сказано. А вы кто же будете?

— Существо, потерпевшее аварию от норд-остской бури. Потерял руль и компасы. Ношусь по волнам житейского моря, куда гонит ветер. Случайно забрел в сие пристанище. Отдохну немного и опять лавировать начну между подводными камнями, пока не потерплю полного крушения...

— Тоже, значит, моряк? — перебивая меня, спрашивает Гришаток.

— Да еще какой! Целых семь лет пробыл во флоте. Весь просолел. Сто лет пролежу в земле — не сгнию.

Трофимов пытливо оглядывает меня. Затем, точно следователь, начинает расспрашивать, где плавал, какие обязанности исполнял. Отвечая на его расспросы, я пускаю в ход морскую терминологию.

— Вот теперь вижу, что и ты из смоленых,— говорит наконец он, широко улыбаясь.— И поэтому пожалуйте к нашему столу: вместе разделим трапезу...

Выпиваем по стакану водки.

Вижу, что ребята ко мне расположены. Недолго думая, начинаю расспрашивать их, можно ли им перевозить пассажиров.

Трофимов сразу догадался, к чему веду я этот разговор.

— Вот что, брат, как тебя звать-то? — спрашивает он, понижая голос и вглядываясь в меня.

— Когда-то величали Дмитричем.

— Ну, так слушай, Митрич: ты это верно сказал, что тебя ожидает крушение?

— Конечно.

Он осторожно озирается кругом и спрашивает меня уже шепотом:

— Скажи, слышь, откровенно: дело серьезное?

— Вздернут,— кратко отвечаю я.

Лицо Трофимова выдает волнение. Руки беспокойно ерзают по столу. Он смотрит уже сочувственно. Гришаток бледнеет.

— Хочешь поехать по-темному? — снова спрашивает меня Трофимов.

Я не понимаю его.

— То есть без билета. Куда-нибудь в темноту забиться и ехать. Вот что это значит. Понял?

— Понял.

— Ладно.

Я чувствую, как через черную тучу отчаяния врывается в душу мою светлый луч надежды, приводя меня в самое восторженное состояние. Я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься им на шею.

— А сколько это стоит?

— Да что с тебя взять-то? Купи для ребят бутылку горлодерки, штук пять селедок на закуску да дай им еще

трешницу, коли найдется, и дело в шляпе. Часам к восьми выгребай на корабль.

Я с радостью соглашаюсь.

— Только бы Ершов, часом, не узнал,— предупреждает Гришаток.

Что такое? Неужели хочет расстроить уже налаженное дело? Нет, слышу возражение другого:

— Брось, дружище, толковать-то. Такого осла да не надуть? Он сегодня гуляет, вернется на корабль к одиннадцати, не раньше.

Я справляюсь, что за Ершов.

— Да угольщик наш,— поясняет мне Трофимов.— Подводила естественная. Третье ухо капитанское. И капитан наш тоже — ух, зловредный! Акула! Попадешься ему — не жди пощады! Слопает анафема. Погубить человека для него одно наслаждение. Бывали случаи. Но ты все-таки не опасайся. Сумеем спрятать.

Мы поговорили еще о том, о сем, и кочегары, объяснив мне, как добраться до парохода, покинули трактир.

А через полчаса и я последовал за ними.

II

На дворе, несмотря на апрель месяц, стоит пронизывающий холод. Дует сильный ветер. Тоскливо гудят телеграфные провода. Небо темнеет; тяжелое и неприветливое, оно все ниже и ниже нависает над землей. Всклокоченные тучи, клубясь, быстро несутся невесть куда.

День гаснет. Серым и угрюмым сумраком надвигающейся ночи окутывается город. Каменные здания, как будто чего-то пугаясь, съеживаются и плотнее прижимаются друг к другу. Кругом почти ни души — пустынно и мертво. Только кое-где одинокие городовые, вобрав головы в плечи, торчат на своих постах сонливо и неподвижно.

Но я полон бодрости.

Закупив для кочегаров подарки, я не иду, а лечу вперед, не чуя под собой земли. Стараюсь выбирать узкие и глухие переулки. Водку держу снаружи — смотри, на! Смеюсь в душе над своими преследователями:

«Ищите в поле ветра!»

Прохожу мимо большой площади.

Невольно в памяти воскресают картины недавнего прошлого. Три года тому назад я стоял на этом месте. Десятки тысяч людей собрались здесь. Гордо развевались знамена. А оттуда, со средины площади, с опрокинутой бочки, служившей трибуной ораторам, слышались вдохновенные речи. Толпа горела. Грянули песню, свободную и могучую. Из надорванных грудей, из недр измученных и разбитых сердец, веками ее хранивших, вырвалась она и захлестнула всю площадь.

И что же? Куда мы пришли? Что осталось от прошлого?

Но прочь уныние! Иду дальше, снова окрыленный надеждами.

Вот и гавань. Не больше двух недель открылась навигация. Местами еще виднеются льдины. Вдоль каменной набережной вытянулся ряд пароходов и барж. На некоторых яркие фонари. Мачты бросают на воду длинные тени. Кипит судовая работа. Люди, согбенные под тяжестью грузов, бегают в разных направлениях. Воздух оглашается криком грузчиков, грохотом лебедок, паровыми свистками, ударами дерева и звоном железа.

Быстро нахожу нужный мне пароход. Пришвартованный к стене, он густо дымит. Видать, что уже пожил на свете, побороздил океаны. Как только может еще справляться с бурей?

На нем тоже идет погрузка.

Жандарм! Но он глядит на воду, туда, где два яличника из-за чего-то грызутся между собой.

Я уже на палубе. Направляюсь в носовое отделение, где помещается судовая команда. Открываю дверь.

— Пожалуйте,— приветствует меня Трофимов.— Все свои люди.

Выложив принесенные припасы и деньги на стол, я знакомлюсь с кочегарами. Их четверо, ребята все симпатичные.

— А я, признаться, побаивался, как бы тебя дорогой не застопорили,— смеется Трофимов.

— Где уж тут застопорить! Я так пары развел, что десятиузловым ходом летел.

Через минуту мы уже все сидим за большим деревянным столом. Настроение у кочегаров веселое. Выпи-

вая, они дружелюбно угощают и меня. На радостях я выпиваю две рюмки водки и, чувствуя себя голодным, с большим аппетитом уничтожаю целую селедку. Все болтают, шутят.

Входит еще один кочегар, длинный, как верстовой столб, с острыми плечами и впалою грудью. Лицо хмурое. О чем-то таинственно переговаривается с Трофимовым и другими.

— Сколько дает? — спрашивает кто-то.

— Восемь целковых.

Трофимов, переговорив еще кое о чем с ним, обращается за советом уже ко всем:

— Вот, братцы, еще один хлопец хочет ехать по-темному. С Петровым уговорился. Молодой парень. Можно, что ли?

— Да уж все равно: семь бед — один ответ,— раздается чей-то голос.

— Вот и я так же думаю. Следует взять. Да и Митричу вдвоем будет веселее.

Порешили, что новый пассажир должен прийти позднее, так как сначала нужно запрятать одного.

Водка выпита, закуска съедена. Кочегары расходятся по своим делам, наказав мне сидеть безвыходно в их помещении, пока меня не позовут.

Ждать долго не пришлось. Скоро вернулся ко мне Трофимов.

— Теперь пора.

Он мигом переодел меня в грязное платье кочегаров и грязной штаниной натер мне лицо. Потом поднес маленький осколок зеркальца.

— Смотри, как я тебя под масть с нами подогнал.

Действительно, я совсем преобразился.

— Шагом марш! — смеясь, командует он мне.

Выходим на верхнюю палубу. Последний раз я оглядываюсь кругом.

На небе ни звездочки. В темной дали ничего не видно, кроме сверкающих огней. В снастях воет ветер, предвещая бурю. Вода в гавани волнуется, шумит, будто сердится на то, что ее огородили кругом гранитными камнями, лишив свободы и простора. Сверху падает крупа, с яростью щелкает о палубу и больно, как игла-

ми, колет лицо. Народу в гавани стало меньше. На некоторых кораблях уже прекратилась погрузка, но на нашем корабле все еще продолжают работать, набивая его объемистое чрево разными товарами.

— Не отставай,— наказывает мне Трофимов.

Спускаемся по трапу в самую преисподнюю. На момент остановились в узком коридоре, чтобы посмотреть, нет ли в кочегарке людей, не посвященных в наше дело. Здесь жарко. Мерцая, тускло горят масляные лампочки; на паровых котлах виднеются циферблаты манометров. Валяются молотки, ломы, железные кадки и другие принадлежности «духов». Несколько человек кочегаров несут свою вахту. Среди них и Гришаток, который, изгибаясь, «шурует» в топке. Кто-то, вооружившись лопатой, складывает в кучу шлак.

Пройдя еще несколько шагов, мы останавливаемся между котлами. Под нами железная настилка. Трофимов, нагнувшись, поднимает одну из плит. Между дном и настилкой небольшое пространство.

— Полезай туда,— говорит он мне, показывая в темную дыру.— После, может, переведем в другое место.

Пока я спускаюсь, кочегары смеются:

— Попалась, грешная душа!

— Ненадолго — за меня сорок сороков нищих молятся,— отшучиваюсь я.

Плита захлопнулась. Тьма кромешная. Подо мной какая-то котловина. На дне грязная масляная вода. Пространства вверх так мало, что я не могу даже прямо сидеть. Нужно устраиваться в лежачем положении. Ощупываю стенки. Они влажные и холодные. Пахнет сыростью и ржавчиной.

Но я не унываю. Чем дальше я ухожу от грозящей опасности, тем все больше и больше просыпается во мне жажда жизни, и я готов переносить какие угодно лишения.

Лежу и размышляю о том, как иногда человек может зависеть от разных случайностей. Не зайди я в трактир или даже не сядь за тем столиком,— что было бы со мною дальше? А теперь я наполовину спасен.

Потом вспоминаю о своем логовище, и мне становится смешно...

«Ах, ты, разрушитель старых устоев и творец новой жизни! Куда, однако, тебя занесло!..»

Открывается плита. В дыру влезает человеческая фигура. Раздается голос Трофимова:

— Это твой компаньон, Митрич. Не разговаривайте, а то услышат.

— Хорошо,— отвечает за меня мой попутчик тонким, совсем юношеским голосом.

Молчим. Друг друга не видим.

Спустя минут десять снова открывается плита. На этот раз в отверстие просовывается только рука, держащая какой-то узел. Опять слышен голос Трофимова:

— Держи, Митрич. Это тебе и Ваську говядина, хлеб и вода в жестянке. Пока до свидания. Завтра увидимся. Мы навалим на вас тонны три угля — безопаснее будет. Ну, с богом!

— Спасибо, дружище,— успел вымолвить я, и плита захлопнулась.

Все, что принес нам кочегар, я осторожно ставлю в сторону, боясь, чтобы не опрокинуть воду.

Захотелось покурить, а кстати и осмотреть при свете наше жилище и товарища по бегству, но я, как на грех, забыл спички у кочегара. И у Васька нет спичек, да он и не курит. Мысленно ругаю себя за свою оплошность.

Чтобы скоротать время, решаю соснуть. Ложусь на спину, заложив под голову руки. Ноги кладу в воду: иначе нельзя устроиться.

Над нами проходят люди, стуча каблуками о настилку. Слышен говор кочегаров. Мысли становятся смутными, расплывчатыми, и я крепко засыпаю...

III

Просыпаюсь. Кругом непроглядная тьма. Над головой что-то грохочет, как будто жесткие комья глины падают на гробовую крышку. Забыв, где нахожусь, я вообразил себя в могиле, заживо погребенным. По телу пробегает холод ужаса.

Пытаюсь вскочить, но чуть не до потери сознания ударяюсь головой о железо. Я бросаюсь в сторону, снова получаю удар и падаю на товарища.

— Дмитрич! Что с вами? — называя по имени, говорит он испуганным голосом.

Сразу вспоминаю, зачем я попал сюда. Становится понятным и грохот: это кочегары насыпают на настилку уголь.

Придя в себя, я мало-помалу успокаиваюсь. Скоро все стихло.

— Вы так напугали меня: нас могли бы услышать,— тихо шепчет Васек.

— Простите,— так же тихо отвечаю я, стараясь устроиться поудобнее.

Что-то теплое и липкое струится мне за ворот рубахи. Ощупываю голову. На ней рана, на лбу тоже ссадина и шишка. Только после этого начинаю чувствовать боль от ушибов.

Платье на мне мокрое. Воды заметно прибавилось. Хочу пить — нахожу жестянку, но она опрокинута. Делать нечего, надо терпеть.

— Вы куда едете? — слышится шепот Васька.

— В Лондон. А вы?

— Я тоже.

Немного погодя снова задает мне вопрос:

— Разве большие дела за вами, что бежите в такую даль?

Я не отвечаю. Мне вдруг приходит в голову, что это шпион.

Между тем Васек не перестает расспрашивать.

— Молчите! — с негодованием шепчу я.

Замолк...

Но в то же время я начинаю беспокоиться: почему он расспрашивает меня о таких вещах, когда нам сказано не разговаривать? Да, тут что-то не так. И чем больше думаю, тем более увеличивается моя подозрительность. Я уже не сомневаюсь, что со мной сидит предатель.

«Задушу!» — решаю я про себя.

Судя по голосу, он должен быть не из сильных. С таким справиться мне ничего не стоит.

Передвигаюсь на то место, против которого должна, по моему расчету, открываться плита. Руки мои дрожат. Пальцы судорожно корчатся. Пусть только вздумает приблизиться к выходу! Схвачу за горло и сдавлю так, что не успеет пикнуть! А там пусть что будет...

Но он лежит неслышно, как будто нет его.

Тихо. Сверху доносятся едва уловимые звуки колокола. Это бьют склянки. По семи ударам заключаю — либо $3^1/_2$, либо $7^1/_2$ часов утра.

Над самой головой слышен разговор:

— Где это ты, Ершов, вчера прогулял так долго?

— Да известно где. Затворниц навестил,— отвечает он охотно гнусавым голосом.— Запеканку пил. А мамзель-то какая! Чернявая! Так и обожгла!.. Да и то надо сказать: ведь в рублевый затесался...

Смакуя каждое слово, он подробно рассказывает о своих похождениях.

Кто-то закатисто хохочет.

Но Трофимов с ненавистью обрушивается на Ершова:

— Совесть твоя стала чернявая, как угольная яма!

— Да за что же ты, Павел Артемыч, так на меня? — лебезит он перед Трофимовым.— Сам ты рассуди: вреда я никому не делаю. А ежели какое удовольствие имею, так на это я трачу из своего собственного кармана. Видит бог — не вру...

— Знаю я тебя. Бога-то хоть не упоминай. За полтинник в любое время его продашь...

Кочегары продолжают разговаривать, но мысли мои снова возвращаются к соседу. Откуда он узнал, кто я такой? Неужели кто из кочегаров предал меня? Ничего не могу понять. Чувствую лишь одно: что я задыхаюсь от злобы и что лицо мое наливается кровью. Сердце стучит беспорядочно. Каждый мускул мой напрягается. Полный решимости, я жду только случая, чтобы наброситься на своего врага.

«А что если он сильнее меня? — мелькнуло вдруг у меня в голове.— Ведь я уже не такой, как прежде: изломался, ослабел».

Уверенность в победе исчезает, но тут я вспоминаю, что в кармане у меня большой складной нож. Вынимаю его, раскладываю и держу в правой руке. Нет и тени страха. О последствии не думаю. Мозг мой работает исключительно над тем, как лучше нанести удар.

«Ну, подойди теперь ко мне, гнусная тварь, подойди! — мысленно злорадствую я.— Как всажу нож в твое подлое мясо! Только кровь брызнет... Больше уж никого не поймаешь...»

Безмолвствует.

Опять бьют склянки, и звонкий голос выкрикивает:

— Бросай, ребята, идем завтракать!

Ясно, что восемь часов утра. Скоро должны отвалить от берега.

Но что же мой предатель? Я занимаю выжидательную позицию.

Начинают разводить пары. Котлы зашипели и запыхтели. Послышался однообразный гул машины. Пароход вздрогнул, качнулся раз-два, и мы тронулись в путь.

Слава богу, Васек не предатель. Ведь ему нет никакого смысла ждать дольше. Я облегченно вздыхаю.

И тут же спохватываюсь... Ах, безумный я, безумный! Как я мог раздуть свои дурацкие предположения! Ведь я мог бы совершить самое безрассудное преступление. Стоило Ваську немного приблизиться ко мне или даже пошевелиться — и все было бы кончено... Меня бросает в жар. Стыд и угрызения совести разрывают сердце. Нет, я положительно ненормален.

С досады бросаю нож в сторону.

До обеда время проходит незаметно. Но затем наступают часы скучные, полные томительного ожидания. На новое место нас не переводят.

Пароход начинает раскачиваться. Мы, вероятно, выходим в открытое море.

Наше мрачное логовище наполняется водой. Она заливает ноги и часть спины.

Холодно.

Страшно хочется пить. Во рту пересохло, какая-то горечь. Я проклинаю селедку, которую с таким аппетитом ел накануне.

Васек все молчит.

Мне хочется загладить свою вину. Пробую с ним заговорить, но из-за шума котлов не слышно. Подползаю ближе и, ощупав его, располагаюсь так, что наши головы соприкасаются.

— Товарищ, вы не спите? — спрашиваю я.

— Нет.

— Как чувствуете себя?

— Плохо. Совсем замерзаю.

— Я тоже.

— Неужели будем все время здесь?

— Обещали перевести.

Хочется еще поговорить, но сознаю, что это небезопасно. Ограничиваюсь еще одним вопросом:

— Раньше вы плавали на корабле?

— Никогда.

Молчим.

IV

Должен быть уже вечер.

Качка ужасная. Наверху ревет буря страстно и напряженно. Чудовищными голосами воют вентиляторы. Волны, вскипая, с яростным гневом бьются о железо бортов. Пароход бросает, как щепку. Временами, взобравшись на высоту, он опрометью бросается вниз, точно в пропасть. Но тут же снова взбирается вверх. Трещит, как будто беснующаяся стихия ломает его остов. Над головой, гремя о плиты, перекатываются с одного места на другое куски угля и другие неприкрепленные предметы.

Мы сидим с Васьком рядом, подавленные и ошеломленные происходящим. Нет ничего хуже, как переносить бурю, сидя на дне судна да еще взаперти. Наверху она просто грозна, здесь ужасна даже для привычного моряка. Там в случае крушения корабля все-таки можно остаться живым. Здесь чувствуешь близость разверзающейся могилы.

Вода упорно наполняет наше логовище.

Теперь она доходит до груди.

Мы мокнем в ней, как селедки, брошенные в бочку с соленым раствором. Тела наши сморщились. От стужи дрожим, как в лихорадке, неистово щелкая зубами.

Лечь на спину — значит захлебнуться в воде; сесть прямо — мешает настилка. Приходится устраиваться, изогнувшись и постоянно опираясь рукой о дно. Это становится через некоторое время невыносимым.

Васек изнемогает. Я чувствую на своей шее его холодные дрожащие руки. Из груди вырывается бессильный стон:

— Не могу... Сил нет... Сейчас упаду...

Я боюсь, что он и в самом деле может упасть и захлебнуться, поддерживаю его за плечи. Они узки, как у десятилетнего.

Меня тревожит мысль: откуда проникает вода? Мне известно, что при продувании котлов и тушении шлака вода всегда выливается на настилку и стекает вместе с грязью в трюм. Но она не должна быть такой холодной. Кроме того, в таких случаях пускают в ход помпы. Нет, тут что-то не то: либо корабль, треснув, дает течь, либо другое.

Проходит еще некоторое время. Сколько — не знаем. Вероятно, несколько часов. Они показались нам вечностью.

Беспокойство растет.

— Что это значит? — прижимаясь ртом к моему уху, спрашивает Васек.

— Не знаю...

— Закричим...

— А если Ершов услышит?

— Боже мой, мы погибли...

В голосе Васька звучит смертельная тревога. Сам он, пугаясь, плотнее прижимается ко мне. А когда корабль, срываясь с водяного гребня, с треском падает вниз, Васек бьется в моих руках, крутит головой, задевая меня по лицу. Слышно иногда, как над самым ухом неприятно лязгают его зубы. Раз от разу он все слабеет, опускается вниз, становится тяжелее. Мои руки настолько устали, что я едва могу поддерживать его.

А волны еще сильнее, еще яростнее начинают обрушиваться на корабль. Сражаясь с ними, он падает, поднимается, мечется в разные стороны, как обезумевшее от ран животное. Мне, как моряку, понятны эти убийственные взмывы волн, этот лязг железной громады, дрожащей и стонущей в буйных объятиях стихии. Вот слышится вопль ржавого железа — корабль гнется. Я чувствую этот момент положения корабля на вершинах двух гребней, когда под серединой его рычит разверстая бездна. Ветхие корабли с тяжелым грузом в таких случаях не выдерживают собственной тяжести, разламываются, сразу проваливаясь в темную клокочущую пропасть. Но наш пока еще выносит. А то вдруг раздастся громкая и неровная трескотня: тра-та-та-та... Это силою моря подброшена вверх корма. Винты оголились, вертятся в воздухе, и машина, работая впустую, кричит о своей беспомощности. Иногда корабль содрогается всем своим кор-

пусом. Кажется, он всецело попал во власть всемогущей бури и его схватывают судороги. И тогда над нами усиливается грохот, шипенье, вой. По плитам что-то ерзает, стучит, скачет, словно тысячи бесов, собравшись вместе, совершают свою безумную пляску...

Вдруг недалеко от нас что-то громко ударилось о железо. Должно быть, сорвался какой-нибудь тяжелый груз. Но нам показалось, что начинается ломка корабля. Мы оба рванулись...

Почему нас не переводят? Неужели погибнем?

Не слышно ни одного человеческого голоса. Все заглушено грохотом и ревом бури...

Вода прибывает.

Чувствую себя, как во льду. Холод проникает в самые кости. Члены окоченели. Кровь стынет. Нет воздуха. Задыхаемся. При каждом крене судна, при каждом ударе в борт морской зыби грязная вода, плескаясь, обдает наши лица. Во рту чувствуется что-то масляное, горько-соленое, отвратительное...

Васек начинает рыдать. Бедняга! Какие невыразимые муки должен переживать он, если я, моряк, виды видавший, не раз переживавший грозные капризы океанов, трепещу от страха...

Дольше терпеть нет возможности. Каждая минута стала невыносимой пыткой.

Закричать? Попадешься, погибнешь. Мало того, подведешь кочегаров. Ведь недаром они нас не освобождают. Вероятно, кто-нибудь мешает. Предстоит выбрать, как умереть лучше: от руки палача или задохнуться в этой норе?..

Стучу кулаком в плиты. Напрасно! Нужно бить молотом, чтобы меня услышали. Есть еще одна надежда: приподнять настилку. И я с радостью хватаюсь за эту мысль. Бросаю Васька. Чувствую, как он беспомощно барахтается в воде. Но мне не до жалости. Я уперся спиною в настилку. Грудь от натуги готова лопнуть. Глаза вылезают из орбит. Не поддается! Я забыл, что на настилке навален уголь. То, что должно нас спасти, стало для нас гибелью. Быть может, его немного, но достаточно для того, чтобы держать нас, как в могиле.

Все кончено... Мы в западне, забронированной железом. Приговор судьбы совершился: обоим смерть! Через

несколько минут должна начаться казнь: вместо эшафота — проклятая дыра; вместо стражи — железо; вместо палача — вода.

Холодная дрожь пробегает по телу...

Нет, так нельзя. Попытаюсь еще раз приподнять настилку. Если не удастся, то закричу. Надо только передвинуться на другое место, над которым, быть может, меньше угля.

Бросаюсь в сторону. Сталкиваюсь с Васьком. Издавая нечеловеческий визг, он крепко впивается руками в мою шею, как будто хочет задушить меня. Я отталкиваю его от себя. Либо мои внутренности оборвутся, либо мы будем спасены! И меня охватывает безумное отчаяние. Напрягся...

А там, за пределами нашей гробницы, миллионами незримых пастей рычит и грохочет ураган, точно издеваясь над моим бессилием...

Вдруг в моем сознании возникает новая страшная мысль... Боже мой, ведь несомненно, что крик Васька должны услышать. Тем не менее нас не освобождают. Неужели я ошибся, считая кочегаров за товарищей? Неужели мы жертвы неслыханного варварства? Через несколько минут мы будем трупами...

Все это проносится у меня в голове в одно мгновение, как мрачный шквал, обескураживающий и не дающий опомниться.

Но в этот момент на корабль рухнула какая-то тяжесть, точно свалилась каменная гора. Все затрещало. Он быстро и сильно накренился на один борт, точно намереваясь опрокинуться вверх килем. Я упал и, захлебываясь в воде, куда-то покатился...

С неумолимой и жестокой ясностью представляется весь ужас катастрофы. Все существо мое пронизывает такая боль, точно с меня, еще живого, сдирают кожу. Из груди вырывается вопль отчаяния. Это момент, когда люди сразу седеют...

Я рванулся вверх со всей силой, но, ударившись головой о плиту, беспомощно падаю на дно. Оглушенный, я несколько мгновений кружусь на одном месте, глотая воду. Но тут меня снова охватывает приступ бешенства. Непроизвольно взмахивая руками, задеваю за что-то и срываю с них кожу. В глазах сверкают кроваво-огненные

круги. Мне уже кажется, что я не в трюме, а в проглотившей меня беспросветной бездне. Может быть, корабль опускается на дно. Каждый раз, как только я хочу закричать, в рот с силой врывается какая-то масса, разрывает на части горло. Тяжело... Задыхаюсь...

V

Я чувствую, как двое подхватывают меня под руки и куда-то волокут. Сам не могу сдвинуться с места. Перед глазами плывут бесконечно разнообразные цветные круги.

— Этот жив! — кричит кто-то, нагибаясь к моему лицу.— Смотрит... Рот разинул...

— Ну?

— Гляди...

Тут же около меня раздается знакомый басистый голос:

— А где же другой? Тащи сюда...

Меня поворачивают, мнут спину.

Чувствую внутри дергающие движения, точно при невероятной икоте; разжимаются челюсти; все тело напрягается — начинается рвота. Желудок, освобождаясь от проглоченной соленой и грязной воды, готов, кажется, вывернуться наизнанку. Скоро становится легче. Дышу свободнее.

Слышу радостные возгласы, открываю глаза. Со мной начинают заговаривать сразу несколько человек. Суетятся, шепчутся. Беспокойно куда-то всматриваются.

Я начинаю понимать окружающее. Это меня успокаивает. В бессилии закрываю глаза. Хочется уснуть...

Куда-то поднимают. Несколько человек торопливо выкрикивают:

— Держи крепче!

— Ладно!

— Подхватывай!

Тело скользит по горячей стенке. Потом кладут на железо и исчезают. Я в новом месте.

Оглядываюсь кругом. Слабо горит лампочка, прикрепленная к стенке. Нахожусь в каком-то четырехугольнике, со всех сторон огороженном железными стенами. Со средины, заполняя собой большую часть помещения, поднимается вверх что-то круглое. Ощупываю рукой:

горячее. Это дымовая труба. Сверху также переплетаются между собой паровые трубы, точно огромные змеи, уходя своими концами сквозь железные перегородки. Еще выше начинается палуба. Всюду виднеется толстый слой черной пыли. Тепло. Все это дает мне возможность догадываться, что я попал на кочегарный кожух. Подо мной, стало быть, расположены котлы, а ниже — топки.

Израненную голову разъедает осадок соленой воды, причиняя нестерпимую боль.

Вспоминаю происшедшее с нами там, внизу...

Где же Васек? Что с ним? Жив ли он? Как раз в этот момент Трофимов, Петров и еще один кочегар приносят его на кожух и кладут рядом со мной. Он лежит без чувств. Только на шее слегка колеблются вздутые вены, свидетельствуя, что в нем еще теплится жизнь.

Кочегары, глядя на него, стоят на одном месте, запыхавшиеся, потные, с вытянутыми лицами.

Я приподнимаюсь на локоть.

— Отошел, Митрич! — заметив мое движение, радостно восклицает Трофимов.— Ну, слава богу. Ух, как мы перепужались! Прости уж, невзначай вышло. После объясню.— И, повернувшись от меня, обращается к своим товарищам: — Ну, ребята, давайте Васька откачивать.

— Нельзя: тесно больно,— возражает ему Петров.— Да и не скоро так оживишь. По-моему, лучше за ноги встряхнуть. Говорят, в таком разе самое лучшее средство. Живо вода выльется.

— А ежели коленкой на живот надавить? — предлагает третий.

— Очумел, что ли? — горячится Трофимов.— Так моментально пузырь лопнет.

— Ну, скажет тоже! Пузырь-то где? Чай, ниже. А я говорю, повыше надавить. У нас в деревне...

— У вас коровы на крышах пасутся, дурная твоя башка! — слышится нервный выкрик Трофимова.—Молчал бы уж, коли бог умом обидел. Орясина!

В конце концов останавливаются на мысли Петрова. Один из кочегаров, отойдя к выходу из кожуха, караулит, чтобы кто-нибудь не застал врасплох, а остальные двое подхватывают Васька за ноги и начинают его встряхивать. Голова его болтается. Хотя он и не тяжелый, но вследствие качки корабля кочегары, постоянно

балансируя, едва его удерживают. Кажется, вот-вот упадут вместе с ним и окончательно его доконают.

Васек как будто начинает вздрагивать, и наконец изо рта легкою струей показывается вода.

— Довольно, а то как бы внутренности не попортить,— заявляет Трофимов.

Кладут Васька на железо. Теперь он уже сам освобождается от воды. Ворочается, стонет. На лице страшная гримаса. Когда рвота стихает, Трофимов глубоко засовывает ему в рот палец, снова таким образом возбуждая в нем тошноту. И тогда тело Васька, делая невероятные потуги, извивается, как червь, которому наступили на голову.

Кочегары наконец уходят, высказав свою уверенность, что теперь будет хорошо.

Я все больше начинаю отходить. Оживает и Васек. Но нас обоих все еще продолжает прохватывать дрожь, несмотря на то, что находимся в таком теплом месте.

— Где это я?—опомнившись, спрашивает меня Васек.

Мое объяснение окончательно приводит его в себя. Он удивляется:

— Ах, боже мой... Так вот что случилось...

Слышны глухие громовые раскаты бури, но последняя здесь уже не производит того ужасающего впечатления, какое мы испытывали, находясь в трюме.

Креном корабля повернуло Васька на спину. Он несколько минут остается лежать на одном месте. Свет лампочки, падая прямо на него, дает мне возможность разглядеть его как следует.

Васек... Да, именно еще Васек! Совсем юноша, на вид не больше семнадцати лет. Роста маленького, тощий и тонкий. Лицо привлекательное, с правильными чертами, с высоким и умным лбом, но измученное и печальное. В больших и доверчивых глазах отражается усталость; но они еще смотрят так мечтательно, как будто перед нами не железная, покрытая копотью стена, а лазурная, заманчивая даль.

Глядя на него, я удивляюсь, как это он мог отважиться на поездку «по-темному». И зачем? Что он, хрупкий и слабый, будет делать на далекой чужбине?

— Вы не переоделись? — спрашиваю я, заметив на нем хороший костюм.

— Предлагали, но я не согласился.

Петров принес нам холодной воды в коробке из-под консервов, хлеб и в какой-то черепице тушеное мясо с картофелем. Но сам с нами не остался, говоря:

— Больно некогда. У нас там целая полундра: воду из трюма выкачиваем. После зайду.

Предлагаю своему попутчику закусить.

В то время как я ем с аппетитом, он проглотил несколько кусочков мяса с картофелем и от всего отказался.

— Не хочу, — печально заявляет он.— Я совсем нездоров.

Приходит Трофимов. Чувствуя себя виноватым, он говорит робко и нерешительно. Однако из его слов ясно, что кочегары тут ни при чем. Произошла непредвиденная случайность: в одной из труб, проходящих в трюме, выбило фланец; она дала сильную течь; помпа же, выкачивающая воду, засорилась в клапанах и работала почти вхолостую.

— А нам и невдомек было это,— объясняет дальше Трофимов.— А посмотреть вас раньше нельзя было, потому что Ершов на вахте стоял. Через час должен был смениться. Вдруг слышим визг. Что, думаем, такое? Схватили лопатки и давай сбрасывать уголь с настилки. Глядь, а на ней уж вода показалась! Это когда пароход-то шибко накренило. Так все и ахнули. Думали, капут вам обоим. Хорошо, что Ершов в это время как раз был в угольной яме... Ничего не слыхал. А то бы совсем беда...

— Вам бы сразу посадить нас куда-нибудь в другое место,— укоряю я.

— Да ведь, чудак ты этакий,— опасно! Могли бы найти. И то перед отходом приходил человек. Очень подозрительный. И все шушукался с Ершовым. Шпион, не иначе.

Справляюсь у него, сколько времени мы пробыли под настилкой.

— Теперь девятый час утра. Стало быть, больше суток.

Пароход качает по-прежнему.

Трофимов смотрит на Васька, который все время лежит молча.

— Ну, как, малец, здоровье твое?

— Тошнит...

— Без привычки, значит...

На лице кочегара появляется озабоченность.

— Куда же все-таки посадить-то вас? Было у нас одно место очень подходящее. Но оказывается, что туда нельзя. А еще, хоть тресни, ничего не могу придумать.

— А почему не остаться нам здесь? — спрашиваю я.

— Жарко больно. Поди, градусов пятьдесят, а то и больше будет. Не выдержать, пожалуй, вам.

Действительно, чувствовалась жара. Но для нас, только что начавших согреваться, она казалась сносной; мне, например, новое место, в сравнении с трюмом, показалось прямо-таки раем, поэтому я просил Трофимова пока о нас не беспокоиться.

Васек начинает страдать морской болезнью, мучительной и терзающей. Он весь корчится, то сгибаясь в кольцо, то выпрямляясь во весь свой маленький рост. Несколько раз вскакивает на колени и снова падает на железо. Чтобы заглушить неестественные звуки, вырывающиеся из его груди, он руками плотно закрывает свой рот. Кажется, будто кто-то вырывает из него внутренности.

Трофимов, увидев муки Васька, достал где-то лимон, а для меня принес табаку. Пробыв еще немного с нами, пока Ваську не стало лучше, он потушил огонь в лампочке, наказал нам не разговаривать и ушел.

Утомленные, мы наконец заснули.

VI

На кочегарном кожухе мы пробыли целые сутки. Насколько нам показалось хорошо здесь с первого раза, настолько же стало плохо потом. Новое наше логовище превратилось в дьявольское пекло. Мрак, невыносимая жара, горячее железо — все это действовало на нас убийственно, ослабляя и тело и душу.

Видя муки Васька, на которого качка действовала одуряюще, я также начинаю лишаться стойкости моряка и испытываю довольно остро морскую болезнь. Мозг точно размяк от жары.

Кочегары приносят нам пищу, но мы к ней не прикасаемся. Нет аппетита... Сухость в горле. Мучительная

жажда. Но стоит лишь немного выпить воды, как сейчас же желудок выбрасывает ее обратно.

— Сколько времени мы в пути? — уныло спрашивает Васек.

— Двое суток.

— А сколько осталось?

— Суток пять.

Васек с горечью заявляет:

— Нет, не выдержу я... Больно... В груди больно...

И, откинувшись от меня в сторону, начинает метаться на железе. Напрасно я стараюсь его успокоить. Он не отвечает мне. Только слышны заглушенные стоны.

Железо становится горячее, как будто кто нарочно его раскаливает. Разостлали полученный от кочегаров брезент. Это несколько облегчает муки. Кочегары часто приносят нам холодную воду. Обливаясь, мы чувствуем себя бодрее. Но спустя несколько минут становится хуже. Мокрое платье, согреваясь, прилипает к телу и больно щиплет. Чтобы развлечься, начинаю заговаривать с Васьком.

— Кто-нибудь есть у вас в Лондоне?

— Да, хороший друг.

— Давно там?

— Прошлой осенью уехал... Он так же переправился, как и мы... Только ему было лучше... Как он писал...

Васек замолкает, не имея сил продолжать разговор.

Мне тоже становится невмоготу. Слабость чувствуется во всем организме. Наступает какое-то умопомрачение.

Несколько раз навещает нас Трофимов. Видимо, он болеет душой за нас. Наши страдания удручают его. Он тщетно старается придумать что-либо и уходит, ругаясь в пространство. Наконец, что-то смекнув, решительно заявляет:

— Придется переправить вас в угольную яму. Иначе ничего не поделаешь. Есть запасная яма с углем. В ней, может, и не наткнется на вас Ершов. Ну, а ежели уж попадетесь ему...

Он остановился и так громко заскрежетал зубами, точно старался раскусить железо. И закончил голосом, дрожащим от злобы и выражающим непоколебимость человека, пошедшего напролом:

— У-у-у, стерва! Раздавим, как муху! Нет, не так... В топке сожгем и пепел по морям развеем. Я сам это сделаю! В случае чего, так прямо и скажу ему об этом! Не робь, друзья!..

Против перевода в угольную яму мы уже не протестуем. У нас одно лишь желание: вырваться скорее из этого пекла.

Но не успел Трофимов исчезнуть, как заявляется к нам другой кочегар. Оказывается, в котле номер четыре произошла какая-то порча, при исправлении присутствует механик, и, пока не уйдет, переправлять нас рискованно.

— И сидите здесь тише,— уходя, наказывает нам кочегар.

Нам пришлось остаться на кожухе еще довольно долго — вероятно, часов пять или шесть. Время точно остановилось. Силы покидают нас. Мы не можем уже встать на ноги, не можем даже сидеть. И без того плохой воздух еще больше испортился. Мы дышим часто, разинув рот, как рыбы, выброшенные на сухой песок. Воды нет. А между тем жажда одолевает. Раскаленный воздух жжет нас, пробирается внутрь, сушит легкие. Мы не можем не сознавать, что задохнемся.

С Васьком творится что-то необыкновенное. Он вертится и опрокидывается на железе, как вьюн на раскаленной сковородке, то плача, то издавая протяжные и хриплые стоны. Раза два я зажигал спичку и пробовал его успокоить, но потом стал совершенно о нем забывать.

В ушах у меня шумит. Какая-то тяжесть давит душу. Сильно клонит ко сну, но я каждые пять минут просыпаюсь, ворочаюсь, подставляя раскаленному железу другую сторону своего тела. Я не могу спрятать голову. От жары она точно разламывается на части. И чем дальше, тем становится все хуже и хуже. Рассудок омрачается. Возникают обрывки каких-то воспоминаний. Их сменяют страшные видения, созданные больным воображением.

Мне кажется, что я в какой-то норе. Надо мной большая гора. Темно. Тесно. Зачем я попал сюда? Не знаю... Ищу выхода... Ползу на животе. Дальше и дальше. Прополз целую версту или больше, выбиваюсь из сил, а света божьего все еще не видно... Ух как жарко, как душно! Назад... Застрял... Не могу сдвинуться с ме-

ста. Хочу кричать. Язык не шевелится. Голос глохнет в подземелье... Неужели конец?..

Какой-то толчок меня возвращает к действительности, но я еще долго не могу прийти в себя. Тревожно бьется сердце. На лбу капли пота.

Кто-то бьет меня по лицу и ругается:

— Нахал вы! Уйдите! Не дам вам показания!

По голосу узнаю, что это Васек.

— За что вы?

— Негодяй.

Голова его беспомощно падает мне на колени. Тело становится неподвижным.

Изумленный, я некоторое время раздумываю над случившимся.

По-прежнему качается пароход. Слышно, как что-то шумит, грохочет, гудит, ухает.

Обессилев, я падаю на бок. И минуту-две спустя опять какой-то туман, черный и непроницаемый, заволакивает мой рассудок. И снова мне представляются кошмарные видения... Лежу на берегу моря. По мутной и волнующейся поверхности воды, извиваясь, приближается ко мне что-то длинное. Оно вырастает в бесформенную массу... Что такое? На меня, разинув пасть, смотрит морское чудовище! Боже, оно меня проглатывает! Я попадаю в желудок. Меня удивляет, что его стенки горячи и тверды, как железо. Я задыхаюсь...

VII

Очнулся я уже в угольной яме.

Около меня стоит фонарь, мерцающий огонь которого еле пробивается сквозь грязные стекла. Кругом полумрак. Тихо колеблются тени. Качки почти не заметно. Где-то далеко-далеко однообразно гудит машина. В горле у меня сухо до боли.

Трофимов, склонившись, смачивает холодной водой мою голову. В ней все еще что-то шумит. Страшно ломит виски.

— Ах, Митрич, Митрич, беда нам с вами,— увидев, что я открыл глаза, взволнованно говорит Трофимов.

Я вопросительно смотрю на него.

— Второй уж раз это происходит с вами,— продолжает он.— Сюда вас обоих принесли на руках. Ну, пря-

мо сказать, замертво! Вот уже целый час, кажись, бьемся, чтобы оживить вас.

Он подносит мне кружку холодной воды. Продолжая лежать, я с жадностью выпиваю ее. Вода меня освежает.

— А как Васек? — справляюсь я о своем спутнике.

— Совсем швах! Да... Вот он лежит, посмотри. Хоть бы тебе шевельнулся!

Хочу взглянуть. Приподнимаюсь. Но от острой, щемящей боли во всем правом боку сваливаюсь на прежнее место. Из груди невольно вырывается стон. Что такое? Боже мой!.. У меня страшные ожоги на боку и лице! Одна щека моя вздулась.

Трофимов смотрит на меня глазами, полными печали и тревоги, тихо приговаривая:

— Коли не повезет, то уж ничего не поделаешь. Какая, право, досада!

Сделав невероятное усилие, я приближаюсь к Ваську. Всматриваюсь в лицо. Грязное и осунувшееся, оно кажется безжизненным. Глаза плотно закрыты, а из полуоткрытого рта сверкают красивые, белые зубы. Прощупываю пульс. Он еще бьется, хотя очень слабо.

— Сейчас принесут воды, — сообщает мне Трофимов.— Мы его хорошенько обмочим. Может, и отойдет...

Вскоре приходит Петров, держа в руке большое железное ведро.

Лицо и голову Васька несколько раз обливают холодной водой. Треплют его, ворочают с боку на бок. Ничего не помогает. Васек лежит пластом, как мертвец.

Хлопочут долго, склоняя потные, усталые лица; прислушиваются, встряхивают, ощупывают.

— Надо грудь ему смочить,— предлагает наконец Петров.

Никто ему не отвечает. Он нагибается над Васьком, развязывает ему галстук, расстегивает жилет и рубашку...

Вдруг Петров отскакивает, точно отброшенный невидимой силой. Быстро выпрямляется и смотрит на нас с недоумением и испугом, растопырив большие грязные руки.

— Что с вами? — спрашиваю я.

— Да не знаю, право... Не того... Вот те раз!.. Как же это!..

И Петров со странной торопливостью оправляет свою засаленную куртку, которая в хлопотах расстегнулась и сбилась.

Трофимов берет фонарь в руки и подносит его ближе к Ваську.

Удивлению нашему нет пределов. Мы не верим своим глазам, не верим тому, что это действительность, а не сон.

Слабый свет фонаря освещает обнаженную девичью грудь. Молчим, растерянно глядя друг на друга.

— Женщина! — как вздох, произносит Трофимов и беспомощно опускает фонарь на уголь.

— Да! — вторит ему Петров, точно освобождаясь от какой-то тяжести.

Мы приходим в себя.

Я советую застегнуть ей грудь, прежде чем она проснется. Кочегары соглашаются.

Но не успел один из них приступить к делу, как она проснулась. Смотрит странно, блуждая глазами. По-видимому, никак не может понять, где находится.

Огонь горит слабо. Остолбеневшие кочегары, почти упираясь своими головами в верхнюю палубу, стоят безмолвно. В полумраке они кажутся несуразными. На их лицах, покрытых сажею и сливающихся с темнотою, сверкают белки глаз. А тут еще я стою на коленях, опираясь руками на уголь, с изуродованным до неузнаваемости лицом. Она ежится, не то собираясь закричать, не то просить пощады. В томительной тишине проходит несколько мгновений. Она приходит в сознание. С большими усилиями приподнимает голову, замечает свою обнаженную грудь, и падает, разражаясь истерическими рыданиями.

Кочегары безнадежно смотрят на меня, не зная, что им предпринять. По моему знаку они исчезают из угольной ямы.

Снова темно. Женщина продолжает плакать. Слушать ее невыносимо тяжело. Начинаю утешать. Но прошло довольно много времени, пока она овладела собой.

— Вы хотели меня опозорить? — с каким-то отчаянием спрашивает она меня.

— Ничего подобного,— отвечаю я и рассказываю ей, как все произошло.

— Боже, как я испугалась! — восклицает она, продолжая все еще всхлипывать.

Пою ее холодной водой. Понемногу она успокаивается.

Осведомляюсь о ее здоровье. Жалуется, что плохо. Сильный жар. В груди хрипит, мешая дышать. Кроме того, у нее сильный ожог на руке.

Качка совсем прекратилась. Пароход идет плавно, почти незаметно, слегка лишь вздрагивая. А немного времени спустя до нас доносится грохот якорной цепи. Затем наступает тишина.

— Кажется, остановились? — спрашивает меня спутница.

— Несомненно.

— Может быть, мы уже в Лондон пришли?

— Весьма возможно,— отвечаю я, не имея еще действительного представления о времени, проведенном на кожухе.

Такое предположение нас обоих невыразимо радует. Женщина готова уже смеяться. Голос ее крепнет, хоть с трудом, но она уже может разговаривать. По-видимому, силы ее возвращаются. Этому способствует и умеренная температура в нашем помещении.

Мне тоже становится лучше, особенно после того, как я поел немного хлеба, оставленного нам кочегарами.

— Как мне теперь называть вас?

— Наташей,— охотно отвечает она.

Не успел я намекнуть о своем удивлении, что встретил ее в таком месте и в мужском костюме, как она сама пустилась в объяснения.

— Я не сомневаюсь, что вы товарищ,— начала она дружеским тоном.— Поэтому в нескольких словах расскажу вам все откровенно... Видите ли, вместе с другими я оказала сопротивление... Произошла свалка. С той и с другой были убитые. В тюрьму попала. В одиночке долго просидела... До суда. Грозили отправить к праотцам... Тяжело было, невыносимо тяжело... Изболелась душой. До того дело дошло, что хотела покончить с собой... Потом задумала бежать. Симулировала сумасшествие. Долго не верили, испытывали, морили карцером. Но я упорно стояла на своем... Временами казалось, что я действительно лишалась рассудка. Наконец перевели

в больницу. План удался... Подождите... Ох, как мне тяжело говорить... В груди что-то мешает... Задыхаюсь...

Она немного отдохнула.

— Так вот я и очутилась на воле. Но я не знала, куда мне деться — ни денег, ни надежных знакомых... Что, думаю, делать? Наконец нахожу одну знакомую, на которую можно положиться. Женщина бедная и с детьми. Приютилась у нее... Место очень опасное, того и гляди, что опять схватят... Остригла волосы. Одела мужской костюм. Совсем превратилась в парня-подростка. Через неделю добыли кое-какой паспортишко... Так я в продолжение трех месяцев и провела у своей знакомой... За это время списалась с Егором. Он в Лондоне живет. Я не говорила вам о нем?

— Это ваш друг, к которому вы едете?

— Да, да... Просит переправиться в Англию. Но денег прислать не может: сам голодает. Потянуло меня туда... Приятельница достала немного для меня денег. На дорогу, однако, не хватает. Решила ехать «по-темному». Тем более, что на мне мужской костюм... В жизни мне всего приходилось переживать... Судьба не гладила меня по головке. Поэтому такой путь не страшил меня... А приключения и риск я люблю. Такова уж натура. Да и не представляла я, что так ужасно будет... Как-то я... Опять что-то душит меня... Как-то...

Голос Наташи вдруг оборвался. Кашляет тяжело, долго. Потом точно чем-то захлебывается.

— Зажгите огонь...— едва произносит она.

Я зажег спичку и ужаснулся: у нее горлом идет кровь...

В продолжение нескольких минут Наташа вздрагивает, хрипит, но затем как-то сразу лишается чувств и вытягивается почти без признаков жизни...

Я сижу возле, не знаю, чем помочь ей. Измученный, я сам вскоре падаю на уголь. Меня охватывает какое-то оцепенение. Я обо всем забываю... И вдруг вскакиваю, как ужаленный: за руку укусила крыса. Целое нашествие. Вся наша пища съедена. Привлеченные, вероятно, запахом крови, они прыгают через нас. То и дело слышится пискотня, дергающая нервы. Так и кажется, что вот-вот, стоит лишь перестать шевелиться, и голодные крысы докончат наше существование.

VIII

Кочегар Петров, приносивший нам пищу, сообщил, что мы заходили в Киль, где простояли часа три, и пошли дальше.

Следовательно, мы должны пробыть в пути еще четверо суток, прежде чем доберемся до Лондона.

Наша временная радость сменяется унылым разочарованием.

Пароход, раскачиваясь, дает знать, что мы снова в открытом море. Буря усиливается. Слышен глухой рокот моря.

Темно. Опасаясь, как бы не заметил нас угольщик, я лишь в редких случаях зажигаю спичку.

Во время стоянки я немного отдохнул. Но с Наташей стало хуже. Все время лежит на голых углях. От еды отказывается.

— Жжет,— жалуется она.— Ужасная мука! В груди точно расплавленный свинец.

Я беру ее голову и кладу себе на колени.

Она с горечью продолжает:

— Эх, товарищ, досадно... Погибаю в этой проклятой яме. Хотелось бы лучше умереть... С пользой...

— Не падайте духом,— утешаю я.— Как-нибудь доберемся до Лондона.

— О, если бы так... Как я была бы счастлива!.. А Егор как обрадовался бы. Но не выдержать мне...

— У вас есть родители?

— Да, отец... Мать умерла, когда узнала, что ее сына расстреляли... Не вынесла горя... Сразу свалилась... А отец в несколько месяцев состарился... согнулся... Один он теперь... Я не могу ему помочь...

Наташа заплакала.

Я прекратил расспросы и задумался.

Все это тяжелое и безотрадное было знакомо мне.

Буря, постепенно усиливаясь, доходит до наивысшей степени напряжения. Мощный рев доносится до нас сквозь железо. Чувствуется, как там, за бортом, происходит титаническая борьба стихийных сил. Глухие удары по бортам корабля следуют один за другим, и это продолжается без конца. Падая то на один борт, то на другой, он приходит в трепет, точно живое существо.

Порой на мгновение останавливается, словно раздумывая, потом, вдруг рванувшись, несется вперед бешено и порывисто.

Сначала я кое-как держался, стараясь поддерживать и Наташу. Но долго мы не можем сопротивляться качке. При сильных толчках мы опрокидываемся, перекатываемся с одного места на другое, ударяемся о железные борта. Уголь, как говорят кочегары, «гуляет». Большие куски его катятся за нами, то осыпая нас мусором, то прощупывая тело острыми углами. Ни минуты отдыха. Боль нестерпимая. В особенности, когда ударишься об уголь обожженным боком.

Чувствую, что с каждой минутой Наташа угасает. Начинает впадать в беспамятство. Бредит:

— Не толкай меня... Мне больно. Да, да... Этот план не годится... Нас переловят...

Сознание к ней возвращается все реже и реже. Однажды в такие минуты я спрашиваю ее:

— Плохо, Наташа?

— Скорее бы конец... Бог мой!.. О, проклятие!..

Трофимов принес нам свой матрац. Пробую уложить на него больную, но она каждую секунду скатывается с матраца.

Проходят сутки. Может, больше. Буря не прекращается. По словам кочегаров, волны перекатываются через верхнюю палубу, сорвана одна шлюпка; опасаются аварии...

Наташа, как-то придя в себя, кричит с болью:

— Не хочу, не хочу!.. Мне страшно... Вынесите меня наверх...

— Но ведь там вы попадетесь капитану... Он выдаст...

Она снова начинает бредить.

Подкатываемся к борту. Лежим некоторое время рядом на одном месте. Вдруг она бросается мне на грудь. Руки ее обвиваются вокруг моей шеи. Чувствуется ее горячее, порывистое дыхание.

— Милый, милый Егор...— шепчет она, целуя мое лицо.

Больные, неестественные ласки чужой умирающей женщины среди жуткого мрака приютившей нас ямы, при зловещих звуках завывающей стихии, наполнили все

мое существо тяжелым леденящим ужасом. Я стараюсь освободиться от объятий. Но она не отпускает и плотнее прижимается ко мне.

— Дорогой мой!

Но тут на помощь мне приходит буря, рванувшая корабль с такой силой, что я мгновенно оказываюсь у противоположного борта, и острый кусок угля больно впивается в мою обожженную щеку.

В последний раз возвращается к Наташе сознание. Словно сквозь сон слышу ее слабый голос:

— Товарищ... Дмитрич...

Я спохватился:

— Что?

— Умираю,— говорит она, как бы примирившись со своей участью.

Торопливо, дрожащими руками, я зажигаю спичку и смотрю на Наташу.

Лицо израненное, покрытое угольной пылью, жалкое. В глазах слезы. Смотрит печально, с глубокой безнадежностью.

— В портмоне у меня... адрес... Скажите... Егору... я... я ехала.. Ох, не могу...

Стонет. Делает последние усилия, чтобы досказать:

— Все... объясните... Пусть... будет...

Она не договорила.

Я бросился к ней...

Напрасно! Она уже в агонии. Смерть вступает в свои права — властная, неумолимая, жестокая... Глубокий вздох... Еще раз... И все кончено. Я держу в руках труп...

Я отползаю в сторону. Лежу на угле, закрыв руками лицо...

Наступает килевая качка. Это буря переменила свой фронт. Она терзает корабль с таким остервенением, что кажется, будто чьи-то гигантские руки, схватив его за мачты, встряхивают в воздухе, как игрушку. Я перекатываюсь с одного места на другое. По-прежнему колотит меня уголь. Израненное тело ноет от боли. Никто не приходит. Слабею. Чувствую, что и мне не избежать гибели...

Что такое? Как будто кто-то наваливается на меня? Ощупываю... Наташа! Но ведь она мертвая! Животный,

безрассудный страх наполняет мою душу, и, забыв все, я кричу:

— Помогите!.. Помогите!..

Кто-то тормошит меня за плечо и говорит:

— Митрич! Да будет тебе орать-то!..

Открываю глаза. Передо мной с фонарем Трофимов.

— Что с тобой?

— Покойница... гоняется,— отвечаю я, продолжая еще дрожать.

— Неужто умерла?

— Умерла!

Он осматривает труп Наташи.

— Ну, дела! —говорит Трофимов упавшим голосом, садясь около покойницы.— Не выдержала! Такая молоденькая, слабенькая...

На глазах у него слезы. Задумывается, понурив голову.

— Ну, наварили каши, надо расхлебывать...— так же внезапно, вставая на ноги, говорит Трофимов, и лицо становится сурово-спокойным.— Так-то, брат! — прибавляет он, глядя на меня, точно я ему возражаю.— Еще этот дьявол угольщик наткнется... Тут тогда, боже мой, что будет! Уголовщина...

Взяв труп на руки, он относит его к задней железной переборке, где на скорую руку зарывает в уголь.

Что было со мной дальше? Помнится только, как поочередно дежурили около меня кочегары, поддерживая мое разбитое тело на матраце и не позволяя мне «гулять» по яме вместе с углем.

IX

Буря стихла. Без шума и толчков несется пароход, слегка лишь покачиваемый мертвой морской зыбью.

Но зато теперь начинается действие крыс. Снова во мраке слышатся их пискотня и возня. Они приступают к своей работе, маленькие и жадные, и время от времени нападают на меня. В угольной яме я один. Едва обороняясь от крыс, я лежу на матраце — больной, разбитый. Не могу заснуть ни на одну минуту. Голова отказывается думать. Время тянется медленно.

Кочегары, узнав о смерти Наташи, сильно испугались. Их мучит совесть... Почему, они вряд ли пони-

мают, но, видимо, ясно сознают, что загублена молодая жизнь ни за что, ни про что. В этом они до некоторой степени и себя считают виновными; а еще больше, кажется, мучит их в случае чего... вопрос ответственности. Труп продолжает лежать вторые сутки. Никак не могут улучить удобного момента, чтобы от него избавиться. Предполагали сжечь его в кочегарной топке, но никто не осмеливается взяться за это дело первым. Неизвестность и опасность напрягают нервы и не дают им покоя.

О моем положении больше всех беспокоится Трофимов. Он приходит ко мне, как только представляется возможность.

— Боюсь, как бы и ты еще не умер,— тревожится он за меня.

— Нет, теперь я выдержу,— успокаиваю его я, сам не веря своим словам.

— Так-то оно так. Видать, что крепкого сложения. А все же после такого случая как-то боязно.

Однажды, беседуя со мной, он засиделся у меня долго, рассказывая о своей морской жизни. С ним я чувствую себя гораздо легче, хотя и с большими усилиями поддерживаю разговор.

— На многих кораблях приходилось плавать? — спрашиваю я у него.

— Хватит с меня: семь штук сменил.

— Достаточно, поди, нагляделись, как люди едут «по-темному»?

— Известное дело. С каждым кораблем по нескольку человек отправляются. Когда с матросами уговорятся, а когда и самовольно забираются на корабль. Иной спрячется в трюм али еще куда — и сидит себе. Хорошо еще, коли пищи да питья припасет. А как без ничего поедет? Ведь несколько суток голодает.

— Всегда сходит благополучно?

— Всяко!.. Иной раз хорошо, а иной и, поди, как плохо! Одно только верно: пострадать уж каждому приходится. Случалось, и умирали. Однажды пришли в русский порт, стали товары выгружать, да между тюками и нашли двух покойников. Как тут поймешь, отчего они умерли: может, не ели, а может, укачались морем, а то и еще что другое...

Трофимов закуривает папиросу.

— А то вот еще происшествие. Года четыре прошло, как я плавал на одном корабле. Это был сущий капкан. Как только, бывало, придем в Россию, так, смотришь, и арестовали человека, и все в одном месте: в румпельном отделении. Долго мы ломали голову над этим. А все-таки догадались. Рулевой оказался предатель форменный! Так он, понимаешь ли, из-за границы все людей возил и в России предавал. Проследили мы его. Ну, уж тут и ему солоно пришлось...

— Что же с ним сделали?

— Матросы, коли захотят, сумеют что сделать. Народ-то ведь ко всему привыкший, смелый. Ночью раз вышел он на палубу и стал у борта. Буря была жесточайшая. Один товарищ мой, машинист, силы непомерной, подошел к нему тихо, схватил за ноги да как ухнет его за борт! Скоро это он — только булькнуло. Тот даже крикнуть не успел. Ох, и дрянь был, рулевой-то...

Замолкнув, Трофимов что-то соображает.

— Теперь, знаешь ли, все больше за границу люди едут,— говорит он дальше задумчиво, как бы рассуждая с самим собой.— А вот допрежь было наоборот: в Россию больше направлялись. Плохие, брат, времена настали. Вразброд народ пошел, всякий только для себя живет. Корысть тоже проснулась. Вот оно и выходит: кто кого сможет, тот того и гложет. Эх, жизнь! Не глядел бы на все...

Трофимов что-то еще рассказывал. Но я, через силу напрягая свое внимание, настолько утомил свою голову, что перестал его понимать. Слышались только баюкающие, мерные звуки голоса, лишенные для меня всякого содержания и смысла...

Я заснул.

Последняя ночь. Завтра будем в Лондоне. Путешествию моему конец. О, скорей бы, скорее! Уголь таскают из моей ямы. Я могу попасться.

После полуночи в угольную яму приходят трое: Трофимов, Петров и Гришаток. Один из них держит в руках веревку, другой — брезент. Лица у всех озабоченно-угрюмые. Глаза смотрят беспокойно.

— Хоронить пришли,— объявляет мне Трофимов.

Кочегары отправляются к трупу.

Желая последний раз взглянуть на покойницу, кое-как и я ковыляю за ними. Шатаюсь, как пьяный.

Трофимов, нагнувшись, с большой силой дергает покойницу за ноги...

Перед нами страшное лицо... Наташа съедена крысами... Все лицо изглодано. Нет ушей, носа, губ. На костях почерневшие обрывки мяса. Зубы оскалены. Остались целыми только глаза, и то без бровей и век. Скосившиеся в сторону, застывшие, с большими белками, отражающими отблеск фонаря, они смотрят так, как будто этот маленький человек, воплотив в себе сатанинскую силу, намеревался совершить самое невероятное злодеяние. Ничего похожего на Наташу...

— Надо действовать! — после тягостного минутного молчания прозвучал властный голос Трофимова.— Времени терять нельзя!

— Я не могу, не могу!..— кричит Гришаток и, спотыкаясь, падая, пускается бежать из угольной ямы.

Но его вовремя схватывает за шиворот куртки Трофимов. Возня, крик... Гришаток смят под ноги. Одна рука сдавливает горло, другая обрушивается на его голову. Он вырывается, хрипит...

— Подлец! Других хочешь подвести! Убью на месте! — рычит Трофимов в каком-то исступлении.

Скосившиеся глаза покойницы смотрят на эту внезапно вспыхнувшую драку, а на изуродованном лице ее, с оскаленными зубами, будто застыла улыбка злобного и острого наслаждения.

Но тут вмешивается в дело Петров.

— Стой, брат! — кричит он, хватая Трофимова за руки.— Что ты делаешь?..

Трофимов останавливается.

Освобожденный Гришаток, ползая по углю, растерянно бормочет:

— Не уйду... Останусь... За что же это ты...

Все трое возятся над покойницей, и каждый старается не видеть лица ее. Толкаются, мешают друг другу. Торопясь, делают не то, что нужно. Наконец кое-как завертывают в брезент и увязывают веревкой.

Уносят труп из ямы.

Через некоторое время Трофимов возвращается и сообщает:

— Слава богу, похоронили.

— Как?

— Сам, поди, знаешь, как хоронят по-морскому: привязали к мертвецу железный груз, перекрестили и спустили в море. А наверх вытащили покойницу в кадке вместе со шлаком по лебедочной трубе.

Вытирает рукавом потное лицо. Дышит устало. Все еще находится в возбужденном состоянии. Беспокойно озирается вокруг.

— Ну, брат, и происшествие! — хмуря брови и качая головой, жалуется он.— Прямо-таки черт знает, что такое...

Немного отдохнув, он берет меня под руки и переводит в другую яму, из которой уголь почти уже весь выбран.

Я остался один.

Тут только я вспомнил об адресе, о котором просила меня Наташа, но уже было поздно... он остался в ее кармане.

X

Мне только что сообщили, что мы приближаемся к Лондону и идем по Темзе. Некоторое время спустя я и сам услышал, как пароход наш остановился.

Путешествие мое кончилось.

Остается только благополучно высадиться на берег, и я — в свободной стране! С нетерпением жду, когда позовут меня кочегары. Настроение тревожное. Ведь это тот последний этап, от которого зависит все — спастись или погибнуть.

Часа два тому назад я поел. Это меня подкрепило. Силы как будто просыпаются. Встаю на ноги. Ничего: ходить могу, хотя с трудом.

Вдали, где выход из ямы, сверкнул огонек.

— Митрич! — зовет меня Трофимов.— Скорей иди сюда.

Приближаюсь к нему.

— Нас уже проверили,— запыхавшись, сообщает он мне.— Английский чиновник считал нас. Все хорошо. Теперь корабль осматривают. Контрабанду, значит, ищут. Идем.

— Куда?

— В кочегарку.

Не давая мне опомниться, он почти силой тянет меня за собой. На ходу дает наставления, как держать себя, чего остерегаться, выбрасывая при этом слова так быстро, что я едва успеваю улавливать их смысл.

— Поддержись, Митрич! Будь тверд! Главное, не сдрейфи! Не обращай внимания, кто бы ни пришел. Работай себе и — баста! Несколько минут только. И тогда все. Слышишь? Эх, вот кабы подфартило!

Входим в кочегарку. Светло. Жарко. Котлы, вздрагивая, однообразно мурлычут свою никому не понятную песню.

Трофимов, беспокойный и потный, приоткрывает немного дверь топки и дает мне в руки большой лом.

— Это, чтобы в топке шуровать. Жди, я скажу тебе, когда нужно действовать. За кочегара будешь, понимаешь? А я тем временем начну продувать водомерные стекла. И погляди, как мы их обкрутим. Ну, аллах, выручай!..

Послышался непонятный для меня говор.

— Начинай! — командует мне Трофимов, и раздается пронзительное шипение пущенного им пара.

В этот момент в кочегарку ввалилось несколько человек англичан.

Превозмогая свое бессилие, я нагибаюсь и открываю дверь топки. Яркий свет пламени режет мне глаза. Обдает сильным жаром. Неуклюже тычу ломом в раскаленный добела уголь. В руках у меня такая тяжесть, словно я держу целый железный брус. Обожженный ранее бок как будто кто раздирает когтями. Проходят минуты три-четыре. Силы истощаются. Голова вспухает, точно наливаясь свинцовой тяжестью. Топка кажется огненной пастью. В глазах повернулись все предметы, виски сдавило. Не выдержали ноги, резко и коротко подкосились колени, и я упал. Падение вызвало прилив сознания. Боже мой, ведь эти люди могут заметить, что я чужой. И тогда все надежды, все мечты рухнут безвозвратно. Сейчас арестуют, вернут в Россию...

Я превозмогаю себя. Несколько раз подчеркнуто громко и уверенно повторяю грубое ругательство. Усевшись, поднимаю одну ногу и внимательно осматриваю сапог... Чувствую, что вплотную надвинувшаяся опас-

ность укрепила мой дух. Я могу спокойно ожидать конца...

— Друг мой! Ведь ушли! — радостно кричит Трофимов и, схвативши за плечи, сильно трясет меня.— Спасен, говорят тебе! Понимаешь? Подавись я угольной ямой, коли вру...

От восторга он своей тяжелой пятерней хватил меня между плеч.

— Э, да ты совсем клячей стал. Ну, ничего, ничего... Пройдет...

Начинаю понимать, что я действительно спасен, и грудь моя наполняется радостью.

Немного погодя отводит меня в угольную яму и сейчас же убегает за моим платьем. Однако вернулся часа через два, держа в одной руке мое платье и лампочку, а в другой — ведро воды.

— Извини, что очень замешкался,— говорит он угрюмо.— Там арестовали одного...

— Где?

— Наверху, в товарном отделении нашли. Под брезентом лежал. Видать, из рабочих какой-то. Лет под тридцать, пожалуй, будет. Строевые матросы захватили его с собой. Этакие бараны безмозглые: не сумели спрятать как следует. Тьфу...

— Где же теперь?

— В каюте заперт на замок. Где же, ты думаешь? Акула-то наш во как обрадовался! Как увидал того, так и ощерился. У-у, дьявол! В Россию повезет. Ну, да ладно: посмотрим еще, довезет ли до России-то... А пока, парень, начинай-ка свою физиономию в порядок приводить.

С помощью кочегара я в несколько минут умылся и переоделся.

Трофимов провел меня к себе в помещение и усадил за стол.

— Оглядись немного и отдохни. В случае чего — скажи, что в гости, мол, ко мне пришел, и больше никаких. Из города, стало быть, из Лондона. Это бывает.

Угощает супом. Ем без всякого аппетита, почти с отвращением проглатывая пищу, только затем, чтобы запастись на дорогу силой.

Наконец Трофимов перевязал мне чистой тряпкой

обожженную щеку, которая от жары в кочегарке снова разболелась, и сказал:

— Ну, парень, давай-ка помаленьку наматывать на берег.

Выходим на верхнюю палубу и, обходя открытые люки, направляемся к сходне. Я жадно всматриваюсь в окружающую меня новую жизнь.

На ясном бледно-голубом небе ярко пылает солнце. С берега тянет весной, теплой, радостной. Дышу смело и глубоко.

Работа в разгаре. Одни суда нагружаются, другие разгружаются. Докеры, рослые, сильные, с обветренными лицами, выполняют свой каторжный труд с такой стремительностью, словно они, доживая последние часы, порешили сразу покончить со всеми делами. Наполненные повозки отъезжают прочь, стуча о камни, а вместо них появляются новые. Паровые катера, пересекая гавань, жалобно воют, точно от боли. Грохочут лебедки. Крики людей тонут в общем гуле портового трудового дня. И вдруг вблизи нас, выделяясь из этого хаоса звуков, раздается протяжный, потрясающий рев. Я оглядываюсь. Это шлет свой прощальный привет огромный пароход, отчаливая от берега, взбудораживая зеленую муть воды. Вот они, английские доки. Какой водоворот силы, какая напряженность!

Берег... Английский берег, давший приют стольким беглецам! Я ощущаю его под ногами! Нет, еще не все, надо еще выйти из гавани. Точно волной несет меня вперед. Кажется, что я вырвался из кромешного ада и меня горячо приветствует жизнь, энергичная, шумная и кипучая.

Мелькнули ворота и сонливо сторожащий их полицейский, грозный и жирный, но смирный, как теленок, и мы — на улице города. Пройдя квартала два, мы сворачиваем в узкий переулок.

— Вот когда ты свободен, как птица,— остановившись, ласково говорит мне Трофимов.— Можешь идти на все четыре стороны.

Вытаскивает что-то из кармана и сует мне.

— Это что? — спрашиваю я.

— Деньги английские. Пригодятся тебе. Кочегары так порешили...

Не хотелось брать от него деньги, но пришлось уступить его настойчивой просьбе.

— Доложу я тебе, Митрич, одну новость!

Он оглядывается вокруг и откашливается. Лицо его становится грустным.

— Приходил к нам на корабль человек. Надо думать, из образованных. Все расспрашивал у команды...

— О Наташе? — догадываюсь я.

— Да... «С этим, говорит, кораблем должен приехать мой друг, молодой парень, он мне, говорит, письмо послал перед тем, как сесть на корабль». И показывает нам письмо. Оказывается, что он уже дня три поджидает ее, покойницу-то. Видать, что истосковался совсем. Долго он приставал то к одному матросу, то к другому. Но тут Петров, чтобы отвязаться, взял да и сказал ему: «Приходил, мол, к нам один малыш, уговорился с нами ехать; через час хотели посадить его на корабль, но он куда-то исчез». Переспросил. Петров опять повторил то же самое. Так он, братец ты мой, человек-то этот, ажно весь вздрогнул. Вздохнул только, но не сказал больше ни слова. И пошел. А как он согнулся-то, Митрич! Точно шесть пудов понес.

Прощаясь, мы крепко обнялись... Я почувствовал у себя на шее могучую, мускулистую руку своего спасителя...

— Может, встретимся когда... Не забывай...

Трофимов, видимо, хотел еще что-то сказать, но от сильного волнения, что ли, как-то растерялся. И, запинаясь, воскликнул только:

— Эх, Митрич! Дай тебе бог счастья!..

— Спасибо тебе, дружище, за все,— ответил я растроганный.

Глаза его вдруг стали влажными. Он последний раз сильным движением тряхнул мою руку и пошел обратно на пароход.

Я посмотрел в его широкую согнутую спину.

Ушел последний человек, знакомый, близкий и понятный мне... А там, впереди... Что там? Какие люди? Какая жизнь?

И я, больной телом, но бодрый духом, двинулся в шумно бурлящий поток лондонской суеты.

БОЙНЯ

Несмотря на осень, день был теплый и ясный. Солнце склонялось к закату, погружая косые лучи свои в воды Финского залива. Свежий приморский воздух жадно вдыхался грудью.

Около ораниенбаумской пристани стоял пассажирский пароход: через несколько минут он должен был отчалить от берега и направиться в Кронштадт. У билетной кассы уже вытянулся ряд спешивших пассажиров. Тут же со своими лотками расположилась торговка, предлагая публике свежий виноград и румяные яблоки. Как водится, кое-где по пристани бродили любопытствующие и провожающие своих знакомых. Присутствовал здесь и неизбежный, вездесущий жандарм; тихо позвякивая шпорами, он степенно прохаживался взад и вперед, прислушиваясь к разговору, и время от времени окидывал публику своим пытливым, подозрительным взором.

Внезапно раздавшиеся перед самым отходом парохода громкие восклицания привлекли всеобщее внимание. Из города к пристани, спускаясь с горы, направлялась группа матросов. Они вели под руки своего товарища, кричавшего и, по-видимому, вырывавшегося из их рук. Исступленный голос его странно, необычно поражал слух.

— Ироды! Что вы сделали со мной? Вы сгубили мою душу! — неизвестно к кому обращаясь, прокричал он, когда матросы подошли к пристани.

Среднего роста, широкоплечий, но с худым лицом, искаженным глубоким страданием, этот матрос дико

вращал глазами, выражавшими ужас и отчаяние. Руки его были скручены назад и связаны полотенцем. Кусая до крови губы, он рвался из рук и упирался, но его крепко держали четыре человека.

— Православные! — продолжал кричать связанный матрос.— Я убийца... Я пролил кровь своего брата... Стал хуже Каина...

Вся публика собралась вокруг матросов. Каждый спешил узнать, в чем дело.

— Боже мой, что это с ним случилось? — перекрестившись, испуганно спросила одна женщина.

— Разойдись, разойдись! Чего столпились? Разве не видите, что сумасшедшего ведут? — властно пробасил жандарм, расчищая дорогу к трапу.

Матросы кое-как втащили товарища на пароход и, положив его на палубу, связали ему ноги. Он, ударяясь о палубу головой, напрягал все силы, чтобы подняться, и неистово вопил,— то кого-то проклиная, то раскаиваясь в каком-то своем преступлении.

А сопровождавшие стояли возле, с тоской и недоумением поглядывая кругом.

Сюда ж подошел и морской офицер, молодой мичман, выхоленный, с гладко выбритым лицом и тупым подбородком.

— Куда вы его отправляете? — показывая рукой на лежавшего матроса, спросил он у квартирмейстера, назначенного старшим над сопровождавшими.

— В госпиталь, ваше бродье,— ответил тот, приложив руку к фуражке.

— Что с ним?

— Так что из ума вышел, ваше бродье! Это уж теперь другой. Третьеводни тоже одного отправили. Тот все молчал и вниз глядел. Ровно столбняк на него напал. Тоже можно сказать, что и еще будут полоумные.

— Как так? Почему?

— Да так уж оно должно быть. Все стрелки на людей стали не похожи. От еды отстали. Почернели. Ничего не говорят, точно языки откусили. А смотрят так страшно, исподлобья. Ажно жутко стало в роте.

— Да ты говори толком, что случилось! — повышая голос, крикнул на него мичман, все еще не понимая матроса.

— Я и то говорю, ваше бродье. Подействовало это на них здорово. Недели полторы назад это было: матросов они расстреливали.

Офицер вдруг вздрогнул и смутился. Не сказав больше ни слова, он круто повернулся и торопливо зашагал к каютам первого класса.

Между тем «умалишенный», обводя глазами толпившихся около него людей, не переставая, кричал:

— За что я в них стрелял? За что убивал?.. А потом штыком... «Я ведь жив»,— говорит, а я его штыком... прямо в живот. Ротный мне велел... Пропащая душа моя... Убейте меня!

Матросы, не зная, что им делать дальше, застенчиво переглядывались и неуклюже топтались на месте. Лица их были хмуры и бледны. По-видимому, они чувствовали себя неловко.

— Вот оно, братцы, что значит убийство-то,— задумчиво заговорил один из них и робко взглянул на квартирмейстера.

— Ну, неча зря болтать! — прервал его тот.— Знаешь, что за это ноне бывает?

В это время пароход гулко заревел и, шумно захлопав колесами по воде, начал отваливать от берега. Еще минута, и он уже был в ходу.

Оставшиеся на берегу люди еще долго с недоумением смотрели на удалявшийся пароход, который, бурля и волнуя сверкающую гладь воды, все больше и больше увеличивал ход.

То, что так угнетающе подействовало на стрелковую роту, произошло в Кронштадте на форте номер шесть в 1906 году.

Было еще темно. Кронштадт, погруженный в предрассветный сумрак, казался сплошной уродливой массой черных неровных возвышенностей, и только сверкавшие кое-где огоньки свидетельствовали о том, что это город. Здания крепости, немые свидетели того, что должно было здесь совершиться, зловеще поднимались ввысь — холодные, угрюмо-тоскливые... Из амбразур казематов сурово выглядывали пушки, зияя своими черными жерлами. Дул резкий, порывистый ветер. По небу

ползли тяжелые, свинцовые тучи, скрывая собой уже начавшие меркнуть звезды. Море глухо шумело. По временам большие волны со страшной силой набегали на каменные глыбы крепости и, разбившись в мелкие брызги, с жалобным стоном убегали обратно слабыми струйками. Безнадежностью и унынием веяло от всей этой картины...

На месте, назначенном для исполнения приговора «суда скорого, правого, милостивого», были уже вкопаны два столба в двадцати саженях друг от друга, а между ними протянута толстая веревка на высоте половины человеческого роста от земли. Сюда еще за полтора часа до казни привели девятнадцать приговоренных к смерти матросов.

Одни растерянно, удрученные горем, другие с гордо поднятыми головами и смелою, уверенною поступью подошли к роковому месту. Озирались вокруг, ища, вероятно, близких сердцу людей. Но напрасны были их поиски. Здесь стояли лишь чужие, вооруженные винтовками люди, которые, вытянувшись в струнку и неподвижно застыв, были похожи на бездушные изваяния. И все кругом: мутное небо, море, подавленное густой серой мглой, угрюмые силуэты крепостных твердынь, черневшие во мраке, темная неподвижная громада людей, замершая в зловещем ожидании, слабое мерцание фонарей, дрожавшее на стали ружей,— все это было так согласно, все сливалось в одно ощущение ужаса и смертельной тоски. Но осужденные, казалось, спокойно и твердо ждали того, что было неотвратимо...

Их подвели к канату и поставили в один ряд. Перед ними выстроилась рота матросов стрелковой команды. Состоя из самых отсталых и забитых благодаря «особому обучению» людей, она, несомненно, лучше других могла выполнить предназначенную ей роль убийц. Их нарочно для этой цели привезли из Ораниенбаума. Но «на всякий случай» за стрелками-матросами, чтобы они не отказались расстреливать своих товарищей, была поставлена рота гвардейских егерей, за ней в той же позиции рота Енисейского полка, а позади всех пулеметы.

Долго, мучительно долго тянулось время, пока победители приготовлялись к кровавой расправе. Те, от кого

зависела развязка, казалось, наслаждались медленной мукой приговоренных к смерти людей.

Осужденные были одеты по-летнему, и холодный осенний ветер пронизывал их до костей. Между ними поднялся ропот.

— Долго ли вы будете нас так мучить? — слышались голоса, дрожавшие злобой и негодованием.

— Прикончите нас скорее!..

Но благородные исполнители кровавого правосудия, во главе которых находился командир N-ского пехотного полка, как будто ничего не слыша и не замечая, равнодушно отдавали распоряжения. Они не торопились.

Между тем на дворе уже забрезжил утренний рассвет, разгоняя сумрак ночи.

Наконец приступили к чтению смертного приговора. Но едва раздались первые слова, как, заглушая их, вдруг поднялся и задрожал густыми стройными звуками печальный и величественный мотив. Это пели осужденные:

Мы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу.

Стрелки, услышав это и выйдя из оцепенения, внезапно всколыхнулись, точно по сердцу каждого из них чем-то больно резнуло. Мрачные лица их судорожно смотрели на тех, кого они через некоторое время, исполняя волю душителей свободы, должны будут уничтожить.

А обреченные, изливая в этой песне всю скорбь и муку, продолжали петь:

Мы отдали все, что могли за него,—
И жизнь свою, честь и свободу...

Скорбные звуки лились плавно и печально. По временам голоса поющих сливались в один грозно рыдающий напев, который несся над необъятной морской ширью куда-то вдаль, точно его подхватывал ветер. Казалось, что это вырвалась из тяжелых оков мятущаяся человеческая душа и горестно зарыдала, жалуясь кому-то на несправедливости, которые творятся на земле.

Приговор так и не был прочтен: начальство заметило, что настроение стрелков-матросов и остальных сол-

дат становится все тревожнее, и поторопилось покончить с обреченными.

К ним подошел священник, но, за исключением двух человек, все решительно отказались от его услуг.

— Лучше, батя, обратитесь с наставлением к тем, которые залили кровью всю нашу страну,— посоветовал один из осужденных.

Тогда их начали привязывать к канату и надевать им на головы небольшие мешки. Это дело приказали выполнить десяти кочегарам, присланным сюда из 19-го флотского экипажа специально для погребения казненных. В просьбе осужденных оставить глаза открытыми было отказано.

— Не могу-с. Это было бы против закона,— заявил командир полка.

— Да разве этих скорпионов можно о чем-либо просить?! — произнес кто-то из осужденных.

— Молчать, подлец! — заревел командир.

— Чего молчать? — продолжал тот же голос.— Ведь все равно две жизни не отнимешь, стерва николаевская!

— Мерзавец! — процедил сквозь зубы командир полка и, сжимая кулаки, злобно набросился на кочегаров:— Долго ли вы будете с этими негодяями возиться? Хотите, чтобы и вас я поставил рядом с ними?

Кочегары заторопились. На лицах их видна была растерянность, руки дрожали.

— Боритесь, товарищи, до конца, пока не уничтожите всех народных злодеев,— говорили одни из осужденных.

— Выручайте наш бедный, замученный народ,— прибавляли другие.

На крайнем левом фланге под крики командира полка разыгралась потрясающая сцена: кочегарный унтер-офицер узнал в осужденном, которого он собирался привязать к канату, своего земляка-односельчанина.

— О, господи, да что же это такое?.. Свиделись-то где... Да как же это?..— бормотал унтер взволнованно.

— Воронов! Дорогой мой! — тихо произнес тот, обращаясь к кочегару.— Передай обо мне всем моим родным. Скажи им, что я умер за правду, за справедливость. Поцелуй за меня моего сынишку. Мой завет ему таков: пусть он будет таким же, каким был его отец...

— Все, брат, передам,— захлебываясь слезами, успел ответить Воронов и, едва держась на ногах, отошел в сторону.

Привязывание было кончено.

— Па-а-альба ротой! — по знаку командира полка скомандовал офицер сдавленным голосом.

Стрелки, колебля фронт, засуетились. Неровно, торопливо загремели затворы. Послышался отвратительный лязг железа. Конец приближался...

— Долой тиранов! Да здравствует свобода! — вдруг очень громко и отчетливо произнес один из расстреливаемых.

Этот дерзновенный крик, вырвавшийся из груди матроса, воодушевил остальных.

— Ура! Ура! — дружно подхватили другие, внезапно охваченные чувством предсмертного воодушевления, и в их голосах слышалось что-то мощное и грозное, чувствовалась несокрушимая, пламенная вера в то, что начатое ими дело не погибнет и что их смерть найдет отклик в сердцах стомиллионного народа, что он в гневе своем, как ураган, низвергнет в прах своих врагов...

— Рро-о-ота! — продолжал офицер команду.

Приподнялась, но тотчас же заколыхалась неровная линия штыков. Волнение стрелков, дошедшее до высшего напряжения, мешало им целиться. Многие из них дрожали. Другие зажмурились, чтобы не видеть, как их жертвы, пронзенные пулями, рухнут на землю.

— Ну, стрелки, если вы не сумели быть борцами за правду, то будьте хоть хорошими палачами! — крикнул один из тех, на кого уже были направлены дула винтовок.— Цельтесь вернее! Стреляйте прямо в грудь...

— Пли!

Раздались неровные, беспорядочные выстрелы. Залп оказался недружным, «сорванным».

Произошло нечто невообразимое. Два или три человека были убиты наповал, некоторые только ранены в живот, грудь, ноги, другие же остались невредимыми. Но первые, падая и натягивая книзу канат, увлекли за собой и остальных.

На земле образовалась барахтающаяся и извивающаяся куча человеческих тел. Легко раненные, обливаясь кровью, подпрыгивали, вертелись вокруг каната, делая

конвульсивные движения. Те, кого не коснулись пули, в ужасе рвались в стороны, но тщетно, так как были туго привязаны. Они вскакивали на ноги, спотыкались и падали снова. Слышались стоны, проклятия, дикие вопли.

Стрелкам было выдано по два патрона. Офицер, командовавший ротой, приказал выпустить по второй и последней пуле. Но стрелки, растерявшись, целились плохо, стреляли наугад. Да и трудно было попасть в эти корчившиеся и бьющиеся тела. Душу раздирающие крики оставшихся в живых, стоны и ругательства смешались в страшный хор нечеловеческих звуков.

— Изверги! Живодеры! Будьте прокляты! — выделился чей-то хриплый голос.

— Боже! Где же твоя справедливость?! — в отчаянии прокричал кто-то.

Снова выдали стрелкам патроны, и снова они зарядили винтовки. Началась трескотня ружейных выстрелов, длившаяся несколько минут. Теперь уже палили без всякой команды и с близкого расстояния.

Но те, над кем производилась эта зверская расправа, не умирали, точно они были неуязвимыми. Они не переставали метаться, опрокидываться и корчиться в судорогах. Многие из них принимали мучительно-неестественные позы, то свивались в кольцо, то топтались на одном месте на четвереньках, то, повалившись на спину, нелепо двигали в воздухе ногами. Живые, дергая канат, подбрасывали мертвых, производя на окружающих такое впечатление, что из расстреливаемых никто еще не убит.

Тогда было приказано докончить их «врукопашную». Одни из стрелков, словно раздражаясь упорством осужденных, как бы сопротивлявшихся даже их пулям, доходили до неистовства. Проснулись звериные чувства, разыгрались кровожадные страсти. Свирепствуя, они с невероятной бессердечностью наносили удары уже полумертвым матросам, срывая у некоторых мешки с голов и уродуя им лица. Другие, в ужасе от совершенного дела, набрасывались на осужденных с не меньшим ожесточением, стремясь окончить, прекратить этот кошмарный сон наяву. Добить, уничтожить, приколоть, но скорее, скорее, чтобы не заставили еще раз... и поднимались приклады, и разбивались черепа, и вонзались штыки. Били даже и тех, кто давно уже был мертв. Над

людьми здесь проделывали то, что невозможно увидеть ни на одной скотобойне.

Остальные солдаты безмолвно смотрели на это страшное зрелище. Никто из них не ринулся на защиту своих товарищей; ни у кого не хватило даже смелости крикнуть громкое обличительное слово этой шайке «законных» разбойников, хотя большинство солдат смотрело на все это с глубоким омерзением.

Наконец тела казненных перестали корчиться. Замерли крики, смолкли и стоны. Приступили было к погребению, как вдруг из неподвижных трупов, застывших в вечном и таинственном сне, привстает одна окровавленная фигура и слабым, дрожащим голосом произносит:

— Братцы!.. Да как же я-то... Я ведь жив...

По приказанию ротного один стрелок ударом штыка в живот прикончил и этого.

Казненных стали складывать в большие мешки, которые должны были заменить собою гробы. Но мешков «оказалось» только десять штук. Лишь с трудом удалось втиснуть в них девятнадцать изувеченных трупов.

Когда все было готово, мешки погрузили на пароход и отвезли за Толбухин маяк. Там, привязав к ним железные грузы, выбросили их за борт.

Волны расступились и скрыли в своих холодных и мрачных глубинах тела жертв необузданного произвола.

ОДОБРЕННАЯ КРАМОЛА

В окна флотского экипажа смотрит осенняя ночь, темная и холодная. Нудно завывает ветер, как изголодавшаяся нищенка, и нетерпеливо барабанит о стекла каплями дождя; он словно сердится, что внутри этого длинного кирпичного здания, в выбеленных камерах, ярко горят газовые рожки и царит тепло.

В такую погоду никому не хочется идти в город: матросы сидят на своих койках, покрытых серыми одеялами, скучают, распивают чай, в шутку перебраниваются, читают или же слоняются из одной роты в другую по знакомым и приятелям. Какой-нибудь старый моряк рассказывает о своих приключениях в дальних плаваниях, о чудесах жарких стран, ловко переплетая действительность с красивым вымыслом и вызывая удивление у молодежи.

Пахнет особым казарменным запахом.

В одной из камер машинный квартирмейстер первой статьи Дмитрий Брагин, сидя на корточках у раскрытого сундука, перелистывает толстую, только что разрезанную книгу. Его большая круглая голова упрямо наклонена, черные брови строго нахмурены, а маленькие подслеповатые глаза быстро шарят по страницам. Всегда одинокий, он среди команды считается загадочным человеком. Если кто-нибудь из матросов ругает начальство, он говорит:

— Ты, брат, тише!

— А что? — спрашивает тот.

— Всякая власть от бога.

— А ты откуда знаешь?

— Так святые отцы говорят,— отвечает Брагин, но смотрит на матроса так насмешливо, точно подзадоривает его.

Иногда вытащит из сундука библию, как бы стараясь цитатами из нее подтвердить свою мысль, но читает те места, где говорится как раз обратное.

— Нет, не то,— заявит вдруг он, кладя библию обратно в сундук.— Забыл я, где это за власть-то говорится. После найду...

В то же время в глазах начальства это — примерный унтер-офицер, хорошо знающий свое дело, исправный по службе и усердно посещающий церковь.

Матросы отзываются о нем по-разному.

— Не поймешь его... Не то больно умен, не то пустая голова.

— Он только с виду дубина стоеросовая, а черепок у него работает на тридцать узлов...

Брагин, просматривая книгу, сияет весь, словно жених перед желанной невестой.

— Вот это здорово! — хлопнув ладонью по книжке, восторженно восклицает он.

— Ты что это? — спрашивают его матросы.

— Так... Книгу хорошую достал. После справки вслух буду читать... Вы отродясь ничего подобного не слыхали.

Брагин перебирает свои книги, едва умещающиеся в сундуке. Тут «Сила и материя» Бюхнера и «Четьи-Минеи», «Библия» и сочинения Штрауса, «Требник» и «О происхождении видов» Дарвина. Вся крышка сундука залеплена картинками с изображениями святых отцов.

— Сколько, поди, денег потратил на эту чепуху, а для чего, спрашивается? — замечает один марсовой, лежа на кровати и зевая во весь рот.

— Сразу видать, что замешан на пресной водичке,— отвечает Брагин,— иначе не рассуждал бы так.

— А ты — на дрожжах?

— На самых настоящих. Поэтому меня трудно превратить в болвана.

— На справку! — проиграв в медную дудку, командует дежурный по роте.

Простояв на перекличке и пропев вечерние молитвы, матросы толкутся около Брагина, прося:

— Ну-ка, браток, уважь публику!

— Да уж будете довольны,— отвечает Брагин и достает из-под подушки книгу.

Он читает стоя, не торопясь. Голос его, немного вздрагивая, звучит все громче и внятнее, брови нахмурены, а худощавое лицо серьезно, как у проповедника.

Матросы, собравшиеся почти со всей роты, слушают его с напряженным вниманием, застыв на месте, чувствуя какую-то смутную тревогу. И не удивительно: в книге резко критикуется царское правительство, беспощадно вышучивается полицейская религия, а попы бичуются такими резкими сарказмами, что, кажется, от них летят только клочья. Раздаются слова, новые, страшные, никогда еще не слыханные, разрушая, как каменные глыбы, установившиеся взгляды на жизнь. Все озарено пламенем глубокой мысли, слушатели охвачены трепетом и безумным страхом от впервые вспыхнувшей перед ними во всем своем ослепительном блеске правды.

— Брось, слышь! В остроге сгноят... Разве можно это при всех читать? — толкая Брагина, предупреждают его друзья.

— Не мешайте! — резко отвечает машинный квартирмейстер и, окинув свою аудиторию торжествующим взглядом, вытирает рукавом форменки потное лицо.

— Это он из головы выдумывает,— воспользовавшись паузой, кричит кто-то из толпы.

— Подойди и посмотри!

Несколько человек, протолкавшись вперед, с любопытством заглядывают в книгу, щупают ее руками, вырывая друг у друга.

— Отступи на мостовую! — кричат им другие.

— Продолжай читать! Читай дальше! — гудят нетерпеливые голоса.

Брагин, усевшись на шкаф, чтобы его могли все видеть, начинает снова читать с еще большим воодушевлением.

А матросы, придвинувшись к нему ближе, слушают жадно, не спуская с него глаз.

По мере того как прочитываются новые страницы, любопытство их все возрастает. Незримый дух гения,

передаваясь через голос чтеца, покоряет слушателей. И всем кажется, что в их уродливую и сумрачную жизнь врывается золотой луч истины, освещая бездну людской лжи и порока.

— Ай да книга! — изредка восклицают из толпы.

— Ровно поленом, вышибает дурь из головы!

— Другая книга как будто и складная, но такая мудреная, точно ее аптекарь сочинил,— восторгается чей-то бас.— А тут все ясно, что и к чему.

— Тише вы, оглашенные! — раздаются сердитые голоса.

Подходит фельдфебель, прозванный за свое уродливое лицо Кривой Рожей. Никем не замеченный, он прислушивается к чтению, повернув одно ухо в сторону Брагина. Но минут через пять, вскинув голову, он смотрит на машинного квартирмейстера точно на какое-то чудовище и бросается к нему, яростно размахивая руками.

— Стой! Стой, собачий сын! Бесцензурная книга! Арестую! Смутитель!

Из толпы раздаются протестующие голоса:

— Не трогай! Дай человеку кончить!

— После разберем!

— Жарь, Митька, дальше!

Брагина загораживают матросы, плотно прижимаясь друг к другу и не пропуская к нему взбешенного фельдфебеля.

В это время в камеру входит дежурный офицер, плотный господин, грубоватый в обращении с матросами, любитель покричать на них, но в общем считающийся простым, не придирчивым начальником.

— Смирно! — зычно командует, вопреки правилам, дневальный по камере, желая этим предупредить товарищей о приблизившейся опасности.

Шум голосов сразу обрывается.

— Это что за сборище здесь? — гневно кричит офицер.

— Да вот, ваше благородие, я им святую книгу читаю,— выдвигаясь из толпы, отвечает Брагин смиренным, немного певучим голосом и сразу же меняется в лице, придавая ему кисло-постное и глуповатое выражение.

Кривая Рожа сначала спрятался было за спины других, но тут же, дрожа и бледнея, подскакивает к офицеру и, путаясь в словах, бормочет:

— Я, ваше благородие... Я только что подошел... Потом сумление меня охватило... Слышу, что книга не того...

— Подожди ты со своим «не того»! — резко обрывает его офицер и, взяв книгу от Брагина, начинает ее рассматривать.

Все, ожидая трагической развязки, стоят молча и уныло, поглядывая с глубоким волнением то на офицера, то на машинного квартирмейстера. Чувствуется лишь одно — что над головою их товарища нависла гроза, тяжкая и неумолимая, но никто и не подозревает, что книга эта удостоена рекомендации со стороны властей для народных библиотек. Это сборник миссионерских статей, разбирающих учение Л. Толстого по поводу его отлучения от православной церкви. В нем наряду с критическими статьями чуть ли не целиком помещены некоторые из запрещенных произведений этого писателя. Брагин, воспользовавшись этим, читал исключительно лишь Л. Толстого, пропуская измышления его противников.

В камере напряженная тишина. Только слышно, как за окнами экипажа, проливаясь дождем, злобствует осенняя тьма.

Офицер, возвращая книгу Брагину, снисходительно наставляет:

— Читай, читай! Это хорошее дело...

— Рад стараться, ваше бродье!

Офицер, обращаясь ко всей команде, добавляет:

— А вы, олухи, должны слушать его со вниманием, так как книга эта очень добрая и поучительная! Слышите?

— Так точно, ваше бродье! — слабо и сбивчиво отвечает несколько голосов.

— Ну, что ты хотел сказать? — спрашивает офицер, повернувшись к фельдфебелю.

Кривая Рожа, выпрямившись и нагло заглядывая в глаза своего начальника, четко рапортует:

— Да я им, ваше благородие, все тут разъяснил... Такую, мол, книгу непременно надо читать. Очень вра-

зумительно все в ней сказано, а от этого большая польза бывает, и на сердце хорошо действует. Я говорю: умри, но лучше этой книги не достать.

— Дальше? — спрашивает офицер.

— А команда со мной не согласна и шумит, как обалделая.

Офицер, не сказав больше ни слова, повертывается и скрывается за дверью.

Матросы, недоумевая, стоят с разинутыми ртами.

— Безбожники! Сборище нечестивых! Святую церковь забыли! — громко выкрикивает Кривая Рожа, пустив в ход весь свой запас скверных слов, и торопливо убегает к себе в канцелярию, готовый от конфуза провалиться сквозь землю.

ПОПАЛСЯ

Матрос второй статьи Круглов, небольшой, тощий, в темно-серой шинели и желтом башлыке, выйдя из экипажа на двор, остановился. Посмотрел вокруг. Просторный двор, обнесенный высокой каменной стеной, был пуст. В воздухе чувствовался сильный мороз. Солнце, не успев подняться, уже опускалось, точно сознавая, что все равно не согреть холодной земли. Чистый, с голубоватым отливом, снег искрился алмазным блеском. Огромное красное здание экипажа покрылось седым инеем.

Круглов широко улыбнулся, хлопнул себя по бедрам и, подпрыгнув для чего-то, точно козел, быстро побежал к кухне, хрустя снегом.

— Как, браток, приготовил? — войдя на кухню, спросил он у кока, беспечно стоявшего около камбуза с дымящеюся цигаркой в зубах.

— За мешком стоит,— равнодушно ответил тот, кивнув головой в угол.

Круглов вытащил из указанного места котелок, наполненный остатками матросского супа, и, увидев, что суп без жира, упрекнул:

— Не подкрасил, идол!

— Это за семишник-то? — усмехнувшись, спросил кок.

— Рассуди, воловья голова, жалованье-то какое я получаю...

— Это меня не касается.

— Не для себя ведь я... А ежели с тобою этакое приключится...

— Со мною?

— Да.

Кок, сытый и плотный, сочно заржал.

— Приключится? Скажешь тоже? Ах, ты, недоквашенный! Лучше плати-ка скорее, а то ничего не получишь.

Обиженный и недовольный Круглов отдал коку две копейки, спрятал котелок под полу шинели и, поддерживая его через карман левой рукой, вышел на двор. Благополучно миновал дежурных, стоящих у ворот. На улице встречались матросы, женщины, штатские. Разговоры, лай собак, скрип саней, стук лошадиных копыт, хлопанье дверей — все это наполняло воздух глухими звуками жизни.

Весело шел Круглов, поглядывая по сторонам и стараясь не расплескать супа. Но, свертывая с главной улицы в переулок, он столкнулся с капитаном второго ранга Шварцем, вышедшим из-за угла. Офицер был известен своею строгостью, и матрос, увидев его, невольно вздрогнул. Быстро взмахнул правую руку к фуражке, а другую машинально дернул из кармана, облив супом черные брюки.

— Эй, как тебя, что это ты пролил? — остановившись, спросил Шварц.

Матрос тоже остановился, смущенно глядя на офицера и не зная, что сказать.

— Почему же не отвечаешь?

— Жидкость, ваше высокоблагородье...

— Что?..

— Виноват... это... это...— забормотал Круглов и, словно подавившись словами, замолк.

Приблизившись, офицер откинул полу его шинели.

— Ах, вот что у тебя!

А в карманах нащупал куски хлеба.

Матросу стало жарко, точно он попал в натопленную баню.

— Твой билет! — сердито крикнул офицер, обсасывая обледеневшие усы.

Круглов покорно отдал ему маленькую квадратную картонку в жестяной оправе со своей фамилией, назва-

нием роты и экипажа, а тот, прочитав, заговорил, отчеканивая каждое слово:

— Так, одного со мной экипажа. Так! Воровством занимаешься! Казенное добро таскаешь!

Матрос сгорал от стыда.

— Никак нет, ваше высокобродье. Остатки это... Остатки от матросского обеда... В помойную яму их выбрасывают.

— Подожди! Отвечай на вопросы! Куда это хлеб и суп несешь?

Матрос, собравшись с духом, решил сказать всю правду.

— К старушке одной... Булочница она. В экипаж к нам ходила торговать. А теперь занемогла... Лежит. Никого у ней нет. Одинокая...

В голосе матроса слышалась трогательная откровенность.

— Ты ей продаешь провизию? — уже более мягко спросил офицер.

— Никак нет... так даю... из жалости...

Шварц был человек точный, обстоятельный, строго держался закона и никогда не наказывал своих подчиненных, не проверив дела.

— Веди меня к этой старухе.

Идти пришлось недолго. Миновали несколько домов, и матрос привел офицера во двор, откуда они спустились в подвал.

В помещении было темно, сыро, пахло чем-то прокисшим и тухлым. Кроме переднего угла, где стоял стол с обедающими за ним людьми, все остальные были заняты кроватями, корзинами, подушками. На полу валялся пьяный, оборванный мужчина, на нем, взвизгивая, сидела верхом двухлетняя девочка, а вокруг бегали два мальчика, чумазые, босые, без штанов. Около печки возилась с посудой кривая женщина, несуразно толстая, в засаленном фартуке. Девица лет семнадцати, нагнувшись над корытом с горячей водой, намыливала себе голову. Против окна уродливо-горбатый слесарь починял старые, ржавые замки.

Все удивленно уставились на офицера, а он, впервые увидев обитателей подвала, вдохнув отравленный воздух, брезгливо поморщился.

— Где здесь булочница? — поздоровавшись, спросил Шварц, чувствуя какую-то неловкость.

— Какую вам: Петровну или Маньку? — переспросила его кривая женщина.

— Старуху, больную!

— Эта здесь.

Кривая подошла к одной кровати, раздвинула ситцевую занавеску и, толкая рукой в постель, сказала:

— Петровна, к тебе пришли...

Под грудою лохмотьев что-то зашевелилось, а потом высунулась наружу растрепанная седая голова старухи. Лицо было худое, мертвенно-желтое, черные, помутневшие глаза слезились. Шевеля синими губами, точно собираясь что-то сказать, она недоуменно смотрела на офицера.

Шварц хотел учинить форменный допрос, но, смутившись и покраснев, слабо проговорил:

— Извините... как вас... Супу вам матрос принес...

Старуха молча таращила глаза.

Офицер вынул из кармана рубль и, сунув больной, направился к двери.

— Спасибо, родимый,— услышал он хриплый голос.

— Выгружайся скорее и выходи,— сказал Шварц матросу и вышел на двор. От непривычки к дурному воздуху его мутило.

Круглов, опорожнив котелок и карманы, последовал за ним. Радуясь, он благодарно смотрел на офицера, а тот, выйдя на улицу, заговорил просто:

— За доброту твою — хвалю. Молодец!

— Рад стараться, ваше высокобродье!

Офицер сделал серьезное лицо.

— Подожди стараться! Слушай дальше! А за то, что нарушил закон...

Он затруднялся, какое наказание применить к провинившемуся. Нужно бы покарать матроса надлежащим порядком, но ему, точно тяжелый, несуразный сон, мерещилась уродливая, затхлая жизнь подвала и одинокая, забытая богом и людьми старуха. Совесть офицера смутилась, а вместе с нею поколебалась всегдашняя твердость и уверенность.

— Да, вот как...— идя рядом с матросом, удивлялся он сам себе.

Простить матроса совсем он тоже не мог: против этого протестовало все его существо.

— Э, черт возьми!—досадливо выругался он, а Круглов, не расслыхав, спросил:

— Чего изволите, ваше высокобродье?

— А вот что изволю... За нарушение закона ты должен... должен...

И опять не поворачивался язык произнести нужные строгие слова. Мозг озарился мыслью, что, быть может, во всем мире нашелся один лишь человек, этот нескладный матрос, который пожалел старуху, умирающую в чужом доме, среди чужих людей.

Круглов робко косился на офицера, не понимая его волнения.

На дворе экипажа, против канцелярии, Шварц, все еще колеблясь, приказал идти матросу в роту и, когда тот отошел от него, крикнул вслед:

— Слушай! На двое суток в карцер пойдешь!

— Есть, ваше высокобродье! — бойко ответил матрос.

Они разошлись оба довольные.

ПОДАРОК

В косых лучах заходящего солнца ярко белеют каменные здания портового города, золотятся прибрежные пески и, уходя в бесконечную даль, горит тихая равнина моря. Чистое, точно старательно вымытое небо ласкает синевой, и только к западу низко над землей тянутся узкие полоски облаков. Горизонт будто раздвинут — так широко вокруг! На рейде, построившись в один ряд, стоит военная эскадра. Над кораблями легкой, прозрачной пеленой висит дым. В гавани — несколько коммерческих пароходов и рыбачьих лайб, пришвартованных к бочкам.

Жар спадает, увеличиваются тени. Праздные люди тянутся к морю подышать свежим воздухом.

Около деревянной пристани у небольшого ларька толкутся семеро матросов, одетых в белые форменные рубахи и черные брюки. Это гребцы с шестерки. Заигрывая с бойкой круглолицей торговкой, они покупают у нее булки, пряники и фруктовую воду. Тут же, прислонившись к фонарному столбу, стоит толстый городовой, чему-то слегка ухмыляясь.

— Для вас, любезные мои, что угодно уважу...— говорит торговка и, лукаво подмигнув матросам, закатывается смехом.

— Ну! — удивляются матросы.

— Да-с... потому что обожаю...

— Ай да тетка! — восторгается кто-то.

— Эта распалит! — добавляет другой.

Слышится хохот, полный молодого задора.

Старшина шестерки, квартирмейстер Дубов, неповоротливый, как слон, с раскосыми глазами на мясистом лице, посмотрев на свои карманные часы, властно отдает распоряжение:

— Пора на корабль!

Матросы идут к пристани неохотно, оборачиваясь и продолжая болтать с торговкой.

— Ну, шебутись! Довольно языки околачивать без толку! — кричит квартирмейстер.

В это время, осторожно неся в руках корзинку, сплетенную из прутьев, подходит к матросам молодая женщина. Тонкая, хрупкая фигура ее красиво обтянута белой кофточкой и черной юбкой. На голове — модная шляпка со страусовыми перьями, но заметно уже поношенная, как поношены изящные туфли на ногах. Из-под темной густой вуали видны пушистые светло-русые локоны, придающие ее бледному, правильно очерченному лицу особую привлекательность. Она взволнована, что видно по ее большим зеленым, как изумруды, глазам.

— Вы с крейсера «Молния»? — спрашивает она у матросов, вглядываясь в надписи на их фуражках.

— Так точно,— выдвигаясь вперед, отвечает квартирмейстер Дубов.

— Знаете мичмана Петрова?

— Как же не знать, ревизор наш.

— Так это брат мой родной...

Дубов прикладывает правую руку к фуражке, а остальные вытягиваются.

Молодая женщина бросает тревожный взгляд на городового, а тот по-прежнему стоит у фонарного столба, точно прилип к нему, и, забыв о своих обязанностях, задумчиво смотрит в лазоревую даль, откуда, направляясь к гавани, идет неведомый корабль. Потом она говорит:

— Передайте, пожалуйста, ему вот эту корзинку. Только будьте с нею как можно осторожнее: в ней деликатные вещи. Если что случится, брат вас накажет...

Своими манерами, вкрадчивостью и беспокойством она напоминает кошку, собирающуюся на глазах хозяев совершить преступление. Это заметил бы каждый, но не замечают этого матросы, которые смотрят на нее восхищенными глазами, слушают, как сочный ее голос звенит, точно ручей.

— Будьте спокойны, барышня,— говорит Дубов.

А женщина, подавая ему небольшой запечатанный конверт, добавляет:

— Письмо тоже передайте Петрову.

— Есть!

Женщина торопливо уходит.

Матросы, бережно поставив корзинку в корму шестерки, размещаются по банкам и отталкивают лодку от пристани. Руки их обнажены, видны здоровые упругие мускулы. Изгибаясь, гребцы широко и дружно взмахивают веслами, точно сильная птица крыльями. Поскрипывают уключины, лениво всплескивается соленая вода. Шестерка легко скользит по зеркальной равнине, оставляя сзади себя струю с мелкой дрожащей рябью по сторонам. Солнце, спрятавшись за узкое сизое облачко, золотит края его, морская поверхность омрачается тенью, но через несколько минут оно снова показывается и ярко горит, щедро заливая все сиянием. К пристани один за другим мчатся паровые катера, отвозя писарей за вечерней почтой. С ялика, направляющегося в море, слышатся веселые крики и смех разряженных парней и девиц.

Шестерка выходит из гавани в море.

— Эх, и барышня, доложу я вам! — покрутив головой, мечтательно говорит квартирмейстер Дубов, сидя на руле.— Прямо антик с гвоздикой!..

Подумав и взглянув на корзинку, спрашивает как бы самого себя:

— Что же это такое — деликатные, говорит, вещи...

— Деликатные? — переспрашивает один из гребцов.

— Именно.

— Фарфор, не иначе... Разные безделушки — вроде голых баб, собачек. У господина Петрова в каюте полный стол таких штучек...

— Не то,— возражает другой уверенным тоном.— Деликатные, стало быть, деликатес. Пища такая есть. Когда служил вестовым, я сам едал такую. Это из сливок, шоколада, из ликера, других разных разностей делается. Поешь — дня два сладостью рыгаешь. А чуть тряхни — развалится...

— Ну и звонила! — презрительно бросает ему Ду-

бов.— Три года во флоте прослужил, а ума ни капельки не нажил.

Матросы некоторое время спорят, потом вспоминают про торговку. Приближаясь к своему крейсеру, шестерка при круглом повороте ударяется бортом о трап. Из корзинки раздаются какие-то странные звуки. Матросы, вытянув шеи, сидят, полные недоумения.

— Выходи! — перевалившись через фальшборт, кричит на них с крейсера вахтенный начальник.

— Кряхтит что-то, ваше бродье,— растерянно отвечает квартирмейстер Дубов.

— Кто кряхтит, где?

— В корзинке.

— Да что там такое?

— Деликатные вещи.

— Какие?

— Не могу знать... А только будто живое что-то...

— Дурак! Тащи сюда... Посмотрим...

Дубов берет в руки корзинку и, бережно держа ее перед собой, поднимается на палубу. Странные звуки становятся все слышнее. Вахтенный начальник, заинтересовавшись, приказывает открыть скорее корзинку, а молодой штурман, большой шутник, смекнув что-то, бежит в кают-компанию.

— Господа, пожалуйте на шканцы! — объявляет он во всеуслышание.— Чудо увидите...

Офицеры, веселые, с шумом и смехом выходят на верхнюю палубу. Из носовой части судна быстро бегут матросы. Обступая корзинку, люди жадно всматриваются в середину круга, где видна лишь согнутая спина матроса. Это Дубов, который, выпрямляясь, поднимает на широких ладонях двух- или трехмесячного ребенка, чуть прикрытого белой пеленкой, громко заявляя:

— Парнишка, ваше бродье!

Ребенок, не открывая глаз, ворочается и что-то хочет поймать беззубым ртом. Среди офицеров и команды слышны восклицания и сдержанный смех.

— Кто это привез? — протолкавшись на середину круга, сердито спрашивает старший офицер, хмурясь и шевеля большими, с проседью, усами.

— Я, ваше высокобродье! — отчеканивает Дубов, неумело держа ребенка на вытянутых руках.

— Зачем?

— Барышня одна прислала... Господину Петрову... И письмо ему есть...

На несколько секунд воцаряется напряженная тишина. Сотни глаз молча устремляются на мичмана Петрова, который стоит тут же вместе с другими офицерами. Выхоленный, опрятный, в белом, как свежий снег, кителе, гордо держащий голову, с черными, завитыми в колечки усиками на беззаботно улыбающемся лице, он в одно мгновение становится таким бледным, точно из него сразу выпустили всю кровь. Потом на лице его появляется страшная гримаса. Пошатнувшись, он быстро, неровным шагом уходит к себе в каюту, бормоча, точно пьяный:

— Это подлость... Надо полиции заявить... Поймать эту сволочь... Я не виноват...

Ребенок, поморщившись, чихнул раза два и, точно почувствовав всю горечь своего существования, залился вдруг звонким плачем.

— От родного сына отказался! — удивляются матросы и укоризненно качают головами, а другие весело смеются.

— Слава богу — команды прибыло!

Офицеры стоят молча, переглядываясь и чувствуя себя неловко.

Вахтенный начальник, разогнав матросов, обращается к старшему офицеру:

— Что ж теперь делать с ребенком?

— Я сам не знаю,— пожимая плечами, отвечает тот.— Это дело командира. Пойду доложу ему.

Он уходит.

Багровея, все ниже опускается огромное солнце. Загораются узкие полосы облаков. Город, окрестности его с зелеными рощами, берега, необозримое море — все тонет в пурпуре. Воздух не шелохнется. Вокруг разлита торжественная тишина, нарушаемая лишь плачем ребенка.

Молодые офицеры перешептываются.

— Я знаю эту особу,— сообщает один из них, тонкий, остроносый, с длинной, как у гуся, шеей.— Удивительная прелесть! Правда, кажется, не очень интелли-

гентная, но зато — какие ножки, какой ротик! Одно очарование!

Старший, возвратившись на шканцы, передает вахтенному начальнику распоряжение командира отправить ребенка в полицию.

— Уа-а... уа-а...— точно прося пощады, жалобно кричит малютка, усердно укачиваемый на руках Дубовым.

Тут выступает вперед боцман Груздев, до сих пор не спускавший серых зорких глаз с ребенка. Это мужчина лет сорока, здоровый, жилистый, точно скрученный из стального троса. Смуглое от загара лицо его в шрамах, покрыто мелкой сетью морщин и жесткой, как иглы ежа, щетиной, отчего оно кажется грубым, точно вырубленное на скорую руку топором. Он — бесстрашный моряк, «сорви-голова», с матросами обращается сурово, ругая провинившихся отборными словами, пуская в ход кулаки. Теперь же он смотрит еще более свирепо, чем когда-либо, и, выпятив крепкую грудь, отдавая честь, глухо обращается к старшему офицеру:

— Ваше высокобродье, дозвольте мне ребенка взять...

— Для чего? — удивленно спрашивает тот.

— Вспою и вскормлю его... Бездетный я... Вот и будет у меня за сына...

— Выдумщик ты, я вижу...

Груздев, тяжело дыша, волнуется, широкие ноздри его вздрагивают. Возвысив голос, он умоляет:

— Я серьезно говорю, ваше высокоблагородье, отдайте мне ребенка. Куда его полиция денет? В воспитательный дом отдаст... на погибель... Жалко. Я его в люди выведу.

Ребенку попадает в рот пеленка. Он, замолкая, начинает сосать ее. Черные блестящие глазки его открыты, на длинных ресницах, сверкая, дрожат росинки слез.

— Верно, жаль. Тоже ведь — существо...— взглянув на него, говорит старший, смягчаясь, и лицо его вдруг озаряется доброй улыбкой.— Ну, что ж, если уж так хочешь, бери ребенка. За три дня успеешь отвезти его к жене?

— Так точно.

— Хорошо, попрошу у командира отпуск для тебя.

— Покорнейше благодарю, ваше высокородье! —просияв, радостно отвечает Груздев.

Он берет от Дубова ребенка, который снова расплакался, и спешит в носовую часть судна, приговаривая:

— Молчи, малый, молчи... Моряку плакать не полагается... Сейчас я тебе поужинать дам.

— Что, Евстигней Матвеич, сынка приобрели?—шутливо спрашивают его матросы.

— Да, да, братцы, приобрел... Теперь я с сынком...

Через несколько минут, достав от офицерского повара бутылочку и молоко, боцман уже сидит у себя в маленькой каюте. Рядом с ним стоит корзинка. Он заперся на ключ. На коленях у него лежит малютка, жадно высасывая розовым ротиком молоко из бутылки и рассматривая незнакомое лицо.

— Ишь как проголодался, сиротик бедный. Ну, ничего, набирайся силы. Задружим с тобой... Дмитрием буду звать, а попросту — Митькой...

Груздев, тихо поцеловав ребенка в голову, приветливо улыбается. Лицо его просветлено радостью, щурясь, сияют теплой лаской серые глаза, от которых лучами разбегаются морщинки. Он продолжает тихо говорить, урча, точно довольный медведь:

— Подрастешь, вместе в кругосветное плавание махнем... Эх, жавороночек ты мой, много разных чудес тебе покажу! Погуляем-то как! И морскому делу научу... А не хошь моряком быть — в науку отдам. Есть у меня четыре сотняжки. К тому времени еще прикоплю... Так-то, брат, ученым будешь...

Накормив ребенка, боцман кладет его на койку, а сам, осветив электрической лампочкой свою каюту, становится перед ним на колени. Ребенок, почти голый, в одной лишь короткой рубашечке, перебирает ручками и ножками.

— Э, да ты гимнаст первый сорт! Славно, Митек, ей-богу, славно!..

Малютка кажется здесь таким милым, точно распустившийся цветок. Боцман не может налюбоваться ребенком, пока его не зовут наверх.

Темнея, медленно угасает вечерняя заря. Небо украшено узорами сверкающих звезд, точно там, в беспредельной выси, готовятся к какому-то торжеству, Море

дышит бодрящей свежестью. В темной воде, дробясь, отражаются огни кораблей. Обозначая время, на крейсере начинают бить в колокол. Вдали слышатся ответные звуки, точно суда перекликаются между собою. Веселый, переливающийся гул меди, огласив тишину ночи, тихо замирает в просторе моря.

Боцман с ребенком на руках спускается по трапу в паровой катер. Он настроен так празднично, как никогда.

— Баба-то моя, слышь, как обрадуется такому подарку...— в безотчетно радостном порыве обращается боцман к рулевому, а тот, не отвечая, командует в машину:

— Ход вперед!

Катер вдруг точно ожил, зашипел и, дрожа всем корпусом, шумно рассекая воду, понесся по направлению к городу, залитому огнями.

ПОШУТИЛИ

Крейсер 2-го ранга «Самоистребитель» — как называли его матросы за то, что он уже неоднократно покушался разбиться о камни,— глубоко и ровно бороздил зеркальную гладь воды, держа курс к французским берегам.

Ветер замер. Сверху лились потоки зноя. Широко раскинулось море и голубело, как небо, а там, где преломлялись в нем лучи солнца, ослепительно сияло.

Усталые матросы, пользуясь свободным послеобеденным временем, крепко спали кто где мог: на палубе, рострах и мостиках. От жары разметались корявые руки и босые ноги с широкими ступнями и кривыми пальцами. Кое-где слышалось звонкое всхрапывание. По временам кто-нибудь лениво ворочался или тревожно поднимал голову, щурясь, бестолково водил вокруг себя заспанными глазами, словно что-то соображая, и снова засыпал мертвым сном.

Крейсер, недавно окрашенный в серо-зеленый цвет, с вымытой палубой и сверкающей медью, был безукоризненно чист и опрятен, словно приготовился к торжественному празднику. И несся он по светлой шелковой равнине легко и плавно, оставляя за собою длинное серое облако дыма. Казалось, что его зовет, манит светло-голубая даль, а он, бурля воду, во всю мочь стремится туда, в сияющую даль. Мачты, вытянувшись, точно часовые матросы у флагов, резали синеву неба. Напружинившись, нервно вздрагивали туго натянутые ванты. Над

кораблем, кружась, летали чайки и жалобными криками выпрашивали пищу.

Удар в судовой колокол возвестил, что времени — половина второго.

Вахтенный начальник, петухом прохаживаясь по верхней палубе, отдал приказание:

— Команду будить.

Квартирмейстер Дергачев, высокий ростом, неуклюже сложенный, с круглым загорелым лицом, лоснящимся, как медный бак из-под супа, просвистал в дудку и, набрав в себя воздух, зычно скомандовал:

— Встава-й! Ча-ай пить!

Молодые матросы вскакивали на ноги торопливо и, протирая глаза, испуганно озирались кругом. Старые поднимались медленно и вяло, а некоторые из них, потягиваясь и сочно зевая, продолжали еще нежиться в теплых лучах летнего солнца.

Настроен Дергачев был злобно: час тому назад, передавая командиру какое-то поручение вахтенного начальника, он все перепутал, за что получил жестокий разнос.

— Вставай, вставай! Какого дьявола дрыхнете! — направляясь в кормовую часть судна, сурово выкрикивал он, на ходу подталкивая ногою лежащих.

Матросы из баковой аристократии, недовольные тем, что нарушили их сладкий и безмятежный сон, сердито ворчали:

— Эх, скулила!

— Ишь, как авралит!

— Эй, сват акулы, глотку вылудил бы! А то хрипит!

Дергачев, показывая кулак величиною с детскую голову, огрызался:

— Подожди, дармоеды, я вас еще промурыжу! Черти! И зачем только вас на службе держут!

Поднялся на задний мостик, послышалась отборная ругань. Через минуту и там были все на ногах.

Только один матрос, весь покрытый копотью и грязью, продолжал лежать, не обращая ни на что внимания.

Такая непочтительность к власти сильно задела квартирмейстера, тем более что у этого грязного человека не было видно на плечах капральских кондриков.

— А ты, куча навозная, чего валяешься? Особой команды, что ли, ждешь?

Он оглянулся кругом и поддал пинком по животу раз-другой, точно по мешку с зерном.

Матрос остался неподвижным.

— Вот сонный дьявол! — даже удивился Дергачев.— Ну, подожди, я тебя проучу.

Он снял со своей шеи медную цепочку от дудки и сильно, несколько раз, хлестнул ею лежащего матроса.

Тот даже не пошевелился.

— За что убил человека? — зловеще крикнул чей-то глухой голос.

Дергачев вздрогнул, и лицо его вдруг стало серым. Рука беспомощно опустилась, нижняя губа отвисла, как у замученной лошади. Застыв на месте, он безжизненно, отупелыми глазами оглянулся вокруг,— знакомые лица подчиненных ему людей ответили злорадными взглядами, почти в каждой паре глаз сверкало что-то новое, непривычное, пугающее.

Дергачев попятился, точно его ударила невидимая рука, тяжело передвинул ноги и вдруг, нагнув, как бык, голову, бросился бежать, гремя ногами по ступеням трапов.

Все офицеры, исключая вахтенных, пили чай в кают-компании, когда вбежал туда Дергачев.

— Ваше высокобродье! — падая на колени перед старшим офицером, крикнул он.

— Это что значит? — топнув ногой, тревожно спросил старший офицер.

Дергачев мотал головою, точно желая спрятать ее, хлопал себя в грудь руками и хрипел:

— Помилосердствуйте... Пропал я... Верой и правдой всегда... Сами знаете... Как приказано... Для дисциплины...

— Надрызгался? — почти ласково подсказал офицер, чувствуя недоброе, а все другие, молча поднимаясь из-за стола, окружали Дергачева, сумрачно оглядывая его.

— Ваше высокобродье... Защитите... Жена, дети... Как перед богом говорю: слегка хватил...

Старший офицер, оскалив зубы, снова топнул ногою и поднял кулак:

— Говори, болван, в чем дело?

— Ногой по животу... Глядь — а он мертвый...

В кают-компании стало тихо, и в тишине подавленно прозвучало:

— Как? Кто? Кто мертвый?

— Матрос...

— А-а, так ты его убил! — сорвав фуражку с головы Дергачева, тихо сказал старшой.

И снова наступила секунда тяжелого, жуткого молчания.

— Простите! — завыл квартирмейстер.

— Молчать! — рявкнул старший офицер во весь голос.— Под суд пойдешь, разбойник! Показывай — где?

Все бросились вон из кают-компании, торопливо и невразумительно переговариваясь на ходу, а старший офицер отдал распоряжение:

— Доктора позвать. Фельдшеров и санитаров с носилками наверх. Николай Аркадьич! Идите скорее в рубку и доложите о несчастье командиру.

Юный мичман, оправляясь, побежал в рубку, а офицеры тесной толпой поднялись на мостик.

Дергачев, без фуражки, качаясь, шел впереди всех: лицо его налилось кровью и снова стало медным, а глаза точно выцвели. Вдруг он остановился, вздрогнув, растерянно озираясь, приложив руку ко лбу: на месте, где лежал покойник, никого не оказалось, лишь вдали несколько матросов, приготовляясь к чаю, искоса поглядывали на офицеров.

— Где же убитый? — угрюмо спросил старший офицер.

Дергачев тупо посмотрел вокруг.

— Вот тут он... Вот тут...

— Где?

— Должно, убрали... унесли,— бормотал Дергачев и вдруг крикнул, подняв руку к голове:

— Убежал, ваше высокобродье!

Несколько молодых офицеров фыркнули, матросы ухмылялись, а старшой, перекосив физиономию, вцепился обеими руками в грудь Дергачева и, встряхивая его во всю силу, захрипел:

— Что-о? Мертвецы бегают?! Да ты издеваться надо мной!

— Так точно... Я... как это...— пытался он что-то сказать, но не находил нужных слов: они куда-то исчезли, а на язык нелепо просилась песня про акулькину мать, и это было обидно Дергачеву почти до слез.

Весь задрожав от ярости, старший офицер поперхнулся и тяжело закашлялся.

— На каком основании ты побежал в кают-компанию, а не доложил мне первому? — ядовито придрался к Дергачеву вахтенный начальник, прищурив острые, недобрые глаза.

— Умереть не умерла,— шептал Дергачев.

— Ты что губами шлепаешь? — орали на него.

Он глубоко вздохнул и с усилием плотно сжал губы.

Прибежали фельдшер и санитары с носилками; вслед за ними появился доктор, небольшой человечек; на тощем, желтом лице его вместо бороды сердито торчал клочок рыжих волос, серые глаза были неподвижно мертвы. Матросы называли его помощником смерти.

Наконец, переваливаясь с ноги на ногу и шумно пыхтя, поднялся на мостик сам командир. Низкого роста, но несуразно толстый, всегда потный, с распухшим синим лицом, он похож был на разбухшего утопленника. Нервно теребя свою черную бороду и захлебываясь слюной, он еще издали набросился на старшего офицера:

— На корабле убийство! Безобразие! Как вы допускаете это!

Все вытянулись, но стали меньше ростом, незаметнее, и все замолчали.

— Извините, Анатолий Аристархович, что вас побеспокоили,— оправляясь, виновато, негромко заговорил старший офицер.— Вот этот дурак переполох наделал. Но я положительно не могу его понять. Бог знает что говорит...

Он стал кратко докладывать о происшествии.

Чайки, опускаясь, кружились над головами людей низко, как будто тоже желали узнать, в чем дело.

Дергачев, как столб, стоял в стороне и все смотрел

на то место, где лежал убитый и теперь исчезнувший человек,— глаза его были сухи, и зрачки расширены.

— Это ты что, а? — обратился к нему командир.

Он встрепенулся, быстро приложил руку к голове и, ничего не отвечая, бессмысленно уставился в лицо начальника.

— Как смеешь отдавать честь без фуражки? — закричал командир.

Дергачев продолжал отдавать честь, пока командир насильно не дернул его руку вниз. Голова его была пуста, словно все эти грозные слова начальства вышибли из него мозг. Он чувствовал лишь одно, что все кругом него качалось и двигалось, как во время сильной бури, а в памяти визжали слова пьяной песни:

Умереть не умерла, только время провела-а...

Матросы, заполнив почти весь мостик, с любопытством следили за происходившим. От всей души ненавидя «аврального» квартирмейстера, часто их подводившего под ответ начальству, они были довольны, что и над ним наконец стряслась беда.

Офицеры обратились к ним за разъяснением странного случая.

— Так что мы никакого покойника здесь не видали,— ответил один из толпы матросов.

— Благодаря бога мы еще грудью послужим,— добавил другой.

Общее недоумение все росло, начальство, чувствуя себя глупым, сердилось, досадовало, ворчало.

Командир внимательно посмотрел на Дергачева: у него прыгали губы, а глаза выкатились и дико блуждали.

— Доктор, освидетельствуйте этого человека,— сообразив что-то и нахмурясь, приказал командир.— О результатах сообщите мне.

— Есть! — ответил тот, приложив руку к козырьку.

Старший офицер, успокаиваясь, подошел к Дергачеву и пощупал ему голову.

— Гм...— загадочно промычал он.— Горячая...

Его примеру последовал мичман, маленький, с румяным девичьим личиком.

— Ну, конечно,— подтвердил он и, высунув вперед руки, а голову убрав в плечи, посмотрел на офицеров прищуренными глазами.

Когда Дергачева, сменив с вахты, привели в лазарет, доктор усадил его на стул, внимательно заглянул сквозь пенсне в глаза, понюхал, не пахнет ли изо рта водкой, и начал задавать вопросы:

— Голова часто болит?

Перепуганный пациент, вздрагивая и чувствуя потемнение в мозгу, давал ответы сбивчивые, путался, стонал и охал.

— Ваше благородие... простите. Это нельзя понять. Действительно я ударил, он будто помер. Я так чувствовал, что помер он. Дозвольте перекличку... Как же? А может, он не до смерти помер, а мне погибать? За что?

— Молчи! — крикнул доктор, дергая себя за рыжий клок волос.

Он приказал квартирмейстеру положить ногу на ногу, ударил молоточком ниже колена и, увидев, что нога живо вспрыгнула, просиял от радости:

— Эге! Рефлексы повышены.

Повернул молоточек и ручкой провел несколько раз по обнаженному животу:

— Гм... кожные отсутствуют...

Доктор продолжал свои исследования, щекоча пятку, ударяя молоточком в разные части тела, дергая вверх стопу. Руководящая нить, ведущая к диагнозу, то ускользала, то опять попадала в сферу мысли врача, и по мере этого лицо его омрачалось или просветлялось.

— Ваше благородие,— всхлипнув, не унимался Дергачев,— обязательно надо перекличку... Кто живой, кто мертвый.. как же?

— Встань! Закрой глаза! — командовал между тем доктор.

Дергачев встал, зажмурил глаза, но через минуту потерял равновесие.

— Ромберг положителен,— торжествующе заключил доктор, поправляя на носу пенсне.

— Ваше благородие, до смерти он помер или нет?

— Подожди. Отвечай только на вопросы. В семье у тебя не было умопомешательства?

Квартирмейстер молчал.

— Родители твои водку пьют?

— Только отец. Он здорово может хватить. А матери у меня совсем нет...

Из дальнейших расспросов выяснилось, что мать погибла в ранней молодости, упав в глубокий колодезь.

— Так, так. Но тут могло быть и самоубийство...

Доктор начал допытываться о всех родственниках.

— Ваше благородие, отпустите. Что вы меня мучаете?

— Стой! Спишь как?

— Я не сплю. Я все понимаю.

— Э, черт! — рассердился наконец доктор.— Уберите его! Все ясно...

Вечером командир получил письменный рапорт. Доктор подробно и обстоятельно доказывал, что квартирмейстер 2-й статьи Дергачев страдает болезнью мозга и галлюцинирует. А так как крейсер «Самоистребитель» шел все дальше от России, то командир, не сомневаясь в правдивости докторского заключения, положил следующую резолюцию:

«Старшему офицеру к сведению: если больному не будет легче, то в первом же порту списать его в госпиталь».

На второй день крейсер бросил якорь на рейде французского портового города.

Часов в девять утра к Дергачеву, который находился под замком в лазарете, опять пришел врач.

В одно мгновение больной вскочил с кровати и стал в угол. За ночь он стал неузнаваем: лицо почернело, как чугун, вокруг глаз вздулась опухоль, и все тело дрожало, как у паралитика. Он безмолвно уставился на доктора жуткими, налившимися кровью глазами.

— Да, дело дрянь,— взглянув на него, заключил доктор и не стал даже его расспрашивать.

Снова о Дергачеве доложили командиру.

— Отправить во французскую больницу сейчас же.

Сказано — сделано. Не прошло и получаса, а паровой катер, попыхивая дымом, уже мчался к пристани. В корме сидел доктор, покуривая душистую гаванскую сигару и любуясь живописным видом города. А Дергачев, пасмурный, как ненастный день, находился в носовой части. Два матроса, назначенные в качестве сопровождающих, крепко держали его за руки.

Дергачев сначала как будто не понимал, что с ним делают, но на свежем воздухе ему стало лучше.

— Братцы! — взмолился он.— Руки-то хоть пустите. Ведь не убегу же я...

— Так приказано,— строго ответили ему.

— Куда же вы меня везете, а?

— Если рехнулся, так куда же больше, как не в желтый дом.

— Что вы, что вы. Ах, ты, господи! Я как следует быть: все в порядке... Я вас обоих узнаю: ты вот — Гришка Пересунько, наш судовой санитар, а ты — Егор Саврасов, матрос второй статьи...

— Ладно, заправляй нам арапа,— отозвался санитар внушительно.— Его благородие, господин доктор, лучше тебя понимает. На то науки он проходил. И ежели признал, что нет здравости ума, тут уж, брат, не кобенься.

Другой же матрос, предполагая, что умалишенный так же опасен, как и всякая бешеная собака, на всякий случай пригрозил:

— Только ты смотри — не балуй. Это я насчет того, чтобы не кусаться. В случае чего всю храповину разнесу.

Дергачев сдвинул брови, бросил на матроса негодующий взгляд, но ничего не сказал. Он оглянулся назад. Родной корабль, на котором он прослужил почти четыре года, уходил в даль моря, таял в ней, а впереди шумно вырастал чуждый город, облитый знойным солнцем, но жутко холодный. И вдруг впервые будущее представилось ему с жестокой ясностью: чужие люди наденут на него длинную рубаху, прикуют его на цепь к кровати; и будет он, одинокий, всеми забытый, чахнуть вдали от родной стороны, быть может, долго, много лет, пока не придет конец. Беспредельная тоска потоком

хлынула в грудь, крепко сжала сердце. Глаза налились слезами и часто заморгали...

— Эх, пропала моя головушка! — вздохнул он, безнадежно покрутив головой.

Матросы молчали, не глядя друг на друга. Толсторожий черный Пересунько опустил глаза, большие, как вишни, в воду, уже мутную от близости порта и ослепительно отражавшую солнечные лучи. Саврасов задумчиво курил, поглядывая на берег, где огромные здания, теснясь к берегу, как будто толкали друг друга в море, а те, которые отразились в нем, казалось, уже упали с берега, потонули и разламываются, размываемые соленой крепкой водой.

— Братцы,— тихо спросил Дергачев,— как это все вышло, а?

Матросы словно не слышали вопроса, оба неподвижные, как мешки.

Высадившись на берег, они отпустили его руки, и Дергачев тяжело шагал между ними по каменной мостовой, точно обреченный на смерть, низко опустив голову, ни на кого не глядя и не говоря ни слова. И так долго он шел сам не свой, пока не запахло лекарствами. Как бы очнувшись от забытья, он приподнял голову и насторожился. Холодно взглянуло на него огромное каменное здание госпиталя. Кое-где в открытых окнах виднелись лица больных. Через двор, осторожно шагая, служащие переносили на носилках человеческое тело — не то живое, не то мертвое.

Дергачев вздрогнул. В глазах зарябило, и сердце замерло на секунду. Снова вспомнилась длинная рубаха, цепь, кровать... Больно царапнуло внутри, точно укололо самую душу, самое живое место. Дергачев шарахнулся в смертельном страхе прочь от госпиталя, побежал куда-то вниз, прыгая, как большой резиновый мяч.

— Держи-и! — завыли вслед ему.

Несколько минут спустя в городе царила нелепая суматоха. Заполняя площади и улицы, катясь и рассыпаясь, стремительно мчался живой, пестрый, бурный поток людей: мужчин и женщин, стариков и детей, солдат и

полицейских. Сталкиваясь друг с другом, люди кричали, спрашивали один другого:

— Где? Сколько? Кто?

И снова мчались с криком, свистом, со смехом.

Ловили Дергачева, который саженными прыжками метался из улицы в улицу, сбивая людей с ног, наводя ужас на встречных. Никто не решался схватить его: он держал в правой руке увесистый кусок булыжника, а на искривленном его лице глаза горели дикой решимостью.

Свист полицейских разрывал ему уши. Он уже приближался к окраине города. Но тут, сбегая с горы, видя перед собою широкое, свободное море, за что-то зацепился и полетел вниз кубарем, ободрав до крови лицо. В эту минуту на него сразу навалилось несколько человеческих тел. С буйной яростью начал было он вырываться, страшно изгибаясь и напрягая свои крепкие, как стальные пружины, мускулы. Но десятки рук согнули его, скрутили; чувствуя себя побежденным, он завыл нечеловеческим голосом:

— А-а-а...

Его связали и, взвалив в экипаж, точно куль муки, отправили в госпиталь.

Матрос Саврасов сидел у него на ногах, а санитар Пересунько крепко держал его за плечи.

— Ух, окаянная сила, замучил! — сказал первый.

— А еще морочил нам голову,— подхватил второй.— Я, говорит, как следует быть, в порядке. Так ему и поверили! Шалишь, брат...

Дергачев сидел смирно и лишь тяжело стонал. Ободранное лицо его безобразно распухло и стало похожим на кусок сырого мяса.

Доктор подъезжал к «Самоистребителю».

Офицеры, заметив его, оживленно бросились к правому трапу, а за ними, немного робея, скрытно усмехаясь, подошли и матросы.

— Ну, как ваш пациент? — спросил лейтенант, когда усталый доктор поднялся на палубу.

— И не говорите! Сколько этот подлец хлопот нам наделал!

Некоторые из офицеров, не утерпев, громко фыркнули. Доктор неодобрительно взглянул на них, продолжая:

— Понимаете, в процессе буйного помешательства вырвался из рук и помчался по городу. Всех французов поднял на ноги. Едва поймали его. Да, а вы — смеетесь. Над чем это, позвольте спросить?

Дружный раскатистый хохот ответил ему; доктор обиженно вытянулся, поправил фуражку, надул щеки.

— А мы, дорогой наш психолог, только что хотели за вами посылать, и уж шлюпка наготове,— сказал первый лейтенант, движением руки умеряя смех, но тоже усмехаясь весело и открыто.

Офицеры отвели врача в сторону и начали что-то ему рассказывать. По мере того как он выслушивал их, лицо его изменялось, вытягиваясь и быстро меняя выражение,— сначала недоверчивое, оно быстро стало смущенным и потом исказилось ужасом. Он вдруг весь съежился и, схватившись руками за голову, убежал с верхней палубы, выкрикивая:

— Не может быть! Нет! Это шутка... злая шутка!

За ним побежал мичман, крича:

— Доктор! Вас требует командир.

Доктор остановился, мотнул головою и пошел в командирскую каюту.

Там уже находился кочегар Криворотов, парень квадратного вида и крепкого, как гранит, телосложения, с тупым лицом и телячьими глазами. Глуп он был непомерно, однако среди команды стяжал себе большую славу, пробивая лбом деревянные переборки, сбивая им с петель двери и давая за полбутылку водки бить себя по животу поленом.

Криворотов, по приказанию командира, подробно рассказал, как подвел квартирмейстера Дергачева, притворившись мертвым, когда тот наносил ему побои.

— А больно тебе было? — полюбопытствовал командир.

— Так себе. Я даже не почуял, хоша он двинул пинком с усердием, на совесть... По пузу. После обеда требуха была набита туго. Ну, значит, удары отскакивали, как от резины. Вот цепочкой обжег ой-ой как! Но все же

я стерпел, ваше высокоблагородье,— ухмыляясь, заключил кочегар не без гордости.

Командир как-то натянуто, неестественно улыбался, слушая густой, хриплый голос.

— Ступай вон! — сказал он кочегару, вздохнув и не глядя на него.

Но не успела захлопнуться за Криворотовым дверь, как командир сразу побагровел, как-то странно задергался и зашипел сквозь зубы, с каждым словом возвышая голос:

— Ну, доктор, слышали? А вы что написали? Посмотрите, посмотрите на свой рапорт!

— Позвольте, Анатолий Аристархович, вы же первый признали его...

— Ничего я вам не позволю! Классическое недомыслие! Стыд перед всей командой. Черт знает что такое! Немедленно... сейчас же возвратить на судно этого... этого...

Доктор вышел из командирской каюты с таким видом, словно его высекли розгами.

РАССКАЗ БОЦМАНМАТА

Да, братцы, вы, можно сказать, только начинаете службу. Много придется вам казенных пайков проглотить. Ох, много... А я последнюю кампанию плаваю. Через три месяца уж не позовут на вахту: буду дома... Довольно — почти семь лет отдал морю. Это вам не баран начихал. Да...

Ну да ничего — и вам тужить не следует. Служить можно, особливо ежели в заграничное плавание попасть. Полезно. Притом матросская жизнь не то, что у несчастной пехтуры. Хоть мало там службы, но какой толк из нее, чему научишься? Рассказывают, как солдат поспорил с матросом: кто образованнее. Начал солдат командовать — направо, налево, шаг вперед, шаг назад и всякую другую пустяковину. Матрос выполнил это в лучшем виде. «Теперь, кашица, я тебе скомандую»,— говорит матрос. Стал армейский, вытянулся, точно кол проглотил, щеки надул. Матрос, недолго думая, залез на третий этаж и бросил на солдата мешок с песком. «Полундра!» — крикнул солдату. Тому бы надо бежать, а он ни с места. Мешок ему по башке. Чуть жив остался.

Куда им до флотских! А главное — у нас раздолья много. Правда, трудненько иногда бывает: дисциплина, вахту нужно стоять, докучают авралы, буря попугает, и даже очень. Недаром говорится: тот горя не видал, кто на море не бывал. Зато где только не побываешь? И человек другим делается — храбрее и смекалистее. Море переродит хоть кого.

Расскажу вам, ребята, как я до теперешней точки понимания дошел. А вы вникайте. Может, что и пригодится вам. Бывало, в молодости я сам так же вот, как вы теперь, сижу на баке да прислушиваюсь к старым матросам.

С новобранства — ух, как круто приходилось! Обучающий сердитый был. Мурыжит нас — беда! Кормили неважно. Бывало, нальют в бак суп не суп, а разлуку какую-то. А тут еще тоска брала. И во сне-то все деревня виделась. Жалко было отца с матерью. Дряхлые они у меня, в нужде большой. Притом невесту я имел. Настей звали. Эх, девка, доложу я вам! Очень натуральная. На щеках румянец, что маков цвет. Глаза игривые, синие, как тропическое море. Идет, словно капитанская гичка плывет. Улыбкой ослепляет. А когда принарядится, да длинную косу алыми лентами украсит — глядишь, не наглядишься. Играл я с нею по всей ночи. Заберешься, бывало, в сарай или еще там куда и милуешься от зари до зари. Да, привязчивая и с огнем девка. Но только я честно с ней обходился, потому что для меня она была дороже всего на свете...

Да, кручинился я здорово. А время шло. И я, чтобы забыться, грамотой занялся. Человек я был темный, ничего, кроме деревни своей, не видал, а грамота и морская жизнь на многое раскрыли глаза...

Кончили мы строевое учение, присягу приняли. Из новобранцев в матросов превратились. Наступила весна. Тепло. Жаворонки поют. В парках деревья распускаются, трава зеленеет. Воздух свежий, бодрый. Море солнышку улыбается, радуется, что ото льда освободилось. Люди повеселели. В военной гавани суматоха. Одни суда уже в кампании, другие вооружаются. Начинаем и мы вооружать свой трехмачтовый крейсер. Работаем во всю мочь. Через месяц готово дело: корабль на большом рейде стоит, чистенький, на мачте вымпел развевается.

Пошла морская жизнь.

Правду сказать — первое время ходил я на корабле как ошалелый: ничевохоньки не понимаю. Больно названий разных много и все нерусские. Изволь-ка изучить все эти шкимушгары, шкотовые и брам-шкотовые

узлы, брам-гинцы, кранцы и муссинги голландской оплетки; потом люверсы, шпрюйты булиней, рифы талей, реванты. Мало того, ты должен понимать компасы, лоты, лаги, сигналы. Должен знать, как поднимать тяжести, как управляться шлюпками под веслами и под парусами. Одно только парусное учение чего стоит. Бывало, инструктор тебе объясняет, а ты, прости господи, стоишь, как истукан, едалы раскрывши. Прямо в отчаяние приходил. Думал — никогда-то мне не выучиться всей судовой мудрости. Ночью лежишь в подвешенной койке и все твердишь: косые паруса на крейсерах бывают — бом-кливер, фор-стеньги-стаксель, фор-трисель. А чуть забылся — Настя перед тобой, свеженькая, как земляничка на припеке, улыбается, к себе манит... Однажды представилось, будто она с другим парнем, обнявшись, от хоровода пошла. С подвешенной, значит, койки упал. Порядочно расшибся. Вы вот смеетесь. Теперь, конечно, и мне смешно. А тогда не до того было. Уж так эти видения сердце расстраивали, что одна мука...

Как-то отправились мы в город за провизией. Четырнадцативесельный баркас дали нам. Туда шли утром, погода хорошая, а к вечеру, когда возвращались, страшная буря поднялась. А может, это только показалось мне. Раньше я не только моря, но и реки-то порядочной не видал... Ветер так и рвет, волны так и хлещут. Море ревет, пенится, обдает брызгами, точно сбесилось. Катер наш подбрасывает, как скорлупу ореховую. Испугался я тут до смерти. На волну взбираться туда-сюда, а как вниз полетишь — все нутро замирает, дух захватывает. Глядишь — катится на тебя стена. Ну, думаешь, тут тебе и могила. Прошла... Не успеешь вздохнуть — другая... Того и гляди, весло вырвет или самого в море швырнет. А квартирмейстер наш, угреватый, синий, рот у него большой, как у лягушки, глазищи зеленые, дикие, сидит себе у руля и хоть бы что... Мы, молодые матросы, молитвы творим, а он чепушится что ни есть крепкими словами.

— Нажимай хорошенько, трусишки несчастные!..

И как начнет перебирать всех святых, богов, божений, да все в печенки, в селезенки, в становой хребет,— еще пуще страх тебя берет... Такого не сыскать головотяпа...

Как видите, ростом я небольшой, но силенкой бог не обидел. В груди двадцать два вершка имею. Обозлился я, рванул весло. Оно надвое. Квартирмейстер мне в зубы... Тут я и понимать перестал. Держусь обеими руками за банку, а вокруг пустыня мерещится и по ней будто стадо белых коней скачет...

Море плюется, квартирмейстер тоже.

— На, выкуси!..

А то небу начнет кулаком грозить.

Я сижу ни жив, ни мертв.

Вдруг слышу:

— Крюк!

Потом еще:

— Шабаш!

Оглядываюсь — наш крейсер. Слава богу... Только всю ночь потом дрожь пробирала. Проклял я тогда все на свете... Не успел я оправиться от одного приключения, как другое произошло. Начали учить нас по вантам лазить... Корабль под парами полным ходом шел, покачивало порядочно. Меня на марс послали. Поднимаюсь. Ванты зыблются. У меня руки и ноги трясутся... Чем выше, тем боязнее. Я назад. А боцман — Селедкой команда прозвала его, потому что за пятнадцать лет службы просолел он совсем, — раз-раз меня резиновым линьком. Точно огнем обжигает спину!.. Я даже не заметил, как на марс взобрался. Гляжу вниз — высоко! Качка наверху сильнее. Мурашки по коже забегали... Лег я на площадку, ухватился за что-то руками и замер. Боцман наскакивает на меня, точно зверь лютый, а я ни с места и зуб на зуб не попаду... Прилезли еще четыре квартирмейстера. Насилу оторвали мои руки. На талях спустили на палубу. Осрамился, можно сказать, на весь корабль.

Взяло меня тут горе совсем. Не раз даже плакал. Домой письмо написал — прощайте, мол, не видеть вам больше своего сына. Думал в полет удариться. Да спасибо землячку рулевому, тот меня все успокаивал.

— Подожди, привыкнешь, не то запоешь.

— Нет, говорю, моченьки терпеть больше...

— Три к носу — все пройдет...

И верно оказалось. Втянулся и я в судовую жизнь. Все больше в понятие стал входить насчет каждой ве-

щи. Служба пошла веселее. Ко всему любопытство пробудилось. Примерно, громоотвод взять. Жаль, что сегодня ночь темна — не видать его. А вы, ребята, завтра днем посмотрите на верхушку мачты. Там увидите железный прут. Это и есть громоотвод. Интересная штука, ей-богу! Знаю, что вы боитесь грома. Допрежь и я боялся. Думал — Илья пророк, осерчавши, стрелы пускает в грешных людей. И только на судне узнал — чепуха все это. Хоть тысячи громов греми, хоть тресни само небо, а корабль все-таки невредим остается, раз на нем такой прибор поставлен. Вот оно что... С этого-то, по совести сказать, я и ударился в разные мысли. Раньше в телесах силы было сколь угодно, а на чердаке ветер дул. А теперь ничего: мозги, что твоя динамомашина, работают и на всякое происшествие свой свет бросают.

Мало-помалу вошел я в свою роль на корабле. Боязнь исчезла. Сердце окрепло. Даже старший офицер, замечаючи мою перемену, доволен мною оставался. Хлопает по плечу и говорит:

— Вижу, что из тебя лихой матрос выходит. Молодец, Грачев!

— Рад стараться, ваше высокобродье! — отвечаю.

И другие молодые матросы похрабрели. Бывало, во время парусного учения старшой выйдет на мостик и гаркнет:

— К вантам! По марсам и салингам!

Бежим по мачтам, как бешеные. Кошкам не угнаться. А тебе опять команда:

— По реям!

Вон как высоко, а ты работаешь, ровно на палубе... Буря, качка — не влияет...

...Подожди, Буек, не лезь. Видишь — я занят; молодятинку просвещаю. Ведь вот пес, а с матросами в большом ладу живет. Мне кажется, он все понимает. Только не может объяснить свои мысли. Матросы начнут веселиться — он тоже зубы скалит, взвизгивает. Смеется форменным образом. А сделай при нем какую-нибудь глупость, сейчас же застыдится, подожмет хвост между ног и пойдет прочь. «С остолопом, мол, не хочу дела иметь...» Третью кампанию плавает. С первого раза он тоже порядочно труса праздновал. Бывало, в бурю, как

завоет благим матом! И тошнило его не хуже матроса. А теперь моряк хоть куда... Раз в Либаве он за какой-то сучкой начал увиваться. Отстал от команды. Все вернулись на судно, а его все нет. Так и решили, что пропал наш Буек. А он всю ночь проблудил и утром сам на корабль приплыл...

За свою службу мне два раза пришлось за границей побывать! Дай бог, чтобы каждому из вас такое счастье выпало. Сначала на крейсере ходил, значит, на строевого квартирмейстера занимался. Тогда трудновато было: занятия одолевали. Потом на канонерскую лодку попал. Тут лучше было...

Ох, ребята, хорошо в дальнее плавание уходить! Скитайся по синим морям, любуйся на разные диковинки, потешай свою душеньку... Побывал я везде: и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Индии. Сколько людей разных видел. Немцы и англичане народ неразговорчивый. А вот французы, итальянцы — это да! Живости в них хоть отбавляй. Если языком не могут, то руками, ногами, головой начнут действовать, а обязательно разговорятся. Выпивают с нашими матросами вместе, песни поют, обмениваются фуражками, фланельками.

Как-то мы стояли в Неаполе. Город грязноватый и бедноты в нем много, но, по-моему, он лучше всех немецких городов. Весь солнцем залит. Кругом веселье: тут смех раздается, там музыка играет или песня зазвенит. Беззаботные, право, эти итальянцы, что птицы небесные. Любят порадоваться. А главное — простой народ, дружелюбный. Сбоку города вулкан-гора стоит. С версту, говорят, высоты. Днем дымится, а ночью над ним, как на пожарище, зарево стоит. Одно восхищение. Как увидел я этот вулкан, так и ахнул... Сейчас же к доктору:

— Объясните, мол, ваше высокобродье, отчего это дым из земли идет?

Хороший он у нас был. Доказал он ясно мне, почему внутри земли огненная лава находится, и как эта лава иногда наружу выпирает. Даже книжки дал, а из них я и сам все доподлинно узнал об этом...

Тут же древний город Помпей. Давным-давно, вскоре после рождества Христова, этот вулкан пеплом за-

сыпал его, а теперь итальянцы отрыли. Для науки, значит. Ходил я по нем. Улицы, дома — все как по-настоящему.

Чудеса, ей-богу!

Заходили мы и в Алжир. Интересно. Декабрь на дворе стоял, а мы раздетыми гуляли. Тепло, как летом. Дома высокие, белые, с плоскими крышами. По улицам зеленые деревья рядами тянутся. В садах полно цветов. На финиковых пальмах ягоды кистями висят, дозревают. Около ресторанов раскинуты тенты, а под ними публика за столиками сидит, винцом прохлаждается. Больно африканцы любопытны. Есть из них только смуглые, а есть черные, как сажа, губы толстые, вывороченные. И одежда какая-то чудная. Женщины ходят в белых плащах со сборками на спине. Лица закрыты чадрой. Это чтоб чужие мужчины на них не зарились. А перед мужем-то она вся раскрывается, догола. Гляди сколько хошь. Мужчины тоже в плащах, а на головах чалмы...

В Алжире один лейтенант купил обезьяну. Что она проделывала, чтоб ей пусто было! Мы лезем на мачту, и она с нами. Да ведь куда? До самого клотика добиралась. А то кому честь отдаст по-военному, кому язык покажет. И много разных причуд показывала. Словом, здорово развлекала команду.

Гальванер один сказывал, что люди и обезьяны от одного существа произошли...

— Неужто это правда? — спрашиваю.

— Факт, а не реклама,— отвечает, а объяснить как следует не может.

Я опять к доктору за разъяснением.

— Об этом,— отвечает,— не полагается тебе знать.

— Почему же, ваше высокоблагородье?

— Скучно будет жить на свете...

Долго я его охаживал. И так и сяк к нему подбирался. Купил ему в подарок попугая с клеткой. Птица такая есть, может по-человечески говорить. Не поддается. Только ухмыляется себе в усы, и больше никаких. А я какой человек? Как втемяшится что в башку, так уж тут беда — спокою себе не знаю. Подъехал к одному мичману. Ночью на вахте разговорились с ним и намекнул:

— Обезьяна, мол, животное, а здорово смахивает на человека.

— Ну, и что же? — спрашивает он.

— И смышленая такая... Вроде как сродни людям...

— Дальше?

Что ему тут скажешь? Он строгим сделался, а меня робость взяла. Ответил только:

— Во всем, ваше бродье, сказываются дивные дела господа...

Поглядел он на меня, покачал головою и изрек:

— Глупый ты, Грачев, матрос...

А доктор все-таки уважил меня. Во французском городе стояли мы. Взял меня с собой в музей. А там чучелов разных — уйма! Тут-то он и порассказал мне все. И по его выходит, что не только человек и обезьяна сродни, но и всякая живая тварь, примерно лошадь, змея, собака, червяк, от одной клетки произошли. Так явственно объяснил, что никакого сомнения не осталось. Прямо перевернул все мои понятия...

Побывали мы еще кое-где и месяцев через семь повернули домой, то есть в Кронштадт. Шли то под парами, то под парусами. Команда за это время сдружилась, привыкла к морской жизни, усвоила судовые науки. Паруса ставили в две-три минуты. Только бури нас сильно одолевали. Но нигде так не доставалось нам, как в Бискайском заливе. Волнами чуть мостик не снесло. А в борт било точно таранами. Такая встряска была, что удивляешься, как только живы остались. И то одного матроса с палубы смыло. Погиб парень... Злой этот залив, будь он проклят! Много в нем моряков утонуло.

А командир у нас был бедовый. Первый год на крейсере плавал. Вот любил команду! Если пища плоха — разнесет весь камбуз. Но уж больно горяч и с виду страшен. Лицо все в волосах, брови торчмя стоят, глаза пронзительные, точно у орла. Чуть кто провинится перед ним, весь кровью зальется, задрожит и как вихрь налетит.

— Убегай!.. Убью!..— кричит, точно полоумный; схватит с головы матроса фуражку и начнет ее рвать в мелкие кусочки. А через час или два опомнится, призывает матроса к себе в каюту.

— Прости, говорит, что я так... Вот тебе за фуражку. И пару целковых даст.

Сначала матросы очень пугались, а потом привыкли и хорошо с ним задружили. Только есть из нашего брата канальи. Нарочно на его глазах что-нибудь протяпывали, чтоб за фуражку два целковых получить. А ей цена всего двугривенный. Заметил это командир — давай сбавлять награду. Когда согнал до полтины, перестали дурить...

Рассказывали про него, будто раньше, по горячности своей, с матросом что-то сделал... Убил, что ли, или еще что... С тех пор боится, как бы опять грех не получился.... Ну и дело хорошо понимал. Выйдет на мостик, покрутит носом по воздуху, посмотрит на море, на небо и сразу скажет, какая будет погода. И храбрость имел. Ему все было нипочем. По ночам будил команду и посылал наверх паруса крепить. Однажды с койки нас подняли. По расписанию я должен на грот-брамрее работать. Буря была свирепая. Крейсер шел на фордевинд. Темнота, хоть глаз выколи. Дождь льет. Холодно. Море шумит. Ветер в снастях воет, свистит и, кажется, готов у тебя мясо с костей сорвать. Держись! Чуть зазеваешь — крышка! Костей не соберешь, ежели с такой высоты о палубу треснешься. А в море попадешь — тоже поминай как звали... Но страха ни капельки. Ровно без памяти я стал. Работаю по привычке: руками, ногами, зубами... Ногти заворачиваются... Снастью тебя огреет по лицу или парусом... Ладно, не до этого... Сердце как в огне горит.. И только когда на палубу спустился да очухался — жутко стало...

Эх, всего бывало!..

Пришли в Кронштадт. Экзамены начались. На все вопросы я отбарабанил, как дьячок. Произвели меня в квартирмейстеры. Служба пошла легче. Своей пригожей Насте послал я заграничные гостинцы. Очень обрадовалась и пишет, что ждет не дождется меня.

Кончили кампанию. В экипаж переселились. Доктора от нас списали на другое судно. Жаль было с ним расставаться. Попрощался со мною по-хорошему, дай бог ему здоровья...

...Ну-ка, Мишухин, подай мне фитиль. Закурю я свою заветную трубочку. В Периме купил. Берегу. Э, дья-

вол, плохо что-то раскуривается. Табак, видно, отсырел...

Так... Как-то узнал я, братцы, из книжки про микробов. Это маленькие такие животные, может, в сотню раз меньше гниды. Увидать их можно только в микроскоп. Прибор так называется с увеличительным стеклом. И вот захотелось мне в этот самый микроскоп посмотреть своими собственными глазами. Жив, думаю, не буду, а добьюсь своего. Хорошо. Начал я допытываться у понимающих матросов, куда мне обратиться. Долго я старался, пока не наткнулся на рулевого. До службы на штурмана он занимался.

— У студентов,— говорит,— попроси...

— Откуда же,— спрашиваю,— у них микроскоп будет? В нашей деревне, Просяной Поляне, студентом вора прозывали. А он в кармане только гвозди носил для отмыкания замков...

Тут-то рулевой и просветил меня насчет студентов. Ах, черт возьми, да это, оказывается, самые башковитые люди. Ладно... Беру от экипажного командира билет и айда в Питер. Хожу по улицам. Зима. Морозец лицо пощипывает, зажигает румянцем. Народу много. Нет-нет да и встретится студент. Спрашиваю у одного насчет своего дела. Расхохотался только и пошел от меня прочь. Я плюнул ему вслед. К другому обращаюсь.

— Я,— говорит,— историю изучаю и никаких делов с микроскопом не имею...

Досадно мне, а все-таки на своем стою. Попадается еще студентик, маленький, горбатый. По одежде видать — из бедных. Объясняюсь с ним. Ничего — слушает серьезно, расспрашивает. Потом говорит:

— К сожалению, я микроскопа не имею, потому что на юриста занимаюсь. Но у меня есть друг, который на профессора готовится. Он вам покажет.

Слава богу. Дело, думаю, налаживается...

Приходим в квартиру ученого. Комната узкая, длинная. Все полки уставлены какими-то баночками, книгами. На столе, на стульях тоже книги. Некоторые раскрыты. И столько их, что мне не прочесть бы за всю жизнь.

Сам ученый — человек высокий, худущий. Ноги длинные, тонкие, раздвинуты, как циркуль. Голова большая, волосы назад зачесаны, виски с плешами. На носу пен-

сне в роговой оправе. Одет просто. А что меня больше всего удивило в нем — это лоб. Крутой такой и вершка четыре высоты. Сразу видать — толстодум!

Я даже растерялся, как увидел ученого. Выпрямился, руки по швам держу.

Мой студент рекомендует меня с усмешкой:

— Познакомься — интересный экземпляр...

И рассказал ему, чего я добиваюсь.

— Так вы хотите в микроскоп посмотреть? — спрашивает меня ученый.

— Так точно, ваше высокоблагородье, очень даже желаю,— отвечаю я.

Он покраснел, нахмурился. Что, думаю, такое? Неужто в генеральском чине?

Протер пенсне платочком, поморгал глазами и на меня посмотрел внимательно так. Потом говорит мне ласково:

— Присядьте на стул... Вы напрасно меня так величаете...

— А как же прикажете?

— Просто — Василий Иванович...

Вижу — человек добрый, обходительный. Я посмелел. Поговорили немного. Потом ученый поставил на стол машинку, микроскоп-то этот самый. А когда он все приготовил, я посмотрел в него.

Ах, братцы мои, ну до чего это интересно! Маленькая капелька воды стала с яблоко величиною, а в ней штук пятьдесят микробов. Живые, копошатся. Да вы себе и вообразить-то не можете такую вещь. А Василий Иванович все мне объясняет и другие сорта показывает. Он их сам разводит, микробов-то. Прямо точно колдун какой-то. Есть из них заразные. Попадет к тебе внутрь и сразу уложит в могилу.

Больше часу я любовался.

Кончили мы с микроскопом, полбутылочку водочки втроем разгрызли, закусили сырцем, колбаской и расстались друзьями.

Теперь, кажется, будто во сне все это видел.

И какие люди есть на свете! Взять, например, Василия Ивановича. На профессора готовится; студенты башковиты, а он обучать их будет. Это понять нужно. А со мной обошелся так запросто, ровно товарищ. Вот...

Целую зиму провел я в экипаже. В свободное время все книжками увлекался. Хотел достукаться до настоящего понимания жизни. И дело хорошо шло на лад: голова моя пухла, хоть обруч железный нагоняй на нее...

А летом меня списали на канонерскую лодку. Нагрузились мы разными припасами и опять в заграничное плавание махнули. На этот раз еще дальше побывали. В новые места заходили, новые диковинки смотрели. И ко всему у меня любопытство все больше росло...

Бывало, ночью идешь... Темень непроглядная. Кругом ни живой души. Все море, море. Кажется, никого на земле нет, кроме нашего корабля. Даже беспокойство начнет зарождаться. И вдруг где-нибудь далеко-далеко, чуть видно, огонек засветится. Смотришь — оказывается маяк. Мечет в черную пустоту лучи свои, как будто успокаивает:

«Не бойтесь... Курс верный...»

На душе сразу приятно станет.

Иногда утес попадется, высокий, бурый, весь в трещинах. Внизу волны бьются, окружают его снежной пеной, что-то рассказывают. А он, точно часовой на посту, стоит одинокий среди моря и будто следит за направлением кораблей...

Всю осень наш корабль проканителился в Средиземном море, а к зиме направился в Индийский океан.

Проходили через Суэцкий канал. Удивительный, братцы, этот канал. Тянется он на сто сорок верст и два моря соединяет. Африканский берег зарос скудным кустарником и тростником, а на азиатском ничевохоньки нет. Только видны желтые пески пустыни — далеко-далеко, до края горизонта. Господи, чего только человек не придумает! Ведь нужно же такую махину прорыть.

Вступили в Красное море. Не знаю уж, почему оно так называется. По цвету оно вовсе не красное, а синее, как небо. Это то самое море, через которое Моисей провел израильтян. Говорили мне раньше, будто в нем есть фараоны — голова человечья, а хвост рыбий.

Брехня все это...

Жара все увеличивалась. А когда вошли в Индийский океан и стали к экватору приближаться, терпения

от нее не было. Над палубой и мостиком тенты развешаны. Ходим в одних сетках. Не помогает. Готов кожу с себя содрать. Постоянно окачиваемся морской водой. Свежей пищи нет. Кормят солониной, кислой капустой, сухарями. Пресную воду красным вином разбавляют, а то невозможно пить — теплая, противная. А у кочегаров и машинистов сущий ад. Часто замертво вытаскивали их на верхнюю палубу, размякших, как пареная репа...

Зато поглядеть — красиво! Полный штиль, на небе хоть бы одно облачко. Пышет жаром солнце, а океан греется и не дрогнет. Похож на голубое, отшлифованное стекло без конца и края, а на нем будто часть солнца рассыпалась золотыми плитами — сияют, ослепляют глаза. Редко, когда порхнет ветерок, океан поморщится, будто щекотно ему. Иногда, точно наши воробьи, поднимутся над водой летучие рыбки, заблещут серебряной чешуей. В небе пронесется белый альбатрос. Птица это большая, вольная, любит простор. Часто акулы преследуют корабль, а их лоцмана сопровождают, как флаг-офицеры адмирала. Человечьим мясом не брезгуют, подлые. Для матроса очень опасная рыба...

Раз поймали мы одну акулу! Сделали машинисты удочку с руку толщиною, насадили на нее в полпуда кусок солонины и бросили за борт,— сразу цапнула дура, не подумавши. Вытаскиваем ее на ют. Большая — аршин пять длины. Не понравилось ей на корабле — бьется, хочет вырваться, а ее все ломом по башке.... Ну, и живучая, идол! Потом топором разрубили — половинки дрыгают. Вытащили сердце — бьется: лежит на палубе и будто дышит.

Даже жутко смотреть...

Подходит сигнальщик.

— Зубы-то,— говорит,— какие острые!..

Привык к казенным глазам — к биноклям да к подзорным трубам, своим не верит. Захотелось пальцами пощупать. Сунул в разинутую пасть руку, а она, акула-то, как тяпнет. На одних жилочках осталась рука. После доктор по локоть отхватил ее. По чистой ушел домой.

Вот еще проказники — дельфины. Любят они корабль сопровождать и разные представления проделы-

вать. Построятся в один ряд, как матросы во фронт, и все сразу, точно по команде, начнут сигать над морем.

«Гляди, мол, нашу гимнастику — не хуже вас можем орудовать...»

Надоест это им — начнут в отдельности всякие фокусы показывать: один вверх животом перевернется и поплывет, другой кувыркнется, третий рыбку вверх подбрасывает. А темной ночью, когда по сторонам корабля они начнут бултыхаться и плескаться, еще того лучше. Вода блестит, будто сера горит, синие искры рассыпаются. Ну, до того это красиво, что глаз нельзя оторвать.

Люблю я, братцы, темные тропические ночи. Бывало, лежишь на заднем мостике в чем мать родила и смотришь, как заря догорает. Тихо, тепло. Корабль идет ровно, без качки. Команда спит. Все темней становится. Море черное, как деготь. За кормой вода бурлит и светится. Вверху звезды горят, яркие, крупные. По середине неба Млечный путь, точно река, усыпанная золотом. От движения корабля теплый ветерок тебя обдувает, ласкает любовно, как мать ребенка...

— Господи, как хорошо! — шепчешь, бывало, а по щекам слезы катятся. От восторга, значит... И все в ту пору мило: звезды, земля, море, каждая рыбка, козявка, каждый листик, а больше всего — человек!..

Впереди покажутся отличительные огни, точно два разноцветных глаза,— красный и зеленый. Это идет навстречу какое-то паровое судно. Мы обмениваемся с ним курсами. Я от всего сердца говорю ему вслед:

— Попутного ветра...

И так уснешь с добрыми мыслями. Если на вахте не придется стоять, беззаботно спишь до утра, пока не услышишь команду:

— Вставай! Койки вязать!

Смотришь — уже солнышко встает, красное, свежее, точно в море выкупалось. Мы идем ему навстречу, а оно приветливо сияет, румянит море и наши лица...

Хороши и светлые ночи. Бывает, что луна прямо над головой стоит. Мелкие звезды гаснут, остаются только крупные. Белеют накрытые парусиной шлюпки, блестят медные раструбы вентиляторов. Море залито сиянием и кажется беловатым, точно молоком разбавлено. Дале-

ко видно вокруг... Бывало, стоишь на вахте и раздумаешься. Настя на уме. В шелк ее нарядишь, самоцветными камнями украсишь. Гуляем с нею в тропическом саду. В нем самые красивые деревья. Птицы поют. И куда ни глянь — все цветы, цветы. Солнцем брызжет, светом. В озерках рыба играет. Ласкается Настя, любовные слова говорит... И все как наяву...

Эх, эти тропические ночи! Здорово на воображение действуют!..

Иногда про свою деревню вспомнишь, Просяную Поляну, и станет обидно до слез. В лесу она стоит, сугробами завалена. Темные люди живут в ней, слушают зимнюю вьюгу, бьются в нужде, с нуждой умирают. И никогда им не узнать, как велика земля, кто населяет ее, какие есть моря...

Ну, да об этом не стоит говорить.

Заходили мы на Цейлон. Там получили приказ из Петербурга вернуться обратно в Россию.

Забыл я вам, ребята, сказать: с офицерами нужно держаться умеючи. А то ни за что пропадешь. Не в похвальбу будь сказано, я мог с ними ладить. Им никогда меня не раскусить, а я каждого из них насквозь вижу. У кого какой характер, кто знает морское дело, а кто только языком берет,— ничего от меня не скроешь! Появится новый офицер на корабле — я сейчас же приглядываться начинаю к нему. Важно изучить его, чтоб уметь потрафить и не быть грязечерпалкой. Разные из них бывают. Один любит, чтобы на чин выше хватить, когда его величаешь, другой — чтоб обо всем спрашивать у него. Случалось, иной начнет выведывать меня. А я ему столько понакручу, что сам дьявол ногу сломит. И все-таки однажды обмишулился, так обмишулился, что чуть лычки с меня не содрали.

На канонерской лодке был у нас старшим офицером лейтенант Краснов, толстый, короткий, как мортира; усы большие и торчали в стороны, как выстрелы на корабле, глаза водянистые. За чудаковатого считался. Каждого матроса звал Микитой, а матросы прозвали его этим именем. К команде очень свиреп был. А когда подвыпьет порядочно, ходит по кораблю и кричит:

— Я китайский император!..

Со всеми целуется.

— С вами,— говорит,— молодцы, я могу все нации вдребезги разнести...

Однажды вижу я — в носовом отделении бычачьи рога валяются. Хорошие такие рога, большие, но на корабле они ни к чему. Я их выкинул в море. А оказалось, что старшой отдавал их столяру отделать. Узнал он о моей проделке и семафорит пальцем:

— Эй ты, Микита, поди-ка сюда!..

Подхожу.

— Ты выкинул рога за борт?

— Так точно, ваше высокобродье, потому, как предмет неподходящий...

Перебивает меня сердито:

— Да как ты смел? Ты понимаешь, это мои рога?

А я возьми да и брякни:

— Виноват, ваше высокобродье, я думал, бычачьи.

Он ажно присел, золотые зубы оскаливши. Вставные они у него были. Попало мне порядочно. А главное — взъелся с этих пор на меня, беда как! И все грозился:

— Я тебя, Грачев, проучу!

Несдобровать бы мне, если бы вскорости не застрелился он. Вестовой рассказывал, что жена у него с каким-то богачом спуталась, вот он и лишил себя жизни...

После второго заграничного плавания меня в боцманматы произвели. Значит, еще легче служба пошла... С тех пор я на этом броненосце плаваю. Каждое лето по четыре месяца в кампании нахожусь, а зиму на берегу провожу.

Ну-ка, кто там, подайте-ка фитиль. Закурю еще разок. Вот...

Одно время про Настю и совсем забыл. Случай такой произошел.

Однажды в праздник пришлось отвезти офицеров на берег. Высадил я их с парового катера на пристань и пошел обратно к своему судну. На большом рейде оно стояло. Я тогда считался старшиной катера. Вижу, солнышко светит, но как-то сразу погода начинает свежеть. С востока черная туча надвигается, полнеба закрывает. Ветер все крепчает, быстро гонит ее на нас. Чайки беспокойно летают, кричат. Быть, думаю, буре. И не ошибся... Не успели мы выйти из гавани, как налетает шквал.

Запенилось море. Все вокруг гудит, точно тысячи труб трубят. Кружатся вихри, поднимают воду, дробят ее в брызги. Туча уж над нами. Дымится, будто небо горит. Солнца не видно. Море потемнело. Скачут белые волны, несутся куда-то, давят друг друга... Молния, гром. А ветер все сильнее бушует. Брызнул дождь. Трудно глядеть вперед. До корабля еще версты две остается.

Смотрю: с левого траверза маленький ялик кувыркается. В корме женщина сидит, под веслами — мужчина. Работает он веслами изо всех сил, а ветер уносит их все дальше в море. Ялик то на дыбы встанет, то нырнет носом между волн. Не может справиться с бурей. Вот-вот катавасия произойдет. Кладу право руля и полным ходом к ялику лечу. Близко уже. Уменьшаю ход. На барышне лица нет. Вся мокрая, кричит что-то... Вдруг ялик подбросило на гребень волны и перевернуло. Мужик за дно ялика ухватился. Барышню в сторону отбросило. Барахтается она в воде, а волны через голову хлещут. Дрогнуло мое сердце. Кричу носовым матросам:

— Крюк подайте!

А сам катер мимо барышни направляю так, чтобы она с подветренного борта очутилась. Матрос один, вместо того чтобы только подать ей крюк, зацепил ее за плечо. Платье разорвалось, на голом теле царапина видна. Бросаю руль, перегибаюсь через борт и хвать за волосы! Одним мигом выхватил ее из моря... Потом мужика спасли, ялик взяли на буксир и направились обратно к пристани...

Барышня дрожит, плачет, кашляет от соленой воды, не может слова сказать. Мужик скорее очухался. Рассказывает нам:

— Мы, значит, с ей гулять выехали в море, с барышней-то. Все, значит, ладно было. Она аж песни голосила. А тут этакое приключилось. А што спасли — за это, значит, спасибо. Магарыч поставлю. Только бы получить с ее милости...

— Что, спрашиваю, получить?

— Да за провоз. Полтора целковых, значит, выладил... Ну, не довез обратно — верно... Дак разве, значит, я тут виноват?..

Дурашный мужик, жадный!

С пристани барышню отправили на извозчике домой.

Вскоре я медаль получил за спасение, а командир при всей команде меня благодарил. Хоть не заслужил, но отказываться от награды не стоило. Потом от барышни письмо получил. Ловко написано. Просит к ней зайти.

Через две недели познакомился с барышней и с ее семьей.

Приняли они меня, как родного. Барышню Ольгой Петровной величают. Отец ее доктором был, умер. Осталась старая мать да братишка-гимназист лет двенадцати. Живут, по-видимому, не бедно: несколько комнат имеют, рояль, мягкие кресла, на стенах портреты висят...

Невысокая Ольга Петровна, хрупкая, но очень приятная. Блондиночка, на щеках ямочки, глаза серые, веселые. Волосы пушистые, густые. Голосок звонкий, как у перепелки.

После кампании я у них стал частенько бывать. Бывало, вырвешься из экипажа и прямо к ним. Чаек попиваешь, разговоры интересные слушаешь. Иногда Ольга Петровна на рояле сыграет. Я все с расспросами пристаю по ученой части. Здорово объясняла. Очень образованная... Другой раз я начну заливать ей про наше житье-бытье: что на корабле делаем, как по морям ходим, что видим...

— Ах, Никанор Матвеевич, как это интересно!—восторгается Ольга Петровна и глазами обласкивает.

Все лучше ко мне относится. Мать и братишка тоже со мной дружат. Стал я у них будто свой человек.

И вот ходить бы мне к ним и ходить, да муть с души прочищать... Так нет же! Подставил мне дьявол ногу: влюбился я в эту самую Ольгу Петровну до потери рассудка. Да и как и не влюбиться? Очень обольстительная девица. Глазами, улыбочкой так тебя и привораживает, так и притягивает к себе. Говорить начинает, что ласточка щебечет. Называет меня «голубчиком», «милым». А то рядом сядем, из книжки начинает что-либо объяснять, а сама волосами до моего лица прикасательство имеет. Ну, известное дело, меня всего в жар бросает и перед глазами круги ходят... Иной раз смеется:

— От вас, Никанор Матвеевич, ароматом моря веет...

— Это,— спрашиваю,— как нужно понимать?

— Да в хорошем смысле,— отвечает.

Словом, по всему выходило, будто и она привержена ко мне. Стал я задумываться: как теперь быть? День-другой не побываешь, не знаешь, куда деться от тоски тоскучей. А повидаешься, только больше в расстройство приходишь. Больно я азартный сердцем... Худеть стал. Лицо из черного в зеленое превратилось. Глаза ввалились. Товарищи узнали, насмехаются:

— Дай-ка, Грачев, ход назад — и баста! С твоей ли рожей, на прожектор похожей, такую барышню прельстить? Это все равно, что выше клотика залезть...

А я чувствую, что не отстать мне от нее. Силушки нет. Точно стальными канатами пришвартовало мое сердце...

Почему бы, думаю, ей не выйти за меня. Разве кто-нибудь может полюбить ее больше меня? Необразованный? Научит. Будут дети — в гимназию отдадим...

Наступили святки. Невтерпеж мне... Хоть ложись да умирай...

Решаю объясниться. А как объясниться, что скажешь? Это тебе не Настя. Ее не возьмешь на абордаж и не прижмешь к плетню. К ней нужно подойти осторожно, по-ученому...

Прочитал я как-то в романе про любовь одного адвоката. Э, вот как, значит, надо действовать! Ладно. Несколько ночей не спал, все обдумывал, как лучше подойти к Ольге Петровне и какие слова сказать.

На первый день рождества побрился, почистился, в первый срок нарядился. Отправляюсь к ней. Открываю дверь. С праздником поздравляю. Смотрит на меня и удивленно спрашивает:

— Что с вами, Никанор Матвеевич?

— Ничего, Ольга Петровна.

— Вы больны?

— Пока слава богу.

Беспокоится обо мне, какой-то порошок дает, к доктору советует сходить, старается развеселить меня. Ничего не помогает. На душе у меня ад кромешный. Мать с сыном в Питер уехали. Хочу воспользоваться этим

случаем и открыться — смелости не хватает. Посидел немного и ушел.

Опять не спал всю ночь. На второй день вроде шального стал. А когда к Ольге Петровне пришел, она даже испугалась.

— У вас,— говорит,— страшные глаза...

С расспросами пристает ко мне, хочет до причины допытаться. Я отнекиваюсь.

— Лучше сыграйте что-нибудь,— упрашиваю ее.

Села за рояль и ударила по клавишам. Зарыдали струны. Жалостливая песня... Без слов я почувствовал, будто про меня она составлена. И тут душу мою такое смятенье охватило, что брызнули слезы. Нагнулся я. Ольга Петровна ко мне подходит, кладет руку на плечо и спрашивает участливо:

— Вы, кажется, плачете?

Хочу сказать ей, а в голове ни одной мысли. Забыл все хорошие слова. Только мотаю пустой башкой, ровно лошадь, оводов отгоняючи...

— Что с вами? — пристает она.— Говорите же ради бога...

Выпалил я, что первое на язык подвернулось:

— Без вас я, что корабль без компаса... Не могу...

— Я вас не понимаю...

Мне тут нужно бы на одно колено стать и пальчики целовать, как в романе сказано. Может, что и вышло бы... А я, растяпа, облапил ее да в губы...

Вырвалась она от меня и в угол забилась. Бледная, трясется, глаза большие. Руками за голову держится, шепчет:

— Уходите... Я вас любила как спасителя, как родного брата... А вы вот какой...

Понял я все... Екнуло у меня под ложечкой... Взял фуражку в руку, сделал поворот на шестнадцать румбов и направился к экипажу. Иду по улице, шатаюсь. Медаль «за спасение» к черту бросил... Теперь, думаю, конец мне... И так мне стало тошно, что света божьего не взвидел...

Кто-то схватил меня за плечо.

Поднимаю голову — капитан первого ранга. Придирается:

— Я тебе кричу — остановись, а ты не слушаешься!..
— Виноват, ваше высокобродье...
— Почему фуражка в руках? Почему честь не отдаешь? Пьяный?
— Так точно, выпил малость...
Вечером я уже в карцере сидел. На пять суток арестовали... Тут видения разные пошли. Что со мной было дальше — не помню. Очнулся я уже в госпитале недели через три. Белой горячкой хворал.
А когда вышел из госпиталя, в отпуск уехал. Опять с Настей любовь закрутил. И всю тоску как рукой сняло. Выходит — чем ушибся, тем и лечись. На этот раз до буквального дошел... Сынишка родился... Но это только на радость... Кончу службу — покрою грех венцом...
Да, вот оно как...
...Ого! Склянки бьют двенадцать. А с четырех нам на вахту. Пора отдохнуть, ребята. После как-нибудь еще поговорим...

СЛОВЕСНОСТЬ

Смеркалось. Наш флотский экипаж осветился огнями.

Мы, новобранцы, только что кончили занятия с ружейными приемами. Переутомились, в руках и ногах замечалась дрожь. Хотелось отдохнуть, но уже пробило пять часов, просвистала дудка дежурного по роте, а вслед за нею раздалась команда:

— На словесность!

Все новобранцы нашего взвода, в котором насчитывалось сорок человек, бросились по этой команде к месту учения, молча рассаживаясь по передним койкам. Стало тихо. Только на дворе выла вьюга, залепляя снегом окна. Со стены, увешанной разными правилами и инструкциями, сурово смотрел на нас портрет какого-то адмирала.

Пользуясь отсутствием инструктора, новобранцы озирались кругом, но робко и нерешительно. Лица у всех были пасмурны, в глазах отражалась гнетущая тоска. Жизнь казалась постылой и бессмысленной.

Рядом со мной уселся новобранец Капитонов, рослый парень, угловатый, с приплюснутым книзу лицом. Он согнулся, съежился, словно стараясь быть незаметным. Тяжело ему было на службе. Выросший в деревне, не видавший никогда города, он совершенно растерялся, попав в чуждую ему обстановку. Военное искусство давалось ему с невероятным трудом. В особенности он никак не мог усвоить словесности, которая для него, неграмотного, была какой-то непостижимой мудростью. Не

проходило ни одного дня, чтобы он не подвергался за нее жестокому наказанию. И запуганный, задерганный, забитый, он иногда производил впечатление почти идиота.

У нас с ним был один шкаф, разделявший в заднем ряду наши койки; вместе мы пили чай, вместе ели те закуски, какие приходилось иногда покупать в лавках. По вечерам, беседуя с ним, я подбадривал его, помогал ему разобраться в уставе, заступался за него, когда над ним начинали смеяться другие новобранцы. Он относился ко мне с большой любовью.

Пришел наконец инструктор Храпов. Сухой, но широкоплечий и жилистый, он обладал большой физической силой. Это был один из стрелков, которые, пройдя армейскую школу, считаются лучшими специалистами по строевому учению. Он с важно надутым видом уселся против нас на стуле.

Лицо его, усеянное веснушками, было полно самоуверенности, большие усы ощетинились.

На этот раз он казался нам особенно злым. Дело в том, что утром, понадеявшись друг на друга, никто из новобранцев не принес ему чаю. Это его взорвало. Желая нас наказать, он приказал привязать к чайнику длинный шнур, а мы все, сорок человек, ухватившись за него, отправились на кухню за чаем. Шли в ногу, распевая:

Дулась, дулась, перевернулась,
Перевернулась и согнулась
В три дуги, дуги, дуги.

А он, сопровождая нас, командовал:

— Ать! Два! Не жалей глоток! Левой! Правой!

Потом целый день он мучил нас строевым учением.

С появлением перед нами Храпова все новобранцы точно замерли: они сидели неподвижно, неестественно выпучив на него глаза.

Хмурясь, инструктор окинул нас взглядом и раскрыл перед собою военно-морской устав.

— Наливайко! — крикнул он, заставив всех вздрогнуть.

— Чего изволите, господин обучающий? — вскочив, откликнулся белобрысый и юркий хохол.

— Что такое канонерская лодка?

Наливайко ответил на это более или менее сносно.

— Садись.

Храпов начал обращаться к другим новобранцам. На присяге несколько человек срезалось.

— Макаки сингапурские! — выругался он, но, к удивлению всех, никого не ударил.

Он прочитал несколько параграфов из устава и начал объяснять их своими словами:

— Примерно, присяга... Раз дали ее, значит, баста: вы уже с головой и потрохами принадлежите царю-батюшке. Не ропщи, стало быть, ни на что. Голод, холод переноси. Потому как это — военная служба, а не свадьба...

Он продолжал дальше в том же духе, выпаливая несуразные слова, а нам казалось, что кто-то молотком бьет по голове, вышибая из нее все мысли.

— Поняли, головотяпы, что я говорил? — закончил Храпов, окидывая всех взглядом серых глаз.

— Так точно, господин обучающий! — ответили новобранцы хором.

— А теперь... Эй, ты, морда теркою, повтори то, что сказал я вам,— обратился он к новобранцу Быкову, у которого лицо было изрыто оспою.

Тот вскочил, зашевелил толстыми губами, но ничего не ответил.

— Я от тебя ответа жду, а ты, точно корова, только жвачку жуешь...

— Так что, окромя государя, часовой никому не должен отдавать винтовки...— брякнул наконец Быков и сам испугался.

— Вот те на!—вскрикнул Храпов, хлопнув рукою по бедру.— Полюбуйтесь на этого молодца,— ядовито улыбаясь, обратился он к нам.— Ты ему про мачту-грот, а он себе палец в рот. О чем я вчера говорил, он мне сегодня повторяет, как есть бревно! А ведь, ежели правильно рассудить, должен быть бы умным парнем. Гляньте-ка на его рожу: сам черт на ней арифметику выписал.

Он повернулся к Быкову и, склонив голову набок, лукаво прищурил один глаз.

— У тебя баба есть?

— Никак нет.

— А матка?

— Есть.

— Где?

— В деревне осталась.

— Ты, может, по маткиной сиське соскучился, дитятко родимое, а?

Новобранец стыдливо потупился.

— Я тебя выправлю! — сказал Храпов и кулаком ударил новобранца в подбородок так, что у того щелкнули зубы.

Инструктор, пытливо осмотрев всех, остановил свой взор на Капитонове.

— Кто у тебя экипажный командир?

Мой сосед вздрогнул и рванулся с койки, точно кто-нибудь его толкнул.

— Его высокоблагородие капитан первого ранга... ранга... Борщей.

— Брешешь!

Капитонов назвал еще несколько фамилий.

— Молчи уж! — оборвал его Храпов.— Недорубленный! Послушай вот, что тебе Стручок скажет.

Новобранец, метко прозванный такой кличкой, тонкий и высокий, со всегда согнутой спиной, пользовавшийся у инструктора особой милостью, ответил почти скороговоркой:

— Его высокоблагородие капитан первого ранга Капустин, господин обучающий!

— Молодец, Стручок.

— Рад стараться, господин обучающий.

— А ты, кукла заморская, поди сюда! — крикнул инструктор на Капитонова.

Зная, зачем его зовет Храпов, новобранец приближался медленно, дико озираясь, точно ища себе спасения.

Инструктор постучал кулаком по его голове, потом по своей табуретке, прислушиваясь при этом одним ухом, посмотрел на нас и заявил:

— Одинаковые звуки получаются...

Услышав приказание нагнуть голову, новобранец сделал и это покорно и безмолвно.

— Я тебе на шею пластыри приложу.

При каждом ударе по шее Капитонов тыкал головою

вниз, точно огромная птица, клюющая свою находку. Раза два он падал на колени, поднимался и снова становился в прежнюю позу.

Возвращаясь на свое место, он в довершение всего зацепился за чьи-то ноги и сильно споткнулся.

— Тюлень! — рявкнул ему вслед Храпов.

Словесность продолжалась. И чем дальше она шла, тем злее становился инструктор. Горячась, он потрясал в воздухе кулаками. Те, кто на чем-нибудь сбивался, подвергались наказаниям, какие только приходили ему в голову.

Спустя полчаса у двоих были окровавлены лица, трое стояли на матросских шкафиках, выкрикивая:

— Я — дурак второй статьи!

— Я — дурак первой статьи!

— Я — глуп, как пробка!

В то же время один новобранец, засунув голову в печку и называя свою фамилию, повторял слова инструктора:

— У Пудеева кобылья голова... Он словесности не знает.

И к каждой фразе прибавлял самую гнусную матерщину.

Дошла очередь и до меня.

— Что такое знамя?

На это я ответил без малейшего затруднения, так как весь устав вызубрил наизусть.

Приказано было сесть.

Храпов снова взялся за Капитонова.

— А теперь ты повтори, что он сказал.

Капитонов весь встрепенулся.

— Знамя, господин обучающий, есть...— моргая глазами, быстро заговорил было он и сразу осекся.— Знамя... хоругва...

— Ну? — не отставал от него Храпов, глядя ему в лицо.

Капитонов, напрягая мысль, морщил лоб. Губы его вдруг посинели, в глазах светился животный страх. Наконец, сокрушенно мотнув головою, он забормотал что попало:

— Потому живот не жалея... Святая хоругва... До последней крови... Часовой...

— Стой ты, дубина стоеросовая! — остановил его Храпов.— Ну, чего ты мелешь? Нет, измучился я с тобою совсем. Хоть кулаки мои пожалей: отбил я их о твою дурацкую башку. А все без толку. Тебя, видно, учить, что на лодке по песку плавать...

И, не желая затруднять себя больше, он обратился ко мне:

— А ну-ка, смажь ему разок по карточке. Да хорошенько, смотри!

Я отказался выполнить такое приказание.

Храпов стиснул зубы. Лицо у него стало багровым. Сверкая глазами, он несколько секунд смотрел на меня молча, а затем строго приказал:

— Капитонов! Если он не того, то ты ему пару горячих привари!

— Слушаюсь, господин обучающий! — ответил тот, оборачиваясь ко мне.

Не успел я произнести ни одного слова, как по моему лицу раздались один за другим два сильных удара. Голова моя сначала мотнулась в одну сторону, а затем — в другую. Из глаз посыпались искры. В ушах зашумело.

— О мерзавец! За что ты меня ударил? — задыхаясь от негодования, крикнул я в диком исступлении. Сердце бурно забилось. Я задрожал весь. Все мое существо охватило безумие и неумолимое желание броситься на Капитонова, рвать его, рвать до тех пор, пока не истощатся последние силы, но это продолжалось одно лишь мгновение, а затем я беспомощно свалился на койку. Что было со мной дальше,— я ничего не помню.

. . . .

В этот вечер я долго бродил по двору, осыпаемый холодным снегом, с болью в голове и с горечью в сердце.

Время приближалось к полуночи, когда я вернулся в камеру. Газовые рожки, наполовину привернутые, горели слабо. Кругом было сумрачно. Новобранцы, утомившись от работ и учебных занятий, крепко спали. Дремал и дневальный, привалившись к стене около дверей.

Воздух был тяжелый, спертый, пахло прелыми онучами. Я прошел к своей койке и начал раздеваться.

Капитонов еще не спал. Опустив голову, он сидел на своей койке, убитый и жалкий. Лицо его сделалось темным, взор неподвижно устремился в одну точку. Заметив меня, он повернулся в мою сторону.

— Брат, прости...— еле слышным, дрожащим голосом произнес он, не глядя на меня, и по его щекам крупными каплями неудержимо покатились слезы.— Ей-богу, не знаю — как это я... Никогда больше... никогда... Бей меня... Сколько хочешь бей... Только прости...

Дальше он не мог говорить. Голос его оборвался и замер в глухом рыдании. Он опустился передо мной на колени, тыкаясь головою в мои ноги. И только видно было, как вздрагивало его большое тело, да слышались прерывистые всхлипывания...

ПОРЧЕНЫЙ

I

В семействе Колдобиных ждали сына, солдата, кончившего срок службы.

Приготовляясь к встрече, не скупились ни на какие расходы: натолкли пшена для блинов, обрекли на зарез пеструю хохлатую курицу и, достав солоду и хмелю, наварили браги.

Захар, чернобородый мужик, порядком изломавшийся от непосильной работы, человек степенный и всеми уважаемый в селе, был очень доволен тем, что наконец-то сын возвращается домой. Работал много, не покладая рук, однако дела его налаживались плохо. Раньше он жил почти не зная нужды, но с тех пор, как Петра взяли на службу, хозяйство пошло на убыль. Пришлось много израсходовать на проводы сына и лишиться хорошего помощника. А спустя год пожар спалил его двор, и потом, как на грех, околела лошадь. И хотя он построил новую просторную избу в семнадцать венцов, с сенями и маленькой горенкой, купил другую лошадь, но по уши залез в долги местным богачам.

Теперь Захар бодрее стал носить лохматую голову и, поглаживая черную бороду, слегка посеребренную сединой, думал лишь одно:

«Скорее бы Петр приехал! А там — бог даст, поправимся».

Не говоря никому ни слова, он заботливо начал устраивать в горенке коник, а когда кончил работу, усмехаясь, объявил:

— Для солдата с Матреной...

Мать, дряхлая, худая, со сморщенным лицом и потускневшими глазами, однажды, ковыляя, сама отправилась в лес. Тяжело было ей: ноги отказывались служить, глаза плохо видели,— но все-таки благополучно вернулась домой, принесла молоденьких груздочков, которые посоливши спрятала в погреб.

— Угощу его от своих трудов,— говорила она, довольная и радостная.

Повеселел и старший сын Федор, мужичонка хилый, с тонкими ногами и сухим землистым лицом, обросшим реденькой рыжей бородкой. Глаза его глядели вяло, тело, надорванное тяжелыми работами, просило отдыха.

Но больше всех радовалась солдатка Матрена, белокурая, статная молодуха.

— А мой Петька скоро, чу, придет! — сообщала она, встречаясь с соседями.

— Значит, пожируешь,— смеясь, отвечали ей.— Довольно, наговелась, чай, бабочка, без мужа-то.

— Ну, вам только про это...

Матрена смущалась, голубые глаза ее становились веселыми, как майское солнце.

Никогда не забыть ей, сколько слез пролила она, провожая мужа в солдаты.

Только спустя месяц после разлуки, когда родила она мальчика, стало легче.

Теперь Яшке шел четвертый год.

Он был здоровый, резвый, черноглазый, как отец, и часто, улыбаясь, Матрена думала о том, как доволен будет ее муж, что она родила ему такого хорошего сына.

— На будущее лето надо Запотинскую чищобу расчистить,— постоянно заявлял теперь отец.— Хотел у барина прихватить десятин пяток, да учитель бает — подождать надо. Может, прирезка будет. Как думаешь, Федор, а?

— Что ж тут думать! Конечно, расчистим, раз лишний работник прибавится,— отвечал Федор.

— Где-то теперь мой Петенька? — тяжело вздыхала мать.

— Поди, по чугунке запузыривает,— предполагал кто-нибудь.

— А может, уж к деревне подъезжает,— нетерпеливо вставляла Матрена.

И те, что сидели у окна, невольно оглядывались на улицу — днем пустую, вечером темную.

II

Был конец августа. Праздничный день выпал на диво ясный и теплый, как будто среди лета. Только золотые листья на деревьях, горя под косыми лучами солнца, возвещали о приближении осени. С улицы вместе с гамом детей, бегавших взапуски, доносился звонкий, заливчатый тенор приезжего торговца:

Э-эй, яблоки спелые,
Румяные, белые...
Девки-молодухи,
Старые старухи,
Выбегайте из хат,
Бери нарасхват...

Колдобины, вернувшись из церкви, только что пообедали, бабы уже убирали посуду со стола, мужики, позевывая, собирались пойти на сеновал отдохнуть. Вдруг, заглушив весь шум улицы треском колес и звоном колокольчиков, подъехал к дому в сером облаке пыли тарантас, запряженный парой коней. Колдобины переполошились — не начальство ли? Но испуг тотчас сменился радостью, когда жена Федора, Химка, взглянув в окно, громко закричала:

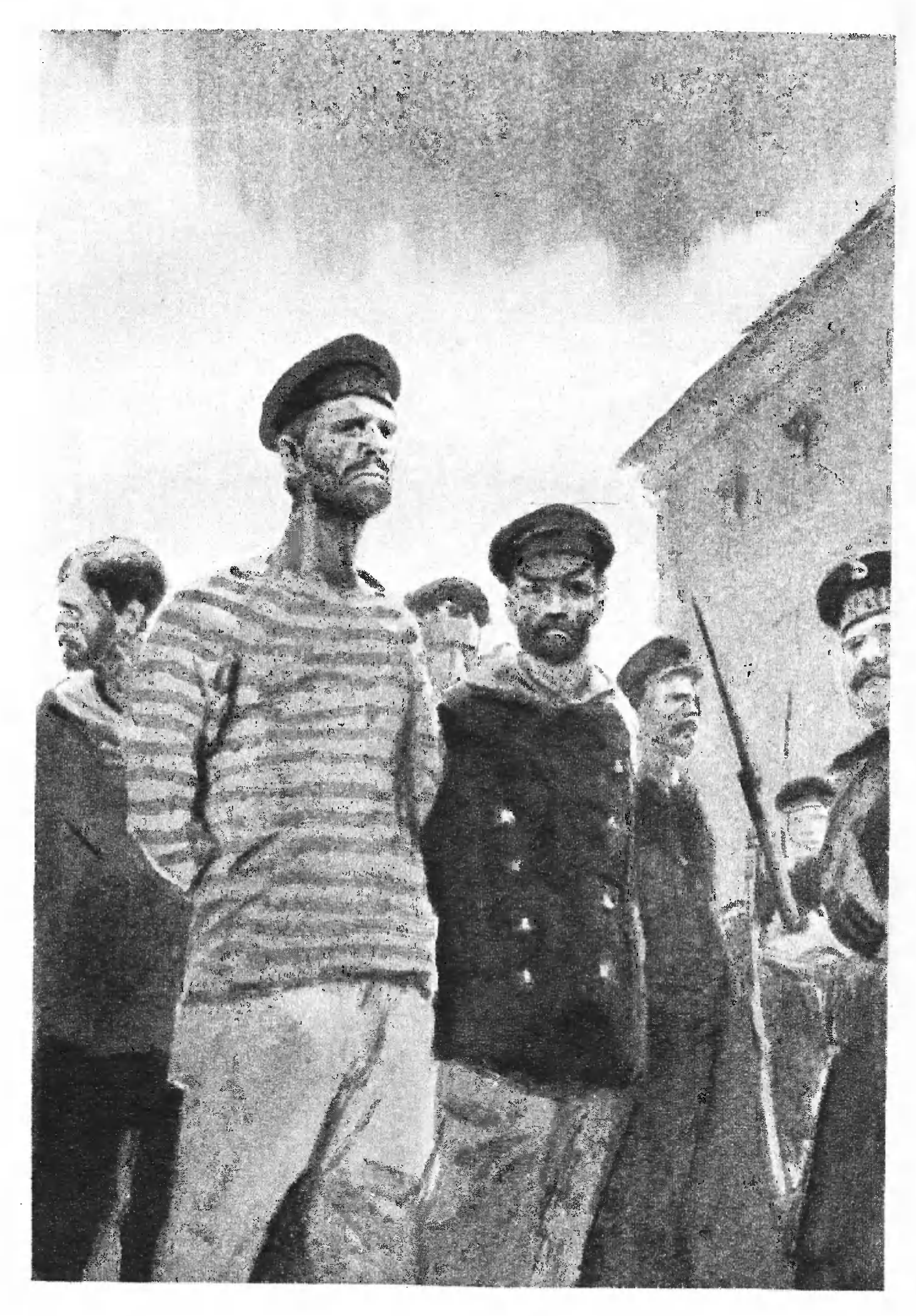
— Родимые! Да ведь это наш солдат!

На мгновение все в избе онемели, словно задохнувшись, но сейчас же шумно и бурно бросились на улицу.

Навстречу им важно, не спеша вылезал из тарантаса высокий и широкоплечий мужчина в гвардейской форме. На круглом, с заплывшими черными глазами, лице густо распушились большие усы, а от них вплоть до висков простирались курчавые бакенбарды. На плечах Петра было по три унтер-офицерских кондрика, а на груди красовалась медаль за отличие. Заметив выбегавших из избы людей, он задрал кверху голову, удив-



«ПО ТЕМНОМУ»



«БОЙНЯ»

ленно посмотрел на них и, точно маршируя, двинулся навстречу.

Первая бросилась ему на шею мать.

— Петенька, родной!.. Ясное мое солнышко... Господи... счастье-то какое!..

Едва выговаривая слова, она долго целовала лицо и голову сына, а по морщинистому лицу обильно текли слезы.

Сын, согнув широкую спину, поддерживал мать под мышки, деревянно ворочал головою из стороны в сторону и невнятно мычал.

— Ну, ладно тебе, старуха, другие ждут,— вытягивая губы, сказал Петр.

С Петром обнимались и целовались сначала отец, брат, жена брата,— он позволял всем троекратно приложиться к щекам и пыхтел, а когда наконец, зардевшись, к нему подошла Матрена, он вдруг остановил ее, выдвинув вперед большую красную руку.

— А ты тут без меня как жила? Честно? — строго спросил он, и его бакенбарды подвинулись к ушам, а усы ощетинились.

Матрена, вздрогнув, опустила глаза, оросившиеся слезами.

— Что ты, Петенька, господь с тобой! — торопливо вступилась за нее свекровь.— Да она тише воды, ниже травы.

— Верно, верно,— ласково подтвердил отец, подталкивая сноху к сыну.

Искривив лицо усмешкой, солдат подмигнул отцу.

— Ну, ладно, я обо всем дознаюсь.

И позволил жене, как всем, трижды поцеловать себя.

Пошли в избу, неся грузный багаж солдата.

Яшке отец не понравился; мальчика испугали бакенбарды,— солдат напомнил ему пристава, который прошлой осенью свел у них за подати коров, после чего все плакали, а Яшке перестали давать молока. На улице он не подошел к отцу, мать в радостях забыла о нем, а когда вошли в избу, он незаметно шмыгнул на полати и, высунув оттуда голову, как зверек, наблюдал за всем, что происходило в избе.

— Где же мой сын? — спохватился солдат, строго оглядываясь.

— Яшек, внучек! — позвала бабушка.— Куда он, пострел, запропал?

— Он тут был,— сказала мать, виновато суетясь.

— Как же ты мне его не представила? — постукивая ладонью по столу, начальнически спрашивал Петр.— Где же он, а?

Из сеней чей-то голос предательски сказал:

— На полатях!

Мальчика пришлось стащить насильно. Он сопел и отбивался.

А когда все-таки его поставили перед отцом,— опустил упрямо голову, не желая взглянуть ему в лицо.

— Ты чего же не глядишь на меня? — спросил отец.

Яшка еще ниже склонил голову, засунул в рот палец.

— Какой ты, брат, неуч,— сказал солдат, наклоняясь и поднимая сына, чтобы поцеловать его.

— Не бойся, Яшек,— ободрял дедушка.— Видимость у тебя, Петруха... внушающая, вот он и оробел...

Яшка вдруг заплакал и, вырываясь из рук отца, начал бить его руками и ногами.

— Э, паршивец! — Петр неосторожно толкнул сына, мальчик упал на пол, завизжал, как поросенок, и, вскочив, стрелой вылетел на улицу.

— Хорошо обучила, нечего сказать! — укорил солдат жену, метнув на нее сердитый взгляд.

— Вишь, испужался,— робко оправдывалась Матрена.— А то он страсть какой ласковый! Подожди, Петенька, он пообыкнет...

— Для кого Петенька, а для тебя Петр Захарыч! — оборвал ее муж.

Жена, ежась, потупилась, а мать вздохнула:

— Ох-хо-хо!

— Зря это ты, Петр,— заметил Захар, укоризненно качая головой.— Это, брат, зря! Жена у тебя — слава богу — всем на зависть, а ты... ты погоди...

В избе воцарилась неловкая тишина. Лица стали пасмурными.

Вошли соседи и, здороваясь с солдатом, нарушили тягостное молчание. В избе снова все ожили, завертелись, заговорили. Бабы накрывали на стол, Федор принес четверть водки, а Петр, раскрыв чемодан, начал раздавать подарки. Отцу и брату досталось по паре сапог;

матери — большая теплая шаль; снохе — красный с белыми горошками платок. Вынимая вещи из чемодана, солдат важно надувал щеки, и бакенбарды его шевелились.

— А тебе после дам, — сказал он жене.

— Спасибо, Петень... Петр Захарыч, — ответила тихо она.

Раздав подарки, Петр зачем-то вытер руки о штаны, достал из чемодана фунтов пять вареной колбасы, кусок сыра, бутылку малороссийской запеканки.

Мужики, бабы и ребятишки смотрели на него, разинув рты. Все были окончательно поражены, когда солдат поставил на стол большой новый самовар, блестевший, как солнце. В селе чай пили всего лишь четыре семьи. А тут вдруг, шутка сказать, и Колдобины тоже будут чай пить!

— Ну-ну! — послышалось в сенях. — Вот оно как! Ушиб...

Солдат торжествовал.

— Не надо бы эту штуку-то, — сказал ему отец, кивнув головой на самовар.

— Ах, папаша, ну для чего вы так говорите? Я теперича без чаю не могу обойтись!

— Может, оно и так, да только... того...

Старик вздохнул и поскоблил затылок.

— А что такое?

— Недоимка есть, ешь ее мухи! Вот что. Да и хлебца хватит только до масленицы. Нужды много...

— Ничего, папаша, у нас хватит! — Солдат похлопал себя по карману.

— У нас весьма хватит! — повторил он.

Люди зашушукались, завздыхали — в иных глазах загорелась зависть, а иные оттенились грустью и печалью.

III

Вечером изба Колдобиных была переполнена людьми, в открытых окнах торчали лохматые головы. Всем хотелось посмотреть на богатого солдата.

Он сидел в переднем углу. С правой стороны его отец с матерью таяли улыбками, с левой — тесть, и дальше

вокруг стола — остальные родственники. Дошибали вторую четверть, уже слышались пьяные голоса, говорили все разом, перебивая друг друга, никого не слушали. И только, когда раздавался важный голос солдата, некоторые из уважения к нему замолкали.

— Вы то поймите, православные, ведь я за рыжего мерина сорок целковых заплатил,— ерзая по лавке, печально рассказывал тесть солдата, морща изношенное лицо, словно собираясь заплакать.— Можно сказать, всю деньгу убухал. А он, дьявол, слепой оказался! Как это, а?

— Вот пустозвонный балабан! — перебил его кто-то.— Сто раз слыхали это.

— Ублажил ты меня, Петр, ах, как ублажил! — бормотал Федор, хлопая солдата по плечу.— Как хватил я ее, красненькую-то, так, понимаешь ли, в самые кости ударила! Ей-богу!

— Запеканка-то? — осведомился сосед.

— Она!

— Да-а.

Некоторые из гостей пробовали сыр, но, пожевав, сплевывали в руку и незаметно выбрасывали под стол, тщательно вытирая руки о платье.

— А что же сыр никто не ест? — спросил солдат.

— Да без привычки не по нутру он нам,— объяснил один из гостей.

— На мыло больно смахивает, притом же воняет,— добавил другой, более смелый.

— Эх вы, мужичье, сами вы воняете! — презрительно качая головой, усмехнулся Петр и, отломив кусок сыра, начал есть его, как редьку.

Хмелея, он куражился все больше и больше, желая удивить публику «благородными» манерами, усвоенными на службе, и становился все грубее. Всем было смешно, когда он то вдруг надувался, как индюк, то рвал и крутил усы с такой силой, что верхняя губа оттопыривалась в ту или другую сторону, то, нахмурившись, прикладывал указательный палец ко лбу, как будто что-то соображая. По временам голова его закидывалась назад, и глаза сурово и пронзительно останавливались на людях, точно он производил инспекторский смотр.

— Душно у вас! — нюхая воздух и морща нос, заявил он и, достав из кармана носовой платок, начал им обмахиваться.

— Окна открыты,— заметил отец, который хоть и пьян был, но все время искоса поглядывал на сына.

В публике шептались:

— Для ча это он так?

— Этак-то попадья в жару делает...

Солдат привстал и, скосив глаза, брезгливо осмотрел людей, толпившихся в избе.

— Э-э-э,— тянул он, как ротный командир, когда тот хотел вызвать из фронта какого-нибудь солдата.

— Вот ты, трегубый, поди-ка сюда,— произнес наконец он, подзывая молодого парня с рассеченной губой.

— Меня, что ли? — приблизившись, спросил тот.

— Да, да, братец. Достань-ка мне э-э-э... сногсшибательной микстуры да крендельков э-э-э... полпудика...

— Вот это дело! — восторгались мужики.

— Довольно бы, сынок,— вступилась мать.

— Не перечь мне, мамаша! Пусть знают, кто такой Петр Захарыч и все прочее.

Забрав деньги, парень мигом слетал к шинкарю.

Водку начали подносить всем без разбора. Пили мужики, бабы и ребятишки, закусывали кренделями. Шум усиливался, даже на улице под окнами орали песни, плясали.

Солдат тяжело вылез из-за стола и, размахивая руками, громко заявил:

— Петр Захарыч докажет вам, почем сотня гребешков и все прочее!..

— Вот так воин! — раздавались голоса.— Этот сокрушит.

— Федор, откроем мелочную лавочку, а? — расставив ноги и взяв фертом руки, обратился Петр к брату.

— Жарь, Петро! — отозвался тот.— Жамки будем есть! Эх, разлюли малина!..

— Неужто можешь? — спросили мужики.

— Я-то! Да я все ваше село куплю — и с вами и вашими потрохами! Вы думаете — теперя я, как вы, навозники?

Он достал из бокового кармана толстый новенький бумажник и начал вытаскивать из него одну за другой радужные кредитки.

— Вот они, настоящие царские!

Все так и ахнули от удивления, а у многих даже дух захватило.

Послышались восклицания:

— Деньжищ-то сколько, мать ты моя честная!

— Пять, гляди, сотельных-то!

— Да еще, кажись, есть!

За окнами было слышно блеяние овец и мычание коров: поднимая дорожную пыль, возвращалось с поля стадо. Солнце утопало в огненной пучине облаков. На деревьях и холмах за селом горел кровавый отблеск заката. Стекла окон зажглись пламенем.

Петр, качаясь, вышел на улицу и, оглядев толпу, спросил:

— Отвечай, кто хочет получить трешницу?

Люди с недоумением смотрели на него, отодвигаясь подальше; кто-то негромко спросил:

— За что же это такая милость?

— А вот раз в ухо вдарю!

Раздался смех, там — подавленный и завистливый, тут — обиженный и злой.

— Эка, дураков нашел! — послышались голоса.— Диви бы большие деньги! А то только за зелененькую! Сто целковых!

Через толпу быстро протолкался к солдату мужик лет сорока, сутулый, с чумазым лицом, обросшим жесткой, бесцветной щетиной. Одетый в грязные, рваные тряпки, он походил на огородное пугало.

Это был пастух Савка Безрукий, человек глуповатый, многосемейный; он жил на задворках и бился в нужде, как рыба в сетях.

— Сообразите-ка, дубье: ведь три пуда муки можно купить...— убеждал солдат.

— За пятишницу можно,—сказал Савка.

— Больше трешницы не дам!

Савка, уступая, согнал цену до четырех рублей.

— Ну, черт с тобой, пять гривенников прибавлю.

Пастух задумался, испытующе оглядывая солдата— великана в сравнении с ним.

— Прибавь полтинку,— склонив голову набок, умоляюще попросил он.— Ну, что тебе стоит полтина? А мне она пригодится. И сам посуди: ты вон какой, анафема. Треснешь не на шутку... может, изувечишь...

— Ладно,— согласился солдат, ухмыляясь, и баки его отодвинулись далеко к ушам, а лицо стало квадратным.

Получив деньги, Савка хватил два бражных стакана водки и стал столбом, крепко утвердив ноги в пыли.

Мужики, увидев, что дело затеялось всерьез, предупреждали пугливо:

— Зря ты, Безрукий: век калекой будешь.

— Ой, левша, повредит тебе мозги, узнаешь тогда кузькину мать...

— Буде вам молоть-то,— отозвался пастух.— Меня отец молодого оглоблей дубасил, и то ничего.

Солдата попробовала было остановить Матрена, взяла его осторожно за рукав, но он грубо оттолкнул ее.

— Прочь пошла, дура!

Раза два он прошелся перед пастухом, поплевал в кулак и, нацелившись, размахнулся. Толпа вытянулась, замерла. Раздался глухой удар. Савка охнул и повалился на землю, как подкошенный, потом раза два медленно повернулся в пыли, вскочил на ноги, замычал, покружился на одном месте и, странно махая рукой, подпрыгивая, побежал вдоль улицы.

— Тю-тю!.. Го-го-го!..— загудела толпа, смеясь и свистя.

Пробежав саженей двадцать, Савка упал ничком на землю, раскинув руки и подергиваясь. Изо рта и левого уха текла кровь.

— Деньги даром не пропали! — произнес солдат и, заржав, пошел в избу.

Около Савки молча сгрудился народ. Прибежала жена и, склонившись над мужем, завыла во весь голос, за нею подбежали дети Савки и тоже заплакали.

— Дышит — отлежится,— тихо заявил кто-то.

Жена выпрямилась, грозясь на дом Колдобиных.

— Что ты наделал, кобель бессовестный?.. Лопни твоя утроба!..

С помощью соседей она потащила мужа домой.

В избе сначала встревожились, но за выпивкой скоро забыли о пастухе, и только Захар как-то серел, слушая сына, который все рассказывал, ломаясь:

— Объявил это нам ротный: жиды бунтуют, против веры православной идут. Пригнали нас в город. А там такая кутерьма идет, что просто беда: вольные из жидов месиво делают. А те бегают, визжат, что-то гавкают. Не стерпели и наши молодцы... Эх, тут и рассказать-то нельзя: уж больно уморительно...

Некоторые засмеялись.

— Не по-божески это,— заметил Захар.

— Эх, папаша, тут вам не понять. Надо сначала на службе побывать, да устав выучить, да знать, что такое в н у т р е н н и й в р а х, а потом разговаривать и все прочее.

Закусив бороду, старик уныло качал тяжелой головой.

Разошлись гости уже поздно ночью, и на улице еще долго, почти до света, куролесили пьяные.

На конике, где солдат лег спать с женою, слышалась возня.

— Нет, не можешь ты понять...— ворчал Петр, икая от перепоя.

— Миленький Петенька...— испуганно шептала Матрена.

— Э, дура!

— Петр Захарыч... Да я для тебя...

— Тьфу!.. Как есть ду-урра...

IV

На второй день Захар и Федор встали с восходом солнца. У обоих позеленели лица, трещали головы, а внутри мутило. Начали опохмеляться, закусывая малосольными огурцами.

Топилась печка. Матрена, держа в руках ухват, гремела чугунами. Лицо у нее было бледное, глаза недоуменно-неподвижны. Старуха, сидя на скамейке и согнувшись, чистила картошку.

В избу вошла жена Федора и, обращаясь к свекру, испуганно заговорила:

— Батюшка, с Савкой-то дело плохо!

— А что? — спросил Захар, часто мигая.— Отчего?

— Да Петруха-то ударил! За четыре рубля, что ли. Ожил, а встать не могет. И на одно ухо оглох. Домашние ревут — будто покойник в избе-то.

— Вот оно что! — угрюмо промолвил Захар и нахмурился.— Забыл я про это...

— Не подставляй морды! — отозвался Федор, опрокидывая в рот стакан водки.

— Эх, денежки! — вздохнул старик, вспомнив, как солдат хвалился, показывая сторублевые бумажки.

«Откуда они? — спрашивал себя Захар.— Тут что-то недобрым пахнет».

И, подперев руками голову, задумался. Поведение сына показалось ему несуразным. Для чего, на самом деле, кривляться и корчить из себя барина? И зачем напрасно людей обижать? Пастуха чуть не убил, про евреев рассказывал бог знает что... А тут еще эти деньги... В голове рождалось что-то тяжкое и темное, тревожившее сердце.

— Ах ты, господи..

Он встал и вышел на двор, а через несколько минут, громыхая длинными дрогами, ехал на лесопилку, где подрядился возить тес.

Яшка, вскочив с постели и подозрительно оглядевшись, подбежал к старухе.

— Бабушка, есть хочу,— протянул он, теребя ее за сарафан.

— Чичас, внучек, чичас,— проговорила старуха и достала с полки три кренделя.

Яшка, запрыгав от радости, на одной ноге поскакал на улицу.

Матрена, убравшись около печи, нарядилась в темно-синий китайчатый сарафан, бордовую рубаху, в голубой запон, надела на шею разноцветные бусы. Лапти заменила новыми котами с медными подковами. Такую роскошь она позволяла себе только в особо торжественные дни.

Однако настроение было грустное. Ночь с мужем вместо ожидаемой радости принесла горе. Он обошелся с нею так, что стыдно было вспомнить. Но еще хуже ста-

ло, когда она погнала к стаду коров. Бабы, собравшись на выгоне, судачили:

— Солдат-то Колдобин как чванится...

— Беда!.. А бороду себе как сделал — ой, ой! На черта похож. С ним, поди, спать страшно...

Многие смеялись.

— А денег, денег-то у него! Боже мой! Бумажек одних половина чемодана.

А Фекла, полная косоротая баба, сбоченившись, резала без всякого стеснения:

— Тришка-то, мужик мой, обсказывал: свистнул где-нибудь! Гляди, говорит, их всех в острог заберут, Колдобиных-то. Умереть на месте, не вру...

Бабы с нею соглашались.

Солдат встал часов в десять. Умывшись душистым мылом, он долго стоял перед маленьким зеркалом, молча смазывая голову репейным маслом, а усы фиксатуаром. Потом натянул мундир и, принарядившись, велел приготовить чай. Но никто не мог поставить самовара.

— Эх вы, тамбовские волки! — насмешливо заговорил Петр, взявшись сам за дело.— Вам, видно, не чай пить, а только щи хлебать осметком!

Скоро опять начали сходиться гости, и пьянство пошло снова.

Солдат, подвыпив, позвал Матрену в горенку.

— Ну, жена, довольно тебе ходить простой бабой!— сказал он и, раскрыв один из чемоданов, начал вытаскивать из него подарки... Тут были платья, платки, корсет.

Матрена застыдилась, фыркнула.

— Ты что? — взглянув на нее, спросил солдат.

— Да я, Петр Захарыч, и надеть-то не сумею этакое...

— Ну и горе же мне с тобой! Другая бы радовалась, а она вон что! Мужичка и все прочее!

Отделив часть вещей, он подал ей.

— Чтобы сию минуту преобразиться в барыню!

— Лучше в другой раз...— взмолилась жена.

— Ослушаться?

— Голубок ты мой сизый, засмеют ведь меня.

— Молчи, простокваша, а то — хлебалы разнесу! — сердито закричал он и матерно выругался.

Глотая слезы, Матрена раздевалась и стояла перед подарками, не зная, что делать с ними. Петр, много раз видевший, как одевались в публичных домах девицы, начал помогать жене, поругиваясь и хвастаясь своим знанием дела.

— Где это ты научился? — вздохнув, спросила жена.

— Не твое дело, шевелись знай.

Когда Матрена вошла в избу, говор сразу смолк, и все уставились на нее изумленными глазами. Трудно было ее узнать в розовом батистовом платье с зелеными бантиками. Красные рабочие руки были нехорошо обнажены выше локтей. На животе обручем топырился лаковый ремень с широкой красной бляхой. В волосах, зачесанных на макушку, торчали роговые гребешки, блестя золотыми узорами и поддельными камнями. На ногах остроносые туфли с высокими каблуками и белые ажурные чулки.

— Вот так штука! — промолвил Федор и, качнувшись вперед, широко, глупо раскрыл рот.

Тесть засуетился, выскочил из-за стола и, прыгая по-мальчишески, заговорил неискренне:

— Матрена, да ты ли это? Зятек, дорогой мой, да она у тебя вроде королевы! Ей-богу! Ах, раздуй меня горой! Свою родную дочь не могу признать! Ну и чудо-юдо!..

Бабы обступили Матрену, оглядывая ее с ног до головы, ощупывая руками. Они посмеивались, находя, что новый наряд к ней не подходит.

— Деликатно, что и говорить... Только — не для нашей это жизни,— нет, неподходяще будто.

Матрена стояла, понуря голову, и от стыда не знала, куда деться. Лицо ее настолько залилось краской, что, казалось, вот-вот сквозь нежную кожу брызнет кровь.

А Петр, довольный своей проделкой, ухмылялся и лихо крутил усы.

— Эх, Петр Захарыч! — юлил тесть.— Будь у меня деньжонки, променял бы я своего слепого мерина. И во как покатал бы вас! А встретивши кого, гаркнул бы: сторонись, такой-сякой, сухой-немазаный! Не вишь — становой со становихой едет! Тресни моя животина, коли вру!

— Не тужи, богоданный папаша, все устроим,— сказал солдат и полез в карман за бумажником.

Люди вытянули шеи, жадно поглядывая в руки солдата.

— Держи,— важно произнес Петр, подавая тестю десятирублевую кредитку.

— Зятечек, разлюбезный мой! — восклицал тот, целуя ему руки.

— Ну, довольно, довольно...— говорил Петр, не отнимая рук от сухих губ тестя.

— Нет, подожди, зятек... Теперь я с лошадью... Спасибо! Где твои золотые ножки?..

Ползая на коленях, он целовал ноги солдата.

Кто-то заметил:

— Червь навозный!

Потом, оттолкнув старика и шевеля на груди медаль, Петр бахвалился:

— Служба, братцы, важное дело. Это хультура. Кто из вас может понять такое слово?

Мужики, хлопая глазами, молчали.

— Где же им! — вздохнула мать.

Поглядев на всех, он продолжал:

— Понять ее надо, хультуру-то. Через нее мужик-земледерой, можно сказать, делается кавалером по всем статьям... Значит, церемониальным становится и все прочее...

— Сколько ума набрал! — восхищался тесть.

— Есть у вас на селе просветительные и благородные люди? — спросил солдат.

— Да как сказать? — мялись мужики.— Вот разве поп.

— А учитель? — вставил кто-то.

— Это правильно,— подхватил Федор, оживляясь.— Яков Петрович, учитель наш, человек — эх, башка!.. Поп рядом с ним — шлея мочальная. Пойми: что поп заганет, то учитель отганет, а что учитель попу заганет, то поп, хоть тресни, не отганет!

— Значит, не стыдно с ним подружить и все прочее? — осведомился солдат.

Мужики наперебой расхваливали учителя:

— Ах, чудак этакий! Да Яков Петрович у нас человек первейший...

— Ежели рассказывать начнет, как жить надо, так, брат ты мой, аж дух захватывает! До слез доведет...

— Это что! Он законы знает! Прошение может напороть: хоть к земскому, хоть к губернатору — куда вгодно...

Через некоторое время все поднялись и вышли на улицу, распевая песни и приплясывая, но веселье было какое-то тяжелое, вынужденное, напоказ.

Солдат, окруженный пьяной толпой, шагал твердой походкой, заложив назад руки и держа в зубах папиросу. Голова его была запрокинута вверх, точно он смотрел на небо.

Рядом с ним, понурившись, шла жена в новом платье; оно уже лопнуло под мышками, и в прорехах виднелась подкладка. Всегда проворная, гибкая и легкая, она теперь шагала, как деревянная кукла, неуклюже тыкая ногами в пыль и траву. Тесные туфли больно сжимали ноги. Туго стянутый корсет давил грудь. Кружилась голова. По временам ей казалось, что она идет на ходулях; едва удерживаясь, чтобы не упасть, она протягивала руки вперед и чувствовала себя обиженной, выставленной на посмешище людям.

Гуляющих сопровождали дети. Их было много, они сошлись со всего села. Из домов, отрываясь от работ, выбегали бабы и девки и, увидев странное зрелище, громко хохотали.

Петр Колдобин хмурился и, кривя лицо, громко говорил:

— Идиотский народ...

V

Как-то после обеда Петр отправился к учителю. Когда он подошел к школе, учеников только что распустили. Словно саранча, высыпали они на улицу, прыгая и толкая друг друга.

— Солдат бритый, нос подбитый! — кричали они Петру.

— Брысь, поганые котята! — затопал он ногами.

Дети, как горох, рассыпались в разные стороны, но, отбежав, стали кричать еще громче, показывая языки.

— Ах, шушера этакая,— ворчал он, грузно поднимаясь по лестнице в школу.

В учительской комнате за столом сидел молодой человек, невзрачный, подслеповатый, с русыми волосами, подстриженными в кружок, как у деревенских парней. Он был без пиджака, в одной черной косоворотке, подпоясанной ремнем.

— Скажи, почтенный, где тут учитель Яков Петрович? — обратился к нему солдат, загородив своей огромной фигурой всю дверь.

— Это я,— ответил тот, вставая.

Петр сверху вниз посмотрел на него, однако расшаркался:

— В таком случае — наше вам почтение!

— Здравствуйте,— подавая руку, ответил учитель.

— Честь имею объявиться: Петр Захарыч Колдобин, старший запасной унтер-офицер N-ского полка.

— Так, так, очень приятно.

Петр развалился на стуле.

— Вы ко мне по какому-нибудь делу? — застенчиво спросил учитель.

— Нет, я просто покалякать с вами, как полагается понимающим людям. С образованным человеком, знаете ли, приятно время провести и также все прочее. А то кругом — мужики одни, неучи. Никакого понятия не имеют о благородстве. Прямо тошно с ними.

Учитель поморщился и спросил:

— А вы кто?

— Я? Я сказал: унтер-офицер.

— Ну, да, знаю. Но ведь вы тоже из мужиков?

Колдобин снисходительно усмехнулся, крякнул и, вытянув ноги, объяснил:

— Кроме дворян и священников, все происходят из мужиков,— это совершенно так, но только людей надо отличать по образованию... по хультуре жизни...

Учитель пристально взглянул на гостя добрыми глазами.

— Так,— сказал он мягко.— А что же такое культура, на ваш взгляд?

— На мой?

Поняв, что он чем-то заинтересовал учителя, Петр напрягся, подумал и сказал важно:

— Это то, что различает людей... отличие лица от лица. И уважение к заслуге... Вот вы, например, и я...

Теребя свои бакенбарды, Петр взглянул на учителя.

— Вы, как видно, плохо наказуете своих учеников?

— Да я их совсем не бью,— ответил учитель с тихим удивлением и потер себе лоб.

— Это жаль. Нужна строгость, чтобы дисциплину привить. Да и чинопочитание должны знать. Ах, вот у нас в солдатах ловко! Другой придет из деревни коряга корягой. А через год-два из него, глядишь, такого человека сделают, что любо глядеть! Во фронт встанет, вытянется, не дышит, замрет! Картина! Залюбуешься и все прочее!

— Да-а,— неопределенно протянул учитель и стал ходить по комнате.

Рассказывая о казарменных порядках, Петр бесцеремонно оглядывал помещение учителя. Небольшая комната — аршин семи в длину и пяти в ширину,— она напоминала карцер. Стол, три стула, кровать с одной подушкой и коричневым байковым одеялом, этажерка, набитая книгами. Два небольших окна давали достаточно света. На одной стене висел снимок с «Панихиды» Верещагина.

Петр ухмыльнулся:

— Военная картина? Расчудесно! В казарме у нас тоже таких много. Только те получше. Там нарисовано, как наши нехристей лупцуют...

— И что же, нравятся они вам? — тихо спросил Яков Петрович.

— Еще бы! Одна, что висела против моей койки, больно хороша. Как русский без винтовки справился с врагом: схватил в охапку турка и зубами ему горло рвет. А тот глаза выпучил, морду скорчил. Занятно, ей-богу!

Учитель поморщился.

— А это что за люди: начальство, что ли, какое? — спросил Петр, показывая рукой на другую стену, где висели портреты Толстого и Чехова.

— Нет, это литераторы.

— То есть по какой же части?

— Книги пишут.

— Ах, да, понимаю, понимаю!

Отворив дверь, Петр звонко высморкался в сени; вытащив клетчатый платок, аккуратно вытер себе нос. Потом, усевшись на прежнее место, заговорил:

— Погляжу я на вас, Яков Петрович, человек вы образованный, а живете неважно. Нет у вас ни дивана, ни занавесок. И вообще что-то скудно у вас.

— Ничего, я чувствую себя хорошо,— ответил учитель.

Петр вытащил карманные часы из американского золота, посмотрел на циферблат, повертел в руках, желая обратить на них внимание учителя, потом встал, пошел к этажерке и начал рассматривать толстые книги.

— Вы не читали «Жених в чернилах, а невеста во щах»? — осведомился он.

— Нет,— неохотно буркнул учитель, глядя в окно.

— Это, я вам доложу, штука! Бывало, как начнут ее солдаты читать, так у всех от смеха ижно кишки перепутаются. А то вот еще книжка... Как она называется-то?.. Да, вспомнил: «Заднепровская ведьма, или колдовство на Лысой горе». Тоже, брат, занимательна. Беспременно отыщите.

Достав том, название которого гласило «Война и мир», Петр, просияв, воскликнул:

— По военной части ударяете! Вот это одобряю. Очень даже одобряю. А строевого устава у вас нет?

— Ну вас к черту с вашим уставом! — сердито выпалил учитель.

Петр что-то хотел возразить, но в этот момент глаза его успели прочитать: «Сочинение графа Л. Н. Толстого». В голове мелькнула неясная мысль. Дернув себя за ус, он задумался. И вдруг вспомнил, как полковой священник, беседуя с солдатами, проклинал Толстого и последователей его, называя их богоотступниками, разрушителями церкви православной и антихристами.

«Так вот он из каких! — удивился Петр и, взглянув на учителя, бледного, нервно кусавшего себе губы, заключил про себя: — Струсил...»

Поставив Толстого на место, он взял другую книгу: «Политическую географию России». Теперь для него уже не было сомнения в том, что учитель — «политик настоящий».

Он нарочно уронил папиросу и, нагибаясь за ней, заглянул под кровать.

Там стоял какой-то ящик.

«Не иначе, как тоже что-нибудь этакое...»

Заметив, что учитель нахмурился и больше не разговаривает с ним, Петр взял фуражку и начал прощаться. Но протянутая рука его осталась в воздухе: учитель молча отвернулся.

— Это как же так? — злобно глядя в спину, спросил солдат.

Ответа не было.

Солдат побагровел.

— Ступайте вон!..— повернувшись к нему, пронзительно закричал учитель, яростно взмахивая руками.

Солдат, готовый уже броситься на него и ударить, вдруг, неожиданно для самого себя, съежился, как бывало перед ротным командиром, и, твердо шагая, вышел из комнаты.

VI

О случае, происшедшем в квартире учителя, узнало все село. Унал об этом и Захар Колдобин. Он жил с учителем в дружбе, смотрел на него, как на хорошего человека, с которым можно было отвести душу. И старику стыдно было за сына. Он стал угрюм, молчалив, ходил, понуря голову.

Где бы люди ни сходились и о чем бы ни начинали толковать, всегда так или иначе упоминали о Петре.

— Человек этот, братцы, порченый! — как-то вырвалось у одного из мужиков.

— И то, пожалуй, верно,— согласились другие.— Иначе, с чего бы таким быть? Ведь хороший какой парень-то был до службы!

Слово «порченый» одни понимали так, что солдат на службе избаловался, другие — что это «с ветру ему надуло». Как бы там ни было, но кличка эта постепенно приставала к Петру, и теперь на улице дети кричали во всю мочь, убегая от него:

— Порченый!.. Порченый!..

Петр злился и ругал их отборными словами.

Хорошо ладил с ним лишь Никита Андреевич, лавочник, который за неимением в селе казенки торговал втихомолку водкой. Это был небольшой человек, кругленький, пухленький, с русой, коротко подстриженной бородкой. В маленьких, беспокойно бегающих желтых глазах его было что-то хищное и подстерегающее. Он щеголял в суконной поддевке, московской фуражке и смазных сапогах с глубокими резиновыми калошами. Хитрый и плутоватый, он наживался недобрыми путями, обмеривая и обвешивая покупателей, продавая водку пополам с водой и выманивая у пьяных мужиков за бесценок холсты или мешки хлеба. Зато в праздник, намазав голову маслом, он шел в церковь, ставил иконам пятаковые свечи и усердно молился.

Шинкарь во всем поддакивал Петру и ругал мужиков. А когда услышал, что солдат хочет открыть мелочную лавку, он, делая скорбное лицо, жаловался:

— Плохи, Петр Захарыч, дела, плохи!

— А что? — спрашивал солдат.

— Да торговля ни к черту не годится. Разоряюсь. Народ долгов не платит, а товар все берет. Прямо зарез пришел.

— Да, не люди, а сволота одна,— отзывался Петр сочувственно.— Поприжать бы их и все прочее.

— Вот-вот! Заблудились люди...

Потом, угощая солдата чаем, шинкарь тихонько и незаметно внушал:

— Вам бы, Петр Захарыч, как погляжу я на вас, исправником быть. Человек вы образованный, представительный и с заслугами. Чем не начальник?

— Ах, как это верно! — скрипучим голосом восклицала жена шинкаря, Прасковья Денисовна, рыжая, вихрастая баба, с лошадиным лицом, усеянным бородавками, точно красными пуговками.

— Пожалуй, не примут,— слабо возражал Петр и ухмылялся.

— Не сразу,— играя глазами, вкрадчиво продолжал шинкарь.— Начать с урядника и исподволь подвигаться выше. Такой разумный человек, как вы, да чтобы не достукаться до чинов... Ведь сами же говорили, что даже генерал с вами целовался. Э, да что там толковать!

— Ах, как это верно! — снова восклицала Прасковья Денисовна.

Слушая это, Петр уже представлял себя в новом почетном положении, и на лице его все шире расползалась улыбка. Незаметно для себя он подпадал под влияние шинкаря, становясь постоянным его посетителем.

Жизнь в доме Колдобиных стала расстраиваться. Работы было много: нужно конопли выбрать, лен расстелить, картофель вырыть, да и молотьба еще не окончена. У всех от непосильных трудов болели руки и трещали спины. А Петр и не думал помогать. Мало того, он по-прежнему продолжал куражиться, жил в семье на правах барина, вставал поздно, подолгу занимался туалетом и целыми днями бездельничал. Домашние питались скудной пищей, едва удовлетворявшей голод, а он у шинкаря пил водку, ел солянку и крендели с медом. Часто, возвращаясь домой пьяный, он издевался над женой, учил ее отвечать по-военному и при разговоре держать руки по швам. Влетало и Яшке, если тот попадался под руку.

Семейные боялись его. Он все более становился для них человеком загадочным, способным на все. И всех властно охватывала какая-то смутная тревога, все напряженно ждали чего-то страшного, что неизбежно должно было совершиться.

VII

Однажды Петр, побрившись и почистив пуговицы мундира, отправился в гости к попу. Решился он на это, узнав, что поп находится в ссоре с учителем. Но все-таки дорогой брало его сомнение,— примут ли его там и сумеет ли он вести себя надлежащим образом. Однако эти опасения оказались излишними: отец Игнатий, пожилой и тучный человек, с благообразной седеющей бородой и со спокойным взглядом серых глаз, принял солдата очень дружелюбно; благословив, заговорил с ним тихо и ласково. Хорошо обошлась с ним и матушка, сдобная женщина с пухлыми белыми щеками и медленной, ленивой походкой. Его пригласили за стол, на котором уже кипел самовар и была расставлена посуда.

Петр сразу осмелел и почувствовал себя в своей тарелке.

— Слышал я, что вы с капитальцем вернулись домой,— заговорил отец Игнатий, улыбаясь и поправляя на голове волосы.

— Так точно, приобрел немножко,— охотно ответил Петр.

— Чудесно, чудесно, бога нужно благодарить, что наградил вас своими щедротами. Вот и медаль имеете. Видно, что по совести служили.

— За отличие наградили. Служил я, батюшка, с усердием, живота своего не жалеючи.

— Так и нужно воину, раз он присягу дал перед святым евангелием и крестом господним. И в будущем свете всевышний не оставит вас своею милостью.

Попадья, пододвинув к Петру тарелку со сдобными пышками и вазу с земляничным вареньем, пропела мягким голосом:

— Кушайте, пожалуйста, не стесняйтесь.

— Мерси-с вас, матушка,— поклонился солдат.

За столом уселись дети отца Игнатия.

Их было шестеро, начиная с шестнадцатилетней дочери, кончая пятилетним мальчиком. Они с удивлением смотрели на гостя, постоянно подталкивая друг друга и перешептываясь между собой.

Зашла речь о бунтах.

— Тяжелые времена настали на Руси,— вздыхая, жаловался отец Игнатий,— господь бог испытание посылает православному народу. Страшно жить на белом свете. Ох-хо-хо...

— Ничего, батюшка, в бараний рог скрутим всех, кто жидам продался. Разве они могут устоять супротив штыков, да пулеметов, да пушек и все прочее? Куда им! Только мокро будет. А главное — передушить бы скорее всех жидов да еще этих, извините за выражение, студентов...

Отец Игнатий громко засмеялся, трясясь всем своим тучным телом; захихикала и попадья, сидя у самовара.

Петр двумя пальцами взял с блюдечка стакан, раза два отхлебнул и поставил на место.

От радости он зачванился, как дома, надуваясь, гримасничая и прищуривая то один глаз, то другой. Заку-

рив папиросу и привалившись к спинке стула, он закидывал голову назад, выпускал из носа дым, как из трубы, все хвастаясь своими удачами и словно пьянея от хвастовства. Увлеченный вниманием слушателей, он ткнул папиросу зажженным концом в губы. Это было так больно и неожиданно, что, перепугавшись, он рванулся с места, как ужаленный. Одновременно с ним подпрыгнул вверх и стол. Все, что было на столе, с треском и звоном повалилось на пол. Попадья, обваренная кипятком, подобрала платье выше колен и, встряхивая его и топая ногами, словно отплясывая трепака, завизжала не своим голосом. Плача на разные голоса, закричали дети. Поп только ахал и шлепал себя руками по бедрам. Солдат же стоял как истукан, выпучив глаза и ничего не понимая. Лицо его побледнело, на губах вздулись волдыри.

— Изыди, анафема, вон из моего дома! — немного опомнившись, рявкнул на солдата поп.

— Простите, батюшка, я за все заплачу.

Но отец Игнатий и слушать не хотел и, дрожа от ярости, заорал еще озлобленнее:

— Чтобы твоего духу не было здесь, нечестивая тварь!..

Петр взял фуражку и, не надевая ее, боком, с оглядкой, вышел на крыльцо. Остановился на минуту, тупо поглядел вокруг, точно силясь сообразить что-то.

Какая-то баба, шедшая с речки, бросила хлуд с бельем и кинулась к попу. Потом откуда-то начали появляться еще бабы, а за ними мужики. Хромой дьякон, стоя у своего палисадника, вытянул шею, как журавль, и насторожился.

Надев фуражку, Петр сошел с крыльца и зашагал вдоль улицы по направлению к своему дому. Шел он торопливо, беспокойно оглядываясь туда, откуда все еще слышались исступленные вопли попадьи. Было стыдно за себя. Брала робость при мысли, что поп может подать на него жалобу, осрамить на все село. Внутри закипала волна дикой злобы.

Он зашел к шинкарю, хватил в два приема полбутылки водки и побрел дальше. Около дома залаяла собака, и Петр, захватив на дворе полено и топор, погнался за нею. Та, не успев прошмыгнуть под амбар, заби-

лась в коровий хлев и, хрипя, захлебываясь, лаяла еще громче.

— А-а, гнусная тварюга!..

Поленом Петр перешиб ноги собаке. Барахтаясь на одном месте, она жалобно завыла. Тогда с наслаждением он отрубил ей голову.

Из-под повети выглянул отец, негромко спросил:

— Почто погубил пса?

— Стало быть, нужно было,— буркнул Петр, идя в избу.

VIII

Несколько семейств, отчаявшись улучшить свою горькую и безотрадную жизнь в России, собрались в Аргентину — попытать себе счастья за океаном. Шла распродажа имущества. Петр купил за полтораста рублей дом с двором и огородом и, забрав с собой жену, сына и все свои вещи, ушел из-под родительского крова. Уходя, он ни с кем не простился, и ему никто не сказал ни слова. Когда захлопнулась за ним дверь, все вздохнули облегченно. Только старушка мать, молча сидевшая на конике, тихо заплакала.

Изба, где водворился Петр, была прочная, выстроенная лет пять назад, с тремя окнами, светлая. Отапливалась она по-белому. К ней были пристроены сени с небольшим крыльцом. Перед окнами росли развесистые ветлы и березы.

Петр съездил в город за покупками, и через неделю изба внутри стала неузнаваемой: вместо лавок появились стулья и диван, на окнах забелели кисейные занавески, на подоконниках встали фарфоровые кувшинчики с искусственными цветами. Стол, застланный желтой узорчатой скатертью, украсила голубая лампа с красным абажуром. В переднем углу, на божнице, заблестели новые иконы в посеребренных оправах, больших киотах с золотым виноградом, а на стенах — пестрые лубочные картины: страшный суд, генералы, война, полуголые женщины. В простенке между окнами, выходящими на улицу, висело овальное зеркало, правда, кривое, уродовавшее лицо, но зато большое и в раме, окрашенной в вишневый цвет, с резьбою наверху.

— Знай наших! — оглядев избу, воскликнул Петр.

Сам он не расставался с мундиром — ему все казалось, что вдруг явится кто-то и скажет: «Петр Захарыч, пожалуйте в начальники». Нужно быть каждый час готовым к этому. Жене он приказал выбросить все сарафаны и ходить только в платьях, сына наряжать в плисовые шаровары и ситцевую рубашку.

Справляли новоселье. Приехали урядник, старшина и помощник волостного писаря, пришел шинкарь с женой.

— Ай-ай, как ловко! — оглядывая избу, удивлялись гости.— По-губернаторски, ей же ей...

— И не разберешь: не то горница, не то выставка предметов,— добавил старшина, поглаживая свою широкую, лопатой, бороду.

— Подождите, еще не то будет,— горделиво хвастался Петр.

Усадив гостей за стол, он крикнул:

— Жена!

— Чего изволите, Петр Захарыч? — откликнулась Матрена и вытянулась в струнку.

— Подавай на стол!

— Слушаюсь.

Она повернулась по-военному и вышла в сени.

— Строговаты вы, Петр Захарыч,— улыбнувшись, заметил урядник.

— Дисциплину люблю. Меня самого, я вам доложу, обучали вовсю. В таком переплете бывал, что ахнешь. Зато вот в люди вышел. Потом даже сам генерал целовался... Прямо в уста...

— Воистину вы достойный человек! — подтвердил шинкарь.

— Ах, как это верно! — закатив под лоб глаза, подхватила жена шинкаря Прасковья Денисовна.

Кутили весело и размашисто — до тошноты. Много безобразничали, ругаясь и рассказывая похабные анекдоты. Потом спорили, обнимались и целовались. Урядник с Петром, разинув насколько возможно глотки, орали песню «Наши жены — пушки заряжены», старшина плясал, стуча тяжелыми сапогами об пол, точно бревнами, и взвизгивая по-бабьи «их ты!». Шинкарь, схватившись за живот, хохотал во всю мочь. Помощник писаря, молодой еще парень, заигрывая с Прасковьей

Денисовной, щипал ее, чем она была очень польщена; а когда ее муж, жадный до «чужбинки», свалился на пол, она, разомлев от восторга, раза два выходила со своим кавалером на двор: «итоги подвести», как объяснил ей молодой помощник.

Матрена не принимала участия в этом бесшабашном разгуле; грустная и убитая, она осторожно следила за мужем потускневшими от слез глазами, боясь обратить на себя его внимание.

Жизнь для Матрены превратилась в сплошную цепь невыносимых обид.

— Мне стыдно за тебя, дура ты почаевская,— сердито говорил ей Петр.— Не можешь ты ни поговорить, ни вести себя при хороших людях. Сколько денег истратил на тебя! Накупил нарядов, а все напрасно: все они на тебе, как шлея на корове. А пузо-то — у-у-у! Посмотри-ка на себя в зеркало: не барышня, а квашня с тестом. Рази тут корсет поможет? Тебя нужно железными обручами стянуть, стерву эдакую!.. Мешаешь только мне. Не будь тебя, я привез бы с собою Розку, что в «Хрустальном зале» была. Одно имечко чего стоит. Не то, что Мотька, Мотря... Та бы любой попадье пятьдесят очков вперед дала. Да что я говорю — попадье! Жена самого корпусного командира, его превосходительства, не устояла бы супротив такой цыпочки... Ах, господи, и как только земля такую родит! Головка завитая, сама перехвачена, как рюмочка, тоненькая, верткая... Не идет, а пишет ножками-то. И вся воздушная. Ежли, к примеру, посадить на ладонь да дунуть, так, кажется, полетит в небо... Бывало, скажешь: «Ну-ка, Розочка, утоли мои печали». Эх, что она тут выделывает!.. Прямо чудеса!..

— Петр Захарыч, не надо... Ради бога, не говори...— умоляла Матрена.

— Смирно, овца крученая! — злобно кричал он, глядя на нее выкатившимися глазами в упор, и страшно шевелил бровями, подражая ротному командиру.

Заканчивалось все это побоями.

Яшка относился к солдату как к злейшему своему врагу. Не действовали на него ни подарки, ни угрозы отца. Он был упрям и ни разу не назвал своего отца «папашей», как тот приказывал величать себя. Это бесило Петра. Он рвал сына за волосы, бил кулаками по голове.

Все было бесполезно. Однажды, вспылив, он схватил Яшку за уши и, размахивая им в воздухе, закричал не своим голосом:

— Расшибу, сукин сын, до смерти!.. Об стену расшибу!..

У мальчика потемнело в душе.

— Мама, мама!..— завопил он, весь извиваясь от ужаса.

— Ах, господи! — помертвев, крикнула Матрена и, чтобы спасти сына, кинулась мужу на шею.

Он бросил ребенка и весь гнев свой обрушил на жену.

Дня через два, когда Петр сидел у шинкаря, мальчик прибежал домой, нахмуренный и серьезный.

— Мамочка, что я видел! — залепетал он, влезая к матери на колени.

— Что, сынок, что? — поцеловав его в щеки, спросила Матрена.

— Кирей Рыжий как бахнет обухом быка! Прямо по лбу. Потом ножом по горлу — хвать! Кровищи сколько! Лужа! Захрипел бык. Ногами брыкал. Опосля околел...

— Околел, говоришь?

— Да, мама.

Он оглянулся, сделался еще серьезнее и продолжал почти шепотом:

— Вот бы и нам так...

— Что?

— Ножом по горлу...

— Кого?

— Его.

В черных острых глазах мальчика сверкнуло что-то жуткое.

Мать встревожилась.

— Кого его?

— Порченого.

Она вздрогнула, а голубые глаза ее округлились.

— Что ты, что ты, беспутный, говоришь?

— Ночью, мама, когда заснет...

Мать зажала ему рот и закричала:

— Замолчи! В острог посадят!..

А когда отпустила его, он заплакал, говоря с упреком:

— Порченый убьет нас обоих... Жисть, что ли, это?.. Я уйду от вас. Один в лесу буду жить...

И убежал на улицу ловким звереньшем.

— Господи, что мне делать, что мне делать? — застонала мать.

Ответа не было: она не знала, не видела для себя выхода. Убежать? Но куда? Она ни разу не была даже в своем уездном городе, и та жизнь, что протекала за пределами известных ей сел, была для нее темна и загадочна, как ночь в непроходимом лесу. Да без согласия мужа ей и паспорта не дадут. А в селе разве можно от него скрыться? Он всюду ее найдет и отовсюду имеет право взять. Просто схватит за волосы и притащит домой, а тогда замучает до смерти. Руки наложить на себя? Страшно... Да и сына жаль. Пропадет он без матери с извергом... Нет выхода! Какими-то невидимыми путами привязана она к селу и к мужу, и не порвать их никогда. Придется, видно, терпеть до конца. Такова уж бабья доля...

IX

Под горою, около речки, где кончались огороды и росли ветлы да ивы, окружавшие небольшой пруд, одиноко стояла ветхая избушка колдуньи и ворожеи Есихи, известной на всю волость. Темное лицо старухи собралось в морщины, как изношенное и измятое голенище грубого сапога, помутневшие глаза слезились, голова тряслась, а волосы на висках были седые в прозелень. Несколько раз, сильно заболевая, она собиралась умереть, но некому было поднять матицу, а без этого смерть не брала ее.

Хотя она и не считалась зловредной, а все-таки многие побаивались ее, говоря:

— Шут ее знает, что у нее на уме. Возьмет да и пустит килу али трясовицу. А ты, значит, и будешь мучиться век...

Те, кому приходилось в жизни слишком круто и кто перепробовал уже все средства, обращались за помощью к бабушке Есихе. Одним она нашептывала какие-то непонятные слова, других поила настойкой из разных трав и кореньев, третьим давала советы и ничего — по-

могала. За это платили ей мукой, яйцами, пшеном, а иногда и деньгами.

Однажды тихим вечером пришла к ней и Матрена.

На западе, догорая, таяли багряные краски заката. Красновато поблескивала мертвая, неподвижная, как стекло, поверхность пруда, и в ней желтой точкой отражалась вечерняя звезда.

Ворожея сидела на пороге, нюхала табак и чихала.

— Здорово, бабушка Есиха,— тихо сказала Матрена и низко поклонилась.

— Здорово,— ответила старуха и, подняв голову, уставилась в лицо пришедшей. В груди у нее шумно хрипело.

— Чтой-то я будто не знаю тебя? — проговорила ворожея.

Матрена назвалась.

— А, да, да, слыхала я про вас. Зачем ко мне?

— Беда у меня, бабушка,— присев около старухи, заговорила Матрена.— Муж у меня... Допреж был золото парень... Души в нем не чаяла... А на службе его испортили. Все сказывают, что он порченый. Выручи, родная. Век буду молить за тебя. Вот тебе подарок. А коли вызволишь, еще прибавлю.

Старуха приняла два рубля, взвесила их на руке и, поспешно засунув за чулок, ласково молвила:

— Ну, что ж, поведай мне, молодушка, свое горюшко, а я послухаю, глядишь, помогу тебе.

Слезы душили Матрену. Всхлипывая, она часто сбивалась и путалась в рассказе.

Старуха сидела на пороге, поддерживая голову рукою, закрыв глаза, качаясь взад и вперед.

Село, протянувшееся двумя улицами вдоль речки, еще не угомонилось,— слышались запоздалые крики, звон балабанов, скрип телег. Где-то лаяли собаки. В Кулаповском кутке девки звонко пели песни. А здесь, у старой избушки, на берегу сонного пруда, в тени деревьев, было тихо. Заря погасла. Спустились сумерки, прикрывая нищету человеческой жизни; деревянные полуразвалившиеся избы, уродливые днем, приняли мягкие, причудливые очертания. По темно-синему бархату неба засверкали золотые звезды.

— Ну, так как же, бабушка, поможешь, а? — закончив свой рассказ, спросила Матрена, отирая слезы.

Старуха, дергая головой, подумала немного и, вздохнув, заговорила певуче привычные ей, всегда для всех одни и те же слова:

— Вижу я — изболелось твое сердечушко, исстрадалась твоя душенька. Но не кручинься, молодица, и слез горючих понапрасну не проливай. Научу я тебя тайне великой: рассеется твое горе, как пыль по ветру, растает, как сугробы снежные пред красным солнышком. Твой ясный сокол тебя полюбит, будет склонять свою головушку на грудь твою белую и шептать тебе речи сладкие, любовные. Сделай ты так, как я скажу тебе...

— Все сделаю, родненькая, все. Только научи. Пожалей ты меня, бессчастную. Коли бы не жаль сына, я бы на себя руки наложила.

Матрена заплакала.

— Уймись, голубица, и слухай хорошенько,— проговорила старуха внушительно.

Вытерев слезы подолом платья, Матрена покорно замолкла.

— Скоро у тебя будет на рубашке-то?

— Со дня на день жду, коли не забрюхатела.

— Ладно... Вот и хорошо... Возьми эти краски, сделай на них лепешки али пирожки и дай мужу. А когда он будет кушать, обернись хребтом к иконам, а лицом к печке и тихонько приговаривай: «Кровь моя алая, кипучая, ударь ты в буйную головушку Петра, хлынь ты в его ретивое сердце, разлейся по всем жилочкам-суставчикам, зажги и пробуди его плоть ко мне, ко Матренушке, чтобы он тосковал и горевал обо мне до гробовой доски. Аминь, аминь аминь». Поняла?

— Поняла, бабушка, все поняла, только больно страхота берет,— тихонько сказала Матрена, оглядываясь вокруг.— Чай, поди, грех это?

— Пчел бояться — медку не отведать,— сумрачно и обидчиво отозвалась старуха, кутаясь рваной шалью. В темноте она была похожа на лохматую собаку, сидящую на задних лапах.

Матрена, вздрагивая, вытвердила заклинание и побежала домой.

Дня через три она приготовила пшеничные лепешки, как научила ее ворожея, и с утренним чаем подала мужу. Он ел с большим аппетитом, а она, дрожа, как в лихорадке, смотрела на закопченную печь и шептала заговор, боясь, как бы у нее не отнялся язык. Но все сошло благополучно.

Вечером был урядник; после отъезда его Петр вдруг стал ласков к жене, смеялся, шутил и трепал ее по плечу.

— Ну, женушка, скоро я сам начальником буду! — заговорил он дружески.— Сначала в стражники, а потом выше. Будет дело! Петр Захарыч покажет себя... Эх, хорошо быть с просветительной башкой!

Думая, что на мужа подействовали лепешки, Матрена повеселела. Показалось ей, будто суровая судьба смилостивилась, обещая вернуть счастье.

Но так продолжалось недолго. После ночного свидания Есиха приходила каждый день к Матрене, требуя угощения с выпивкой.

Об этом узнал шинкарь, к которому стекались все сельские новости, и рассказал Петру.

— Смотри, дружище, в оба,— добавил он,— а то колдунья может навредить так, что только ахнешь.

Не говоря жене ни слова, Петр стал тайно наблюдать за домом и скоро подстерег у себя Есиху. Она сидела за столом, выпивая водку и закусывая вареной говядиной.

— Ты что тут, старая ведьма? — набросился он на нее, багровея от злобы.

— Я... миленький... я в... гости...— задыхаясь и трясясь от испуга, забормотала старуха.

— А вот я те, дьявольская харя, сейчас попотчеваю! — загремел солдат, наступая на старуху.

Видя, что дело плохо, она забилась в угол и, делая указательным пальцем большие круги в воздухе, зашептала:

— Ветры буйные, собирайтесь, змеи огненные, слетайтесь...

— А-а, ты колдовать!

Петр ударил ее кулаком по темени. Есиха вся скорчилась и закрыла руками лицо. Он схватил ее за шиворот, выволок на крыльцо и швырнул с лесенки.

— Лети к своим анчуткам!

Есиха растянулась на земле, как лягушка.

Нашлись добрые люди, которые, сжалившись над старухой, подняли ее и отвели домой.

Похворала она недолго — и скоро умерла.

X

Петр узнал от шинкаря, что поп, читая в церкви проповедь об упадке нравов, о всеобщей испорченности, ясно для всего народа упоминал и его — Петра — имя.

— Подожди, долгогривый черт!..— нахмурившись, выругался Петр и задумался, как отомстить попу.

В следующее воскресенье он приказал жене нарядиться в шелковое платье, черную триковую жакетку и большую, с красными и розовыми цветами, шляпу, привезенную им из города. А когда жена была готова, тщательно осмотрел ее, кое-что поправил и, приняв начальственный вид, строго приказал:

— Иди к обедне, стань рядом с попадьей и поповыми дочками. Слышишь?

— Петр Захарыч, да как же я могу так?

— Не разговаривать!

— Меня батюшка прогонит из церкви...

— Как смеешь рассуждать, раз я тебе приказываю?

Она замолчала.

— И помни: ежели ослушаешься, растерзаю!..— погрозился он и, отступив шаг назад, скомандовал:

— Кру-у-гом!

Жена повернулась плохо и неуклюже, за что он ткнул ее кулаком в бок.

— Шагом... арш!

Матрена пошла.

Утро было свежее, но тихое, ярко освещенное солнцем. На деревьях, собравшись большими стаями и точно споря о чем-то, неугомонно чирикали воробьи. Белая деревянная церковь, с зелеными куполами и золотыми крестами, стояла на горе, по другую сторону речки, отчетливо вырисовываясь на голубом фоне неба. Малень-

кие колокола трезвонили весело, а большой гудел свирепо, словно стараясь запугать их.

— Дам... дам...

— Не боимся, не боимся...

У моста была площадь, окруженная амбарами, срубами и кучами сложенных бревен и досок. Здесь по ночам девки и парни иногда собирались в большие хороводы, играли на гармонике, плясали, пели песни.

Вон там кузница, за которую Петр впервые робко повел ее от хоровода, а она, слегка отбиваясь, говорила:

— Не дури... Ну, зачем?.. Ах, пусти!..

Но пробыла с ним долго-долго. Тогда сердце ее раскрылось для любви, и в груди зародились какие-то новые светлые чувства, переливаясь и трепеща, как зори вечерние. Все чаще отбивалась она от хоровода, скрываясь где-нибудь на огороде, в саду или у ворот, проводила там с милым целые ночи. Стыдно было и страшно, но кровь пьянила голову, а жажда любви преодолевала все.

Слезы подступили к горлу. В душе стало вдруг пусто и мертво.

Опомнилась на паперти. Перекрестившись, вошла в храм. Сзади стояли женщины, впереди — мужчины. Только дочери попа, дьяконица и другие сельские аристократки занимали место у самого амвона, близ клиросов.

У Матрены не хватило духу исполнить строгое приказание мужа — пойти к поповым дочерям, тем более, что для них была устроена особая перегородка.

Она стала в угол, у канона, и начала горячо молиться.

Через полчаса в церковь вошел Петр посмотреть за женою.

Пели херувимскую. Через большие окна упали полосы солнечных лучей. Сизый дым ладана, клубясь, тихо плавал в воздухе, насыщая его острым, терпким запахом. Многие стояли на коленях, нагнув головы, точно ожидая казни, а над головами их плавали незнакомые, особенные слова:

— Дориносима чинми...

Сначала и Петр тоже поддался общему настроению. Но как только он увидел учителя, управляющего хором,

в груди его закипела злоба. В той стороне, где стояли разряженные поповны, жены не было. Он стал искать ее глазами по церкви.

Закинув голову и глядя на строгие лики святых, Матрена стояла на коленях, несчастная и жалкая. Из-под шляпы, съехавшей набок, выбились пряди волос. По осунувшимся, бледным щекам катились слезы. Бескровные губы шевелились. По временам плечи ее мелко вздрагивали, она осеняла грудь крестным знамением и, делая долгие земные поклоны, двигала губами, то втягивая, то оттопыривая их.

Петра охватило чувство отвращения и ненависти. Он видел, что бабы смотрят на жену его с обидной жалостью. Вспомнилась Роза из «Хрустального зала». Не будь жены, этой деревенской бабы, растрепанной, плачущей при всем народе, он привез бы Розу с собой и удивил бы публику. Сам исправник позавидовал бы ему. А эта...

«Осрамила, сволочь, на все село! — мысленно крикнул он и, расталкивая всех, быстро вышел из церкви.— Это — не жена, это... стыд! Я — кто? Нет, она меня не может понять... ворона дохлая!»

Когда Матрена вернулась домой, Петр, заложив руки назад, прохаживался по избе. Он остановился и, насупившись, уставился тупым взглядом на жену, пока она снимала шляпу и жакетку.

— Ты исполнила мое приказание, а? — подойдя к ней, спросил он, негодующий и страшный.

Она помертвела.

— Я... я... так... так... точно...

Петр придвинулся к ней вплотную и, подставив свое лицо к ее лицу, сердито зашевелил бровями. Он молча долго рассматривал жену, обдавая ее запахом перегорелой водки. Щеки его подергивались, глаза помутнели. Оскалив зубы и сжав кулаки, он прохрипел:

— Брешешь, сука! Я сам был в церкви!.. Съем, живую съем!..

Матрене показалось, что теперь он действительно съест ее живую. Страх ударил в сердце, и оно, вздрог-



«ЛИШНИЙ»



«ЛИШНИЙ»

нув, точно оборвалось и замерло. Тьма тяжелая и мутная навалилась на мозг, выдавив из него все мысли. Матрена почувствовала, будто проваливается в черную пустоту.

— Петр Захарыч...— забормотала она, упав на колени и хватая мужа за ноги.

Тяжелым сапогом Петр ударил ее в грудь. Задохнувшись, Матрена отлетела от него на целую сажень и снова стала на колени, умоляюще сложив на груди руки... Он схватил солдатский ремень с железной бляхой на конце и стал хлестать жену. Железная бляха рвала платье, с нестерпимой болью впивалась в тело. Корчась от боли, Матрена извивалась и каталась по полу. Дикие, нечеловеческие вопли наполнили избу. Несколько раз она пыталась встать, но он пинком или кулаком сшибал ее на пол. Опрокидываясь, она дрыгала ногами, вытягивала руки и, стараясь что-то поймать, хватала воздух. А когда забивалась под кровать, он за волосы тащил ее на середину избы. И опять сыпались удары. Ничего уже не соображая, он топтал ее ногами, срывал платье, а ремнем хлестал по рукам, голове и лицу,— пока она не потеряла сознания и не перестала биться.

Разметав руки, Матрена лежала на спине, как труп. От платья остались одни обрывки, обнажилось тело — вспухшее, в красных пятнах и ссадинах. Правый глаз вытек; из раны, смешиваясь с кровью, вытянулась по щеке густая желтоватая жидкость.

Петр сплюнул и отвернулся.

XI

Черные тучи, сплошь покрывшие небо, тихо сеяли мелкий дождь, баюкающий и усыпляющий. Избы, амбары и риги, похожие в темноте на бесформенные холмы, прилегли к самой земле, словно боясь кого-то, стараясь быть незамеченными. Капли дождя всхлипывали, падая на влажную землю.

Узкой проселочной дорогой, направляясь к селу, бежали две пары коней, запряженных в повозку, а за ними, вытянувшись длинной вереницей и стараясь не отставать, гнались верховые.

Всадников было человек тридцать. У каждого из-за плеча виднелось по винтовке. Лошади, всхрапывая и беспокойно прядая ушами, бежали быстрой рысью.

— Далеко еще? — спросил кто-то в передней повозке.

— С полверсты осталось,— послышался ответ.

Лошадей задержали, поехали шагом, а подъехав к едва видной околице, остановились.

От овина отделился человек, огромный, в длинной серой шинели, и направился к воротам. Из передней повозки его окликнули:

— Это вы, Петр Захарыч?

— Так точно, господин урядник.

— Пожалуйте сюда. С вами желает говорить его высокородие.

Петр подошел вплотную к повозке, прямо в лицо ему направили луч электрического фонарика. Петр вытянулся и, часто заморгав, приложил правую руку к фуражке. На черных усах и бакенбардах его искрились капли дождя.

— Здорово, братец! — тихо приветствовал его исправник охрипшим голосом.

— Здравье желаю, ваше высокоблагородие,— браво ответил Петр.

— Ну, как у тебя тут дела?

— Слава богу: лучшего желать нельзя. Все крамольники собрались в риге. Человек пятнадцать их там. Я под плетнем сидел и сам видел, как они шли туда.

— Молодец!

— Рад стараться, ваше высокобродье.

— А теперь веди нас.

— Слушаюсь!

Двое стражников остались караулить лошадей, остальные перелезли через городьбу и, осторожно шагая, двинулись за Петром.

Шли медленно, прямо по коноплянникам, по рыхлой навозной земле. Ружья держали наперевес.

В сумраке громадной массой возвышалась над зем-

лей рига, черная, ощетинившаяся. Стражники рассыпались и окружили ее со всех сторон. Исправник, пристав, урядник и Петр подкрались к дымовому окну. Заткнутое соломой, оно не позволяло видеть, кто находится внутри риги, но ясно можно было разобрать разговор. Напрягая внимание, все четверо начали прислушиваться.

В сушилке тускло горела сальная свечка, прикрепленная к обрубку дерева. Около небольшой дверцы, спиною к выходу, сидел на гречневом снопе учитель, у ног его лежала связка книжек и газет. В полумраке, на земляном полу, застланном соломой, расположились полукругом мужики, кто лежа на животе, кто сидя по-татарски,— молодые, еще безусые парни и пожилые, с большими бородами. Направо, немного поодаль от них, опираясь на локоть, лежала Лушка Пронькина, длинная, худая баба, со впалыми щеками и большим носом. На стенах, покрытых копотью, шевелились уродливые тени.

Ригу топили два дня тому назад, пахло сушеной рожью и было тепло и уютно.

Учитель говорил горячо, с глубокой верой в народное освобождение. Щеки его раскраснелись, руки беспорядочно резали воздух, колебля огонек свечи; голос срывался и звенел.

И шестнадцать человек, затаив дыхание, жадно слушали новые слова, точно огнем воспламеняющие их мысли. Сверкая в темноте, живее смотрели глаза. Перед слушателями развертывалась одна картина за другой. Вот их собственная жизнь, тяжелая и беспросветная. Она похожа на мрачную яму, куда едва проникают проблески света и где в безысходной тоске, в смертных муках корчатся люди, проклиная свою судьбу, истекая кровавыми слезами. Но строится, говорит учитель, новое царство, заманчивое, как весенние, голубые дали полей. Только там, в этом волшебном царстве, свободно вздохнет мужицкая грудь, всякое дело будет освещено огнем разума, и, вместо стонов и скрежета зубовного, могучими аккордами зазвенит песнь справедливого труда, наполняя жизнь весельем и радостью.

Речь кончилась. Учитель, достав из кармана пла-

ток, вытирал потное лицо. Мужики беспокойно задвигались. Послышался общий возбужденный говор.

— Господи, кабы поскорей пришла она, свобода-то эта, а то измаялись,— сказала Лушка, обращаясь к мужикам.

К свету подполз дед Ефрем, хозяин риги, сухой, сгорбленный старик, с большой седой бородой, как расчесанная куделя. Он откашлялся и, обращаясь к учителю, зашамкал:

— Спасибо тебе, Петрович, спасибо. Душу ты мою воскресил. Всю жизнь я прожил, как баран, ничего не понимаючи. А теперь прозрел. Радость-то какая!.. Братцы! Стар я стал. Спина плохо гнется. А не отстану я от вас. С вами пойду, ей-богу! Вижу я — большое дело затеяли вы, мирское дело...

Старческий голос его прервался, а из впалых глаз, скрываясь в сединах бороды, катились крупные капли слез.

Учитель роздал книжки и газеты, назначил день для следующего собрания и с несколькими парнями собрался в путь. Из сушилки вышли в сарай, но только распахнули ворота, раздался грозный окрик:

— Стой! Ни с места! Расстреляю всех!

Люди, вздрогнув, остановились. При свете электрических фонариков виднелись направленные на них дула винтовок, серые шинели, кокарды, молчаливые свирепые лица.

— Если кто пошевелится, пришибу, как собаку! — грозясь револьвером, хрипел исправник.

Мужики стали выбегать из сушилки:

— Что там такое? В чем дело?

Но, увидев вооруженных стражников, застывали на месте.

— Попался, мерзавец! — сбросив шинель и фуражку, подходя к учителю, зарычал Петр.

Учитель взглянул на него, хотел сказать что-то, но сильный удар кулака сбил его с ног. Он упал навзничь; Петр ногами вспрыгнул ему на грудь. Послышался сдавленный, сразу оборвавшийся хрип.

Та и другая сторона зашумели.

Исправник, крича, сделал два выстрела в воздух.

Мужики с ужасом бросились в глубь сарая, некоторые зарывались в ржавую солому.

По распоряжению пристава, стражники бросились унимать Петра, который, высоко поднимая ногу, бил полумертвого учителя каблуком по лицу с таким остервенением, точно старался размозжить ему череп. И когда солдаты оттащили его в сторону, он тоже хрипел и задыхался, как избитый.

Мужиков начали вязать.

Петр, все еще задыхаясь от ярости, обратился к исправнику:

— Ваше высокоблагородие, дозвольте покончить изменника.

— Нельзя, не смей! — ответил тот сердито.

Из темноты сарая послышался вдруг голос Захара Колдобина:

— Это ты, Петр? Значит, отца продал, а?

Петр отшатнулся и, подняв правую руку в уровень с лицом, словно ожидая удара, замер на месте.

— Что такое? Кто... кто говорит?..

Все на минуту замолчали.

Незнакомым Петру голосом Захар продолжал:

— Я говорю... будто отец твой. Вырастил я тебя... А ты уважил. Ну, сын родной... Братцы мои, милые... это ведь сын мой... Петруха.

Все ниже и ниже наклонял голову Петр. Слова отца жгли совесть.

— Молчать! Связать! — кричал исправник.

Отовсюду выползали люди и, точно тени или облака, сгущались вокруг Петра. Холодные капли падали ему на голову. Он встряхивал головой, но стоял неподвижно, вслушиваясь в слова отца — негромкие, вялые и все-таки тяжело падавшие:

— Послужил ты, сынок, своему роду-племени... миру своему...

— Молчать! — крикнул опять исправник. — Вяжите их!

Петр сгорбился и медленно пошел прочь от сарая, забыв поднять шинель и фуражку, чувствуя себя смертельно уставшим, точно раздавленным сырою тьмой осенней ночи.

XII

На следующий день беспрерывно шел дождь, то затихая, то усиливаясь. Избы почернели и насупились. На улицах стояли мутные лужи, вздувались и лопались дождевые пузыри, лениво текла жидкая грязь, по уклонам ее смывали мутные ручьи. Обнаженные деревья, тоскливо поникнув ветвями, задумывались перед наступлением долгих зимних холодов.

Однако, несмотря на дурную погоду, всюду мелькали люди, мокрые, с беспокойными лицами. С одного конца села на другой, брызгая грязью, метались верховые стражники. Во многих домах производились обыски.

В риге арестовали пятнадцать мужчин и одну женщину.

Скрылся только один Осип Ехимцев. И удалось ему это очень просто: во время суматохи он незаметно взял шинель, сброшенную Петром, и его фуражку, переоделся и спокойно вышел из риги.

Учителя, изуродованного, с выбитыми зубами, еще на рассвете отправили в волостное правление ближнего села. Остальных арестованных со связанными руками привели на сходку, куда, исключая старосту, сотских и понятых, никого не допускали.

Около сходки собралась большая толпа. Бабы и девки плакали. Мужики либо угрюмо молчали, либо робко разговаривали о событии. Стражники, грязные, усталые, раздраженные бессонной ночью и дождем, отгоняли толпу, но через несколько минут она снова смыкалась в живую, плотную стену.

В обед арестованных вывели на улицу и начали усаживать на подъехавшие по наряду подводы.

— Прощайте, не поминайте лихом,— обращаясь к народу, кричали арестованные.

— С богом! — ответили из толпы.

— Не за воровство, православные, идем мы в острог, а за мирское дело,— качая головой, кротко говорил дед Ефрем.

Пронька, лет тридцати пяти, приземистый, с корявым смуглым лицом, сел на подводу молча, стиснув зубы, а жена его Лушка, вырываясь из рук стражников, кричала:

— Пустите... Дайте с детьми проститься!..

Из толпы выскочили восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка, раздетые, босые, мокрые, с посиневшими от холода лицами.

— Батек, возьми меня,— залезая на телегу, умолял мальчик.

— Мама, иди домой,— звала девочка Лушку.

Стражники отогнали их.

Толпа волновалась, гудела, наступая на подводы.

— Разойдись, стрелять буду! — хрипел исправник, вытаскивая из кобуры револьвер.

Стражники взяли винтовки на прицел.

Люди в паническом страхе, с криком и воплем, напирая друг на друга, шарахнулись от сходки.

Подводы, окруженные стражниками, тронулись в путь.

Петр провел в волостном правлении более суток.

Напившись пьяным, он явился к исправнику и бухнулся перед ним на колени.

— Ваше высокоблагородие, что я наделал?..— завопил он, колотя себя в грудь кулаком.— Отца родного подвел... Тошно мне... Отпустите... отца... отпустите...

— Встань! — прикрикнул на него исправник.

Петр, не слушая, продолжал стоять на коленях, бился головой об пол и, всхлипывая, выл уже без слов.

— Пошел отсюда, дурак! — рассердился наконец исправник.

Стражники подхватили Петра под руки и отвели в другую комнату. На другой день, когда Петр протрезвился, исправник позвал его к себе и заговорил с ним ласково:

— Вот что, братец, сокрушаться тут нечего. Твой отец — преступник и должен понести соответствующее наказание. Тебе до этого какое дело? Как солдат, принявший присягу, ты иначе и не мог поступить. Ты исполнил долг военного человека. Понимаешь? А за свой подвиг будешь вознагражден по достоинству.

Он поднес Петру рюмку перцовки, еще поговорил и, тронув его за плечо, закончил:

— Вместе, братец, будем защищать отечество от внутренних врагов. Хорошо?

— Рад стараться, ваше высокоблагородие,— отчеканил громко солдат, чувствуя себя опять легко и приятно.

Получив от исправника в подарок револьвер, Петр ушел в свое Макеевское, совершенно успокоенный, с надеждами на лучшую жизнь.

Почти каждый день приезжали в село пристав, урядник и стражники. Крестьян то и дело водили на сход для допросов, на которых присутствовал и Петр. Разыскивая Осипа Ехимцева, облазили все риги и овины, обшарили амбары и дворы, прощупывали штыками солому. Ходили слухи, что в село пригонят роту солдат. Народ перепугался, затих. Осип Ехимцев исчез бесследно.

Мужики точили зубы против Петра, бабы сыпали на его голову страшные проклятия, но все перед ним трепетали. А он безобразничал все больше. Власть кружила ему голову. Часто, напившись пьяным, он выходил на улицу и, держа в руках револьвер, во весь голос орал:

— Эй, навозные политики! Перебью вас всех, как щенят, сожгу ваши гнезда! И ничего мне не будет. Потому как я — по долгу службы. Какая вам цена, отребье несчастное? Плевок один! А со мной сам генерал целовался... Подождите, черти моржовые,— вот приедут опять стражники — мы вам рога вставим, ползать заставим!..

Жители прятались в избы, запирали двери и окна. По указанию Петра арестовали еще двух парней, грозивших убить его.

Как-то ночью девки и парни, собравшись в большой хоровод, запели частушку:

Петька батьку продает,
Очень дешево берет!..

Петр, шедший в это время по улице, остановился, прислушался.

В хороводе закатисто смеялись, пиликала гармоника, и несколько голосов снова подхватили:

Бают — сукину сыну
За отца дают полтину...

Петра передернуло. В голову будто пьяным хмелем ударило.

— Разойдись, рас-таку вашу!..— загремел он на хоровод и, выхватив из кобуры револьвер, открыл стрельбу.

Перепугавшись насмерть, все бросились бежать в разные стороны. Послышались крики парней, визг девок, топот ног. Бежали кто куда — в ворота, в сени, на огороды, вдоль улицы. А пальба все продолжалась, и гулко отвечало ночное эхо. Хлопали двери, из молчаливых изб выскакивали мужики, из окошек высовывались чьи-то головы. Дети, проснувшись, подняли плач, залаяли встревоженные собаки. Кто-то кричал, что опять приехали стражники. Это известие вихрем понеслось дальше и переполошило все село.

Больше терпеть не было никакой возможности. На второй день собрался сход. Мужики долго спорили, как избавиться от Петра. Наконец решили исключить его из общества, а тех, кто сидит в тюрьме, вернуть обратно. Составили приговор, подписали и подали при прошении земскому начальнику.

Через несколько дней на имя старосты пришла повестка. В ней было указано время, когда все правомочные должны собраться на сходке. Народу сошлось много. Приехал земский начальник, сухой и желчный старик, с маленькой французской бородкой.

— Вы что это тут затеяли? — едва переступив порог сходки, закричал он.— Требуете вернуть обратно государственных преступников, а честного и заслуженного человека изгоняете из общества! Да как вы смеете! Я на вас губернатору донесу! Он вас, бунтовщиков, в Сибирь выселит!..

Мужики, повесив головы, задумались. Земский уехал.

— Подкупил, подлец, земского, подкупил! — сказал наконец кто-то.

— А коли так, то надо своими средствами действовать,— раздались робкие голоса.

И хотя об этом было упомянуто как бы мимоходом, но народ принял это как решение, и оно втихомолку расползлось по всему селу. Все стали ждать, что кто-то, неве-

домый, раз навсегда рассчитается с их врагом. И частушка отметила это решение:

Я, молодчик, жив не буду,
Д'ухайдакаю Иуду...—

пели парни.

Почти каждый день люди спрашивали друг друга:

— Жив еще Порченый-то?

— Пока чебушится.

XIII

После побоев Матрена, очнувшись, почувствовала острую боль во всем теле, горевшем, как в огне. В горле что-то застряло и мешало дышать, губы слипались от запекшейся крови.

К груди припал головкой Яшка и, дрожа, умолял:

— Мамонька, не умирай... Как буду без тебя? Мамонька... миленькая... оживись... Не кидай меня...

И от ласковых слов сына безграничною жалостью наполнялось сердце матери. Хотелось жить.

— Сынок... воды...— едва простонала она.

Яшка поил мать, руки его тряслись, вода плескалась из чашки. Он кое-как обмыл ей лицо и перевязал его тряпками.

Пролежала Матрена несколько дней. Никто за ней не ухаживал, кроме сына. Раны на лице и выбитый глаз лечила примочкой из сенной трухи.

Наконец встала. В груди будто что-то оборвалось. Нельзя было нагнуться, от жгучей боли захватывало дух.

«Печенки, видно, отбил»,— грустно решила Матрена.

В ушах звенело, голова наполнилась какой-то тяжелой мутью, и, путаясь, бессильно бились мысли. Трудно было разобраться в том, что произошло со времени прихода мужа. Дикий, безобразный кошмар прожитой жизни не укладывался в больном мозгу.

Терзало ее и то, что сын совсем извелся: похудел, кожа на лице стала прозрачной, в черных глазах светились грусть и робость. Не стало ему житья. Оставаться дома — он боялся отца, а на улице набрасывались ребятишки:

— Порченов сын. Батька твой — душегуб...

Дома Петр был мрачен и молчалив. При виде изуродованного лица жены в душу его прокрадывалось что-то тревожное. Если что нужно, буркнет слово и сам отвернется. Ее он больше не бил, боясь, «как бы канители какой не вышло».

После того, как Петр засадил отца в острог, Матрена стала бояться мужа еще больше: он стал для нее зверем, с темной, непонятной, как бездна, душой, неизвестно что замышляющей.

Но страшнее всего бывало по ночам. В избе непроглядный мрак. На дворе бушует ветер. Бьются о стекла капли дождя, стучат ставни, как будто чужая рука отворяет их. Качаясь, шумят деревья, кто-то протяжно воет, хохочет.

Матрена, вздыхая, крестилась.

Рядом с нею, в кровати, почти всегда пьяный, громко храпя, лежал чужой, враждебный человек. Иногда он стонал во сне и скрежетал зубами, неизвестно кому грозясь:

— Зарежу... Зарежу — и больше никаких!..

Просыпаясь, муж грубо обнимал ее больное тело. Она не сопротивлялась, отдаваясь ему с чувством омерзения, дрожа от страха.

Наступил канун престольного праздника. Петр, разгулявшись, просидел у шинкаря до поздней ночи. Вышел от него совсем пьяным и окунулся во тьму, точно нырнул в прорубь болотного пруда, в стоячую темную воду, навсегда отравленную коноплей. Он остановился посреди улицы, соображая, куда идти.

Дул сильный ветер, свистя в щелях заборов и дворов и шурша соломою крыш. Неумолчно шумели деревья, оголившиеся ветви хлестали друг друга. По небу низко ползли тяжелые, разбухшие тучи; в просветах кое-где скупо горели звезды. Глаза, немного приглядевшись, стали отличать черные силуэты изб. Огней не было. Село казалось мертвым, как кладбище.

Петр пощупал кобуру револьвера и, пошатываясь, медленно побрел вдоль улицы. Ноги плохо слушались, заплетаясь, шаркая подошвами по замерзающей земле.

едва удерживая грузное тело. В голове, как в густом тумане, бродили неясные мысли.

— Где вам тягаться супротив Петра Захарыча...— ворчал он, грозясь кулаком на молчаливые избы.— Тоже в политику ударились!.. Тьфу!.. Вперед деревенскую кору соскоблите...

Несмотря на холод, он был в одном мундире нараспашку. Ветер вздувал полы, трепал рубашку, точно ощупывая тело.

— Завтра становой приедет... Мы вас, мякинники, на колени поставим. Скажем: проси пощады, а не то — всыплем с перцем, с собачьим сердцем...

Из-за тучи выплыла половинка молодой луны, глянула на землю и, словно чего-то испугавшись, поспешно скрылась.

Протяжный рев раздался вдруг в темноте, не то человеческий, не то звериный, и сразу смолк, подхваченный ветром и унесенный в черное пространство.

А утром, когда прояснилась голубая высь небес и когда последние ночные тени уже пугливо прятались по закоулкам дворов, Петра нашли мертвым.

Привалившись боком к бревнам, заготовленным для сруба, он неподвижно сидел, поджав одну ногу, а другую далеко выставив вперед. Казалось, он куда-то крадется и ждет только удобной минуты броситься вперед. Руки бессильно раскинулись, пальцы вмерзли в грязь, точно земля схватила его и держит. Тяжелый дубовый кол лежал сзади, выпачканный красным. Голова откинулась, кожа на затылке лопнула, и сквозь раздробленные кости просвечивал розовато-серый мозг. На уродливо искривленном лице с черными бакенбардами и хищно оскаленными зубами застыла гримаса болезненного усилия. Брови приподнялись, лоб сморщился, а глаза, круглые, большие, выскочившие из орбит, злобно и тупо глядели на раскинувшийся красным пламенем восток, туда, откуда победоносно и уверенно близился рассвет.

Вокруг убитого толпились мужики, бабы и ребятишки. Слышались тяжелые вздохи, ехидные насмешки и простые, но глубокие в своей суровой справедливости, замечания.

Откуда-то прошмыгнул вперед шинкарь и, тыча пальцем по направлению убитого, заговорил:

— Ну, что, подлец, достукался? Не обижай православный народ...

Но, встретив злые, горевшие ненавистью глаза, шинкарь сразу растерялся. Нижняя губа его задергалась, он вытащил из кармана носовой платок и, скрываясь за баб, начал усердно сморкаться.

Пришла Матрена, подавленная, с бледно-желтым лицом, растрепанная, в расстегнутой кофте; вместо правого глаза у нее гноилась красная язва.

— Господи, что же это такое?..— зашептала она, увидев мужа.

Уцелевший глаз ее часто заморгал. Выставив вперед руки и дрожа всем телом, она вдруг попятилась. Ей показалось, что покойник зашевелился. Круто повернувшись, выкрикивая что-то, она побежала во всю мочь к огородам, за которыми зеленело озимое поле, а дальше, темной полосой, надвигался лес.

— Ведь баба-то, кажись, с ума сошла,— заметил кто-то из мужиков.

— Надо ловить,— подхватили другие.

Несколько человек погнались за Матреной.

А покойник, судорожно скорчившись, сидел, как живой.

Казалось, вот-вот он вскочит на ноги, зарычит зверем, бросится на людей, но руки вмерзли в землю, и она не пускает его.

Первый луч солнца пробежал по крышам, по улице и спокойно заглянул в страшное лицо мертвеца.

ЛИШНИЙ

I

Бой под Мукденом, все разгораясь, в последний день достиг крайних пределов.

Рядовой второй роты Н-ского пехотного полка, Гаврила Водопьянов, согнув широкую спину, усердно вырубает железной лопатой выемку в кочке, чтобы удобнее за нею скрыться от пуль. Это довольно дюжий солдат, мускулистый, с длинным туловищем, утвержденным на коротких и крепких ногах. Его одутловатое лицо с большим носом и коричневыми глазами обросло жесткой темно-русой щетиной, густые усы опустились, закрывая сжатые обветренные губы.

— Гаврила, а Гаврила! — с горькой, кривой усмешкой обращается к нему молодой прыщеватый солдат, окапывающийся рядом с ним справа.

— Ну что? — спрашивает Водопьянов, повертывая лицо к соседу.

— Не могилу ли копаем, а?

Водопьянов долго смотрит на прыщеватого солдата в упор, точно недоумевая, в чем дело, и отвечает сердито:

— Это ты напрасно... И так тошно, а ты еще каркаешь...

— Да я понимаю... Только что-то на сердце неладно...

Водопьянов, отвернувшись, сгребает руками комья земли и складывает их на кочку, устраивая таким обра-

зом свою защиту выше и прочнее. А кончив работу, он вытер о сухую траву лопатку и засунул ее в кожаный чехол; потом, став на колени, начал напряженно всматриваться вокруг. Впереди, к югу — маленькая речка; далеко за нею неприятельские позиции. Слева большая гора, укрепленная нашими войсками. Справа китайская деревня, занятая тоже русскими. Кругом идет канонада, бой не прекращается, хотя время уже к вечеру, все ближе слышатся выстрелы.

«Сейчас и мы начнем...» — думает Водопьянов и, полный смутного беспокойства, вздыхает. А ветер, вздувая полы серой шинели, точно желая сорвать ее, обливает тело холодом, засыпает лицо колючим песком, запорашивает глаза. Гаврила щурится, плотнее надевает на голову лохматую папаху, закрывая уши.

— Спички есть? — держа в руке собачью ножку, обращается к нему скуластый ефрейтор, обутый в китайские валяные туфли.

— Есть.

— Покурим.

Водопьянов повертывается к ветру спиною, усаживается в вырытой им яме и, достав из-за обшлага коробку спичек, подает ефрейтору. Тот закуривает, торопливо и жадно затягиваясь. К ним приближается прыщеватый солдат. Все трое, ежась от холода, плотно прижимаются друг к другу. Цигарка обходит каждого по очереди. В продолжение нескольких минут сидят молча, задумчиво, угрюмо подавленные.

— Ох, и всыпят нам японцы! — начинает опять прыщеватый солдат, ни на кого не глядя.

— Почему? — спрашивает Водопьянов насупясь.

— Да, говорят, обходят правый фланг.

Никто не знает, откуда взялся такой слух, но он, точно злая болезнь, упорно распространяется с раннего утра, порождая среди солдат тревогу и мрачные предчувствия.

— А может, мы им накладем,— слабо возражает Водопьянов, не веря сам в свои слова.

— Своими боками! — вставляет ефрейтор.— Где уж тут... Он тебя так уложит, что до второго пришествия не очнешься...

Тихо смеются, но в сдержанном смехе чувствуется

жуткая тоска, точно дыхание смерти носится над ними колючим ветром.

— Японцы, японцы! — слышится чей-то испуганный голос.

Разговор сразу обрывается. Солдаты, расходясь по своим местам, тревожно засуетились: берут ружья на изготовку, выжидательно вытягивая шеи. Вдали, сквозь серую, густую пелену пыли видно, как японцы, пригибаясь к земле, серыми точками перебегают от одного холма к другому.

— Тысяча двести! — командует сзади бравый капитан, наводя бинокль в сторону неприятеля.

Раздаются сначала редкие, а потом учащенные выстрелы. Японцы подходят ближе и открывают по нашим стрельбу пачками. Завязывается ожесточенный бой. Пули заунывно свистят над головами, щелкают, ударяясь в кусты. Спустя еще несколько минут уже слышатся стоны раненых.

Водопьянов лежит за кочкой, расстреливая одну пачку патронов за другой. Пыль слепит глаза, дрожат руки, беспокойно бьется сердце. Пуля пробила ему папаху.

«Если в голову попадет, сразу капут...» — думает Гаврила, и от этой мысли кожа на темени холодеет, а волосы шевелятся.

Перед фронтом, совсем близко, скачет чья-то испуганная лошадь. С левого бока, застряв ногою в стремени, волочится головою по земле убитый человек. Сраженная пулями лошадь падает саженях в тридцати от Водопьянова, брыкает ногами, мотает головою, напрягая силы вскочить. Через минуту-две она лежит в поле уже неподвижно, вместе со всадником. Ветер развевает ее длинную гриву...

— Ой... ой... выньте скорее, выньте...

Прыщеватый солдат вскочил и вопит, подпрыгивая, кружась и нелепо размахивая длинными руками, точно птица вывороченными крыльями. Он упал навзничь, рядом с Водопьяновым, почти голова с головою, и, хрипя, долго хватал воздух ртом, пока не испустил дух. Из-под трупа, расплываясь, показывается лужа крови.

Убийственный дождь пуль все усиливается. Японцы, подкрепляемые новыми силами, храбро и решительно продвигаются вперед. Соседняя деревня справа под артил-

лерийским огнем. Она загорается. Бушует раздуваемое ветром пламя, перебрасываясь с одной фанзы на другую. В черных облаках дыма, расстилающегося понизу, быстро отступают, точно привидения, русские солдаты, поливаемые градом ружейных и пулеметных пуль. Одни, точно подкошенные, падают мертвыми, другие, борясь со смертью, долго бьются в судорогах, а те, у которых переломаны ноги, беспомощно ползут на четвереньках. Здесь раненых никто не подбирает — слишком силен огонь.

Громовые раскаты орудий и взрывы снарядов, жуткие трели пулеметов охватили всю окрестность. Водопьянов уже не понимает, откуда и в кого стреляют. Все поле, изрезанное правильными грядами, подернутое серыми тучами пыли и дыма, с сухими кружащимися листьями и корешками прошлогоднего гаоляна, с воем реющего в воздухе металла, кажется ему полным зловещей тайны и непостижимого ужаса. Гаврила смотрит на убитого товарища: прыщеватое лицо, с открытым ртом и удивленно расширенными зрачками застывших глаз, посинело, изменилось, стало чужим...

«Господи, неужто и я так буду лежать?» — мысленно спрашивает он самого себя, замирая от страха.

От второй роты осталось немного больше половины. Остальные либо убиты, либо ранены. Давно уже уложен наповал бравый капитан. Поручик, белобрысый, тонкий, в синих очках, спрятался сзади в рытвину, углубленную солдатами. Оттуда видна только его высунутая сабля. Потрясая ею, он кричит слабым, пискливым голосом:

— Бей их, косоглазых чертей!.. За веру православную, братцы!.. За веру...

И ошалелые солдаты стреляют, стреляют торопливо, бестолково, сами не зная — куда.

Продолжая лежать за кочкой, щелкает затвором и Водопьянов, с каждым мгновением ожидая смерти. Да уж все равно — лишь бы скорее конец.

Вдруг чем-то рвануло его около левой лопатки.

— Ай! — крикнул Водопьянов, жадно хватаясь руками за больное место.

— Али задело? — спрашивает скуластый ефрейтор, лежа рядом с ним за корнями кустарника, забросанными землей.

— Да...— отвечает Водопьянов, кривя от боли губы.

— На перевязку иди.

— Убьют...

— Ползком.

— Все одно не спасешься.

— Э, дуролом!

Рана, по-видимому, не глубокая, но Водопьянов ощущает сильную боль. Рубашка, мокрая от крови, неприятно липнет к телу. Ему вдруг вспомнились слова, сказанные сыном при прощании:

— Ты, батек, недолго... Наклади японцам по хибине и домой скорее.

Перестав стрелять и пряча голову за кочку, он плотнее прижимается к земле, ища у нее спасения.

Подоспел в помощь целый батальон, расположившись с левого фланга второй роты. Японцы на время отступили, стрелять стали реже.

— Не робей, ребята, держи морды огурцом! — приободрившись, кричит усатый фельдфебель, дико вращая белками больших бычачьих глаз.

Но затишье продолжается недолго. Откуда-то начинают падать гранаты, злобно взрывая землю и осыпая солдат свинцовым градом шрапнели. И чем дальше, тем безумнее носится яростный вихрь смерти.

Обессилев, солдаты дрогнули. Начинается беспорядочное бегство.

Бросив свою винтовку, бежит вместе с другими и Водопьянов. Теперь рана уже не чувствуется, только тяжело, и перед глазами мелькает зеленая рябь. А неприятель не перестает преследовать. Один за другим падают солдаты, пронзенные пулями.

«Эх, спастись бы!» — одна мысль, вспыхнув в мозгу, стоит перед Водопьяновым.

Мимо, точно птицы, пролетают кавалеристы. Гаврила с завистью смотрит им вслед.

Через несколько минут в горле становится мертвенно-сухо, ноги тяжелеют, точно к ним привязаны большие чугунные гири. Пробегает через рощу. Изнемог. На минуту останавливается, чтобы передохнуть. Вечер. В воздухе сумрачно. Шумит ветер, сгибая вершины деревьев в одну сторону, к северу, точно показывая путь разбитой армии. Некоторые стволы расщеплены снарядами.

Кое-где валяются трупы убитых солдат, винтовки, патронные сумки, вещевые мешки, лопатки. Какой-то солдат, без шапки, с окровавленным лицом, держась руками за дерево, умоляет:

— Братцы, спасите!..

Никто около него не останавливается. Все бегут мимо, гонимые страхом. Промелькнули два китайца с длинными косами. Сверху, точно с мутного неба, тяжко падают удары пушек. Где-то совсем близко разорвался снаряд. Сбросив с себя всю аммуницию, Водопьянов бежит дальше. Опять он в поле.

Чем дальше он бежит, тем больше скопляется вокруг него спасающихся людей. Он задыхается, падает, спотыкаясь о трупы убитых, но все-таки не хочет отстать от своих. Перед ним, в кучке столпившихся людей, разорвался снаряд. Какой-то солдат, вскочив с земли и оскалив зубы, бросился ему на шею, судорожно обхватив ее руками. Солдат, по-видимому, что-то хотел крикнуть, но вместо слов из его рта прямо в лицо Водопьянову хлынула струя горячей крови...

— Пусти! — вырываясь, кричит Гаврила.

Но в этот момент около них что-то треснуло, будто провалилась под ними земля. Водопьянова чем-то упругим толкнуло, обожгло сразу в нескольких местах, и ему показалось, что он покатился в темный провал...

II

Великий пост. Деревня Горбатовка, дворов в пятьдесят, освободившись от снежного покрова, повеселела. С соломенных крыш, словно украшения, тянутся вниз сосульки, равномерно роняя серебряные капли, точно отсчитывая время. На улице, бойко вскрикивая, ребятишки играют в дубинки. Баба достает бадьей воду из колодца — журавец визжит, как неподмазанная телега. Проезжает большой воз с гречневой соломой. В гору лошадь не берет, скользя неподкованными ногами. Мужик уперся в воз плечом и громко ругается:

— Но, лихоманка! Но, ты!..

Кое-где стоят на припеках коровы; худые и шершавые, они сонно жуют жвачку, устало понуря головы и жмурясь от солнца.

Два брата Водопьяновых пилят около дома дрова. Старший, Трифон, мужик длинный и крючковатый, с общипанной бородкой, согнулся над плахой, как складной аршин. Средний, Савоська, приземистый и неповоротливый, с круглым, как арбуз, лицом, стоит прямо, далеко выкинув вперед левую ногу. На обоих старые короткие полушубки и истрепанные вязаные шапки. Сильно дергают пилой, и сталь сердито взвизгивает с каждым взмахом — вжжи... вжжи...

Со двора выходит Фроська, молодая баба, плотная, краснощекая, с черными вызывающими глазами и задорно вздернутым носом. Одета она в суконный зипун нараспашку, на шее видны зеленые и синие ожерелья. Это жена меньшого брата — Гаврилы.

— Ты бы, Тришка, за мирским быком сходил,— хитро сощурившись, обращается она к старшему деверю.

— А што? — останавливая пилу, спрашивает Трифон.

— Да вон, погляди-ка на двор, што рыженка-то выделывает...

— Ишь ты... Значит, надо.

— Для тебя бы кого привести... эдак поздоровее...— ухмыляется Савоська.

— Чего ты клыки скалишь, супостат проклятый? — сердится Фроська.

Проходит молодой парень, держа в руке палку.

— Бог помочь! — говорит он, поклонившись.

— Спасибо,— в голос отвечают братья.

— Кто-нибудь на сходку идите.

— Зачем? — осведомляется Трифон.

— А мне отколь знать. Старшина требует.

Трифон мнется, хмурит лоб, стараясь догадаться, зачем он нужен на сходке.

— Чего же стоишь? — говорит ему Савоська.— Иди, коли зовут.

Старший брат уходит, его заменяет в работе Фроська, и пила снова начинает сердито взвизгивать, отрезая от плахи один чурбан за другим.

С соседнего двора поднялась большая стая голубей, покружилась над дворами, будто что выглядывая, и полетела к овинам. На ветле, вытягивая шею, качаясь, хрипло каркает ворона. Пестрая щетинистая свинья, изгибаясь и хрюкая, лениво почесывается боком об угол

избы. На оборванного старого нищего с лаем нападает черная собака,— он пятится от нее задом, отбиваясь палкой. На другой стороне улицы мужики свежей золотистой соломой обновляют крышу избы.

Через полчаса возвращается Трифон, бледный и подавленный.

— Идем в избу... Я што-то скажу,— зовет он брата и Фроську.

Старая, курная изба нищенски убога. Искривленные стены покрыты толстым слоем копоти. В полу видны черные дыры. Матица погнулась, грозя обрушиться: ее поддерживает лишь дубовая подпорка. Один угол, захватив собою почти четверть избы, занимает печка, другой — широкий коник. Вдоль задней лавки висят две зыбки. Над одной из них склонилась жена Савоськи и тощею грудью кормит ребенка. Старшая невестка, пожилая, с желтым, измученным лицом, прядет на лавке куделю. На полу громко возятся ребятишки. Тесно, грязно и душно в избе.

Трифон, войдя в избу, остановился у порога, глубоко вздохнул и, покачав головою, заговорил:

— Да, вот оно как...

Его обступили бабы и ребятишки, беспокойно заглядывая ему в лицо.

— Сказывай скорее, што такое? — спрашивает Савоська.

— Старшина бумагу прочитал... Да... Гаврюху убили...

— Убили! — как эхо, повторила Фроська, беспомощно опускаясь около стола на лавку. В груди у нее что-то остро перевернулось. С минуту она сидит неподвижно, с помертвевшим лицом, вопросительно приподняв брови и раскрыв рот, точно кто ударил ее обухом по голове. Потом начинает бормотать, как полоумная, и, дрожа всем телом, заливается горячими слезами.

Изба наполняется плачем баб и ребятишек. Трифон, привалившись к косяку, стоит с поникшей головой, беззвучно шевеля губами и вытирая рукавом слезы. Савоська, усевшись на коник, согнул спину и смотрит вбок так, как будто хочет боднуть кого головой. Жена его торопливо зажигает у божницы свечку. Больной старик отец, свесив с печи голову, беспокойно смотрит потухшими гла-

зами на плачущих: высохшее, сплошь в морщинах лицо — в недоумении.

— Али беда какая? — спрашивает он слабым, старческим голосом. К отцу подходит Трифон и, став на ступеньку, долго объясняет ему на ухо.

— Так, так, говоришь, убили... Не дождался я своего милого чадушки... Ну, бог даст, скоро на том свете увидимся...

Глаза старика заволакиваются мутными слезами. Подняв выше голову, он крестится, глядя в передний угол, и шепчет скорбно:

— Господи, удостой раба своего царствием небесным...

И, кряхтя, ложится на свое место.

У Фроськи двое детей: Илюша пяти лет и Анютка двух лет. Она прижимает к себе ребяток и, рыдая, приговаривает:

— Детки, детки мои милые, сердечные. Как жить-то мне с вами, печальной головушке. Нет у вас батюшки, нет родного кормильца... Остались вы сиротками бесприютными... Породила я вас на муки мученические...

Точно понимая слова матери, дети плачут во весь голос, скривив рты и морща лица.

Фроська, откинувшись назад, всплеснула руками и заколотилась вся, точно подстреленная. Перед глазами все мутно, ничего не видит, в груди боль. Обезумев, она сбрасывает с головы повойник, рвет свои черные волосы. Ее удерживает Трифон с прибежавшими соседями. А опомнившись, она облокачивается на край стола и, всхлипывая, жалобно причитает:

— Желанный ты мой, Гаврилушка... Сокол... сокол мой любимый! Ждала я тебя дни и ночи, надеялась вскорости свидеться. Но злая судьбинушка разлучила нас навеки... Сабля острая разрубила твою удалую головушку, пуля-злодейка пробила твое ретивое сердце... Лежишь ты, ненаглядный мой, на сырой земле чужестранной...

Всем в избе кажется, что так именно погиб Гаврила, у каждого на душе становится холодно и жутко. Кругом плачут, что-то говорят.

Старшая невестка, согнувшись, сидит у окна, роняя на пол слезы и вздыхая:

— Да, вот и не стало нашего богоданного братца... А уж такой был хороший человек, такой тихий да обходительный...

Потом, как бы что-то вдруг вспомнив, сердито набрасывается на свою дочку:

— Грунька! Я тебе сколько раз баяла — сходи к бабушке Василисе за шерстью. А ты, сорока бесхвостая, все тут вертишься!..

Девочка быстро выбегает на улицу, а мать, склонив голову набок и поддерживая подбородок рукой, опять начинает плакать.

В избу один за другим приходят соседи, расспрашивают, крестятся за упокой души Гаврилы.

Фроська, подняв заплаканное лицо, обращается к ним с мольбою:

— Ой, послушайте меня, соседушки спорядовые, приближенные! Не откиньте меня вдову бесприютную с малыми детками бессчастными. Как пойдут мои сироты по миру шататься, милости у крещеных выпрашивать, постучат они под ваши окошечки, голодные и холодные,— приютите их в своих теплых гнездушках, обогрейте, обласкайте, уму-разуму научите...

Соседка-старушка, маленькая и сухая, с острым птичьим носом, треплет Фроську по плечу, отвечая заунывно:

— Перестань-ка ты плакать, бедная вдовушка, перестань ты тужить, мать горе-горькая. Не тревожь душеньку Гаврилову. Больно ей слушать твое надрываньице... И не одна ты на свете бесталанная. И у вдовушек растут детки здоровенькие.

Напрасно унимают Фроську. Она сознает лишь одно, что для нее теперь нет радости в жизни, все погибло и никто, никто уже не утешит ее, ничто не заглушит ее горя.

Уронив растрепанную голову на стол, она продолжает горько причитать.

В глубине раненого сердца рождаются особые слова и сами собою складываются в скорбную песню.

— Гаврик, Гаврик!.. На кого ты меня с детками спокинул? С кем я теперь буду крепкую думушку думать, с кем совет держать, с кем рассею злую кручинушку? В ком найду я великое желаньице? Без поры, без време-

ни молодость моя прокатится, головушка моя печальная не вовремя состарится... Ой, Гаврик, Гаврик!.. Не придешь ты больше к нам на своих резвых ноженьках, не улыбнешься, не скажешь ласкова словечка... Дождички осенние, обмойте косточки моего дружочка, а ты, солнце красное, обсуши их, а ты, мать-земля родная, сохрани их до божьего суда!..

III

Над японским городом только что пронеслась грозовая туча, пролившись теплым, обильным дождем, и снова прояснело высокое голубое небо. Все выше поднимается огневое солнце весны, все ярче горят его лучи,— отдохнули в грозу и теперь нагоняют потерянное время. По неровной холмистой долине, среди зелени садов и рощ, плотно прижавшись друг к другу, выступают в ярком освещении деревянные одноэтажные домики под красными углами черепичных крыш. Река, разделяя город на две неравные части, бурно и звонко шумит по каменным порогам, местами взбивая мягкую белоснежную пену, и широкой, извилистой, сверкающей, как серебро, лентой убегает вдаль. В мутных лужах на мостовой, играя, переливается золотыми бликами солнце. Пыль прибита дождем, воздух прозрачный и бодряще свежий. В домах с раздвинутыми передними стенками почти никого нет, зато на улице кипит жизнь. Здесь женщины, засучив рукава, стирают белье, громко переговариваясь между собою, другие, сидя на маленьких скамеечках, вяжут или вышивают; мужчины пишут кисточками на бумажных свитках письма, делают игрушки, плетут корзины. Всюду, точно искры, брызжут веселые голоса ребятишек. Стуча о камни мостовой высокими деревянными сандалиями, проходят японцы в темно-синих или серых кимоно, японки в пестрых халатах с просторными болтающимися рукавами; они подпоясаны широкими разноцветными поясами с пышными бантами назади. В окнах и дверях магазинов блещут груды выставленных товаров, толкутся, шумно обмениваясь впечатлениями, покупатели. Кругом все бойко, пестро в славный весенний день.

А темно-синяя туча, клубясь, медленно уходит все дальше, туда, где возвышаются спокойные громады гор. Слышен отдаленный последний рокот грома.

В больничных бараках, окруженных садом, бумажные окна открыты. Свежий, ароматный после дождя воздух веет в них, разгоняя тяжелый запах лекарств. Те больные, что поздоровее, стоят у окон, любуясь весенним днем.

Для русских отведены особые отделения. На одной из коек, боком, головой к окну, лежит солдат, одетый в японский больничный халат. На его лицо, свернутое к левому плечу, положена наискось белая повязка: она закрывает нос, рот и всю щеку. Видны лишь левый глаз, устремленный в потолок, и скула в темно-русой щетине. На повязке, против рта, маленькое отверстие для дыхания. Из-под подушки торчит закрытая книга. Больной задумался, ничего не замечая вокруг. Удары грома напомнили ему о последнем сражении.

— Ух, ты! — произнес больной вслух, чувствуя ледяной холод на спине. Приподнявшись и скосив лицо, он долго смотрит на свою левую, оторванную по колено ногу, для чего-то трогая ее рукой.

— Ты что, Гаврила? — проходя мимо, обращается к нему другой больной.

— Ничего... Так себе...

Водопьянов улегся на спину, угрюмо оглядывая одним глазом палатку.

На соседней койке, болтая свесившимися ногами, сидит солдат. У него проломлен череп, поврежден мозг. Наклонив повязанную голову, он уставился мутными глазами в пол, чавкает большим черным ртом, словно что-то с трудом разжевывая, и морщит свое изношенное бородатое лицо.

— Тьфу!.. Как есть падаль...— сплевывая и крутя головою, говорит он и снова начинает жевать.

Дальше лежит тщедушный пехотинец, которому недавно отняли руку по самое плечо. Он жалобно воет:

— О-о-й!.. Моченьки нет!.. Господи, умереть бы!.. А-а-а!..

В его голосе столько мучительного страдания, что Водопьянов невольно вздрагивает.

Тут же около окна стоит кучка изуродованных, но уже

выздоравливающих солдат. Между ними — два японца. Русские усердно учат их ругаться матерно. И когда они, ломая язык, произносят скверные слова, раздается надрывистый, нездоровый смех. В дальнем углу безногий, как обрубок, артиллерист напевает какую-то песню.

Худой, высокий стрелок с выбитыми глазами, привалившись к стене барака, стоит неподвижно, как изваяние. Рот его раскрыт. Не то он прислушивается к несуразной жизни палатки, не то о чем-то думает. На одной из коек умирает кавалерист. Доживая последние минуты, он хрипит, икает, корчится в тяжелых судорогах. На это никто не обращает внимания, никто не волнуется,— привыкли.

Гаврила Водопьянов уже несколько месяцев находится в этих бараках, сам страдая и видя страдания других, слушая их стоны, проклятия, отвратительную ругань. Тяжело и нудно тянется время, не обещая ничего хорошего. Впереди вместо прежней жизни — черная пустота. Иногда он равнодушен ко всему, лежит на койке без чувств и мыслей, точно дерево. А то вдруг хватит за сердце такая боль, что из уцелевшего глаза невольно брызнут слезы. Тогда хочется кричать, выть зверем, бежать неведомо куда. Но он беспомощен, как ребенок, ему трудно даже поворачиваться.

Из другой палатки пришел Семенов, солдат одной с ним роты, с красивым овальным лицом. У него переломана ключица, одно плечо ниже другого, но он уже выздоравливает и скоро должен выписаться.

— Не спишь? — спрашивает Семенов, присаживаясь к Водопьянову на край койки.

— Нет,— сквозь тряпки отвечает тот, повертывая свое немощное тело, чтобы взглянуть на товарища.

— Как здоровье?

Гаврила безнадежно отмахивается рукой.

— А у меня что случилось...— начинает Семенов, глядя светло-голубыми глазами на товарища.— Лежу утром на койке... смотрю — подходит ко мне японец. Ноги у него выворочены, хромает. Лицо в рубцах. Упал мне на грудь и давай плакать. Трясется, по-своему что-то бормочет. И долго так. Я даже испугался. Думал, спятил парень. Потом санитары увели его куда-то... С чего бы это он, а?

— Не знаю,— отвечает Водопьянов, хватаясь руками за грудь и болезненно кашляя.

— Да... Вот оно как... Будто прощения просил...

Подумав немного, Семенов добавляет:

— За что ты воевал? За редьку с квасом?

— Тут, верно, всякий так думает... А там, там-то?..

Семенов, поднявшись, подходит к окну.

— На дворе-то как хорошо!

Гаврила, опираясь на руки, привстал медленно, сел на подушку, подвернув под себя здоровую ногу, а другую — обрубок — прикрыв полою халата. Он смотрит в окно, повернувшись к нему левым плечом, к которому свернуто лицо.

Тихо, тепло, ясно. Синеет небо, глубокое и ласковое. Перед окнами гребнями многоцветных волн разлит пестро распустившийся сад, освеженный дождем и сверкающий всеми цветами весны. Справа видна малооживленная улица. У многих домов небольшие палисадники, по заборам которых гибко вьются ползучие растения. Слева, вдали,— бамбуковая роща: стволы бамбуков тонки и голенасты, как свечи, украшены сверху перистыми светло-зелеными листьями. Рядом с ними пышно цветут женственные магнолии. Каштановые деревья, точно шеренга солдат, вытянулись вдоль больничного забора в один ряд, широко и дерзко раскинув свои богатые ветви. Но пинии, выше их, стройнее, глядят через них далеко. В центре сада, будто желая всем показать себя, возвышаются две красавицы пальмы. Темно-зеленый кипарис, пугливо подобрав к стволу ветви, скромненько прижался в угол. Все деревья спокойны, не колыхнется ни одна ветка, не дрогнет ни один лист. Внизу, на мягкой земле,— пунцовые терновники с цветами, как чашечки; полукустарники хризантем; алые, как свежая кровь, тюльпаны с разорванными венчиками и много других ярких и радостных растений. Цветы, зацелованные весенней лаской, соперничают друг с другом красотой. И все это облито горячими лучами солнца, обрызгано крупными каплями росы, как самоцветными камнями. А далеко за городом, на голубом фоне неба, смутно рисуются нежно-лиловые горы.

Солнечно, тепло и тихо кругом. Всем сердцем, каждой жилкой чувствуется торжественная жизнь вновь

возвращенной людям весны с ее могучими зовами к радости, разлитой и в синеве неба, и в блеске солнца, и в пахучем воздухе, и в светлых красках земли.

Блаженство весеннего дня захватывает Семенова, греет, ласкает. Улыбаясь, он говорит:

— Каково, Гаврила, а?

— Да ничего, а только у нас лучше,— отвечает Водопьянов, хмуря левый глаз.

— То есть как же это так? Чай, у нас таких растений нет.

— Зато лесов сколько. Бывало, ходишь, ходишь в них — конца-краю не видно... Я березки люблю... А где они тут?

— Это верно, березок тут нет, и деревья, можно сказать, не строевые.

Оба с минуту молчат, каждый мечтая о своем.

— Есть у нас Васькин родник,— тихо говорит Водопьянов, вспомнив о родных местах.— Хороший родник. Вода в нем — чистый хрусталь. Полежал бы теперь около него...

Семенов, не слушая, восторгается:

— Нет, ты посмотри — горы-то какие! Ух, и велики! Далеко, поди, с них видно!..

Гаврила глубоко вздохнул.

По улице торопливо бежит девочка с ребенком за спиной. Ее обгоняет с ручной двухколесной повозкой дженерикша, небольшой, легкий, в синей рубашке и шляпе, как огромный желтый гриб. Он везет какого-то толстого господина, должно быть купца. Навстречу им, держа над головою бумажный зонтик, идет миловидная, с причудливой прической японка, а за нею, покачиваясь, шагает японец, похожий в своей соломенной накидке на дикобраза.

— Эх, что-то теперь в деревне делают? — спрашивает Семенов.

— Лен сеют.

— Хоть бы мир, что ли, скорее заключили... Душа больно тоскует...

В глазах Семенова грусть. Опустив одно плечо, он тихо уходит, а Водопьянов задумывается, слегка нагнув-

шись и устремив свой коричневый глаз на гребни гор. Халат его распахнулся — видна впалая, поросшая черными волосами грудь с резко обозначенными ребрами. Он мысленно переносится к себе на родину, блуждает по родным полям, оврагам и лесам. Встречаются знакомые люди. Седой, лысый отец, сорвав горсть травы, говорит, улыбаясь:

— Сочная... Сена будет много, сена-то будет сколько!..

И будто бы уже собирается косить.

Гаврила, слушая отцовские слова, облегченно вздыхает.

И вдруг вспомнил... Нет, не выйдет он больше на росистые луга ранним утром, когда весь восток охвачен багряным заревом, не зазвенит коса в его мускулистых руках, как бывало...

«Калека... Кусок мяса... Никудышный человек...»

В груди заныла щемящая боль. Гаврила невольно заломил руки...

— Пропало, все пропало ни за что, ни про что!..

Жгут безжалостные, горькие думы, и нет им конца...

В бараке слышится возня и японская речь. Водопьянов осторожно повертывается назад левым боком. Кавалерист умер. Санитары укладывают на носилки труп и уносят из барака. Койка остается пустой, ожидая новую жертву войны. Кругом изнывают люди, ограбленные судьбой, изуродованные, не годные к жизни. Кто-то бредит, подзывая свою мать. Сосед чавкает ртом, морщится и сплевывает. Через палатку, выставив вперед руки, медленно и бесшумно пробирается слепой солдат. А из угла доносится злая частушка:

Не сумели воевать,
Будем крошки собирать...

«Так оно и будет...» — подавленно думает Гаврила и, повернувшись, снова смотрит в окно. Из бездонной синевы неба обильно льются горячие лучи солнца, золотыми струями проникая сквозь густые ветви деревьев, словно желая обогреть и обласкать каждый кустик, каждое незаметное растеньице.

Точно охмелев, Гаврила забывается и опять — душою в деревне. Видит жену, всегда добрую и приветли-

вую, дочь Анютку, сына Илюшу. Подрос мальчик, и бойкий такой, как воробей.

— Хочу учиться...— говорит он, топорщась и принимая серьезный вид.

— Ладно, сынок, иди...

Радуется мальчик, ласкается к отцу...

Долго так мечтает Гаврила. А когда очнулся, холодная дрожь пробежала по его телу.

— Урод я... безобразный урод...— шепчет он, хватаясь руками за голову.— Эх, Фроська, Фроська... Если бы ты знала, какой я теперь стал...

Что-то душило его, точно навалился кто, огромный и тяжелый. В глазах позеленело, руки бессильно повисли. Незаметно сполз с подушки.

— Господи, что будет?..

Какая-то несуразная тень росла перед ним, черная, как ночь, дышала ледяным холодом, и Гаврила в страхе зябко жался и плакал...

IV

Русская весна в разгаре. Прозрачное небо ясно-голубым куполом висит над землей. Лишь три-четыре облачка, затейливо кудрявых, белых, точно морская пена, тихо-тихо плывут по синему простору, то доверчиво сближаясь, то расходясь, словно любуясь друг другом. Пылает солнце, щедро заливая широкое яровое поле живогворными лучами, и что-то матерински говорящее чувствуется на земле. Каждая травка, каждый цветок жадно тянутся в утомляющую высь, посылая неслышную хвалу солнцу и небу. Порхают легкие бабочки, сверкая пестрым нарядом; неугомонно, точно дело делают, стрекочут кузнечики, жужжат хлопотливые пчелы, перелетая с одного цветка на другой. А сверху, с неоглядной вышины, так и льются трели жаворонков.

Фроська, согнувшись, полет просо, проворно дергая руками лебеду и пырей. Одета она в старый, полинявший сарафан и посконную рубаху. На голове темный повойник, из-под которого выбились непокорные пряди черных волос. Белеют округлые икры босых ног. По временам она выпрямляет усталую спину и стоит, глядя в

хрустальную даль задумчивыми глазами. Лицо Фроськи похудело, грустные тени тяжело легли на него, брови строго сдвинуты. Кругом так весело, светло, все тонет в разливчатом сиянии весеннего дня, во всем чувствуется буйный трепет растущей жизни, а у нее на душе нехорошо. С тех пор, как пришло страшное известие о муже, не спится по ночам, и ходит она, как тень, не находя себе места...

В поле кое-где видны согнутые спины других баб. Через несколько загонов мужик опахивает картофель, время от времени дружески покрикивая на свою пегую кобылу. А рядом с Фроськой сын Илюшка, худенький, резвый, в одной рубашонке и штанишках гоняется по пустырю за бабочками и собирает цветы. Ему хорошо, весело. И все его привлекает, до всего хочется дознаться.

— Мама, гляди,— коршун!

— Где, дитятко? — выпрямившись, спрашивает мать.

Он тычет пальцем в небо.

— Вон, вон!.. Ишь чуть-чуть видно. Ой, как высоко!..

— Да, высоко,— соглашается мать, принимаясь снова за работу.

— А как же он держится? И крыльями не машет!

— На воздухе.

Илюша удивляется и, закинув назад голову, еще долго следит, как коршун, описывая большие круги и поднимаясь все выше, парит в небесном просторе.

К югу, в полуверсте от Фроськи, высокой зеленой стеной поднимается казенный лес, обступая полукругом поле и будто надвигаясь на него. Из темных глубин леса легкий ветерок приносит крепкий, хмельной аромат. Фроська вспоминает, как до войны Гавриле выпадала должность лесника. Если бы не увезли его, то теперь они жили бы, не зная горя и нужды. Да, улыбалось счастье...

Фроська смахивает рукою слезы с ресниц и зовет сына:

— Пойдем, Илюшка, закусим!

Спускаются к речушке. Там, под горою, бьет Васькин родник. Вода студена, как лед. Поднимая со дна золо-

тистый песок, она кипит, кружится, играет и бойко мчится алмазным ручьем, весело журчит по камешкам, радуясь, что вырвалась из темного подземного царства на белый свет. Над родником, слегка наклонившись, точно желая скрыть его от праздных взоров, кудряво распустилась молодая береза. Сквозь нежную листву пробивается солнце, ложась светлыми узорами на изумрудную траву.

— Мама, почему эта вода бьет, а? — спрашивает Илюша, с удивлением глядя в родник.

— Бог так сделал.

— А когда он сделал?

Мать, не отвечая, умывается из ручья: то же делает и сын. Лица освежились, зарделись.

Завтракают. У обоих в руках по ломтю черного хлеба, густо посыпанного солью. Захлебывают студеной водой, черпая ее прямо горстью из родника.

— Вот скусно! — восторгается Илюша, встряхивая длинными волосами, полинявшими от солнца.

Из-за откоса, поросшего орешником, выходит Ларион Бороздилов, мужик-вдовец, лет тридцати, широкоплечий и крепкий, как дуб. Густая рыжая борода раздвоена на две половинки, нос, как у ястреба, загнут внутрь, но серые глаза смотрят из-под густых бровей мягко и приветливо. Он направляется к роднику, не торопясь, покачиваясь из стороны в сторону и шаркая кривыми ногами по тропинке.

Поздоровавшись, Ларион говорит:

— Хлеб-соль вашей милости!

— Садись с нами откушать,— приглашает Фроська добродушно.

— Спасибо. Я уже позавтракал.

Ларион подходит к мальчику и, тихо погладив корявой рукой по головке, говорит с усмешкой:

— Э-ка, славный подросток! Годка через два-три, глядишь, по хозяйству помогать будет.

— Шустрый он у меня.

— Вот тебе лиса гостинец прислала,— говорит Ларион, подавая мальчику два молодых, свежих купыря.

Илюшка, вскочив, прыгает от радости.

Мать благодарно улыбается Лариону, а он, вытащив

из-за пояса топор, садится на траву по другую сторону родника.

— А я все в лесу шлялся,— начинает он, доставая трубку и кисет.— Несчастье у меня случилось.

— Какое же? — спрашивает Фроська.

— Да вот телка заблудилась. Хожу, хожу,— никак не могу найти. Боюсь, как бы совсем не пропала.

— Это жаль.

— То-то и есть, што жаль.

Кончив еду, Фроська стряхивает с подола крошки в воду и крестится, а Ларион, покуривая, с особым вниманием смотрит на нее.

Откуда-то доносится журавлиный крик.

— Курлы, курлы! — подражает им Илюша, убегая к речушке, скрытой ольховым кустарником.

— Забавный мальчонка,— смеется Ларион, показывая белые зубы.

Беседуют о погоде, о будущем урожае. Вдруг мужик переводит разговор на себя:

— Так-то вот... да. Живу я, можно сказать, ничего, сносно. Хозяйство имею настоящее: лошадь, корову, телку, три свиньи, полтора десятка овец. Не обидел бог. А только вот управляться не могу. Дочурке всего три года. Куда ее сунуть? А тут рабочая пора подходит. Не разорваться одному...

— Да уже это как есть,— соглашается Фроська, задумчиво перебирая пальцами запону.

Молчат. Мужик снял картуз. Копна рыжих волос, освещенных солнцем, кажется огненной.

— Тебе, Фроська, замуж надо бы выходить,— затянувшись, нарушает он молчание, выпуская изо рта дым вместе со словами.

Для Фроськи становится ясно, к чему клонит Ларион,— она вся загорается.

— Куда уж мне с двумя ребятишками-то...

— Полно-те. Баба ты еще молодая — в соку. Чего зря свой век заедать. А дома-то, поди, всякие притеснения терпишь...

Взглянула на мужика недоверчиво, но, встретив его глаза, сейчас же потупилась. Как будто всерьез говорит. Дома, действительно, плохо. Все в семье косятся на нее и обидные слова говорят, хотя она работает больше

других. Ребятишек ее обделяют пищей, а самой ей даже никто лаптей не подковыряет.

— Так как же ты думаешь насчет этого, а? — помолчав, пристает Ларион, отгоняя рукой слепня.

— Да и сама не знаю...

— Эх, ты!.. Кто же за тебя будет знать-то?..

— И то верно.

Ларион поглаживает бороду, поправляет на голове волосы, точно приготовляясь к встрече важного лица. Прищуренные глаза жадно смотрят на Фроську. Оглянувшись, он спрашивает решительно:

— Прислать, што ли, сватов-то, а?

Волнуется баба, ниже опускает голову, чувствуя, как кровь заливает лицо. Рада такому счастью, но не знает, как воспользоваться им.

— Больно скоро — надо подумать.

— Да чего же тут мешкать-то. Пора рабочая. Делов разных вон сколько. А меня, чай, ты знаешь... Мужик я трезвый. От работы не отлыниваю. И покойник Гаврила возрадуется, што ты за меня замуж выходишь. Сама знаешь — товарищами мы с ним были. А ты мне еще в девках нравилась. Прозевай Гаврила еще немного — быть бы тебе за мной. Ну, так вот — будем, стало быть, в любви да в согласии жить... Эх, Фроська, не жисть, а малина у нас будет! Ей-богу!..

Вдоль речушки пролетает длинноносый бекас. В кустах радостно гуркует турлушка. Пестрая ласточка, попискивая, то садится на ветви, то снова беспокойно вспархивает,— видно, что гнездо недалеко.

Ларион, ухмыляясь, молодецки встряхивает рыжей головой.

— Так я, Фрося, пришлю их, сватов-то?

— Как хошь...— едва слышен ответ.

Ларион, встав, подходит к ней, берет ее за руку и, любовно заглядывая в лицо, волнуясь, спрашивает:

— Поцеловать, што ли?

— Нацеловаться-то успеем... Вперед дело надо обстряпать по-настоящему...

— Ну, ладно. До свидания...

Ларион уходит по той же тропинке назад.

Она долго смотрит ему вслед, счастливо и смущенно улыбаясь.

«Вот он — второй мой суженый-ряженый. Невзначай попал. Как-то я с ним заживу...»

Вдруг вспоминает о первом муже. Невольно навертываются слезы.

— Прости меня, мой желанный Гаврилушка, што рано замуж выхожу. Для деток больше. А то опоры нет — не справиться нам одним... А тебе пошли, господи, хорошую жисть на том свете...

Зовет сына.

— Ты што, мамок? — прибежав, спрашивает он. Штанишки его засучены выше колен, ноги в глине.

— А вот што...— говорит мать, ласково тронув его за подбородок.— Знаешь... как это... Видишь... Хошь, я для тебя нового батьку достану?

— Вали, мамочка! А то у всех батьки есть, а у меня нету... Хуже, што ли, я других...

— Про то и я говорю.

— А только где ты его возьмешь?

У мальчика глаза горят, он зорко смотрит на мать.

— Да вот Ларион будет твой батька...— запинаясь от радости, говорит мать и, поцеловав сына в лицо, добавляет: — Только молчок...

Илюша радостно загикал и волчком завертелся вокруг матери...

Время уже к полдню. Небо и земля дышат зноем. Попрежнему звонко заливаются жаворонки, а родниковая вода все журчит и журчит по камешкам, точно сказывая чудную, занятную сказку.

V

Серый и скучный день поздней осени. Дымчатые тучи, закрывая солнце и синеву неба, громоздятся друг на друга бесформенными, неуклюжими пластами. Ветер, порывистый и злой, все рвет на своем пути, ожесточенно гнет обнаженные черные деревья, рябит в лужах воду и, точно желая напугать людей, надрывными голосами воет вокруг домов. На маленькой и грязной станции, кутаясь, толкутся мужики, бабы, приказчики, торговцы. Чья-то белая мокрая собака, потеряв хозяина, бегает между людей, нюхает и, поднимая голову, загляды-

вает в лица. Немного поодаль, около бакалейных лавок, трактиров и торговых контор, стоят привязанные лошади. Вокруг яровое поле, пустынное, угрюмо-серое, с черными взрытыми полосами там, где был посажен картофель.

Вдали на полотне показывается вечерний поезд. Густой, бурый дым, выбрасываемый паровозом, тянется над вагонами, разлохмачиваясь, точно грива на сказочном коне. Раздается долгий остро-пронзительный свисток. Уже слышен железный гул громыхающих колес, чувствуется мелкая дрожь земли. Еще несколько секунд, и поезд, устало пыхтя, подкатился к станции.

Из вагонов выходят пассажиры, спешно направляясь в буфет. Одни громко здороваются, другие прощаются.

С поезда сошел Гаврила Водопьянов, болезненно сутулый, в старой рваной шинели и черной лохматой папахе. Лицо его окутано желтым башлыком, виднеется только один глаз. За спиною грязный посконный мешок, набитый вещами. К одной ноге приделана деревяшка, а другая обута в казенный рыжий сапог с широким тупым носком. Опираясь на костыль, он идет вперед левым плечом, к которому свернуто лицо, идет медленно, как дряхлый, помятый жизнью старик. Остановившись около кучки мужиков, он внимательно оглядывает их лица.

— Из Горбатовки тут никого нет? — глухо спрашивает Гаврила.

— Кажись, не видать,— отвечает мужик с окладистой бородкой.— А тебе на што?

— Домой еду. Думал — подвезет кто из своих.

Молодой парень с глуповатым безбровым лицом, поглядев на Водопьянова, заявляет:

— Свезти можно. Я хоть из Васьневки, но мне все равно ехать через вашу деревню. Сейчас и катнем...

— Идем, угощу,— предлагает Водопьянов.

Мужики начали было расспрашивать его о войне, но он, не отвечая, тихо уходит в сопровождении молодого парня.

В трактире у буфета Гаврила долго рылся в карманах, достав четвертак, заказал полбутылки водки и полфунта кренделей. А когда развязал башлык, парень отшатнулся от него назад.

Лицо солдата похоже на безобразную маску. Сорван нос, выбит глаз, и вся правая часть лица в глубоких багряных шрамах, точно нарочно исковырена. Борода растет мелкими клоками. На лбу и висках мертвенно-желтая кожа покрыта грязью, будто Гаврила не умывался несколько месяцев.

— Ну, брат, я те прямо скажу,— страшен ты! — говорит парень, удивленно качая головой.— Неужто это японцы так утешили?

— Да! — недовольно отвечает Водопьянов.

Он оглядывается вокруг и, встретив удивленные взгляды людей, низко наклоняется над буфером, сгорая от стыда за свое изуродованное лицо.

— Эх, што сделали с человеком! — продолжает парень.— То есть, испортили куды зря.

Слова эти бередят незажившие раны в сердце Гаврилы. Торопливо, ни на кого не глядя, он разливает поданную водку по чайным чашкам, берет одну из них и, запрокинув назад голову, медленно выпивает ее всю. Парень, выпив свою долю залпом, крякает и закусывает кренделями.

— Едем,— уныло говорит Водопьянов и, согнувшись, точно взвалив на себя непосильную тяжесть, направляется к выходу.

Уже начало смеркаться, когда они тронулись в путь. Лошадь, продрогнув, мчится домой быстрой рысью, забрасывая седоков грязью. Гаврила лежит боком на чечевичной соломе, сумрачно оглядывая знакомые места. Прыгают колеса, катясь по неровной колее, деревянная нога стучит о дно телеги. Парень сидит рядом, распахнув халат. От выпитой водки лицо его стало красным, как хорошо обожженный кирпич.

— А ну, брат, расскажи, как вы там дрались? — пристает он к Гавриле.

— Не могу. Да и что там рассказывать...— отказывается тот, глядя на молодого, полного здоровья и силы парня, весело покрикивающего на лошадь.

Дождя нет, воздух становится свежее, но ветер дует с прежним упорством, и небо, закрытое тучами, не проясняется. Проезжают овраг, впереди широко раскинутый темно-зеленый ковер озимого поля, а по нем черной змеей извивается узкая дорога, исчезая в темнеющей

дали. Станции уже не видно. Кругом — ни людей, ни скота. Только навстречу едет одна подвода, на которой, точно горелый пень, неподвижно сидит черный бородатый мужик.

— Постойте-ка, братцы! — поравнявшись, кричит он.— Нет ли у вас табачку на трубку?

— Найдется! — откликнулся парень, задерживая свою лошадь.

Обе подводы останавливаются недалеко друг от друга.

Гаврила, услышав знакомый голос, приподнимается и смотрит на мужика, соскочившего со своей телеги. Да, так и есть — это однодеревенец, сосед, крестивший его сына Илюшку.

— Здорово, кум Родион! — приветствует солдат.

— Здорово! — отвечает мужик, вытягивая шею и всматриваясь в страшное лицо.— Я што-то признать тебя не могу...

— Гаврила я... Водопьянов...

— Кто-о? — вылупив глаза, переспросил тот.

— Кум твой — Гаврила...

Парень достает из кармана кисет с табаком, а бородатый мужик, испугавшись, уже пятится назад и крестится; вскочив на свою телегу, он хлещет изо всей силы лошадь и мчится вскачь...

— Вот дурашный! — глядя ему вслед, хохочет Степан.— От кума бежит... Недаром про ваших говорят: живут люди в лесу, молятся колесу...

И, дернув лошадь вожжами, опять закатывается смехом.

Водопьянов, не говоря ни слова, уткнулся в солому лицом, и безотрадные думы грустно зароились в его хмельной голове. В плену он много мучился от физической боли, а еще больше от сознания, что в жизни он стал ненужным человеком и что своим безобразным видом он будет возбуждать у других только горькое чувство отвращения. Не раз им овладевала даже мысль покончить с собою. Но там таких калек, как он, и даже хуже его, много, и это медленно, но упорно примиряло его с тяжким положением.

Ночь беспредельным черным пологом окутала землю. Куда ни глянь, ничего не разберешь, все утонуло

в глубоком мраке. Лошадь идет шагом, лишь чутьем угадывая знакомую дорогу. Ветер с яростью дует в бок телеги, будто силясь опрокинуть ее. Парень, под впечатлением недавней встречи, нет-нет, да и заговорит с хохотом.

— Как он от нас прыснул, кум-то твой... Ну и чудила, протобес его дери. Прямо уморил, ей право... Эх, слышь, кабы погнаться за ним! Кишка бы у него выскочила...

Обращается к Гавриле:

— Ты што же молчишь?

— А чего мне говорить.

— Ну, так... вобче...

— Мне не до разговору...

Степан весело понукает лошадь, а Водопьянов, стараясь отогнать мрачные думы, представляет себе, как он встретится со своими детьми. Конечно, сначала они будут бояться его, но потом привыкнут, он задобрит их подарками, которые спрятаны у него в мешке: девочке даст невиданную японскую куклу, а мальчику — китайца, который, если завести пружину, сам бегает по полу, возя за собою и маленькую тележку.

В воздухе, точно белые бабочки, начинают кружиться легкие пушинки снега. Все больше их, все гуще падают они на землю. А вдали, сквозь белую сеть снега, уже сверкают огни Горбатовки.

Жестяная керосиновая лампочка на стене слабо освещает избу Водопьяновых. Семья ужинает. За столом сидят два брата, их жены и шестеро детей. У мужиков, привыкших к холоду, потные лица. Квас и постные щи хлебали вволю, кто сколько мог, но когда подали на стол пшенную кашу с постным маслом, начали соблюдать очередь. Сначала черпает ложкой Трифон, за ним Савоська и так идет дальше, кончая трехлетним карапузиком. Ребятишек, нарушающих этот порядок, старшие щелкают по лбу, строго крича на них:

— Эй, куда?

Все жадно смотрят в общую деревянную чашку. Лица усталые, глаза посоловелые, говорят мало. По стенам и потолку, вылезая из щелей и шевеля усиками, раз-

гуливают тараканы; они дерзко лезут на стол, падают с потолка в чашку.

С улицы доносятся звуки завывающего ветра, гремят в сенях двери, вздрагивают стекла окон, густо залепляемых пушистым снегом.

Трифон, взглянув в окно, говорит:

— Эка, как взыгралась погода-то... Беда!

— Да што я никак в толк не возьму: живой ветер али нет? — обращается к брату Савоська.— Послухаешь — гудет, ровно человек...

— Ветер-то?

— Да.

— Как те сказать...

Трифон, перекинув руку через плечо, чешет лопатку и уверенно отвечает:

— Дух это.

— Скажем так. А какой он — чистый али нечистый? — проглотив кашу и облизав ложку, продолжает Савоська.

— Не знаю. А только боязно ночью. Особливо в лесу али в поле...

Вяло и нудно, точно сквозь сон, продолжают братья свою беседу.

В сенях хлопнула дверь; чувствуется, что ветер врывается внутрь сеней, слышны чьи-то шаги, тяжелые, точно лошадиные.

За столом, затаив дыхание, все пугливо переглядываются.

Кто-то долго шарит рукой по стене. Открывается дверь, и в избу, переступив здоровой ногой порог, не сразу входит Гаврила, обрызганный грязью и обсыпанный снегом. Он останавливается посредине избы, точно кошмарное видение, сумрачно осматривая семью из-под волокон лохматой папахи.

Все замерли от страха. У кого была каша во рту, так и осталась непроглоченной. Лица побелели, как мел, глаза смотрят, не мигая, точно стекляшки.

Гавриле видно, что смертельно испугал всех, и сердце его до слез наполняется тоскливой болью. Но он сейчас же овладевает собою. Чтобы скорее успокоить своих родных, он быстро сдергивает с головы папаху и, перекрестившись на иконы, говорит:

— Здорово живете!

— Здо... здо... здорово...— бормочет Трифон помертвевшими губами.

Дети, точно по команде, все разом начинают реветь, бабы шепчут молитвы.

— Не узнаете своего Гаврилу? — с горькой обидой в голосе спрашивает солдат. Левый глаз его наполняется слезами. Он подходит к конику и начинает раздеваться.

Савоська, осмелев, кричит:

— Братух! Да неужто это ты?

— Знамо — я...

А Трифон, все еще сомневаясь, начинает допрашивать Гаврилу:

— Постой, постой... Как же это так?.. Ведь ты же убит был?..

— Стало быть, не убит, коли объявился...

— Вот дела-то... А ведь я тебя за покойника принял...

— Господи, с чего вы взяли? Я в плену был...— расстегивая ремень на шинели, отвечает Гаврила.

Из-за стола первым вылезает Савоська, за ним Трифон, а потом бабы. Близко подойти к солдату боятся, веря и не веря собственным глазам. Но страх понемногу проходит, только дрожь не перестает прохватывать, точно окунулись все в ледяную воду. Мужики вздыхают, бабы всхлипывают, а дети, сбившись в передний угол, затихают и с жутким любопытством смотрят на Гаврилу.

Оставшись в одном потертом мундире, солдат с костылем в руке подходит к столу и тяжело садится на лавку. Дети убегают от него в дальний угол, а взрослые, один за другим, приближаясь, здороваются с ним за руку, но не целуются.

— А батька приказал тебе долго жить,— печально сообщает Трифон.

— Помер?

Солдата передернуло. Шевеля нижней челюстью, он молча крестится. Потом, оглядев ребятишек, баб и всю избу, тревожно спрашивает:

— А где жена? Где дети мои?..

Бабы и братья, продолжая стоять перед ним, молча переглядываются между собой.

— Да говорите же скорее! — с дрожью в голосе кричит Гаврила и, предчувствуя какую-то беду, весь настораживается.

— Жена здорова, и дети слава богу...— начинает Трифон, нервно шевеля пальцами свою тощую бородку.— Только этакое дело вышло... путаное...

Замолкнув, он смотрит на меньшего брата, а тот скосив глаза куда-то в сторону, поясняет дальше, разводя руками:

— Тут, брат Гаврила, тово... старшина бумагу объявил — будто убили тебя... Мы и панихиду о тебе справили, в поминание за упокой твоей души записали... Все как следует быть, по-христиански... И все бы ничего, да, вишь, рыжий черт овдовел, Ларион-то Бороздилов. Мы баем Фроське — живи с нами: поддержим. И обходились с нею по-свойски... А она — нет, не хочет... Взяла да и вышла замуж, за рыжего-то...

Солдат подался туловищем вперед, умоляюще переводя левый глаз с одного лица на другое. Ему до смерти хотелось, чтобы кто-нибудь опровергнул слова Савоськи и объяснил это по-иному. Но все стояли молча, не двигаясь, опустив головы. В избе стало тихо и будто сумрачнее, а на дворе злобно бушует снежная вьюга, глухо дергая ставни окон, хлопая в сенях открытой дверью, потрясая ветхие стены избы.

— Как замуж? — все еще не понимая брата, хрипло переспросил Гаврила.

— Да по-настоящему — в церкви венчались...

Тяжело, точно огромная каменная глыба, ударило в голову солдата это известие. Он как-то беспомощно присел, задохнулся. Потом безобразное лицо его сморщилось, рот перекосился, две красные дырки на месте сорванного носа зашевелились... Долго что-то шарил вокруг себя, бормоча:

— Что со мной делают... Эх!..

VI

Ветер, угомонившись за ночь, замер,— утро тихое, слегка морозное. Восток, разгораясь, окрашивается в розово-оранжевые тона. Разгоняя тьму, торжественно наступает рассвет, и все выше поднимается матовое небо,

на котором лишь кое-где остались обрывки вчерашних туч. На земле и на соломенных крышах изб тонкой пеленой лежит снег, чистый, белый, с розоватым оттенком. Деревня просыпается. То проскрипят ворота или хлопнет дверь, то раздастся человеческий голос или промычит проголодавшаяся за ночь корова. В двух-трех дворах мужики рубят дрова. В садах и на деревьях около изб, точно радуясь после вьюжной ночи приближению ясного дня, как-то особенно резко кричат галки, чирикают воробьи, стрекочут сороки. Все звуки отчетливы и ясны. Кое-где уже топятся в избах печи; в окнах, весело играя, отсвечивает трепыхающееся пламя, а из труб и раскрытых дверей валит серый дым, поднимаясь прямо вверх и медленно тая в свежем утреннем воздухе.

Гаврила, сопровождаемый двумя братьями, идет к Лариону Бороздилову. Шагает он тихо и осторожно, выпирая вперед левое плечо, точно под ним узкая доска, перекинутая через глубокий ров. Известие о жене и детях так на него подействовало, что он всю ночь провел, не засыпая ни на одну минуту, и теперь чувствует себя усталым, раздраженным. Трясутся руки, дергаются на изуродованном лице мускулы, а в тяжелой, точно разбухшей от боли голове мысли путаются, мешая думать. Смотрит одним глазом на черные, присевшие к земле избы, на дворы с провалившимися крышами, на голые ветлы и пустые огороды. И странно, во всем чего-то нехватает ему, деревня кажется не такой, какой была до войны. Вот старик Костя, сгорбленный, с длинной белой бородой, вышел на крыльцо, протер сонные глаза, широко зевнул и, сняв шапку, перекрестился, глядя на пламенеющий восток. Ванька-Косуля перед окнами своей избы запрягает саврасого мерина; заметив Водопьяновых, останавливается и пристально смотрит на них. Впереди, гремя железным ведром, бежит к колодцу молодая баба.

— Не переходи, Настя, дорогу! — серьезно кричит ей Трифон.

Баба, остановившись, с минуту испуганно глядит на солдата и бежит обратно в избу.

Ларион со своей семьей уже встал, когда пришли к нему Водопьяновы. Сам он находился на дворе. Фроська топила печь, две девочки играли на конике, а Илюша

с ножом в руке, сидя на лавке около стола, что-то мастерил из лучин. Войдя в избу, просторную, по-белому, со светлыми окнами, братья остановились у порога. Трифон и Савоська помолились богу и поздоровались.

Увидев солдата, Фроська с бледным лицом и посиневшими губами пятится назад и, поднимая к груди руки, садится на лавку. Ребятишки, сорвавшись с места, подбегают к матери и в страхе прижимаются к ней.

Гаврила, не снимая папахи, молча стоит на одном месте, точно вросший в пол. При виде детей и жены, ставших для него чужими, сердце наполняется жгучей обидой. Глядя на жену, он укоряет ее глухим, сдавленным голосом:

— Фроська, што ты сделала?.. При живом муже замуж...

Гаврила хватается рукой за приступок печи и уныло опускает голову.

Братья, не зная, что делать, бесшумно переминаются с ноги на ногу, искоса бросая на бабу враждебные взгляды. Минуту в избе тихо. Слышно, как, разгораясь, потрескивают в печи сухие дрова. Большой черный кот, пробуя силу своих когтей, царапает ножку стола. В боковое окно робко заглянуло светлым лучом солнце.

В избу, держа в руке хомут, пахнущий дегтем, входит Ларион в сером суконном коротыше, туго подпоясанный кушаком, и в тяжелых опойковых сапогах и барашковой шапке, вокруг которой курчавятся рыжие волосы.

Не торопясь, он подходит к лавке, кладет на нее хомут и, повернувшись, внимательно оглядывает солдата с ног до головы; узнав Гаврилу, хмурит густые брови, по лицу его пробегает еле заметная тень тревоги.

— Ну, што скажете? — расправив на две половины рыжую бороду, твердо спрашивает он.

— За женой пришел...— подавляя в себе волнение, отвечает Гаврила и с бессильной завистью смотрит на соперника — дюжего и сильного.

— А еще за чем?

— Отдай жену и ребятишек...

Тяжело передвинув ноги, Бороздилов глухо бросает:

— Нет, Гаврила, не получишь ничего...

Вмешивается, подняв указательный палец правой руки, Трифон:

— Обожди, Ларион! Ты не имеешь никаких правов держать чужую жену и ребятишек...

— Врешь, есть права! — возражает Ларион, повышая голос.— У попа в книгах они прописаны. Я не как-нибудь, а по закону живу с женой... Да! И свадьба мне стоила шестьдесят целковых. Понял?..

Спор разгорается. Сбегаются мужики, бабы, ребятишки, с любопытством заглядывая в окна. Фроська, опомнившись, закрывает фартуком лицо и вздрагивает. Около нее жмутся девочки, а Илюша, подбежав к Лариону, теребит его за портки, крича:

— Батек, прогони их...

— Сынок, поди ко мне! — зовет его Гаврила.

— Пошел к черту! — отвечает ему Илюша, прячась за спину Лариона.

Какая-то темная волна хлынула в голову солдата, заливая сознание. Он громко застучал костылем об пол, весь дергаясь, выкрикивая бессвязные слова и брызгая слюной.

— Што мы смотрим на рыжего дьявола? — вдруг встрепенулся Савоська.— Забирай, Гаврила, бабу с ребятишками, и вся недолга! Твоя, ясно...

Поднимается шум, крик. Ребятишки плачут. Водопьяновы, размахивая руками, ругаются, грозят силой взять Фроську. Ларион загораживает им дорогу и, багровея, сверкая злыми глазами, гневно рычит:

— Только посмей!.. Не пущу живого! Башку оторву, кто близко подойдет!..

Растопырив мускулистые руки, выпятив широкую грудь, весь ощетинившись, он крепко стоит на толстых, кривых ногах.

А когда Савоська, сжимая кулаки, сделал шаг вперед, Ларион обернулся, взял из-под лавки топор и, размахнувшись им, закричал во все горло:

— Изничтожу!..

Трифон и Савоська в ужасе выбегают на улицу. Гаврила не трогается с места; подняв голову, он смотрит в дикое лицо приблизившегося к нему Лариона. Встречаются их взгляды, полные ненависти и злобы.

— Уходи! — сквозь оскаленные зубы цедит Ларион, шевеля рыжими усами.

— Руби! — отвечает солдат задыхаясь.

— Не доводи до греха...

За окнами слышны крики.

Фроська, растерявшись, сначала было заголосила, а потом, бледная, бросилась на шею Бороздилову и, отталкивая его назад, к лавке, заговорила:

— Лариоша, не надо... Голубчик, ненаглядный, успокойся... Успокойся, милый, не губи...

Гавриле показалось, что у него сейчас лопнет сердце,— он задрожал весь, посинел и, торопливо уходя из избы, хрипло выругался:

— Сволочи!..

Ларион запер в сенцах дверь на глухую задвижку, вернулся в избу, сел на лавку и, согнувшись, глубоко задумался.

— Што же нам теперь делать? — спросила Фроська, заливаясь слезами.

Ларион, не отвечая, угрюмо смотрел в пол.

Около дома Бороздилова почти вся деревня. Снег истоптан, смешан с грязью, и только на огородах и полях, залитый сиянием холодного осеннего солнца, он сверкает нежной белизной.

Гаврила, замешавшись в толпу, часть которой ему сочувственно поддакивала, еще долго, изгибаясь и рыдая, выкрикивал:

— Братцы! За что меня так обидели?.. Я кровь проливал за отечество, за вас... А тут вот что...

Потом, глядя на дом Бороздилова, со злобой угрожал:

— Подожгу!.. Застрелю вас обоих из поганого ружья. Мне теперь все равно...

А когда братья привели Гаврилу домой, он достал из грязного мешка приготовленные для своих детей игрушки, ударил о пол и начал топтать их здоровой ногой...

Проходит день, другой.

Солдат никуда не показывается, сидит дома и, кипя дикой злобой, обдумывает, как отомстить Бороздилову. Тяжелые, темные, как ночь, злые мысли обуревают его.

Вдруг приходит к нему знакомый мужик и, вызвав в сени, таинственно сообщает, что Ларион зовет его к себе,

хочет помириться и отдать ему жену и детей. Сбитый с толку, Гаврила долго колеблется, полагая, что тут хитрый подвох, но мужик разубеждает его в этом,— он отправляется к своему сопернику. Встречаются на крыльце, куда только что вышел Ларион в одной рубашке без шапки, удрученный свалившимся на него бедствием, с потемневшим лицом, рассеянно здоровается и низким, корявым голосом говорит:

— Да... вот как... Решил я, брат, покончить без суда, по-человечески... Друзьями мы с тобой были, друзьями и останемся. Идем ко мне...

Ведет Гаврилу в избу, усаживает его за один конец стола, а сам грузно садится за другой. На столе приготовлена водка и закуска. Все неловко молчат. Притихшая Фроська сидит на лавке, утирает слезы и пугливо ежится, боясь посмотреть в страшное лицо своего первого мужа. С печи, прячась за трубу, робко выглядывают ребятишки. У Лариона борода и усы странно спутаны; лицо измято, а голова с рыжими всклокоченными волосами кажется несуразно большой, точно распухла от дум.

— Хватим! — разливая по стаканам водку, обращается он к Гавриле.

— Можно,— отвечает тот, кивая головой.

Чокнувшись, оба опоражнивают стаканы.

Ларион сплюнул, вытер рукавом рубахи усы и, негромко хлопнув ладонью по столу, медленно, взвешивая каждое слово, заговорил:

— Ну вот, Гаврила, давай побеседуем... По душам... Не буду таиться: узнал я от людей — по закону жена должна тебе принадлежать. Да... Бери ее, бери и ребятишек... Хоть сейчас...

У Фроськи замирает сердце.

Гаврила, напрягая мозг, внимательно прислушивается к словам Лариона, а тот, неопределенно водя по воздуху правой рукой с растопыренными пальцами, продолжает:

— На жену не серчай. Она ни при чем. Не знала, што ты жив, а от братьев твоих ей житья не было... Вот и поторопилась... А я жил с Фроськой в согласии, в мире... От сердца говорю — баба золото! И ребятишек твоих полюбил. Думал вскормить, вспоить их да в люди

вывести, как по-божьи... А теперь — дело пропащее! Дело, знаешь ли, тово...

Оборвав свою речь, он стиснул зубы и безнадежно замотал рыжей головой. Лицо его сделалось усталым, скорбным, поперек крутого лба легла толстая красная складка, налитые кровью глаза упрямо и мрачно уставились в угол противоположной стены. Глядя на него, Гаврила как-то сразу обмяк; в разбитом его сердце впервые шевельнулось участие к своему сопернику, злоба медленно исчезла, уступая место чему-то доброму, мягкому. Выпили еще по стакану. Ларион, шумно выпустив из груди воздух, произнес:

— Давай, друг, обсудим хорошенько: как же быть нам?

— Что ж — давай,— соглашается Гаврила, повертываясь левым боком к Бороздилову.

— Жену свою и ребятишек любишь?

— Знамо, люблю... А то бы и не вернулся...

— Так... Ну, а как же будешь с ними жить?

— Как-нибудь, бог даст, проживу.

— Проживешь ли? Бог-то — бог, а сам не будь плох. Это давно всем известно. Надо подумать... Двое детей есть, а тут еще третьего жди....

— Как? — широко раскрыв левый глаз, спрашивает солдат.

— Очень просто: брюхата она, Фроська-то... Пятый месяц...

Опять больно и страшно солдату, точно кто-то злой, не переставая, преследует его, нанося удар за ударом. Тяжело дыша, он смотрит на Фроську,— черные глаза ее смущенно потуплены, лицо залито краскою стыда. Гаврила потирает рукой свой восковой лоб, хочет что-то сообразить, не может. А Ларион, помолчав, убеждает, роняя, точно камни, грузно падающие слова:

— Погубишь только бабу и ребятишек. Не жизнь им с тобою. Да, не жизнь... Посмотри на себя и подумай: куда ты годен? Бояться тебя будут... И не жилец ты на белом свете. Может, год-другой промотаешься, а там и капут. Што тогда делать?.. Ты только смекни — сколько несчастных через тебя будет... Ты не пеняй, што я так... Я любя это говорю...

Он долго еще толкует в таком же роде, а Гавриле кажется, будто разрывается черная завеса, заслоняющая его мозг, и все яснее становится ему, что он вернулся домой на погибель другим.

— Ну, што же, што мне делать теперь? — отчаянно выкрикивает он, хватаясь руками за голову. И слышит уверенный ответ, точно сама судьба говорит ему:

— Уходи куда-нибудь... Скройся... Раз любишь жену и ребятишек, ты должен это сделать... А со мной им хорошо будет.

— Да куда я могу пойти?

— Хватит места на земле...

Гаврила, подумав, тихо говорит:

— Да, это верно — надо скрыться... Лишний я тут...

В душе его вдруг стало тускло и холодно. Охваченный тупым равнодушием, он кажется каким-то другим, точно сразу постарел на много лет. Острые плечи его опущены, левый глаз прикрыт. Он решительно вылезает из-за стола и, неуклюже протягивая Лариону руку, говорит упавшим голосом:

— Прощай, брат... Владей... Только не бросай...

Ларион, пожимая руку и не глядя солдату в глаза, сквозь слезы отвечает:

— Я все сполна сделаю... Не поминай лихом...

Гаврила подходит к жене.

— Ну, Фроська, больше не увидимся... Люби теперь другого...

У Фроськи дрогнуло сердце, вспыхнула горячая, как пламя, жалость к отцу ее детей, так жестоко и несправедливо обиженному жизнью,— она упала перед ним на колени и горько заплакала:

— Гаврилушка!.. Болезный ты мой... Согрешила... Прости...

Он махнул рукой и, пошатываясь, стуча о пол деревянной ногой, молчаливо направляется к двери. Безобразное лицо его перекошено и мертво, точно каменное. У порога он останавливается, неловко надевает на голову папаху, один край которой подвернулся внутрь, и, словно слепой, долго ищет дверную скобку.

Ларион, глядя ему вслед, стоит на одном месте, крякает, растерянный, измятый, с посеревшим лицом, словно он только что проснулся и ничего не понимает. Одна

рука. его заложена за пояс, другая сердито рвет рыжую бороду. А Фроська, не вставая с пола, сжимая руками виски, все умоляет о прощении.

Гаврила выходит на улицу.

Вечер. Сгущается, плотнеет осенняя тьма вокруг. Мертвенно-свинцовое небо моросит мелким дождем. Всюду черная липкая грязь и мутные лужи. Низкие избы сиротливо насупились, приникли к сырой земле, точно зябко им. Не видно ни одной живой души. Солдат, опираясь на костыль, тихо идет вдоль улицы. Серая изношенная шинель, без пояса, висит на его костлявом туловище, точно на скелете. Деревянная нога глубоко увязает в мягкую землю, а другая, обутая в рыжий сапог, шлепает по жиже. Усталый и измученный, он сделает несколько шагов, остановится, тяжело переводя дух, и снова бредет дальше.

— Что сделали...— вяло бормочет он, отмахиваясь рукой, точно отгоняя муху.

Чувствует себя одиноким, никому в целом мире не нужным, точно он попал на другую землю, неведомую и безлюдную. Родная деревня, где он вырос, где пролил столько поту, бросая в землю вместе с семенами и свою молодую силу, где знакома и дорога ему каждая мелочь,— даже родная деревня стала для него теперь чужой и неприветливой. И все милое, чем жило его сердце, куда-то безвозвратно ушло, исчезло, а вместо этого тяжело надвинулась мгла, холодная и тоскливая.

Гаврила останавливается, блуждает одним глазом по сторонам улицы, точно обдумывая, куда ему теперь идти.

Хмурится низко нависшее небо, нарастает тягостный сумрак, и всюду молчаливо, как в безжизненной пустыне...

В ЗАПАС

Сентябрь на дворе. День ясный, теплый, с углубленными далями. С голубого неба, пригревая землю, лучисто светит полдневное солнце. Как всегда, на улице, где тянется ряд флотских экипажей, много гуляющих матросов. Из раскрытых окон дешевых харчевен заманчиво пахнет жареным. Где-то военный оркестр играет походный марш, разливаясь веселыми звуками по всему городу.

— Погоняй, а то на пароход опоздаем! — говорит извозчику машинный квартирмейстер Косырев.

— Успеем,— отзывается извозчик, понукая гнедого мерина.

Быстрее бежит лошадь, выбивая подковами из камней искры, сильнее гремит повозка.

Рядом с Косыревым сидит молодой рыжеватый матрос Савелий Галкин, поехавший проводить своего земляка до пристани. Понурившись, он мрачно смотрит на лежащие у ног чемоданы, набитые русскими и заграничными вещами, и в пьяной голове его копошатся безотрадные мысли.

Косырев, напротив, весел и радостен. Он отбыл срок службы и теперь, как запасной, отправляется к себе на родину. Одет франтовато — в новенький бушлат с позолоченными пуговицами; на его фуражке, лихо сдвинутой набекрень, атласная лента с надписью: «Не подходи». Энергичное красивое лицо его горит, точно опаленное зноем, под русыми пушистыми усами играет улыбка. Военная служба, хотя и не тяжелая для него, но подне-

вольная, с суровой судовой дисциплиной, с постоянным страхом попасть за пустяк под суд, в ошельмованные люди, осталась позади, как воспоминание, а в будущем уже грезится новая жизнь, полная лучших надежд. Смотрит на солнце, и кажется ему, что не осень, а весна наступает, ликующая, светлая.

— Да не сиди ты, как ворона в ненастье! — говорит он товарищу, хлопнув ладонью по его спине.

— Служить долго,— отвечает тот, поднимая голову, мутную от выпитой водки.

— Отмотаешь.

Обгоняют партию проституток, сопровождаемых городовыми на медицинский осмотр. Молодые женщины, не успевшие еще развратиться, идут, стыдливо опустив головы, а старые, все испытавшие, держатся нагло, никого не стесняясь.

— Эй, птички, куда держите курс? — смеясь, спрашивает у них Косырев.

В ответ слышится скверная брань, гнусавый смех, а одна, дряблая, с лицом, точно изжеванным, яростно сипит, оскалив по-собачьи зеленые зубы и тараща гнойные глаза.

Отвернувшись, квартирмейстер хмурит брови.

— Ну их к лешему...

— Не задевай зря,— поучает Галкин.

Впереди и сзади гремят другие повозки с отъезжающими в запас матросами.

— Что родным о тебе передать? — спрашивает Косырев.

— Я уж говорил... Главное — не забудь напомнить батьке, чтобы белоногую ни за что не продавал. Пусть лучше всю скотину сбазлает, только не кобылу. Зимою, может, в унтеры произведут — пособлю. Не послушается — серчать буду...

— Ладно — все скажу.

Галкин еще что-то наказывает, но квартирмейстер уже не слушает, радуясь:

— Савуша, друг! Ведь на родину еду, а!

— Знаю,— с досадой отвечает тот.

— Воля! Теперь я сам себе господин! Подыщу себе хорошенькую кралю и заживу припеваючи...

— Поповну?

— Обязательно. С приданым...

— Такая жать не пойдет...

— И не надо! На первое время у меня есть запасец, а там — добьюсь. Флотская служба не пропала даром — машинистом стал...

Выезжают на окраину города. Воздух становится лучше — морской, крепкий. Справа, из военной гавани, видны мачты кораблей, слева — деревья, роняющие под легким ветром мертвую листву. Здесь заметнее тихая печаль увядающей, но все еще прекрасной осени. А впереди, чуть-чуть волнуясь, игриво поблескивает море, согретое солнечными лучами, и, кажется, зовет тоскующее сердце, обещая утешить. У пристани, дымя, стоит пузатый пароход уже в полной готовности. Около него толпятся люди.

Останавливаются. Рассчитавшись с извозчиком, Косырев справляется, когда уходит пароход. Отвечают, что скоро.

Подкатывают новые повозки с матросами и пассажирами.

По сторонам дороги продают яблоки, арбузы, виноград, пирожки. Среди матросов одни уже пьяны, другие только накачиваются водкой, потягивая ее прямо из горлышка бутылки. Тут же толкутся женщины, провожающие запасных, а те, возбужденные и красные, целуются с ними, клянутся в вечной преданности.

Высокий комендор облапил за талию плотную зубастую девицу и, склонив голову к ее пухлому, как сдобный пирог, лицу, горячо говорит:

— Эх, Нюшка! Пронзила ты мое сердце, точно из пушки! Не очухаться теперь мне до гробовой доски...

Одного щеголеватого писаря встречают сразу две любовницы. Не успел поцеловаться с одной, как налетает другая. Соперницы ругаются, готовы выцарапать друг другу глаза, сучат руками, забыв о виновнике, а он, как вор, схватив свои чемоданы, торопливо бежит на пароход.

— Отступаешь, чернильная душа? — кричат ему вслед матросы.

Долговязый рулевой, окруженный кучкою людей, наигрывает на балалайке и, гримасничая, подпевает:

Засвистал наш боцман в дудку,
Мы забыли про Машутку.

В толпе то и дело раздается раскатистый смех. Ритмично плещется море, будто одобряя все слышанное, а вдали возмущенно гудит сирена.

Косырев и Галкин, взяв по чемодану, направляются на пароход. В это время, загораживая им путь, выступает из толпы женщина.

— Ну, что, Гриша, уезжаешь, а? — спрашивает она, глядя прямо в глаза Косырева.

Косырев вздрогнул и, остановившись, опустил чемодан. Смотрит на женщину и не верит своим глазам: перед ним Феня. Восемь месяцев прошло, как он расстался с нею, уйдя в заграничное плавание, и уже начал было забывать про нее. Теперь вспомнилось все сразу. Вспомнилась молодая привлекательная девушка, служившая в горничных у одного морского капитана; вспомнились прогулки за город, где на берегу моря в одну из теплых летних ночей под шум волн она впервые отдалась ему...

— Да, уезжаю...

И, заметив плохое платье, землистый цвет лица, углубившиеся глаза, спрашивает:

— А ты больше не служишь?

— Нет, твое дитя вынашиваю!..— твердо отвечает она, не сводя с Косырева глаз, полных презрения и ненависти.

Он смотрит на выпятившийся живот и, весь красный, опускает голову, точно подставляет ее под удары.

Галкин стоит в недоумении.

Мужчины и женщины окружают их, с любопытством следя, чем это кончится.

А Феня, никого не стесняясь, режет:

— Клялся ты мне, Гриша, помнишь? Обещал верным быть на всю жизнь. Где же твоя совесть? Морским ветром выдуло, а?

Слова ее, точно огнем, палят душу Косырева.

— Хулиган ты после этого!..

— Замолчи! Разнесу! — кричит он, сжимая кулаки.

Она подходит ближе, бледная, с перекошенным лицом.

— Стыдно, а? Ударь... Бей по этому месту... Тут твой ребенок. Бей, обманщик...

Сверкая глазами, она сильно хлопает ладонью по своему большому животу, а Косырев с испугом, не зная, куда взглянуть, просит:

— Отстань, Феня...

Толпа смеется, подзадоривает. Некоторые матросы ругают Косырева.

Феня хочет высказать всю обиду, что давно уже измучила ее сердце, но в голове все непонятно, точно захлестнула мутная волна. Шатаясь, она бессознательно цепляется за Косырева, а он, подхватив под руку, ведет ее в сторону, прочь от людей.

Галкин остается около чемоданов.

Феня, опомнившись, рвется из рук.

— Успокойся, милая, зря это ты... Хочешь — денег дам?

Она выпрямляется и смотрит на него уничтожающе.

— Убирайся к черту! Не возьму я от тебя ни копейки. Лучше с голоду умру. Обманщик ты! Что ты со мной сделал?..

— Не сердись, Феня, подожди...

Но Феня, не слушая, кричит свое:

— Думала — нашла себе друга. Радовалась, души в тебе не чаяла... А тут вот что... Куда теперь денусь?.. Как буду жить? Для меня одна дорога — сделаться уличной девкой...

Она закрывает лицо и, вздрагивая, горько плачет. Косыреву вспоминаются проститутки, встреченные по дороге. Быть может, и Феню, мать его будущего ребенка, так же погонят на медицинский осмотр и так же будут издеваться над ней другие. И все через него, только через него! Что-то ударило в сердце, опрокинуло душу. Он обнимает Феню, прижимает к груди.

— Нет, нет, не допущу до этого.

Феня не сопротивляется, почувствовала в нем прежнего друга.

— Гриша, ты только подумай... Дети без родителей... Доля-то их какая? Господи! И с твоим будет... Да, да...

Он просит не говорить так, чувствуя, как в груди у него все дрожит, точно натянутые струны. Наконец, тряхнув головою, решает:

— Эх, видно, судьба такая, жить нам вместе!..

В воздухе протяжно гудит пароход.

Галкин, видя, что Косырев все еще стоит с Феней, берет чемоданы и направляется к ним.

— Ну, пора.

— Нет, Савка, остаюсь. Давай извозчика.

— Почему?

— Через неделю на свадьбу милости просим.

Галкин смотрит удивленно, недоверчиво. Потом, поняв, одобряет:

— Правильно!

И вприпрыжку бежит за извозчиком...

А пароход уже отваливает, бурля воду большими тяжелыми колесами. С пристани, задерживая ход, тянутся за ним, как змеи, длинные канаты. На верхней палубе — матросы, веселые, радостные. Одни машут платками, смеясь, перекликаются с оставшимися на берегу; другие, собравшись в кучку, дружным хором поют морскую песню. Поют про свои скитания в далеких океанах, про отвагу моряков, что, схватившись с бурей, выходят победителями. Равномерно плещется море, а в его лучистом просторе, под прозрачно-голубым небом осени, далеко разносятся молодые крепкие голоса, исполненные верой в силу и смелость человека.

Косырева тянет к уплывающим, хочется слить с их голосами свой голос, но готов уже извозчик — надо садиться. Втроем едут обратно в город. Косырев бережно поддерживает Феню, а она, прижимаясь к нему, тихо плачет радостными слезами.

— Мы с тобой заживем...— говорит он, просветленный.

В последний раз оглянулся назад: уходит пароход в светлую даль полным ходом. На мгновение скользнула тоска, как черное облако. Но сразу же ликующая радость наполнила грудь.

ШАЛЫЙ

I

После обеда в сопровождении квартирмейстера явился он на канонерскую лодку «Залетную», стоявшую на малом рейде, и сразу же обратил на себя внимание всей команды.

Матросы только что кончили отдых и, залитые жгучими лучами весеннего солнца, перевалившего за полдень, распивали чай. В прозрачной синеве неба кое-где дремали белоснежные облака. Море, спокойное вдали, лениво плескалось и притворно ласково терлось о железо бортов судна. По рейду, разводя волну, проходили портовые буксиры, легко скользили ялики и шлюпки. Слышались гудки пароходов, выкрики людей, свистки капралов.

В ожидании старшего офицера, которому отправили препроводительный пакет, прибывший матрос, согнув в коленях ноги, опустив, как плети, длинные руки, стоял на шканцах, мрачный, неряшливо одетый в поношенное казенное платье. Был он худ, но широк костью и жилист, с плоским, как доска, смуглым лицом, на котором вместо бороды несуразно торчали два ненужных клока вьющихся волос, точно нарочно приклеенных к крупному подбородку. Голова, с которой съехала на затылок фуражка, обнажив покатый лоб, немного склонилась к правому плечу, а черные с вывороченными веками глаза, глубоко засевшие в орбитах, неподвижно глядели куда-то в сторону, широко раскрытые и мутные, точно у безумного.

Подошел старший офицер, лейтенант Филатов, сытый и аккуратный, в белом кителе и до блеска начищенных черных ботинках.

— Что за чучело такое?

Матрос передвинул ноги, поднял правую руку к фуражке и, отдавая честь, молча уставился на старшего офицера, а тот, заглядывая в бумагу, начал спрашивать:

— Как фамилия?

— Матвей Зудин,— лениво цедил сквозь зубы матрос.

— В тюрьме сидел?

— Так точно, ваше бродье.

— За что?

— Не могу знать.

— Э, да ты, я вижу, гусь лапчатый...

— Никак нет — я матрос Зудин.

— Молчать!

Филатов пытливо заглянул матросу в глаза и отступил шаг назад.

— За оскорбление начальства сидел в тюрьме?

— Никак нет.

— Врешь!

Зудин задвигал широкими скулами.

— Я никогда не вру...

— Отвечать не умеешь! Я тебя проберу!.. Пошел!

Зудин взял свой чемодан и направился к носу, ни на кого не глядя, переваливаясь с боку на бок, шаркая по палубе большими порыжелыми сапогами.

Старший офицер, спускаясь с верхней палубы, крикнул:

— Рассыльный, позвать боцмана!

А в кают-компании, усевшись за стол, жаловался офицерам:

— Возмутительно! Присылают на корабль всякую дрянь. Сейчас прибыл матрос. Оказывается, в тюрьме сидел, дуролом, с идиотскими глазами. Ну что я буду с ним делать?..

— Мне кажется, давно бы пора упразднить эту дурную привычку во флоте: списывать с берега на суда плохих матросов,— вставил ревизор, обводя всех глазами.

Поддакнули и другие офицеры.

А когда в кают-компанию, держа в левой руке фуражку, вошел боцман Задвижкин, небольшой человек с желтыми плутоватыми глазами, с белокурой бородкой на продолговатом лице, старший офицер, повернувшись к нему вполоборота, заговорил:

— Вот что, боцман, к нам на судно прислали пародию на матроса... Впрочем, ты этого не понимаешь... К нам заявился шут гороховый — грязный, как черт, разговаривать с начальством не умеет, никакой военной выправки в нем нет, да притом еще арестант. Твоя задача — сделать из него настоящего матроса. Понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — почтительно отчеканил боцман.— Не извольте беспокоиться. Недельки через две-три он у меня по канату будет ходить не хуже всякого акробата...

— А пока назначь его за уборными смотреть. Ступай.

— Есть, ваше высокоблагородие! — ответил Задвижкин и, повернувшись, легкой походкой, точно танцор, вышел из кают-компании.

Зудин в это время, расположившись на рундуках, находящихся в передней части судна, для чего-то выкладывал из парусинового чемодана свои вещи. Около него толпились матросы, но он будто не замечал их, занимаясь своим делом и ничего не отвечая на задаваемые ему вопросы.

— А, ты здесь, перец,— подойдя к Зудину, сказал боцман, перед которым почтительно расступились матросы.

Зудин, услышав начальнический тон, разогнулся и, не глядя на боцмана, спросил:

— Почему — перец?

— Не разговаривать! Марш за мной!

Боцман быстро стал подниматься по трапу, а за ним, отставая, неохотно плелся Зудин.

— Шевелись! — раздраженно крикнул Задвижкин, оглянувшись.— Ходишь, как кухарка на рынок...

Уборная находилась в самом носу корабля.

— Вот где будет твое царство! — показывая на нее, сказал боцман.— Умывальники и все остальное держать в чистоте и опрятности...

— Мне все равно,— равнодушно ответил Зудин, согнувшись, расставив ноги.

— Не умеешь стоять, арестантская морда!

Не утерпев, боцман ударил его по лицу кулаком. Зудин, точно проснувшись от сна, дернулся весь, выпрямился во весь рост и, сжимая кулаки, обратил на боцмана такой страшный взгляд безумных глаз, что у того похолодело в душе. Несколько секунд они молча стояли один против другого, тяжело дыша. Струсив, Задвижкин попятился назад, повернулся и неуверенно, пряча голову в плечи, точно ожидая удара, быстро засеменил ногами по палубе. Отойдя, он на ходу оглянулся: матрос, оскалив клыкастые зубы, стоял на том же месте, шевеля тараканьими усами, несуразно-большой и сильный, а по сторонам, заметив растерянность боцмана, уже посмеивались матросы.

II

Прошла неделя-другая.

Канонерская лодка «Залетная» спешно готовилась к дальнему плаванию, так как внезапным распоряжением высшего начальства она переводилась во Владивостокский порт. Работы было много. Матросы, смуглые от загара, целые дни проводили в суете, запасаясь углем, снарядами, машинным маслом, съестными продуктами и другими необходимыми предметами. Не оставались без дела и офицеры, отдавая те или другие распоряжения, присматривая за работой команды. А боцман Задвижкин, летая с одного конца корабля на другой, охрип от крика, бранился отъявленной руганью и немилосердно дрался.

— Копошись, окаянное племя! — хрипел он на матросов, грозясь кулаком.— Гони работу, чтобы всем чертям на зависть стало...

Матросы, работая, отзывались о нем промеж себя:

— На кондуктора выслуживается, шкура проклятая...

— Говорят, с главным дьяволом покумился...

Всем доставалось от боцмана. Только одного Зудина он не трогал, стараясь не замечать его, боясь с ним

встретиться. А тот кое-как, с грехом пополам выполняя свои обязанности, не принимал никакого участия в суматохе, происходившей на корабле, и больше всего сидел в носовом отделении, низко склонив голову, огромный и нескладный, как статуя каменного века. Изредка он выходил к фитилю, где молча курил свою «самокрутку» и мрачно глядел куда-то мимо людей. А если иногда случалось, что он уставится на кого из матросов, то никто не выдерживал его взгляда, долгого и упорного, вставал и, уходя, заявлял:

— Чтоб тебе провалиться на этом месте!.. Наградит же ведь господь бог такими глазенапами...

Однажды темной ночью, осторожно шагая, подгибаясь под подвешенные парусиновые койки, Зудин долго ходил по жилой палубе, чуть освещенной электрическими лампочками, оглядываясь по сторонам, точно кого-то разыскивая.

— Ты что ходишь? — спрашивали его матросы.

Он не отвечал, продолжая ходить, как лунатик.

Своим поведением, мрачным видом, внушавшим людям непонятный страх, своею постоянной замкнутостью, скрывавшей его прошлое, он заинтриговал матросов, возбуждая у них интерес к себе. О нем спорили, гадали, но никто не мог проникнуть в темные недра его души.

В одном лишь соглашались все:

— Он не только чужого, а даже родную мать может зарезать и не дрогнет...

Обратились к авторитету фельдшера, к молодому щеголеватому человеку с рыжими пейсиками на висках.

— Скажите на милость, как понять матроса Зудина?

Тот, подбоченившись, приподняв брови, начал говорить долго и пространно о душевнобольных, пересыпая свою речь непонятными медицинскими словами, и наконец закончил:

— Проще сказать — шалый он.

— Вот это верно,— подхватили матросы.— Так бы прямо и сказали. А то путали, путали...

— А не опасный он? — справились у фельдшера более робкие из них.

— Нет, нисколько.

С тех пор матроса Зудина стали прозывать Шалым.

В ближайшее воскресенье, в прекрасный солнечный день, когда очередное отделение команды готовилось «гулять на берег», Шалый явился в каюту старшего офицера, заградив собою весь квадрат открытых дверей.

— Ты зачем сюда? — строго спросил Филатов.

— Отпустите в город,— не поднимая головы, процедил Шалый.

— Не могу...

— Почему?

— Потому что ты...

Старший офицер вскочил со стула, сразу замолчал и попятился назад, в угол каюты, точно толкаемый невидимой силой, а на него из глубоких орбит, окруженных синяками, мрачно уставилась пара темных глаз. Он впервые увидел лицо Шалого, не по годам изношенное, измученное, с крупной трагической складкой поперек лба, и, чувствуя страх, смешанный с жалостью, к этому несчастному человеку, заговорил снисходительно:

— Хорошо, хорошо, иди в город...

Шалый продолжал стоять, точно ничего не понимая.

— Говорят тебе, иди! Отпускаю я тебя, понимаешь? — возвысив голос, закричал Филатов, точно перед ним стоял глухой.

Шалый молча повернулся и медленно зашагал от каюты.

— Черт знает, что такое! — посмотрев ему вслед, рассердился старший офицер на самого себя.— Напрасно отпустил...

А в городе в этот же день с Шалым встретился боцман, который, немного подвыпив, быстро шел по тротуару на рынок, часто поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить офицеров без отдания чести. Два противника почти столкнулись нос с носом и на минуту остановились, точно в раздумье.

— Ну? — подавленно произнес Задвижкин.

— Что ну? — спросил Шалый, мотнув головою.

И опять, как и при первой встрече с этим матросом, страшно стало боцману, опять в его душу закрался холодный ужас. Повернувшись, он проворно зашагал на другую сторону улицы, отчаянно ругаясь и часто оглядываясь, точно боясь погони.

На следующий день старший офицер, позвав к себе боцмана, спросил:

— Ну, как этот идиот, Зудин, исправляется?

Боцману стыдно было признаться в своем бессилии, еще больше — в своей трусости, которой он — решительный и храбрый — никогда не знал за собою.

— Будьте спокойны, ваше высокоблагородие,— мы из быка сделаем матроса.

— А как обязанности он свои выполняет?

— Великолепно, ваше высокоблагородие! — невольно уже врал боцман дальше.

Старший офицер, удовлетворенный таким ответом, на этом успокоился.

III

«Залетная», выкрашенная в белый цвет, чисто вымытая, отправилась наконец в свой дальний путь.

Проходили дни за днями, однообразные, похожие один на другой, беспрестанно работала машина, двигая лодку вперед — во Владивосток. Стояла хорошая солнечная погода, лишь изредка омрачавшаяся тучами, с короткими налетами ветра, точно дразнившего море. Давно уже скрылись берега с золотистыми песками, с постройками городов, с зелеными рощами, с пышными садами, и все шире, чаруя человеческий глаз, развертывалось море, а над ним, богато разбрасывая горячие лучи летнего солнца, прозрачно-голубым куполом висело ясное небо. Среди пустынного простора приятно было встретиться с каким-нибудь другим кораблем, обменяться, подняв флаги, приветствиями и разойтись в разные стороны, растаивая в синеющей дали.

Для команды теперь было меньше работы, она больше отдыхала, поправлялась, наливаясь здоровым соком. Свежее стали лица матросов, чаще слышался смех, а по вечерам, после ужина, на баке у всегда горящего фитиля раздавались залихватские песни. Боцман, раньше державший в страхе всю команду, не знавший себе удержа в издевательствах над ней, по мере того как «Залетная» все дальше уходила от отечественных вод, становился добрее, заменяя прежнюю ругань шутками.

— Петров! — внезапно в присутствии команды обращался он к знакомому матросу, стараясь придать себе начальнический вид.

— Чего извольте, господин боцман? — отзывался тот.

— Это я так, чтобы не забыть, как звать тебя...

Матросы смеялись.

Они прекрасно понимали, почему боцман стал относиться к ним лучше,— он боялся Шалого, всюду следившего за ним своими страшными глазами,— и старались еще больше запугать его, постоянно докладывая:

— Эх, Трифон Степанович, несдобровать вам...

— То есть как это? — встрепенувшись, спрашивал боцман.

— Очень просто: укокошит вас Шалый, и больше никаких. Ему все равно, раз он полоумный. Что с ним сделаешь?

И действительно, когда бы боцман, будучи на верхней палубе, ни заглянул под полубак, в уборную, он всегда неизбежно встречал там Шалого, следившего за ним, как паук за своей жертвой. Но Задвижкин, стараясь скрыть свою тревогу, храбрился перед матросами:

— Чтоб я да его испугался! Да я из этой полоумной балды такого форменного матроса сделаю, что волчком будет вертеться, молнией по кораблю летать... Не таких укрощали.

Горячась, он ругался и кричал, бил себя в грудь кулаком, но ни в голосе, ни в жестах его не было той уверенности, какая замечалась в нем раньше.

— Нет, Трифон Степанович, ничего вы с ним не поделаете,— возражали матросы.— Силен он, Шалый-то. Надысь он целую бухту стального троса поднял. А в ней, поди, пудов двадцать есть. Так, ни с того ни с сего, взял да поднял, вроде как хотел свою силу показать.

Хуже всех донимал боцмана своими сообщениями о Шалом марсовой Петлин, глуповатый малый с рачьими глазами. Когда-то ему пришлось пережить тяжелое унижение: он пролил на палубу суп, а боцман, придя в гнев, заставил его облизать палубу, досуха облизать, что и было исполнено им под хохот команды. Теперь он торжествовал, видя, что можно отомстить своему обидчику.

— Ну, Трифон Степанович, беда вам...

— В чем дело? — испуганно спросил тот.

— Сам видел кинжал у Шалого. Эх, и большой! С руку величиной. Острый, так и блестит. Повертел он его в руке и за голенище сунул...

— Ну! — удивился Задвижкин.

— Лопни моя утроба, не вру.

— Может, украдешь кинжал, а?

— Нет, уж это вы сами украдите. А мне жизнь еще не надоела.

— Трешницу дам.

— Я сто рублей не возьму.

— На квартирмейстера представлю.

— По мне хоть в адмиралы — все равно не согласен...

Боцман в эту ночь совершенно не мог заснуть, думая о Шалом, держащем в руках острый блестящий кинжал.

В другой раз, утром, во время мытья верхней палубы, этот же марсовой подошел к боцману, толкнул его локтем и, показывая рукою на носовую часть судна, сказал:

— Поглядите-ка, что проделывает...

Шалый в это время стоял под полубаком, держа в руках большой лом; потом он несколько раз размахнулся им, точно нацеливаясь кого-то ударить.

— Порешит он с вами...

Боцман, бледнея, почувствовал, что по его спине будто гладят чьи-то ледяные руки. Он быстро спустился в низ судна, заперся в своей каюте, объявив другим, что ему нездоровится. А Петлин отправился к Шалому и, обращаясь к нему, внушал:

— Боится тебя боцман... каждый день ждет, что на тот свет его спишешь...

Шалый, подняв голову, молча глядел на марсового.

— Что же ты окошки свои на меня уставил? Говорят тебе, что у боцмана поджилки трясутся. Придавишь, брат, его, а?

— Ладно,— отворачиваясь, нехотя отвечал Шалый.

Спал он в жилой палубе на решетчатых рундуках, подостлав под себя матрац, набитый мелкими истолченными крошками из пробочного дерева. Часто его виде-

ли здесь лежащим на спине, нераздетым, в сапогах, с открытыми глазами, неподвижно уставившимися в потолок, и неизвестно было, спит он или нет. Случалось, что он тяжело застонет во сне, пугая соседей. Раз ночью во время небольшой бури он, проснувшись, вдруг засуетился и, обратившись к матросу, только что сменившемуся с вахты, спросил:

— Слышишь?

— Что? — удивился тот.

— Ребятишки кричат, и баба плачет...

— Это ветер в вентиляциях воет.

— Врешь!

Шалый, вскочив торопливо, в одном нижнем белье побежал на палубу.

Матрос, ложась спать, посмотрел ему вслед и заключил:

— Дело дрянь... Совсем испортил мозги... А голова без разума, что маяк без огня...

Днем Шалый по-прежнему проводил все свое время в носовом отделении и ни с кем не разговаривал, жил своим одиноким внутренним миром, загадочным и непонятным. До окружающей жизни ему не было никакого дела. Казалось, какая-то тяжелая дума, точно свинцовая туча, вытеснив все мысли, мраком отчаяния заполнила душу. Только глубже уходили в орбиты его страшные глаза, темные, как осенняя безлунная ночь, шире расходились вокруг них синие круги и все чаще трагическая гримаса кривила его мертвое лицо...

IV

«Залетная» побывала уже в двух иностранных портах, где возобновила запас угля и свежих продуктов, и продолжала идти дальше, оставляя за кормою вспененный бурун. Теперь она держала курс на юг, точно стремилась скорее приблизиться к тропическому солнцу. Небо дышало зноем, накаляя неподвижный воздух, ослепительным блеском отражаясь в синеве моря.

На корабле дисциплина падала.

Боцман, запуганный Шалым, не знал, куда от него деваться, жил в большой тревоге, каждый день ожидая

себе смерти, которая неизбежно придет к нему из-под полубака, от несуразного матроса. Смятение охватывало его душу, исчезла храбрость. Он старался подружить с командой, как бы ища у нее защиты. Часто можно было видеть его среди матросов, которым он, притворно-ласковый, заискивающий, рассказывал:

— Эх, братцы, будет дело! Дай только нам до Африки добраться. Женщин там — ну таких нигде не сыскать! Очень, говорю, ласковые и до нашего брата жадные. А до чего любят целоваться — страсть! Как влипнет, так не оторвешься. Замрет! А все оттого, что солнце на них так действует, насквозь накаляет... Эх, через таких женщин можно жизни лишиться, и то не жаль... Смерим, братцы, температуру, а?

Задвижкин крутил головою, прикрыв ресницами свои плутоватые глаза.

Матросы возбужденно смеялись.

— Я сам пойду с вами в город, покажу вам все чудеса африканские... Абсентом угощу. Водка такая есть— здорово в голову ударяет, хуже нашего ерша. Гашиш испробуем. Если его как следует накуриться, то душа в райские обители переносится. А потом я вас в туземный театр сведу. Там вы увидите «танец живота». Это уже что-то необыкновенное. Стоит девица на одном месте, вся голая, в одном естестве своем, самая что ни на есть складная, расчудесная, и одним животом танцует. Ну так может распалить нашего брата, что некоторые до помрачения доходят. Когда вернусь домой, обязательно свою жену научу...

Увлекаясь, боцман рассказывал об Индии, Японии и других странах, где приходилось ему побывать, рассказывал до тех пор, пока кто-нибудь из матросов, скрывая свое злорадство, не вставлял:

— Это все хорошо, но только, боюсь, не придется вам, Трифон Степанович, ходить по таким местам...

— Почему? — настораживаясь, спрашивал Задвижкин.

— Вы сами отлично знаете: не сегодня-завтра обязательно пришибет он вас, Шалый-то...

— Дурак! — убегая от матросов, кричал боцман, а ему вдогонку неслось:

— Дураки мы с тобою оба, но только ты дурее меня много...

Боцмана перестали слушаться совсем, судовые работы выполнялись кое-как.

Старший офицер, заметив падение прежней дисциплины, призвал однажды боцмана к себе в каюту и обрушился на него гневом:

— Куда это ты все прячешься? Отчего тебя не видно на верхней палубе?

— Я, ваше высокоблагородие, за командой присматриваю...— начал оправдываться боцман.

— Врешь! Хвалился из Зудина акробата сделать, а сам боишься его. Да?

— Ваше высокоблагородие, будь он с натуральной головой, я бы его проучил...— признался наконец боцман в своем бессилии.

— Просто ты ни к черту не годишься! В матросы разжалую! Пошел вон, болван!

Боцман вышел из каюты растерянный, весь красный.

— Что, Трифон Степанович, али в бане попарились? — смеясь, спрашивали его матросы.

Матросы, бывшие рабы, которым он плевал в лицо, которых он обижал и оскорблял так, как только могла придумать его злобная фантазия, становились все смелее, наглели, старались уколоть его при всяком случае. И чудно было видеть, как боцман из грозного повелителя, перед одним взглядом которого трепетала вся команда, теперь превращался в смешного и жалкого человека, беспомощно хватающегося за голову, в полное ничтожество.

Страх перед загадочным матросом, точно перед чудовищем, поселившимся в носовом отделении и неизвестно что замышляющим, заразил всех квартирмейстеров, боцманматов и, разрастаясь, перекинулся в кают-компанию. Шалого начали бояться и все офицеры, избегая встречи с ним, стараясь обходить его, боялся его и сам старший офицер Филатов, но никто не хотел в этом признаться. Каждый из них в душе знал, что на корабле должно произойти что-то ужасное, кошмарное. Положение становилось тягостным. Филатов, потеряв наконец терпение, начал просить у командира судна

разрешения списать Шалого, как сумасшедшего, в первом же порту.

— Разве этот матрос буйствует? — спросил командир, разбитый болезнью человек, поглаживая рукою свою лысую голову.

— Не буйствует, но все-таки опасно такого человека держать на корабле.

— А раз так, то довезем его до Владивостока.

— В таком случае, за неимением другого подходящего помещения, позвольте его хотя в карцер запереть или держать на привязи.

— Ну, что вы говорите! Это было бы совершенно незаконно. Он же ведь не преступник...

Филатов, рассердившись, прекратил разговор и вернулся в кают-компанию расстроенным, жалуясь офицерам на командира:

— Законник! Буквоед! Начинил свою лысую голову циркулярами да предписаниями, точно колбасную кишку разными сортами мяса, и ни за что не хочет считаться с требованиями жизни...

— Что случилось? — обратились к нему офицеры.

— Да командир вывел меня из терпения: не хочет никаких мер принять против матроса Зудина. Ведь видно же по всему, что настоящий психопат. Он нам бог знает что натворит.

— Да, да, невозможно стало жить на корабле...— откровенно заговорили вдруг все находившиеся в кают-компании.— Это воплощение какого-то необъяснимого ужаса... На что он нужен на корабле?..

Офицеры на этот раз долго говорили о Шалом, придумывая всякие меры, как скорее избавиться от него, но к определенному заключению так и не пришли.

V

Не успела «Залетная» пройти Гибралтарский пролив, вступив в Средиземное море, как погода начала портиться. По небу заходили тяжелые, лохматые тучи; кружась, подул ветер; вздрагивая, сурово нахмурилась вся водная равнина. Вокруг сразу все посерело, изменилось. Чувствовалось приближение бури.

Это было с утра, а к вечеру, подбрасывая судно, уже в бешеной пляске прыгали волны, на разные голоса завывал ветер.

Шалый вдруг ожил, забеспокоился, чаще стал выходить из-под полубака, охваченный какой-то внутренней тревогой. Стоя на верхней палубе, опершись руками на фальшборт, он пристально всматривался в безбрежную даль, подернутую серою мглою, покрытую вспененными буграми, и восклицал, встряхивая головою:

— Ах, здорово! Началось...

Балансируя, он переходил от одного борта к другому.

А встретившись с марсовым Петлиным, он будто обрадовался ему и, поблескивая лихорадочными глазами, впервые сам заговорил:

— Сказали — от них одни уголечки остались... Брешут! Они живы, живы...

— Кто? — спросил Петлин, моргая рачьими глазами.

— Ребятишки мои и баба... Зовут меня к себе, каждую ночь зовут... Скоро кончится...

Марсовой недоумевал:

— Что кончится?

— Вахта.

— Какая вахта?

— Моя.

— А боцман?

— Ах да, боцман, боцман,— отходя, забормотал он, точно стараясь о ком-то вспомнить.

На второй день буря усилилась. Клубясь, ниже опускались рваные тучи, громоздились неуклюжими пластами, вдали тяжело наваливались на море и суживали горизонт, темные, как соломенный дым; вскипая и пенясь, громадными буграми катились волны, по необъятному простору со свистом и воем проносились вихри, поднимая каскады перламутровых брызг. В полумраке, разрезаемом ослепительными зигзагами молнии, беспрестанно грохотал гром, разражаясь оглушительными ударами; все вокруг ревело и ухало. Море клокотало, точно подогреваемое адским огнем.

«Залетная» еле справлялась с разбушевавшейся стихией. Гудя вентиляторами, она качалась на волнах, как скорлупа, то скатываясь в разверстые бездны, то сно-

ва поднимаясь на водяные холмы. Иногда волны, раскатившись, стеною обрушивались на верхнюю палубу, задерживая ход, обдавая брызгами мостики, приводя в содрогание весь корпус, но канонерка не поддавалась, рвалась вперед, упорно держа свой определенный курс.

Командир все время находился в ходовой рубке, болезненно бледный, осунувшийся, обескураженный бурей, молча и растерянно смотрел на горизонт слезящимися глазами, всецело предоставив управлять кораблем штурману, пожилому самоуверенному человеку, знавшему все капризы моря.

Многие матросы, страдавшие морской болезнью, валялись в жилой палубе, ходили по кораблю, точно отравленные ядом, с позеленевшими лицами, с остекленевшими глазами.

Только Шалый, мокрый от брызг, без фуражки, с неестественно расширенными зрачками блуждающих глаз, метался по верхней палубе, как пьяный. Приложив руку ко лбу, он осматривал сумрачно-мутные дали, заглядывал за корму, словно любуясь шумно бурлящим потоком воды. Казалось, навсегда исчезла его мрачная угрюмость, сменившись восторгом.

— Эх, взыгралось! — крепко схватив за руки одного матроса, процедил он сквозь оскаленные зубы.

— Пусти, полоумный идол! — вырываясь, крикнул перепуганный матрос.

— Убирайся к черту! — отшвырнув от себя матроса, произнес Шалый и побежал от него к бугшприту.

После обеда старший офицер, выйдя на верхнюю палубу, заметил, что одна шлюпка плохо прикреплена. Приказал вахтенному позвать боцмана.

— Это что такое? — закричал Филатов, показывая пальцем вверх, на шлюпку, когда явился перед ним боцман.— Один конец шлюпки подтянут выше, другой — ниже! А что за узлы такие! Позор для корабля...

— Виноват, ваше высокоблагородие,— проговорил боцман, держа руку под козырек.

— Виноватым морду бьют! Это черт знает что такое...

Ни тот, ни другой не заметили, что в это время, немного согнувшись, отвернув голову в сторону, а на них скосив лишь свои страшные глаза, приближался к ним

Шалый, весь какой-то встрепанный, мутный, с искаженным лицом.

Охватив всю ширь неба, сверкнула молния, а вслед за нею оглушительно грянул гром.

Волна, взметнувшись на палубу, окатила с ног до головы и боцмана и старшего офицера.

Филатов рассердился еще больше и, откашлявшись, чувствуя во рту горечь морской воды, рычал, точно в этом виноват был боцман:

— Сгною тебя в карцере, негодяй!

— Это все матросы...

— Молчать!..

Шалый, взвизгнув, с яростью зверя набросился на боцмана, схватил его поперек, приподнял и бегом, точно с малым ребенком, помчался почему-то к более отдаленному борту. Произошла отчаянная схватка: один, почувствовав весь ужас смерти, вырывался, колотился, словно в истерике, кусаясь, размахивая руками и ногами; другой, оскалив зубы, крепко держал его в объятиях, сдавливая как железными тисками, заглушая его предсмертный вопль злорадным сатанинским хохотом.

Продолжалось это несколько мгновений. Матросы, случайно вышедшие на верхнюю палубу, и старший офицер безмолвно стояли, точно в оцепенении, широко раскрыв глаза. Никто из них не двинулся с места для защиты боцмана. И только тогда, когда два сцепившихся человеческих тела рухнули за борт, Филатов, подняв вверх руки, закричал нечеловеческим голосом:

— Спасайте!.. Бросьте буек!.. Судно остановить...

И снова, сверкнув молнией, еще сильнее загрохотал гром, сливаясь с ревом бури в один грозный аккорд.

На палубе поднялась суматоха, беготня, а там, за бортом в бушующих волнах, быстро отставая от корабля, то утопая, то выныривая, два человека, продолжая еще некоторое время борьбу, скрылись навсегда в темных пучинах моря...

ПЕВЦЫ

В трактире «Не грусти — развеселю», несмотря на сумрачность и грязь, в этот вечер поздней осени, когда на дворе беспрерывно моросит дождь, а сырой и холодный ветер пронизывает до костей,— хорошо и уютно. Народу не так много, сравнительно тихо, хотя в деловой разговор то и дело врываются пьяные голоса, звон посуды, призывающий к столам прислугу, щелканье на буфете счетной кассы. По временам заводят граммофон, старый, полинявший, с большой красной трубой. Он играет сносно, но вдруг сорвется и, словно чем-то подавившись, зарычит режущим ухо голосом.

Большой зал освещен электрическими люстрами. Вдоль стен и по углам, точно прячась от людского взора, сидят каменщики, ломовики, чернорабочие — народ плохо одетый, заскорузлый, но плотный и сильный. Они глотают водку большими стаканами, не торопясь закусывают потрохами и ржавой селедкой, чай спивают добела. Разговор их медлительный, лица хмурые, взгляд тяжелый. Ближе к буфету жмутся дворники, швейцары, городовые, за честь считающие потолковать с буфетчиком. Посредине — подрядчики и торговцы. Эти говорят степенно и важно, слов на ветер не бросают, и только те, что помоложе, держатся бойчее. К ним более внимательно, чем к другим посетителям, относятся половые.

В трактир входит мужчина, опираясь одной рукой на костыль, а другой на плечо женщины. Он лет три-

дцати, худой и жилистый, во флотской фуражке и поношенном пиджаке, с георгиевским крестом на груди. Ноги его согнуты, трясутся и беспокойно шаркают по полу, точно нащупывая место, чтобы утвердиться. Она моложе его, но и на ее бескровном лице, с заострившимся носом и строго поджатыми сухими губами, отпечаток нужды и горя. Покрыта ситцевым платком, в мужских сапогах и просторной ватной поддевке, сквозь которую сильно выпячивается беременный живот. Оба мокрые от дождя, прозябшие.

Окинув усталым взглядом трактир, вошедший обратился к буфетчику:

— Позвольте бывшему матросу повеселить публику.

Буфетчик, сощурившись, оглядел пришельцев с ног до головы, отсчитал кому-то сдачи и наконец спросил у матроса:

— Раненый, что ли, будешь?

— Да.

— Где сражался?

— При Цусиме.

— Так... А это жена твоя?

— Подвенечная...

Получив разрешение, матрос достает из-за плеча большой деревянный футляр, вынимает из него венскую двухрядную гармонику и садится на стул, а жена становится рядом. Перебирает лады, пробуя голоса. Потом играет какой-то марш.

В трактире сразу замолчали. Сошлись люди из других комнат. Все смотрят на матроса, а он, склонившись левым ухом над гармоникой, словно прислушиваясь к ней, растягивает меха во всю ширину рук. И несутся, потрясая воздух, стройные звуки, кружатся, как в вихре, звонко заливаются, буйные аккорды сменяются веселой трелью.

— Браво, моряк! Молодец!..— дружным одобрением отозвался «Не грусти — развеселю», когда замолкла гармоника.

Какой-то длинноволосый человек в монашеском костюме подносит матросу рюмку водки, а сам держит другую, приговаривая нараспев:

— Возвеселимся, пьяницы, о склянице и да уповаем на вино...

— Очистим чувствие и узрим дно, — по-церковному отвечает матрос, выпивая.

Он оживает, ерошит черные волосы и смотрит на людей немного насмешливо, не то собираясь еще чем-то удивить их, не то радуясь, что добился внимания к себе.

Снова грянула гармоника, дружно понеслись, заливаясь в пьяном, дымном воздухе, мелодично-шумливые звуки, а за ними, словно стараясь догнать их, с торжественной медлительностью покатился бас матроса:

Нутко, молодцы лихие,
Песню дружно запоем...

Выждав момент, радостно взвился женский подголосок:

Мы матросы удалые,
Нам все в мире нипочем...

Зала насторожилась, по лицам пробежала легкая струйка удовольствия. Застыли в напряженном внимании. Какой-то подрядчик, начавший было рассчитываться, так и остался с раскрытым ртом и бумажником. К его столу придвинулись два печника и усиленно вытянули к певцам желтые шеи. Замерли «шестерки» в белых ситцевых штанах и рубашках.

А матрос, набирая в грудь воздух, поет:

Дудки хором загудели,
И пошел вовсю аврал...

Присоединяясь к нему, жена бойко-певуче выкрикивает:

Мачты, стеньги заскрипели,
Задымился марса-фал...

По окончании песни во всех углах раздаются рукоплескания, крики одобрения.

Женщина взяла флотскую фуражку, обходит публику, низко кланяясь каждому, кто бросает ей монету.

Матроса угощают водкой, колбасой, жмут ему руки.

— Молодчага!.. Спасибо!.. Дербани еще одну!..

Жена возвращается и, спрятав в карман выручку, просит:

— Не пей, Андрюша, пойдем.

— Я только чуточку, Даша, ей-богу...

— Нет, насчет музыки ты горазд,— выражает похвалу матросу лесопромышленник, крутя пальцами острую бородку.— И поешь здорово. Тонко знаешь свое дело...

Матрос улыбается.

— Любил я ее с малолетства, музыку-то... Как, бывало, услышу где — сам не свой. И голос у меня был. А вот после войны ослаб.

— Какой ослаб! Хоть сейчас к архиерею в протодиаконы...

Пучеглазый купец с красным, как голландский сыр, лицом пристает к матросу:

— Спой, брат, ты для меня еще флотскую, со слезой спой... Такую, знаешь ли, чтобы за самое нутро хватила! Красненькой не пожалею...

Он сует матросу десятирублевую бумажку.

— Хорошо,— соглашается тот.

Шепнув что-то жене, которая, сложив на большом животе руки, стоит с опущенной головой, матрос снова разводит гармонику, быстро перебирая лады. И вдруг, тряхнув головою, протяжно запевает:

Закипела в море пена,
Будет ветру перемена...

Жена, встрепенувшись, подхватывает подголоском:

Братцы! ой, перемена-а-а...

В пении чувствуется большой навык, в музыке — уменье. Гудят и рокочут басы, грустно журчат миноры, испуганно заливаются альты и дисканта, сливаясь в бурный каскад звуков, а в нем, то утопая, то поднимаясь, плавают два человеческих голоса, качаясь, точно на волнах моря.

Матрос, оставив свою подругу на высокой ноте, продолжает:

Зыбь за зыбью часто ходит,
Чуть корабль наш не потопит!..

Он стал неузнаваем. Голова, со спустившимися на лоб вихрами, покачивается в такт переходам голоса, широко раскрытый рот искривлен, брови сдвинуты, а темные глаза, загоревшись вдохновением, смотрят куда-то мимо людей. И во всей его фигуре, напряженной и сосредоточенной, теперь чувствуется молодецкая удаль, отвага, точно он, как в былые годы, снова видит перед собою бушующее море, разверстые бездны, слышит оглушительный шум грозной бури.

Жене трудно петь: она надрывается, залитая нездоровым румянцем.

В зале никто не шелохнется. С вытянутыми шеями, серьезные, сидят девицы, подсмеивавшиеся раньше над женою матроса. Толстый мучной торговец, забрав в рот окладистую бороду, смотрит в стакан с чаем, точно увидев в нем что-то необыкновенное. Какой-то старик из чернорабочих тихонько вытирает слезы. Даже буфетчик, ко всему равнодушный, кроме наживы, застыл на месте, скосив на матроса маленькие, острые глаза.

Точно не в трактире, а с корабля, переживающего бедствие, волнами раскатывается бас матроса, с тревогой возвещая:

Набок кренит, на борт валит,
Бортом воду забирает...

А подголосок, словно испугавшись, что предстоит неминуемая гибель, отчаянно рыдает:

Братцы! ой, забирае-ет...

Необычный, красивый мотив песни, исполняемой с большой страстностью, заражает тревогой весь трактир. И чем дальше поют, тем страшнее развертывается картина бури, готовой разнести корабль. Вот уже:

Белые паруса рвутся,
У матросов слезы льются...

— Не могу больше,— оборвав песню, неожиданно заявляет матрос, вытирая потное лицо.— Силушки нет.

Певцов наперебой благодарят, хвалят, а пучеглазый купец со слезами на глазах целует их в губы, говоря растроганно:

— Спасибо!.. Отродясь такой не слыхал, песни-то!.. Душа будто от скверны очистилась.

Матрос что-то отвечает, но в шуме голосов его уже не слышно. Он укладывает гармонику в футляр. Поблекший, с потухшими глазами, поддерживаемый женою, он едва пробирается через толпу к выходу и, выбрасывая в сторону трясущиеся ноги, тихо выходит на улицу.

А на дворе дождь, мелкий, осенний, надоедливый. Бросаясь из стороны в сторону, колышется пламя фонарей, слабо освещая мокрые, угрюмые дома. Дует ветер, тонко подпевая в телеграфных проводах. Не разбирая дороги, опираясь на жену и костыль, молча идет матрос, немного хмельной, усталый, с одной лишь мыслью об отдыхе в холодном и сыром подвале.

ЗУБ ЗА ЗУБ

I

Точно плотным войлоком, окуталось небо черными тучами, сгущая над сибирским городом сумрак ночи. Иногда, где-то в мрачной дали, ломаными линиями полыхала молния, угрюмо ворчал гром, предвещая грозу. По темным закоулкам и задворкам шарил ветер, подвывая в щелях построек, ощупывал платье патрулей, обливая тело августовским холодком. Тополя таинственно качали вершинами и шептались. На пустынные улицы, притихнув, смотрели слепыми окнами дома, будто прислушиваясь к тревожным звукам ночи.

Город казался мертвым.

Только жила одна женская гимназия — жила пьяной и чадной жизнью.

Из раскрытых окон трехэтажного здания вырывались веселые звуки рояля, смешиваясь с возбужденными голосами мужчин и женщин. Иногда музыка сливалась с хоровым пением. Это внутри помещения, в большом зале, отведенном под офицерское собрание, гусары смерти устроили бал.

Капитан Прибылев запоздал и явился в то время, когда пир был в полном разгаре. Комната, в которую он вошел, была уставлена длинными столами с разными винами и закусками.

— А, Николай Валентинович! Добро пожаловать! — раздалось разом несколько голосов.

— Здравия желаю! — звякнув шпорами, бойко отчеканил капитан и начал здороваться с каждым за руку.

Высокий ростом, статный корпусом, с большими усами на гладко выбритом лице, он имел вид лихого офицера. Но вместе с тем в нем чувствовался какой-то душевный надлом: круглая, как шар, голова преждевременно посеребрилась, а большие глаза смотрели на все с мрачной разочарованностью.

— Пожалуйста, Николай Валентинович, чего вам угодно — настойка, коньяк, наливка,— показывая на ряд бутылок, предложил ему подполковник.

— Благодарю вас, господин полковник! Я предпочитаю отечественную...

Прибылев наполнил чайный стакан простой водкой и, запрокинув голову, залпом осушил его до дна. Он закусывал молча, выбирая блюда поострее — кетовую икру, маринованные грибки, консервированный перец. Потом, выпивая уже маленькими рюмками, перешел на ветчину и гуся, усердно смазывая каждый кусок крепкой горчицей.

А в это время подполковник, порядочно захмелевший, держа за пуговицу молоденького офицера, порывавшегося убежать на зов бурной музыки, говорил:

— Во всей нашей политике нужна твердость и решительность. Я не понимаю, о чем только думают в Омске? Нужно все население привести в трепет, доказать ему, что беззаконие недопустимо, что каждая попытка к бунту будет потоплена в крови. В противном случае отдельные партизанские отряды могут слиться в одну общую грозную силу. Что тогда будем делать? Чумазый хам раздавит нас, сметет всю нашу культуру...

— Не раздавит, господин полковник, если только поправятся дела наши на главном фронте. Лишь бы только красных прогнать обратно за Урал. А с партизанами мы справимся в два счета...

— На сегодняшний вечер забудем о всех фронтах и будем только веселиться,— вставил Прибылев.

— Ну какой вы безбожник, Николай Валентинович! — наполняя комнату острым запахом духов, бойко заговорила только что вошедшая дама, красивая брюнетка.

— В чем дело, Капитолина Павловна? — кланяясь и целуя нежно руку, спросил Прибылев.

— Вы так опоздали! Без вас ужасно было скучно! Вы знаете, как я влюблена в ваше пение?...

— К сожалению, только в пение, не больше...

Капитолина Павловна, тряхнув пушистыми локонами, громко рассмеялась, играя золотым, усыпанным бриллиантами крестом на полуобнаженной груди.

— Вы очень скоропалительны, Николай Валентинович!

— Быстрота и натиск — тактика самого Наполеона.

Разговаривая, они вдвоем пошли в другую комнату, где офицеры и дамы, усевшись за большим столом, играли в «железку».

— А, счастливая пара! — раздались голоса.— Честь и место вам за нашим столом.

Прибылев, оставив свою даму, подошел к столу ближе.

— Я не прочь, как всегда, раз рискнуть, но только прошу, господа, не сердиться на меня, если я вас обыграю...

— Цыплят по осени считают,— вставил кто-то.

Прибылев, не присаживаясь, встал между двух стульев, ожидая своей очереди.

Было чадно от табачного дыма. Офицеры острили, рассказывали анекдоты, смеялись, возбужденные игрою и выпитой водкой. И вдруг все замолчали, насторожились. Банкомет обошел весь круг, собрав крупную сумму денег.

— Капитан, вам предлагается двадцать две тысячи!

Прибылев без колебания вытащил бумажник, отсчитал нужную сумму и произнес:

— Пожалуйста!

Внимание всех сосредоточилось на двух противниках. Банкомет растерялся, заметив уверенный взгляд капитана, изменился в лице, тонкие пальцы вздрагивали. Посмотрев в свои две карты, он еще больше смутился, говоря упавшим голосом:

— Даю карту.

— Не смею отказаться от вашей любезности,— не сводя глаз с противника, ответил капитан с таким равнодушием, точно спор шел о чужих деньгах.

Бросив капитану пятерку, а себе семерку, банкомет сразу просиял весь и радостно воскликнул:

— Восемь!

Обе руки, точно щупальца, протянулись к середине стола, жадно хватая деньги.

— Вы торопитесь, поручик! Счастье висело на кончике вашего носа, но досталось не вам,— промолвил капитан, медленно открывая свои карты.

Банкомет вздрогнул, побледнел, готовый свалиться, и хотя никакого сомнения не было, что у противника девять очков, он долго всматривался в них, что-то с трудом соображая, точно потерял способность считать.

— Вот человек, который находится вне божеских и человеческих законов: ему одинаково везет и в любви и в карты,— произнес один из офицеров.

Капитан, сохраняя полное спокойствие, взял от банкомета весь свой выигрыш, положил его в карман и, поклонившись всем, направился через коридор в большой зал, сопровождаемый Капитолиной Павловной.

— Я все время следила за вами...

— И что же?

— Вы ужасный человек!..

Он хотел что-то ответить, но в дверях встретились новые знакомые, приветствуя и вступая с ним в разговор.

В зале, залитом светом электрической люстры, убранном зеленью и живыми цветами, было пестро и шумно. На рояле кто-то наигрывал «Осенние мечты»; кружились, вальсируя, молодые пары, распространяя аромат нежных духов.

Капитан, покинув свою даму, пробрался в угол, уселся на свободный стул, словно стараясь быть незамеченным, и стал всматриваться в круговорот танцующих людей. Мимо него, раскачиваясь в такт музыке, укорачивая и удлиняя шаги, проносились военные фигуры.

Мелькали черные сапоги, звякая шпорами, четко ударяя подошвами по дереву пола, а вокруг них, поднимаясь на носки, бесшумно скользя, вились разноцветные бальные туфельки. Взгляд Прибылева, как бы утомленный смешением цветов, рассеянно блуждал среди публики, точно кого-то выискивая. Перед ним, пуская в ход все тонкие расчеты, развертывалась затейливая игра полов, дразнящая и капризная, как весна, дурманящая мозг, как сильный хмель. И вдруг среди других жен-

щин он увидел ее, Капитолину Павловну: прильнув к молодому офицеру, охватившему ее талию сильной рукой, она легко и плавно неслась с другого конца залы в сторону капитана и, улыбаясь, смотрела на него таким обещающим взглядом, точно бросала ему вызов. Вокруг ног кавалера легким облаком обвивалась ее белая воздушная юбка.

Прибылев поднялся, прошел в другую комнату и снова зарядил себя изрядной порцией коньяка. А когда вернулся в зал, здесь уже пели хором «Гренадеры-усачи». Он тоже присоединился к хору, подпевая вполголоса, а потом его мягкий и задушевный баритон, вибрируя, полился звучнее, ярче, властвуя над остальными голосами.

Кто-то крикнул:

— Пусть капитан соло споет!

Около Прибылева столпились женщины, замкнув его в круг голых плеч и полуобнаженных грудей, кричали и шумели, прося его спеть.

Он уселся за рояль, пробежал гибкими пальцами по клавишам, словно испытывая музыкальный инструмент, и взял несколько торжественных аккордов. Потом, выждав момент, запел арию из оперы «Русалка»:

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила...

Капитан, исполняя один номер за другим, стал героем вечера. Все взоры были устремлены на него. Пение сменялось бурными аплодисментами. Это вдохновляло его еще больше. По временам, обрывая голос, он наклонялся к роялю, но тут же откидывался назад и снова пел, докрасна напрягаясь и встряхивая круглой головой.

— Пойте, веселитесь, утешайте себя свистопляской! — неожиданно врезался в зал хриплый крик.

Все оглянулись.

Офицер, плешивый, с брюшком, на коротких ногах, пошатываясь, трагически потрясал кулаками:

— Они идут... Близко уже... На окраине города...

С улицы, в открытые окна, из глубины ночного мрака, донеслись далекие перекаты грома. Весь зал затих, насторожился. Ошеломленные и оцепеневшие люди стояли с таким видом, точно с каждым мгновением ожидали взрыва порохового погреба.

— Кто? Куда идут?— глухо спросил кто-то.

— Проклятые партизаны наступают... Город обложили... К оружию все!..

Дама в голубом платье ахнула, падая в обморок. И в смертельном страхе заметались все, создавая бестолковый шум. Некоторые кинулись бежать из гимназии.

Только капитан Прибылев нисколько не растерялся, только он один погасил смятение, распорядившись вывести пьяного офицера, и отправился в комнату, где была выпивка и закуска.

Еще сильнее, еще бесшабашнее началось веселье, словно каждый старался заглушить только что пережитую тревогу.

Позднее Прибылев вместе с Капитолиной Павловной прогуливался по коридору.

— Вы играете и поете восхитительно. В вашей душе столько благородства, столько искренности...

Капитолина Павловна остановилась, поймав на своей груди взгляд проходящего мимо молоденького подпоручика.

— Послушайте, молодой человек, почему вы так смотрите на меня?

Подпоручик смутился, покраснел.

— Я? Я молюсь на ваш крестик...

Капитолина Павловна громко рассмеялась и, подхватив капитана под руку, начала снова прогуливаться по коридору. Она завела разговор о муже, жалуясь, что от него нет писем с фронта, что он забыл ее.

Прибылев, слушая, говорил мало. Глаза его стали бездушными, пустыми.

Помолчав немного, она опять начала восторгаться его пением.

— Нет, у вас такой дивный баритон, что я готова слушать всю ночь...

— Отчего же не сделать так?

— Как?

— У меня на квартире имеется пианино. Живу я один. Всю ночь буду петь для вас.

Капитолина Павловна, отняв свою руку, остановилась и взглянула на него испуганными глазами.

— Вы что мне предлагаете?

— Пережить вместе ночь.

— Позвольте вас спросить, вы за кого меня принимаете? — с гневом спросила Капитолина Павловна, вспыхнув вся и в то же время чувствуя, как внутренне она подчиняется нагло-властному взгляду этого человека.

— Что, смелости не хватает?

В это время подлетел солдат-курьер и, протягивая капитану большой конверт, проговорил:

— Господин капитан, вам срочный пакет!

Прибылев расписался в рассыльной книге, отпустил курьера и, деловито разорвав пакет, прочитал бумагу.

— До свиданья, Капитолина Павловна!

— Что такое, почему? — спросила она голосом, в котором чувствовалось сожаление.

— Получил предписание. Должен немедленно выехать в одно село. Не совсем там благополучно...

— Как же так? Неужели нельзя отложить до завтра?..

Она сокрушалась, тянулась к нему, а капитан, вежливо поцеловав ей руку, спустился в нижний этаж гимназии, где жили солдаты.

Давно он не был здесь. Некоторые солдаты спали, разметавшись на голых койках или на цементном полу, другие, разбившись на кучки, уничтожали пиво и самогонку, закусывая свежим луком и мясными консервами. Слышались пьяные голоса, споры, ругань. Было душно и смрадно. Кругом царил хаос. Учебные наглядные пособия, висевшие на стенах, были уничтожены, географические карты изорваны. Громадные шкафы изрублены шашками, с разбитыми дверцами, опустошенные. Книги — учебники, классики и научные — грудами валялись на полу, перемешанные, с разодранными крышками, с вырванными листами.

— Это кто же так натворил? — спросил капитан, показывая на книги, когда подошел к нему позванный фельдфебель, плотный и вихрастый малый.

— Да ребята все балуются, господин капитан,— ответил пьяный фельдфебель, стараясь сохранить равновесие.— Сколько им ни говори, а они знай свое — рвут книги почем зря... В уборную таскают...

Около стенки, на полу, валялись куски разбитых статуй, а на подоконнике сиротливо торчала Венера Милосская, с отшибленным носом, с надписью на груди: «Верка, любившая вдоволь»...

Сверху доносились бравурные звуки музыки, а здесь, внизу, из отдельной комнаты, запертой на большой висячий замок, вдруг раздался подавленный стон.

На вопросительный взгляд капитана фельдфебель пояснил:

— Новую партию крестьян пригнали...

— Вот что, Головлев,— перебил его капитан,— отберите из команды двадцать лучших молодцов, а тридцать человек нужно будет взять из второй роты. Все немедленно должны быть вооружены и ждать меня на своих конях у моей квартиры. В два счета!

— Слушаюсь, господин капитан!

Прибылев, выйдя из гимназии, столкнулся на тротуаре с подполковником.

— А, Николай Валентинович! Слышал, голубчик, что вас посылают с карательным отрядом в село. Пожелаю полного успеха. Помните одно: партизаны — это варвары. Их нужно уничтожать без всякой жалости...

Прибылев взглянул с жесткой усмешкой на подполковника, потом обернулся к гимназии, откуда несся шум пьяных голосов, топот танцующих ног, рой музыкальных звуков, вспомнил Капитолину Павловну, ее готовность пойти к нему на квартиру, и сумрачно бросил:

— Не мне, господин полковник, об этом напоминать...

И быстро зашагал в мрак глухого переулка, чувствуя в душе безнадежную ожесточенность против приближающегося грозного конца.

II

Вечером, когда над Сибирью спускался тихий сумрак ночи, через село Кашеедово проходил неизвестный человек, лет двадцати пяти, в крестьянской одежде. Около одного дома, где он, остановившись, купил крынку молока, вокруг него собралось несколько человек мужиков и баб, приставая с расспросами о новостях.

— Новостей пропасть, только некогда рассказывать,— заявил прохожий, напившись молока и утирая рукавом рубахи свои небольшие усики.

— Ну, хоть что-нибудь скажи,— послышались голоса.

— Про город-то, поди, слыхали?

— А что?

— В руки красных попал...

Это удивило всех. Придвинувшись ближе к прохожему, люди сразу насторожились, недоверчиво заглядывая в его маленькие, немного насмешливые глаза.

— Честное слово — правда! Сам из города. Солдаты взбунтовались и порешили со всеми офицерами. А что делается теперь там — голова кругом идет: митинги, народ с красными флагами ходит по улицам, революционные песни поют. По селам беляков вылавливают. Везде восстанавливают Советскую власть. Словом, всем прохвостам — крышка. Однако, прощевайте! — неожиданно оборвал прохожий и тронулся в путь.

— Да подожди, расскажи толком,— как и что? — начали упрашивать его.

— Что рассказывать-то? Скоро сами узнаете все. А мне спешить надо...

Когда прохожий скрылся, то брошенная им новость моментально облетела все село, вызвав среди жителей горячие споры.

На другой день, рано утром, в конце села Кашеедова показался отряд всадников, сопровождавших какую-то повозку. Их было человек до пятидесяти. У всех из-за плеч виднелись карабины. Среди жителей Кашеедова поднялась страшная тревога: люди начали разбегаться из домов, прячась в конопляниках, в ригах, зарываясь в солому. Но так продолжалось недолго. Солдаты ехали мирно, распевая революционные песни, веселые, с красными бантиками на фуражках вместо прежних кокард. Над ними развевался большой пунцовый флаг с надписью «Смерть палачам! Да здравствует Советская власть!». В средине отряда ехала телега. На ней находились четыре человека: кучер, правивший лошадью, два связанных офицера и рабочий, высокий, худощавый, в потрепанном пиджаке, в черной засаленной фуражке, с широкой красной лентой через плечо.

— Товарищи! — увидев около домов жителей Кашеедова, закричал вдруг рабочий с телеги, размахивая фуражкой.— Наша взяла! Вся губерния в руках красных! Собирайтесь на сходку! Там я все объясню...

Среди народа послышались возгласы:

— Кажись, и вправду наши едут!

— Настоящая свобода объявилась!

А солдаты, раскачиваясь в седлах, пели:

Бей, руби их, злодеев проклятых...

Из одного дома в другой забегали люди, сообщая радостную новость. Детвора, посланная матерями, носилась по коноплянникам, кружилась около овинов, разыскивая своих спрятавшихся отцов и родственников, и звонко раздавались их голоса:

— Тятя! Иди скорее домой! Слобода приехала...

— Дядя Ваня! Тебя тетя Ганя зовет... беляков рубить...

И народ все смелел, высыпая на улицу и примыкая к отряду конных.

Солнце, поднявшись, брызнуло особенно ярким светом. Радостно голубело небо, просветленное, без единого облачка. Позолотившись, ослепительно засияло озеро, а по извилистым краям его, над камышами и кустарником тальника, плавали обрывки молочного тумана.

Люди торопливо выгоняли скотину в стадо и спешили на сходку, около которой собралась уже большая толпа. Все, вытянув шеи, смотрели в середину круга, туда, где стояла повозка со связанными офицерами. Рабочий-оратор, показывая рукой на капитана Прибылева, спрашивал:

— Узнаете своего палача?

По толпе пронесся гул.

— Мы его поймали дорогой. Он ехал к вам, чтобы опять устроить вам порку. А этот — его помощник,— показал рабочий на другого офицера, молодого подпоручика.— Но об этих кровопийцах мы поговорим после. А теперь я хочу вам рассказать о другом...

Оратор посмотрел на толпу, окружившую его повозку, на солдат, выстроившихся в сторонке правильными рядами, откашлялся и громко начал:

— Товарищи! Опять вернулась к нам свобода, опять сами труженики становятся у власти...

Где-то мычали коровы, блеяли овцы, а здесь, около схода, стало вдруг тихо, и в этой тишине звучал лишь один голос, басистый и громкий, бросая призывные слова. Между оратором и народом протянулась невидимая связь, держа в напряженном состоянии стариков и подростков, мужиков и баб. По-разному слушала толпа: одни стояли, наклонив головы, точно отяжелевшие от новых мыслей, нахмурив брови, серьезные и тяжелодумные, другие, напротив, держались прямо, щурясь от солнца и улыбаясь, словно погрузившись в чудесный сон; некоторые повернулись в сторону повозки в пол-оборота, приоткрыв рты и подставляя к уху ладони совочком.

Подпоручик все время ежился, чувствуя грозную силу толпы, и беспокойно поглядывал в сторону солдат, но капитан Прибылев, к удивлению многих, сидел спокойно, скользя стальными глазами по загорелым лицам, точно изучая их, и нагло встречал взгляды крестьян.

Оратор увлекался. По его энергичному лицу катились крупные капли пота. Из его речи выходило, что все омское правительство арестовано и что скоро наступит время, когда на всей сибирской территории не останется ни одного народного врага.

— Да здравствуют большевики! — закончил оратор.

— Качать товарища-оратора! Качать! — раздались голоса.

Десятки рук протянулись к повозке, заставив задрожать подпоручика и насторожиться самого капитана, стащили рабочего и с криками «ура» долго подбрасывали его в воздухе.

Когда водворилась тишина, оратор предложил народу начать выборы в сельский совет, но оказалось, что у них давно уже был создан военно-революционный штаб. В него входили трое: Яков Семенов, Антон Воротилов и Потап Кротов.

Пока оратор беседовал с двумя первыми, несколько человек побежали за Кротовым. Его нашли в картофельной яме. Он явился и направился прямо к повозке, взъерошенный, выпачканный в земле, с застрявшей кост-

рой в густых волосах. Посмотрел на красное знамя, на связанных офицеров, на оратора, с улыбкой протягивающего ему руку, улыбнулся сам и спросил:

— Неужто это правда?

— Да, товарищ, народ раздавил контрреволюцию...

Потом вскочил на повозку и крикнул во всю силу своих здоровенных легких:

— Товарищи, наша борьба не пропала даром! Свергнули окаянную силу...

— Для тебя еще осталась,— вставил капитан Прибылев, скосив на говорившего недобрый взгляд.

— Замолчи, стервятник, пока твой поганый язык я тебе не вырвал! — рассердился Потап и хотел было ударить капитана.

Но в этот момент его схватил за руку оратор и, загораживая спиной капитана, строго заговорил:

— Так нельзя, товарищ! Надо по закону. Мы — не разбойники...

Быстро был создан военно-революционный трибунал. В него вошли членами: Ермилка Сучков, мужичонка бедный и хилый, Карп Суслов, человек степенный и точный, а их возглавлял председатель Трифон Дерзилов, дезертир с гражданского фронта.

После этого раздвинулся круг, офицеров ссадили на землю, а все судьи забрались на повозку.

— Кайся, подпоручик, во всех своих преступлениях! — начал председатель Дерзилов, глядя на офицеров сверху вниз.

— За мною нет никаких преступлений,— отозвался тот, не поднимая головы.

— Врет, кровопивец,— вмешался рабочий.— Позвольте заявить вам, что он собственноручно убивал крестьян и сжигал села. Это докажут товарищи солдаты...

А Прибылев, когда его начали допрашивать, уставился на председателя наглым взглядом, но тут же сделал скорбное лицо и умоляюще заговорил:

— Простите, товарищи! Правда, я вам много зла причинил, но в этом не моя вина: меня самого посылали. Я только исполнял свой долг. За это, я думаю, вы не будете казнить меня...

— Нет, мы расцелуем тебя,— вставил Ермилка Сучков.

— Вы народ добрый. Я и в книгах читал, что русский мужичок зла не помнит, он все прощает своим обидчикам...

Кругом раздался хохот.

— Ишь, как Лазаря поет, язви его в душу!..

— Вы на нашей доброте сотни лет ездили...

Офицерам вынесли смертный приговор.

Оратор, посмотрев на высоко поднявшееся солнце, заявил:

— Теперь, товарищи, не мешало бы подкрепиться немного. Мы со вчерашнего дня ничего не ели. А этих злодеев мы успеем расстрелять...

На горизонте показалось небольшое черное облачко.

Перед каменной церковью, на отлете села, была большая площадь, поросшая травой. За деревянной оградой, окружив храм, высоко поднялись тополя, давая пряный аромат, и широко раскинулись кудри берез. С противоположной стороны площади, в зелени деревьев, солидно возвышался поповский дом, шестистенный, под железной крышей, с верандой, обвитой хмелем, с палисадником, пестреющим цветами. Рядом с ним стояли постройки дьякона, более скромные, и небольшой домик псаломщика.

Сюда переехали солдаты вместе с повозкой и приговоренными офицерами в сопровождении жителей Кашеедова. Лошадей они привязали к ограде, а сами в тени деревьев уселись кучками на траву. Здесь же находился и оратор, окруженный членами трибунала и штаба. Всех красных воинов угощали самогонкой и съестными припасами.

— Покушайте, касатики, а то, поди, проголодались...— нараспев тянула какая-нибудь баба, подставляя им чашку с творогом.

— Примите, родненькие, в благодарность...— выводила другая, выкладывая перед солдатами вареные яйца.

Несли говядину, свиное сало, масло, шанежки, молоко...

Солдаты заигрывали с молодухами, хватая их за груди, хлопая ладонями по бедрам, а те, взвизгивая, упрекали:

— Дома-то, поди, жены и дети остались, а они, бесстыдники, к нам лезут...

Иногда среди смеха и шуток слышался скорбный голос матери: она расспрашивала солдат о своем пропавшем сыне.

Мужики, подсев к солдатам, вместе с ними уничтожали самогонку. Увеличивалось веселье, велись дружеские разговоры.

— Ну, спасибо вам, товарищи военные, что выручили нас...

— Плохо жилось?

— Да уж какое было житье, коли кругом волкодавы эти насели...

— Замучили, якорь их возьми...

Оратор, вскочив, крикнул:

— Тише, товарищи! Я хочу внести предложение...

— Говори. Для тебя что угодно сделаем...— раздалось в ответ.

— Докажем этим двум золотопогонникам, что мы не такие варвары, как они; покормим их перед смертью. Как вы думаете?

Кругом загалдели:

— Отчего же не покормить?

— Можно и самосядкой угостить...

Несколько человек запротестовали, но большинство было на стороне оратора. Приговоренным развязали руки и посадили их вместе с собою, добродушно предлагая:

— Покушайте, чем бог наградил...

Тут же, вертелись ребятишки, с любопытством поглядывая на всех. Но больше всего их занимали офицеры.

— Тот, постарше-то, смотрит, точно волк...

— Их сначала покормят, а потом резать начнут.

— Ну, болтай побольше. Судья, дядя Трифон, прямо сказал — расстрелять... Ух, и здорово бахнут!

Черноглазый мальчонка, шмыгнув носом, деловито заметил:

— Надо тогда уши зажать, а то оглушит...

Оратор пил мало и все расспрашивал, сколько в селе оружия и какое оно, каково настроение в соседних селах. Мало пил и Потап Кротов, разговаривая с оратором. Им все время мешал захмелевший Ермилка Сучков, бормоча:

— Ты, Потап, только сокол, а этот — орел... Истинный бог — орел! Ну и ловок же на язык! Уж так завертывал, что сердце мое вроде как в огне горело... Истинный бог — не вру!..

Он лез к оратору целоваться, но другие его отталкивали.

— Нализался — так заткни глотку. Пристал к человеку, точно гнус...

— Вы меня не учите! — сердился Сучков, вырываясь из рук своих товарищей.— Я, может, побольше вашего понимаю свободу...

Один старик пригнал из дома рыжего мерина и, обращаясь ко всем, заговорил возбужденно:

— Братцы вы мои! Товарищи! Как мы, значит, избавились от проклятой нечисти, то я жертвую коня...

Из полинявших глаз его катились крупные капли слез, задерживаясь в большой седой бороде. Он повернулся в сторону солдат и низко поклонился.

— Спасибо вам, братцы, что от нечисти избавили. Солоно она нам, проклятущая, досталась. В городе скажите новому начальству: это, мол, подарок от Мирона Корягина, по прозвищу Звездочет...

Другой крестьянин, губастый, большеголовый, пошатываясь на тонких ногах, шумел:

— Молодцы-удальцы! Праздник сегодня али нет? Пасха али нет? А ежели пасха, так почему же во все колокола не звонят?..

— Верно, в колокола надо бы позвонить...— поддакнули ему другие.

Жарко пылало солнце. Влага сырой земли, испаряясь, сгущала неподвижный воздух, душный, как в натопленной бане. А облачко на юге, раньше маленькое, теперь расплывалось по голубому небосклону, точно чернильное пятно на пропускной бумаге. На дальних деревьях, качаясь и вытягивая шеи, беспокойно каркали вороны. Бухал большой колокол, пугая галок и голубей, стаями реющих вокруг церкви, а в его перекатный гул, перебивая, складно вплетался заливчатый перезвон маленьких колоколов.

Какой-то крестьянин, проезжая через село, остановился около церкви, посмотрел на красный флаг, при-

крепленный к повозке, на веселую компанию выпивающих людей, слез с телеги и направился к ним.

— Что это у вас за праздник сегодня?

Ему объяснили, в чем дело.

— Свобода! А того и не знают, что у нас в селе полно казаков...

— А ты откуда? — спросил оратор.

— Из Дразниловки. Пятнадцать верст отсюдова...

Оратор, вдруг нахмурившись, крикнул в сторону солдат:

— Десять молодцов — ко мне, а остальные на коней!

Через минуту солдаты уже сидели в седлах.

— В цепь! — снова крикнул им оратор, описав рукою полукруг.

Народ недоумевал, глядя, как их окружают всадники, обнажая сабли. Десять позванных солдат, приблизившись к членам трибунала и штаба, притиснули их всех к церковной ограде. Тут же, выхватив из кармана по револьверу, стояли оба офицера, кучер и сам оратор.

Прекратился звон колоколов, и Ефим, церковный сторож, высунувшись из колокольной ниши, удивленно смотрел вниз. Сразу оборвалось веселье. Что-то страшное, чего нельзя осмыслить умом, надвинулось на людей, гнетущим мраком окутав их души.

— Постойте, как же это так? — побледнев, глухо спросил Потап, обращаясь к оратору.

— Связать этого первым! — отрывисто приказал тот.

Несколько солдат, спрыгнув с коней, набросились на Кротова, скручивая ему назад руки и туго затягивая их веревками, а он, вырываясь, кричал, как безумный:

— Проклятие вам, подлые провокаторы!

Толпа робко зашумела.

— Молчать! — вскочив на повозку, гаркнул капитан Прибылев, угрожая револьвером.— И ни с места! Пришибу, как собаку!..

Снова все стихло.

— Ну, что, голубчики, попались? — слышался злорадный голос капитана.— Что вы теперь запоете в свое оправдание?

Исчез пунцовый флаг, пропала с плеч оратора лента; на рукавах солдат вместо красных повязок уже видне-

лись человеческие черепа, а на фуражках — кокарды; сверкали на солнце обнаженные сабли; с коней смотрели решительные лица всадников.

В толпе уже не было пьяных. Мужики, бабы и ребятишки, застыв на месте, молчали, дрожа от страха, пришибленные и безвольные.

Вдруг вся площадь огласилась дикими воплями.

В воздухе запахло человеческой кровью...

Из церкви вынесли на площадь подсвечники и почерневшие от времени иконы. Здесь же, облачившись в погребальные одежды, находился весь духовный причт, приведенный под конвоем.

Священник о. Иннокентий Богомольцев, слушая распоряжения капитана Прибылева, молчал и лишь украдкой косился на своих прихожан, оцепленных солдатами. Они стояли, не двигаясь с места, не зная, что будет с ними дальше, покорные, придавленные страхом. Стало жалко их, хотелось возражать против безумного предложения начальника. Но когда взглянул в сторону ограды, где, распластавшись на земле, валялись окровавленные трупы людей, то почувствовал, что и сам он заражается жутью, лишаясь силы воли. Губы его посинели, нижняя челюсть, густо поросшая бурым волосом, вздрагивала.

Дьякон был смелее и, встряхивая обнаженной головой, протестовал:

— Это невозможно... Это будет богохульством...

— Если не подчинитесь моему распоряжению, то сейчас же прикажу выпороть вас, а потом — к стенке! — гаркнул на это капитан, осадив пляшущего под ним коня.

Священник вздрогнул и, обращаясь к дьякону, смиренно заговорил:

— Наше дело маленькое, отец Симеон. Мы должны выполнить распоряжение начальника, ибо всякая власть самим богом установлена...

Некоторое время спустя уныло загудел погребальный звон. Похоронная процессия сначала двинулась вдоль улицы, а потом, свернув в переулок, направилась за околицу. Там, за полверсты от села, на возвышении, рядом

с темным бором, в березняке виднелось кладбище. Впереди несли подсвечники, иконы, а за ними, едва передвигая ноги, шагали два человека, обреченных на смерть: Потап Кротов и Трифон Дерзилов. Оба были привязаны друг к другу, локоть к локтю; у обоих, кроме того, были руки скручены назад и затянуты настолько туго, что кисти их вздулись и посинели.

Их заживо отпевали.

Трифон, вскидывая голову, все оглядывался назад, часто моргая слезящимися глазами. Он как будто не понимал, что с ним делают. Потап, вытянув вперед свою жилистую шею, тупо смотрел в землю неподвижным взглядом. Лица их осунулись, заострились, как у покойников. Смерть, наложив на обоих свою тень, невидимым призраком стояла перед ними.

— У меня рубашку разорвали,— взглянув на свою грудь, устало промолвил Трифон, точно впервые заметил это.

Потап взглянул на него исподлобья и ничего не ответил.

Поп, подбрасывая длинные волнистые волосы, дергал широкими плечами, точно черная риза мешала ему. Он был смертельно бледен и пугливо косил глаза по сторонам. До него доносились тяжелые вздохи, всхлипывания баб, беспорядочный топот тысячной толпы, напиравшей в спину. Это заставляло его вздрагивать, несуразно оттопыривать в сторону локти и напруживать все тело, словно в ожидании, что сейчас он будет раздавлен живым потоком людей. Он пел слабым голосом, путая и пропуская слова такой простой молитвы, как «Святый боже».

Дьякон, свирепо размахивая кадилом, поднимал ноги в тяжелых сапогах так высоко, как будто старался перешагнуть через какое-то препятствие, и гудел пропившимся басом. Угрястое лицо его натужилось, покраснело, точно он взбирался на крутую гору. По временам он бросал на священника враждебно презрительный взгляд.

Рядом с ним, тихо подпевая в тон надтреснутым тенором, шагал псаломщик, молодой чахоточный человек, жалкий в своих истоптанных башмаках и обтрепанном пиджаке.

В стороне от дороги, напротив приговоренных, поглядывая на похоронную процессию, ехал верхом капитан, спокойный, уверенный.

Все жители села, старые и малые, двигались беспорядочной толпой. В жарких лучах солнца, маяча, мелькали обнаженные головы мужчин и ребятишек, пестрели разноцветные платки женщин. Рассыпавшись по жесткой щетине жнивья, их замыкали полукругом всадники и гнали к кладбищу, как гонят стадо животных на скотобойню.

Некоторые из крестьян угрюмо поглядывали на осиротевшие луга и поля, на юг, откуда наползала черная туча, угрожая проливным дождем, на опустевшее село, делая страшные догадки, что его так же могут ограбить и превратить в пепел, как недавно поступили с соседней деревней. Одни раскаивались, что впутались в такое дело, другие сокрушались, что нет у них достаточно оружия, чтобы опрокинуть этих разбойников. Дерзкие год тому назад, в дни радостной свободы, люди теперь шли молча, поднимаясь к кладбищу, как на Голгофу, удрученные и подавленные, точно их самих отправляли в могилу.

На кладбище, как свежая рана, зияла глубокая могила, ожидая жертвы произвола. Ее выкопали сами же крестьяне, посланные сюда под конвоем солдат. Народ обступил могилу со всех сторон, образовав большой круг, в центре которого находились Дерзилов и Кротов, крестьяне с лопатами, старики с иконами и подсвечниками, духовный причт, капитан на коне и несколько солдат с винтовками.

Началась краткая лития.

«Упокой, господи, души новопреставленных рабов твоих — Потапия и Трифона...»

Священник опустил глаза, не замечая, что камилавка у него съехала набок. Он пел не своим голосом, произносил привычные слова, как автомат, думая о том, что крестьяне теперь не простят ему и что при первой же возможности надо бежать из села в город.

Дьякон, размахивая кадилом, басил так хрипло, точно у него пересохло горло. Туча, погасив солнце, отбросила на землю зловещую тень, и ему казалось, что сейчас наступит египетская тьма и вострубят архангелы о страшном дне второго пришествия...

— Кощунствуете, батюшка, а? — словно проснувшись от тяжелого сна, вдруг спросил Потап, глядя на попа.

Священник вздрогнул.

— Разве так повелел вам поступать Христос, а? Где ваш бог? Или заснул и не видит, что пастыри его проделывают на земле? Словоблудники! Вы прислужники не бога, а сатаны!..

Поп, ежась, пятился назад, точно в него летели не слова, а раскаленные стрелы, остро вонзаясь в тело,— пятился до тех пор, пока не уперся в живую стену людей. Взглянул на своих прихожан, как бы ища для себя защиты, и еще больше омрачилась душа: в каждой паре глаз он прочитал роковой приговор, который не сегодня-завтра над ним совершится. Что-то хотелось сказать, но не мог произнести ни одного слова и только жевал губами, весь какой-то скомканный, с перекошенным лицом.

Дьякон, стиснув зубы, отведя в сторону кадило, смотрел на своего пастыря с таким свирепым видом, точно хотел ударить его по голове.

Молния снизу доверху расколола черную тучу, грянул оглушительный гром.

Перекатным эхом откликнулся бор.

Жуткая дрожь пробежала по народу.

— Зарывайте! — приказал капитан, испугавшись предстоящего дождя.

Трифон, почувствовав на себе руки подошедших солдат, вдруг заколотился весь, заплакал, умоляя о пощаде...

— Нашел кого просить, дурень! — сурово промолвил Потап.

Солдаты на минуту остановились, повернув головы к капитану, словно ожидая с его стороны милости.

— Живо! В два счета! — распоряжался Прибылев, указывая при этом, как нужно похоронить приговоренных.

Потапу и Трифону связали ноги, опустили в могилу, спустились туда же и двое солдат.

— Отпустите... Никогда больше не буду...— стараясь вырваться из страшных уз, продолжал выть один.

— Прощай, народ крестьянский!..— кричал Кротов.

— Родимые! Их живыми хотят закопать!..— громко заголосила какая-то баба.

Женским воплем, тяжким и надрывным, огласилось все кладбище. Плакали и ребятишки. Только мужики молчали, угрюмо вздыхая, запуганные и подавленные дьявольским замыслом капитана.

Под угрозой расстрела тех же крестьян, что вырыли могилу, заставили и зарыть ее. Неуверенно работая лопатами, они с ужасом бросали землю, закапывая живыми тех, кто вырос в их среде, кто болел их болью.

Солдаты, находясь в яме, поддерживали Потапа и Трифона в стоячем положении.

Туча закрыла полнеба и продолжала тяжко наползать, сверкая вспышками молнии, издавая резкий треск и грохот, точно рвалось железо.

По мере того как Потапа и Трифона засыпали землей, лица их темнели, кровью наливались глаза. А когда на поверхности земли остались только головы, капитан приостановил работу могильщиков и, обращаясь к народу, властно крикнул:

— Замолчите, бабье! Иначе сейчас же разделаюсь с вами!..

И женщины, повинуясь воле капитана, сразу прекратили вопль.

— Что — будете заниматься революцией?

— Простите...— сипела одна голова.— Отпустите... Покрою все грехи...

— Гадина! — гневно хрипела другая, уставившись на капитана вылезающими из орбит глазами.— Скорпион!.. Изверг!..

Прибылев отвернулся и, впервые теряя равновесие духа, громко заговорил с народом:

— Посмотрите на вашу революцию! Она в землю зарыта! Задыхается, хрипит, доживая последние минуты! Конец вашей свободе!..

Народу казалось, что в лице Потапа и Трифона действительно погибла их свобода, закопаны в землю все их надежды, все упования на лучшую долю, на радостную жизнь. Безнадежная скорбь охватила сердца. Все старались взглянуть на могилу, но, увидев страшное зрелище, тут же отворачивались. Там, на желтом песке, торчали две головы, казавшиеся срезанными и брошенными на землю. Но каждая из них продолжала жить, поворачиваться лицом, искаженным и почерневшим, как

чугун, то в одну сторону, то в другую. Глаза, налившись кровью и пучась, в последний раз мрачно смотрели на окружающий народ, на мрачное небо.

Трифонова голова, разинув рот, задыхалась и почти шепотом произносила безумные слова:

— Братцы... Душно... Зачем ноги держите?.. Отпустите... Камень давит...

А другая, оскалив зубы, искривив рот в страшную гримасу, хрипела проклятия.

Налетел ветер, наполняя бор тысячеголосым гулом, закачались на кладбище березы, шумно потрясая листьями, четко защелкали первые капли дождя.

По приказанию капитана солдаты быстро начали набрасывать землю на головы погребенных.

Хлынул дождь.

— Марш по домам! — гаркнул офицер народу.

И все бросились к селу, задернутому густой сетью дождя. Неслись как от мрачного видения, спотыкаясь и падая, обгоняя друг друга. Мимо них вихрем промчались всадники.

И только трое из крестьян, отстав от других, свернули в сторону, в березовую рощу, и быстро пустились в обратный путь — на кладбище.

В бору, версты за две от села Кашеедова, при недавно заброшенном дегтярном заводе, находилась землянка, довольно исправная и сухая. Кругом царила та сырая тьма ночи, которая тянется бесконечно долго. Лил, не переставая, дождь, шумел ветер, сгибая деревья. Узорчато сверкали отяжелевшие тучи. Каждый удар грома тысячекратно повторялся эхом, точно между землей и небом происходила пушечная перестрелка. Чувствовалась бесприютность и грозная жуть тайги.

А внутри землянки, на очаге, потрескивая, весело и жарко горели дрова. Сверху, закрыв потолок серой пеленой, висел дым. На нарах, застланных измятой соломой, трое мужиков, согнувшись, возились над человеческим телом, лежавшим пластом.

— Дышать дышит, а не оживает,— выпрямляясь, сокрушенно промолвил рыжебородый.

— Ничего, воскреснет,— успокаивал другой, носатый солдат, служивший во время войны санитаром в госпитале.— Надо только раздеть догола и хорошенько растереть кожу.

— Это для чего же? — спросил третий, вскинув брови, человек солидно-медлительный.

— А чтобы простуду из него вышибить. Для крови тоже полезно: быстрее по жилам начнет течь. А то она, кровь-то, без движения застывает вроде студня...

На черных стенах землянки, трепыхаясь, плясали отблески огня, и двигались, сближаясь и расходясь, три человеческих тени. Пахло смолою, дегтем и лесною прелью. По голому человеку, плотному и складному, с крепкими мускулами, часто переворачивая его, неумело шаркали корявые руки, натирая кожу докрасна. От мужиков, промокшие рубахи которых начали высыхать, поднимался пар.

— Сердце бьется правильно! — приложив ухо к левой стороне груди, с авторитетом понимающего медика заявил бывший санитар.— Жарь еще!

Дождь стал затихать, реже сверкала молния, удалялись и перекаты грома. От порыва ветра, ворвавшегося в землянку, клубы дыма заволновались, опускаясь до нар, и разъедали глаза.

Голый человек вдруг начал чихать.

— Потап! А Потап? — обрадовавшись, обратился к нему рыжебородый, тормоша за плечи.

Кротов устало открывал глаза, но тут же снова закрывал их, точно ему больно было смотреть.

Понемногу он собирался с силами, озираясь и никого не узнавая.

— Ух, страшный сон видел...

— Хорош сон, коли с того света явился,— заметил рыжебородый, улыбаясь.

Ему помогли сесть. Моргая, долго харкал и отплевывался песком, пока не промыл рот и глаза дождевою водой. Попил немного — стало легче. И только теперь заметил, что он сидит совершенно голым.

— Где это я?

— Теперь-то, паря, ты в хорошем месте, а был шибко в плохом,— начал объяснять бывший санитар, у которого на кончике носа повисла капля пота, готовая

сорваться.— Прозевай мы еще минуту — была бы твоя душа у дьявола в когтях...

Мужики наперебой рассказывали Потапу, как он был похоронен и как они выручили его, вовремя разрыв могилу, а он, слушая их, сам начал восстанавливать в памяти тяжелую картину пережитого ужаса... Когда засыпали его землей, холодели ноги, давило грудь. Нижняя часть тела постепенно умирала. Это он ясно сознавал. Потом начала раздуваться голова, глаза полезли на лоб. Вокруг него люди завертелись — мужики, бабы, ребятишки, солдаты, поп с дьяконом запрыгали в дикой пляске и заржали, как лошади. И все сразу куда-то исчезли. Остался один только медведь, большой, лохматый. Он схватил Потапа, затащил в тесную берлогу и навалился на него своим тяжелым телом. А лицо у медведя было человечье с большими усами. Близко заглядывал в глаза Потапу и несуразно тряс головой. Наконец зажал ему лапой рот и стал плеваться, не давая смотреть... Наступил непроглядный мрак...

Кротов тряхнул головою, устало оглядел землянку и трех мужиков.

— А где Трифон?

— Да ничего с ним не вышло: задохся паря... Ну, мы его и оставили в могиле...

Потапа нарядили в рубашку и штаны, успевшие за это время подсохнуть, и начали советоваться, куда его теперь спрятать.

— Знаете что? — заговорил вдруг рыжебородый.

— Ну?

— Отвезу-ка я его к брату Якову, что лесником служит в Ершовском лесничестве. Сорок верст до него. Ни один супостат не заглянет туда...

Все согласились с таким решением.

— Ну, отпетый, ты пока что сиди здесь и грейся у огня. А я побегу в село за воронком. Одежонку захвачу, жратвы и самосядки. Потом дорогой мне расскажешь, что видел на том свете...

Рыжебородый выскочил из землянки, но сейчас же вернулся обратно.

— Чтоб не забыть... Вы все-таки на зорьке этак могилу закопайте. Сделайте, как было... И об этом никому не звука...

— Ладно, сделаем.

Рыжебородый исчез.

Третий мужик подложил на очаг дров и охапку ветвей с хвоей.

Взвилось пламя, а над ним, как золотые мухи, закружились искры.

III

В губернском городе, в управлении коменданта, в отдельном кабинете, происходило экстренное заседание. Вокруг письменного стола, покрытого зеленым сукном, сидело несколько человек военных и штатских. Двери были закрыты. Председательствовал сам военный начальник губернии, генерал Гросман, полнотелый и неподвижный старик с добродушным взглядом телячьих глаз. Опираясь на край стола, он морщил полысевший лоб и с усилием всматривался в управляющего губернией, Константина Петровича Замысловского, словно любуясь его новеньким сюртуком с университетским значком, его энергичным лицом с русой бородкой, а тот, волнуясь, говорил:

— Я просил созвать это собрание, чтобы заявить свой протест против незаконных действий господина капитана Прибылева и начальника контрразведки Соколова...

Дальше он подробно рассказал, что произошло две недели тому назад в селе Кашеедове.

— А, вот как! Этого я не знал! — промолвил Гросман и, откинувшись на спинку просторного кресла, строго взглянул на обвиняемых.

В кабинете, несмотря на вечернее время, было жарко, и это очень утомляло генерала.

Соколов здесь совершенно не был похож на того оратора-рабочего, каким его видели в Кашеедове. Он сидел на стуле, покусывая усы, опрятно одетый в новенькую коричневую тройку, гладко выбритый, словно приготовился на бал. До Замысловского ему как будто бы не было никакого дела. Заложив одну ногу на другую, он покачивал лакированным ботинком, на котором играл луч спустившегося солнца, и беззаботно посматривал в открытое окно, любуясь белокурым облачком.

По обыкновению, спокоен был и капитан Прибылев Он поймал муху, оборвал ей крылья и ножки и стал внимательно рассматривать ее.

— Такой метод борьбы с красными,— продолжал управляющий губернией, возвышая голос,— недостоин разумного правительства. Явиться в село с красными флагами, произносить зажигательные речи против правительства, а потом, сбив крестьян с толку, за это же их наказывать? Что это такое? Как такой способ борьбы называется? Да можем ли мы после этого рассчитывать на доверие народа? А затем эти поголовные порки, срубание голов, закапывание людей живыми на глазах всего общества,— какими законами, спрашиваю я, руководствовались авторы такого наказания? Не удивительно, что на нас крестьяне смотрят, как на ушкуйников. Насколько мне известно, многие офицеры возмущены действиями господ Прибылева и Соколова. Мы сами подрываем власть, сами больше, чем кто-либо, разрушаем то, что стремимся сделать, ибо ни одна самая зажигательная прокламация, ни одна самая пламенная речь не может возбудить против нас народные массы так, как эти плети, как этот средневековый кошмар, проявленный агентами власти. Вот почему мы находимся как будто во враждебном лагере. Вся Сибирь клокочет бунтами. Шквал народного гнева все усиливается, растет и со временем сметет нас с лица земли, как ненужный мусор. Поэтому случай в Кашеедове я рассматриваю как тяжкое преступление и настаиваю на том, чтобы произвести о нем официальное следствие...

— Да, да, да,— оживившись, заговорил вдруг председатель.— Подобные действия не должны проходить даром. Надо расследовать. Подрыв власти — это ужасно, это, это я не знаю что...

В другой комнате послышался топот многих ног и стук составляемых ружей. Это вернулись с учения члены военно-спортивного кружка, состоявшего из мировых судей, прокуроров и других чиновников — сознательной опоры власти.

— Если вам угодно, ваше превосходительство, то отдайте нас под суд,— не вставая со стула, начал начальник контрразведки Соколов.— Мы готовы за свою ревностную службу понести кару. Но я не думаю, чтобы от

этого власть хоть что-нибудь выиграла. В настоящее время борются две силы: с одной стороны все государственно мыслящие стараются создать былую мощь нашей истерзанной родины, с другой — разгулявшаяся чернь, потеряв бога и стыд, не признавая ничего святым, готовится истребить все, что дорого нам,— законы, религию, культуру.

Генерал закивал головой, точно начал соглашаться с Соколовым, а тот продолжал:

— Кто-то должен победить: или мы их, или они нас. Следовательно, в средствах разбираться не приходится. Пора наконец нам отрешиться от гуманности, тем более что перед нами стоит вопрос: быть или не быть нашему государству? Что касается заявления господина управляющего, то, во-первых, он не совсем верно изложил все это событие, а во-вторых, в его речи проскальзывала отрыжка прежней его социалистической закваски. Из своей практики я могу сказать лишь одно, что если бы я начал считаться, допустимы ли те или другие средства при борьбе с бандитами, то, может быть, давно бы с нами было все кончено. И я, и вы, ваше превосходительство, и сам господин управляющий сидели бы не здесь, а где-нибудь на заостренных кольях...

При последних словах мощная фигура генерала беспокойно зашевелилась, а рыхлое лицо его стало серьезным.

— Да, да, голубчик, конечно, нас не пощадят.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал генерал.

В кабинет вошел адъютант, молодой человек в лакированных сапогах, с аксельбантами через плечо.

— В чем дело?

— В районе Голубовской волости появилась новая банда. Предводительствует ею какой-то Отпетый. В трех селах перебили милицию и захватили оружие. Начальник милиции просит немедленно выслать карательный отряд, чтобы не дать возможности бандитам направиться в другие села...

Генерал Гросман снял пенсне, протер их чистым платочком, снова надел и не торопясь прочитал взятую от адъютанта телеграмму.

— Да, да, послать надо, но откуда же взять людей? Мы всех разослали. А банды эти точно сговорились: сразу все взбунтовались...

— Я полагаю,— посоветовал адъютант,— что можно бы в этом отношении использовать N-ский полк. Одну роту там еще можно набрать...

— Да, да, голубчик, это верно. Распорядитесь от моего имени...

Когда адъютант вышел, капитан Прибылев, поднявшись, вытянулся по-военному и, не сводя глаз с генерала, заговорил:

— Мы поступили, может быть, не совсем законно, приехав в село под видом красных. Но нам во что бы то ни стало нужно было узнать о действительном настроении крестьян, чтобы потом соответственно с этим выработать те или иные планы для борьбы с бандами. Мы достигли своей цели. Оказалось, что весь народ возбужден против нас. А насколько мужики кровожадны — это видно уже из того, что меня и подпоручика Вершкова они приговорили к смертной казни. Напрасно мы умоляли о пощаде. В ответ нам был лишь злорадный смех. Они собирались наши погоны пришить к плечам гвоздями, о чем господин управляющий изволил, конечно, промолчать...

— Да что вы говорите, голубчик? — со вздохом произнес генерал, уже сочувствуя капитану.

— Я говорю, ваше превосходительство, только то, что на самом деле было. Я знаю народ. Я узнал его, когда пережил погром в центральной России. У меня не только отняли землю, но там, где был роскошный сад, в котором я бегал еще мальчиком, там, где был замечательный дом, в котором я вырос, мужики теперь сажают картошку. Из богатого человека меня превратили в нищего. Мало того. Жертвами кошмарного погрома оказались моя жена и ребенок... неужели после этого я буду церемониться с таким народом?

— Так что же, вы будете мстить ему? — спросил Замысловский.

Капитан был бледен, голова его странно дергалась.

— И то и другое. Теперь я еще больше утвердился в мысли, что это не люди, а звери. Чтобы укротить их, к ним нужно применять особые меры наказания. Я так

и сделал. И уверен, что Кашеедово и все соседние села на сто лет гарантированы от всяких бунтов. Меня не скоро забудут! Я бы еще внес предложение...

— Какое же, голубчик? — устало осведомился генерал Гросман и, затянувшись сигарой, шумно выпустил дым сквозь пожелтевшие усы.

— Те села и деревни, где появятся бунтовщики, сжигать до последнего дома...

— Я, ваше превосходительство, поддерживаю это предложение, как самое разумное,— вставил Соколов.— На крестьян ничто так не действует, как потеря своего имущества. Только таким путем мы можем довести их до такого состояния, что они сами будут избивать бандитских агитаторов...

— Позвольте! — загорячился управляющий губернией.— Что вы говорите? Ведь это безумие! Если вы сожжете село, то жителям его что останется делать, как не присоединиться к восставшим?..

Капитан перебил его:

— Словом, в борьбе с бандами нам нужно быть беспощадными. В противном случае мы будем раздавлены. А тогда... Вы представляете, ваше превосходительство, какой ужас вам придется пережить, если через ваши заслуженные генеральские погоны в плечи вам загонят несколько больших, в четверть аршина длиною, гвоздей...

Генерал, изнеможенный и сонливый, вдруг встрепенулся, передернув плечами, словно заранее испытывая острую боль.

— Да, да, голубчик, не дай бог до этого дожить. Это, это было бы я не знаю что...

Ему было душно от жары. Большая лысая голова его вспотела, и к ней, точно к меду, липли мухи. Он встал и, подавая каждому руку, заявил:

— Мне домой пора. Там у меня есть еще пропасть неотложных дел...

— Позвольте, Карл Августович, надо же нам какое-нибудь решение вынести...

— Да вы уж тут сговоритесь без меня. Действуйте, голубчики, от моего имени...

Управляющий губернией, ни с кем не простившись, первый выбежал на улицу, сел на подвернувшиеся дрожки и забормотал сквозь зубы:

— Старый идиот! Безмозглый кретин! Ожиревшая говядина! Занимайся государственным строительством вот с таким ископаемым чудовищем!..

— Вы что, барин? — обернувшись, спросил извозчик.

— Погоняй!

Дрожки помчались.

Проводив генерала, Соколов посмотрел на капитана и прыснул от смеха.

— Ну, я вам доложу, вы замечательный изобретатель! Ваши гвозди в четверть аршина длиною и во сне-то будут сниться генералу. С перепугу у него теперь, вероятно, печень пухнет, как у налима...

Прибылев молчал и смотрел на Соколова таким брезгливо-уничтожающим взглядом, что тот сразу переменил тон.

— Нет, а управляющий-то каков тип? Своим попустительством довел губернию черт знает до какого состояния и вдруг нас же обвиняет. Скажите, какой законник нашелся!..

— Во всяком случае, он честнее нас с вами, — сухо бросил капитан и направился к выходу.

Начальник контрразведки застыл на месте с выпученными глазами.

В Омск полетели телеграммы, и управляющему Замысловскому скоро пришлось уйти в отставку, дав место другому — бывшему вице-губернатору.

IV

День был тихий и ведреный, а к вечеру подул ветер, нагоняя облака, поднимая пыль. Солнце, обойдя свой круг по небу, медленно опускалось за Медвежьим холмом. В Кашеедове, на одной стороне улицы, окна пламенели багрянцем, но озеро, покрытое мелкою рябью, уже потухло, потемнело, лишившись солнечных красок.

Мужиков в селе не было: они все, вооружившись пиками, скрывались в лесу. А дома остались лишь старики, бабы и ребятишки. Трудовой день приближался к концу: по улице гремели последние повозки. Пахло прелым навозом, парным молоком и свежим сеном.

Настроение у всех было тревожное. Люди, работая, постоянно оглядывались по сторонам, словно кого-то ожидая. А когда въехала в село чужая подвода, сразу все забеспокоились, внимательно осматривая мужика, сидящего на телеге. За его спиною лежал связанный телок. Лошадь шла шагом, а между тем была вся потная. Это наводило на подозрение.

— Откуда? — спросили его кашеедовцы.

— Из Журавлихи,— с напускным спокойствием ответил с телеги мужик.

— Далече?

— Не дальше вашего села.

Подъехав к дому Мирона Золотухина, он остановился и не торопясь слез с телеги. К нему подошли несколько человек, расспрашивая:

— Ну, как у вас там?

— Да ничего,— неохотно отвечал приезжий, привязывая вожжами лошадь к крыльцу.

— Спокойно?

— Как в животе после касторки.

Из ворот вышел сам Мирон, крепкий старик, с умным лицом, с одной половиной седой бороды, что придавало ему смешной вид. Приезжий направился к нему, прихрамывая на одну ногу, поздоровался за руку и, незаметно подмигнув глазом, заговорил громко:

— Вот и привез твою покупку. Боялся, поди, что обману, а?

— Да чего тут бояться? Деньги небольшие...— ответил старик, почесывая за ухом.

— Сбрил бы ты бороду совсем. Чего с одной половинкой ходишь?

Мирон нахмурился.

— Зачем? Пусть смотрят люди и вспоминают, как живется нам хорошо в Сибирских Поротых Штатах...

Приезжий деланно засмеялся.

— Однако, куда телка стащить?

— На двор.

Приезжий, взяв телка в охапку, направился к воротам. Старик, пропустив его, запер за собою калитку. Оба они зашли в хлев и там быстро переговорили.

Через несколько минут приезжий уже садился на свою телегу, говоря:

— Надо торопиться, а то как бы дождиком не помочило.

И, завернув лошадь, крикнул:

— Прощай, дядя Мирон! При случае заезжай!

— Заглянем как-нибудь,— ответил старик, стоя у ворот.

Позднее он вывел через задние ворота своего лохматого коня, сел верхом на него и тронулся в путь, скрываясь в темноте.

В лесу, между большими деревьями, вблизи крутого оврага, ярко горели костры, в клочья разрывая черный покров ночи. Под напором ветра тайга глухо гудела, раздраженно ворчала, призрачная в зареве полыхающих огней, наполненная смутными движениями теней. Казалось, что она населена миллионами привидений, реющих по лесным трущобам. В эту ночную пору все было здесь загадочно: и шалаши, сделанные на скорую руку из еловых ветвей, и обитатели их, собравшиеся в одну кучу.

Это раскинулись табором кашеедовцы, решившиеся на последний шаг — поднять восстание против насилия. Обсуждался важный вопрос, решить который нужно было немедленно.

Среди толпы сидящих и полулежащих людей, возвышаясь надо всеми, стоял Потап Кротов или, как теперь его прозвали,— Отпетый. Он был вооружен револьвером и ручной бомбой.

— Посты усилили? — спрашивал он, поворачивая голову во все стороны.

— Все сделано, товарищ Отпетый! — отвечали ему из толпы.

— Инструкции часовым дали?

— Так точно!

Над кострами, поднимая пар, кипели котелки, ведра и чайники. В них готовился ужин. К запаху дыма и смолы примешивался, возбуждая аппетит, сладкий аромат похлебки.

— Враги наши в Журавлихе,— продолжал Отпетый, стараясь быть как можно спокойнее.— Всего тринадцать верст от нас. Завтра собираются окружить нас и перебить, как собак. Но это им не удастся! Мы первые

свернем им головы! Я предлагаю, товарищи, поужинать и немедленно двинуться на Журавлиху. Мы застанем их врасплох! Не так ли?

— Верно, правильно! — раздались голоса.

— Только справимся ли с ними? — кто-то робко выразил сомнение.

— Беляков сто человек,— подхватил другой.

Голоса зашумели:

— А нас около четырехсот!

— У них винтовки!

— Наплевать! У нас зато пики есть! Пиками ночью сподручнее будет работать...

— У белых пулеметы...

— Это еще лучше — нам достанутся...

Старик Мирон, облапив свои колени, смотрел в темное небо, откуда маячили ему вершины деревьев, поглаживал рукой оставшуюся половину бороды, по временам вставляя:

— Сущая правда.

Ветер, спустившись вниз, шарахался по земле, набрасывался на костры, крутя пламя и дым, поднимая в темное небо рои золотистых искр.

Повстанцы продолжали шуметь. Из-за деревьев виднелись их возбужденные лица. Некоторые из них держали пики.

Отпетый смотрел на свой отряд молча, нахмурив брови, прислушиваясь к спорам других, решительный и суровый. Большинство было на его стороне. Это его возбуждало, придавая уверенность в победе.

— Тише! — громко крикнул он, подняв вверх правую руку.

Все сразу замолчали.

— Мы поднялись не за тем, чтобы праздно в лесу гулять. Революция — это вам не масленица с блинами. Тут нужно действовать смело. Или они нас, или мы их. Верно, у нас мало оружия: несколько винтовок, несколько бомб. Не важно! Через несколько часов вооружимся лучше. На нашей стороне темная ночь...

Стоявшие в стороне лошади, заржав, подняли между собой драку.

Молодой парень, вскочив, побежал к ним, и тут же послышался его сердитый окрик:

— Ну, вы, анафемы, развоевались!..

Теперь заговорил помощник Отпетого, усатый солдат, отличившийся своей храбростью на германском фронте,— Тарас Ершов.

Он развивал мысль о том, что если удастся им достать оружие, то их отряд разрастется в большую партизанскую армию.

По временам раздавался шум голосов.

Пламя костров, взвиваясь, отбрасывало на людей бегающие тени.

— Довольно зря кричать! — снова поднял свой голос Отпетый.— Время для нас дорого! Раз вы меня выбрали начальником, то я приказываю повиноваться мне. А если нет — я бросаю вас и один пойду на врагов. Пусть меня второй раз зароют в могилу! Но что смогу, то я сделаю...

Отпетый потряс кулаками. Раздался взрыв голосов:

— Все до единого пойдем!..

— Умрем за свободу!..

— Раздавим живодеров!..

Партизаны кричали наперебой, вскакивали со своих мест, потрясали пиками, возбужденные, с сверкающими глазами. Ветер предательски окутал их облаком дыма. Пламя костров, трепыхаясь, разрывало тьму. Глухой рокот проносился по тайге, то удаляясь, то приближаясь, рассыпаясь на множество непонятных звуков. Что-то хаотическое и зловещее было в этом.

Отпетый остановил всех и властно распорядился:

— Всем нет надобности ехать. Полторы сотни конных вполне достаточно. А пока давайте скорей ужинать!

Все бросились к своим котлам.

В селе Журавлихе, около двухклассного училища, большого одноэтажного здания с железной крышей, позванивая шпорами, тихо прохаживался часовой, вступивший на пост с двенадцати ночи. По временам он останавливался, всматриваясь в непроглядную тьму, прислушиваясь к разным звукам. Во всем селе не было ни одного огонька, а на небе, задернутом тучами,— ни одной звезды. Смутно намечались лишь ближайшие постройки, принимая уродливые формы, а дальше — все было залито мраком, черным, как деготь. На дворе, звякая

удилами, всхрапывали лошади, били копытами о землю. Порывистый ветер, налетая, шумел тополями, жевал солому крыш. Где-то, на другом конце села, заливаясь, лаяла собака.

Часовому все время чудилось, что к нему кто-то крадется. Несколько раз он сдергивал с плеча винтовку и быстро брал ее на изготовку, ожидая нападения, но вокруг никого не оказывалось. Из груди его вырывался облегченный вздох, и снова вдоль фасада школы, от одного угла до другого, мерно раздавались шаги. В каждом предмете ему мерещилось что-то коварное и враждебное. И даже большой серый камень, лежавший около крыльца, когда часовой устремлял на него долгий взгляд, будто оживал, шевелился, становился похожим на присевшего человека.

— Тьфу, чертовщина! — тихо ворчал солдат, протирая глаза.

Последние два месяца прошли для него в каком-то кошмаре. Постоянно приходилось разъезжать с карательными отрядами, не зная покоя ни днем, ни ночью. Народные бунты все разрастались, несмотря на то, что их подавляли самым жестоким образом: крестьян пороли, вешали, рубили шашками, сжигали их деревни и села, забирали имущество. И когда всему этому конец?..

Мимо часового пробежала собака. Он вздрогнул, инстинктивно срывая с плеча винтовку.

— Чтоб тебя разорвало! — прошипел часовой, чувствуя, как его с ног до головы обдало холодом.

В памяти с отчетливой ясностью всплыл вчерашний случай. По распоряжению вахмистра он должен был отрубить голову одному крестьянину, партизанскому разведчику. Шашка была тупая, рука работала неуверенно, делая ошибочные удары, и перед ним, падая и поднимаясь, долго билось окровавленное человеческое тело, а кругом, потешаясь, громко смеялись солдаты:

— Не воин, а баба деревенская...

— Ему бы только чугуны ухватом из печки таскать...

В особенности он не мог забыть того момента, когда перед мужиком впервые сверкнула шашка,— приговоренный, втянув воздух в себя, издал такой звук, точно икнул, и в ужасе замер, невероятно расширив зрачки черных глаз.

«Дьявольская наша служба!» — подумал часовой, ускоряя шаги. Всматривался в мрак, но теперь ничего не видел, кроме безумного взгляда изрубленного им мужика. Часовой зашагал еще быстрее. И вдруг между углом школы и большой бочкой с водою, словно поднявшись из земли, выросли перед ним две человеческие фигуры.

— Тссс...— раздалось над его ухом, а перед глазами жутко наметился револьвер.

Он онемел от ужаса, задохнулся, роняя винтовку и уже ничего больше не видел, ничего не слышал, покорно уходя за теми, чьи руки крепко держали его за локти. Его вели Отпетый и Демьян Блажной — тот самый, который приезжал к Мирону в Кашеедово. Часовой опомнился только за огородами и увидел себя в кольце окруживших его людей, вооруженных пиками. Несколько человек обыскали его, одну бомбу сняли с пояса, а другую — вынули из кармана.

— Простите, братцы...— начал было умолять часовой, но его перебил Отпетый:

— Подожди об этом! Ты должен показать нам всю правду о своем отряде. Если соврешь, то суд будет короток: дальше этого места никуда не уйдешь...

И строго начал допрашивать:

— Где помещается отряд?

— В школе,— глухо отвечал часовой.

— Сколько всех вас?

— Сто десять человек.

— Офицеров?

— Двое.

— Где помещаются лошади?

— У попа на дворе и в школьном дворе.

— А там есть солдаты?

— Пять человек.

— Где хранится пулемет?

— В сенях школы.

Отпетый немного задумался.

— Товарищ начальник, простите... Я хотел бежать к вам...

— Об этом поговорим после! А теперь скажи — вы ждали нас?

— Нет.

— Зачем приехал сюда отряд?
— Ловить красных, что спрятались в лесу.
— Кто вас должен был проводить туда?
— Не знаю. Какой-то крестьянин из этого села.
— Днем ты его можешь признать?
— Могу.
— Хорошо!

Часового связали и отвели в сторону.

Отпетый, обращаясь к своим товарищам, отдавал распоряжения:

— Десять человек должны будут расправиться с теми, что спят у попа. Петров, возьми это дело под свое руководство. Несколько человек возьмите по охапке соломы и кучками разложите ее вокруг школы, только подальше от стен, чтобы пожара не наделать... Зажечь солому нужно сразу и все время поддерживать огонь. А то в темноте белые могут разбежаться. С трещотками должны стать в стороне, чтобы их совсем не было видно.

Через несколько минут, вытянувшись в длинную вереницу, осторожно шагая, партизаны тронулись в село. Держа пики наготове, они шли тихо, как привидения, в суровом безмолвии, объятые жутким мраком, а приблизившись к школе, рассыпались, образовав вокруг нее живую цепь, причем половина из них подошла вплотную к стенам здания.

Отпетый и еще один из партизан, отойдя друг от друга на несколько шагов, остановились под окнами, держа наготове бомбы.

Было тихо, село казалось обезлюдевшим, и только ветер, путаясь в листве, шумел тополями, да где-то близко, должно быть, на крыше крыльца, замяукала кошка. Но лишь вспыхнули кучки соломы, как со звоном посыпались осколки разбитого стекла.

— Что такое? Кто там? — послышались из школы голоса.

Вслед за этим внутри помещения, сверкнув огнем, раздались два страшных взрыва. Повстанцев обдало брызгами стекла, горячим потоком метнувшегося воздуха. Вздрогнула земля, ухнула вся окрестность, грохочущим эхом отозвалась ночь. И масса голосов, потрясая сырой мрак, смешалась в неистовый рев, перебиваемый выстрелами ружей и тарахтеньем деревянной трещотки.

В газах взорвавшихся бомб и в дыму возникающего пожара, обезумев от ужаса, люди шарахались из одной комнаты в другую, опрокидывая столы и парты, давя друг друга. В эти метавшиеся фигуры с близкого расстояния, уже без всякого промаха, стреляли партизаны, возбужденные и озлобленные.

Выделялись голоса:

— Бросай оружие!..

— Все равно перебьем всех!..

Солдаты, считая себя побежденными, выскакивали из дверей, выпрыгивали из окон и, поднимая вверх руки, умоляюще просили:

— Сдаемся, товарищи!

— Мы за вас!

Партизаны обезоруживали их и отводили в сторону, оцепляя со всех сторон.

Проснулось село, охваченное тревогой, и понеслись от одного дома к другому, точно перекликаясь между собою, испуганные крики:

— Пожар! Пожар!..

— Наших режут!..

— Скотину выгоняй!..

Скрипели ворота, хлопали двери, гремели ведра, топали, бегая по улице, сотни ног, визжали бабы, плакали дети...

Некоторые из жителей Журавлихи, более решительные, вооружившись топорами, железными вилами, дрекольями, бежали к школе на помощь повстанцам. Но здесь и без них дело приближалось к концу. Обезоруживали последних солдат.

В окне, свесив ноги наружу, уселся офицер и, поддерживая рукою распоротый живот, сердито приказывал партизанам:

— Помогите спуститься!..

Это был капитан Прибылев.

Чья-то острая пика, вонзившись в грудь, опрокинула его внутрь школы.

ЗА ГОРОДОМ

И его, несуразно высокого человека, ведут туда же, куда многих отводили и откуда никто не возвращался,— за город, за каменную скалу, носящую странное название: «Площадка дьявола». Рядом с ним, справа и слева, сопровождая, шагают два солдата, вооруженные винтовками, а позади, раскачиваясь в седлах, едут два всадника с карабинами за плечами. Никто из конвоиров, одетых в защитные гимнастерки, не знает имени этого человека. Для них он просто арестант, чья жизнь сегодня же, через каких-нибудь полчаса, должна оборваться. Почему и за что? И об этом никто не знает. Там, на крепком дворе, куда вытащили его из мрачного подвального помещения, начальник приказал:

— Ликвидировать!

Улица постепенно поднимается в гору. Тяжело шагает арестант, загребая разбитыми сапогами песок. Июльское солнце, уходя на отдых, светит в затылок и скоро должно скрыться за синеющей полосой тайги. Впереди, покачиваясь, ползут человеческие тени.

Город на осадном положении. Вся власть в руках военных; постоянно разъезжают, гарцуя на конях, патрули с храбрым видом завоевателей. А из сел и деревень, вооружаясь, кто чем может, соединяясь в полки и дивизии, надвигаются красные повстанцы. В городе, перекочевывая из дома в дом, распространяются чудовищные слухи, порождающие смятение и тревогу.

Один из конвоиров, тот, что шагает с правой стороны, назначен за старшего. Сегодня, может быть, с по-

хмелья, а может, по другой причине, но он не в духе. Лицо у него широкое и скучное, а в круглых водянистых глазах — осенняя хмурь. Раздраженно обращается к тому, для кого у него в магазине винтовки уже заложено пять патронов:

— Знаешь, куда тебя ведем?

Приговоренный, не поднимая головы, отвечает машинально:

— Не знаю!

— На «Площадку дьявола». Оттуда природой хорошо любоваться. Далеко видно кругом...

Приговоренный дальше не слушает. Он знает страшную скалу, не раз бывал на ней. С одной стороны она отлогая, поросшая низкими и суковатыми соснами, а с другой — отвесный, с наклоном вперед обрыв. Верх этой скалы заканчивается небольшой каменной площадкой. Взойдешь на нее, глянешь вниз — сердце захолодеет от страха. Где угодно умереть, только бы не на этой каменной площадке. Быть сброшенным с высоты, лететь в бездну, извиваясь, разбрасывая брызги горячей крови,— что же это такое?

Он остановился, хватаясь руками за голову, сразу посеревший, как дорожная пыль.

— Ты что? — спрашивает его тот же конвоир.

— Голова закружилась.

— Ничего — там пройдет. Там воздух чистый. Благодать! Шагай!

Сутулясь, приговоренный стоит неподвижно.

Наезжают конные, останавливаются, и один из них, усмехаясь, говорит:

— Гайки у него ослабли. Подвинтите.

Конвоир слева, тощий, часто мигающий маленькими глазами, толкает в бок.

— Шагай же, идол чумной!

Приговоренный, вихляясь, устало плетется дальше, жалкий, в своей самотканой свитке. Лицо у него скуластое, бледно-серое, в черной курчавой бороде, как в траурной раме, и по нему ползут, смывая грязь, крупные капли пота. Тупо смотрит вперед провалившимися глазами.

Старший конвоир, он же и палач, не раз уже водил приговоренных на знаменитую скалу, водил одиночек и

по нескольку человек сразу. Прикажет им, покорным, стать на самом краю обрыва, а сам вместе с другими палачами отойдет на несколько саженей. Сухо защелкают затворы винтовок. Залп — и все готово. Люди, продырявленные свинцом, с дикими воплями летят в бездну. И никаких хлопот с трупами: река спрячет их в свои глубины, два-три дня будет волочить их по песчаному дну, а потом они всплывут, посиневшие и разбухшие, и жуткими призраками понесутся к холодному северу.

А сейчас этот конвоир почему-то чувствует себя неловко. В душе какая-то раздвоенность, вызывающая не то жалость, не то озлобление против приговоренного. Ему кажется, что он встречался с ним где-то раньше, уже давно, может быть, в империалистическую войну.

— Ты где служил во время войны с Германией? — обращается он к смертнику, дернув его за рукав.

Приговоренный, широко раскрыв глаза, недоумевающе смотрит на конвоира.

— Ты про что?

На повторный вопрос отвечает глухим, сдавленным голосом. Выясняется, что служили на разных фронтах.

Город остался позади. Дорога, продолжая подниматься в гору, путается в бору. До места казни остается расстояние меньше версты.

Уныло обращается к конвоирам:

— Нет ли, братцы, покурить?

— Это можно уважить.

Старший конвоир подает ему бумагу и голубой кисет, на котором белыми нитками вышито: «Милому Васе от Маруси».

Приговоренный не может свернуть цигарку — дрожат пальцы, сминая бумагу.

— Дай-ка уж я тебе сделаю,— говорит хозяин голубого кисета.

Закуривают все трое, затягиваясь махорочным дымом. Это сближает всех, роднит. Легче себя чувствует и приговоренный, опьянив голову табаком, и те солдаты, что ведут его на казнь, уже не кажутся такими страшными. Он чуть прихрамывает на левую ногу, стараясь прикасаться к земле одним носком. Старший кон-

воир, только теперь заметивший это, дружески спрашивает:

— Что у тебя с ногою?

Приговоренный, не задумываясь, поясняет:

— Натер раньше пятку, а теперь на этом месте разболелась. Вроде язвы стало.

— А ты бы перевязал рану.

— Нечем. У меня и портянок-то нет.

— Ну, разуйся совсем.

— Это, пожалуй, верно.

Приговоренный торопливо сдергивает свои сапоги и тащит их под мышкой.

Старший конвоир только покосился на худую, никуда не годную обувь, но ничего не сказал.

Заговорил второй конвоир:

— Да, это последнее дело, если ногу натрешь. Помню, от Перемышля нас немцы пугнули. Мы отступали. Наша часть пешедралом отмахивала по сто верст в день. А сапоги у меня были узкие и тесные, дьявол их возьми. Эх, изувечил я тогда свои ноженьки! В кровь растер. Хорошо, что по весне это случилось, можно было разутым бежать. А если бы так в холод пришлось? Ну и пропадай...

— Верно, ни за что пропадешь,— соглашается старший конвоир.— Вот этим, окаянным, и на войне хорошо,— добавляет он, кивнув назад головою.— Разъезжают себе на лошадях...

Разговор переходит на кавалерию. В лесной тишине, под розовеющим небом, мирно звучат голоса этих людей. И не похоже на то, что один из них скоро будет сброшен под обрыв.

Но старший конвоир все время находится в какой-то смутной тревоге. С каждым днем силы противника растут, угрожая обрушиться на город, а власть, защищаемая им, едва держится. Чем все это кончится? Смущает и приговоренный. Теперь, всмотревшись хорошенько, он замечает, что внешний вид босого человека напоминает ему родного брата, перешедшего к красным. Хочется скорее отделаться от него, расстрелять его, не доходя до «Площадки дьявола».

Он смял недокуренную цигарку и сердито отбросил ее в сторону.

— Шагай быстрее!

Все трое идут по-военному — в ногу.

Вдруг впереди, где-то в лесу, раздались выстрелы. Конные с пешими переглянулись.

— Что это означает?

Еще услышали выстрелы.

Всадники заторопились, обгоняя приговоренного. Один из них успел крикнуть пешим конвоирам:

— Идите дальше. Мы только узнаем, что там такое.

Пришпоренные кони, всхрапнув, метнулись вперед, мелькая за деревьями. Над дорогой серым облаком повисла пыль.

Приговоренный, подняв голову, озирается. Кругом — лес, горы, безжизненная глухомань, скоро наступит ночь. При нем только два конвоира. Если он со всех сил ударит их наотмашь, им ни за что не удержаться на ногах. Тогда вырвать винтовку ничего не стоит, и перед ним — свобода.

Такая мысль, вспыхнув, обожгла мозг и сразу же погасла. Он испугался ее, похолодел, задрожал мелкой дрожью. Точно через глухую стену, слышал голос старшего конвоира, говорившего другому:

— Давай, Антон, отпустим его. Черт с ним — пусть живет.

Все трое остановились:

— А что скажем, когда вернутся те двое?

— Скажем, что убежал, и больше ничего. Зачем они ускакали? Они же будут виноваты, если пойдут против нас.

— Мне наплевать: ты за старшего.

Приговоренный, напрягая мозг, едва соображает. Слова, услышанные им, не укладываются в голове, ворочаются, как полудохлые жабы. Одно ясно — эти люди хотят поиздеваться над ним.

К нему повертывается старший конвоир.

— Уходи!

— Куда?

— Куда хочешь!

Приговоренный, лязгая зубами, простонал:

— Вы застрелите.

— Не будем стрелять.

— Побожитесь.

— Э, черт дуроломный! Клятвы еще требует! Ты что думаешь, мы с тобою на прогулку вышли? Уходи скорее! Слышишь!

Не двигается приговоренный, очумело стоит, парализованный жутью.

Старший конвоир, разозлившись, сдергивает с плеча ружье и берет его на изготовку.

— Если не уйдешь, сейчас же всажу штык в живот!

И вдруг, сузив зрачки, сделал два шага назад и хрустнул сталью винтовки.

Человек в свитке попятился в сторону от дороги, не спуская помутившихся глаз с направленной в него винтовки. В каждой руке держал по сапогу, крепко прижимая их к груди, как драгоценность. Он не слышал своих шагов, тихих и осторожных, как у лисицы, и не понимал, сам ли удаляется, толкаемый ужасом, или уплывает из-под ног земля. Не видел ни солдат, ни леса, ни гор, ни потухающего неба. Весь мир для него сомкнулся в узком отверстии дула, зачернел одной лишь маленькой точкой. Язык стал сухой, как тряпка, в черных волосах бороды и усов, щелкая, оскалились зубы, точно внезапно охватил его беззвучный смех, а голос сдавленно сипел:

— Вы... за... застрелите...

Потом повернулся, пошел быстрее, съеживаясь и часто оглядываясь.

Старший конвоир, плотно прижимая щеку к деревянному ложу, сливаясь с винтовкой, стоял, немного согнутый, застывший в напряженной позе. Он целился в удалявшийся череп, сам не зная, жалеет ли этого человека или ненавидит. Палец уже был положен на спусковой крючок; осталось только нажать им, и тот, кого он отпустил, сразу опрокинется, судорожно заколотится на земле. Но воля колебалась, как стрелка на весах: убивать не хотелось, и в то же время, раз взял предмет на мушку, трудно было удержаться, чтобы не выстрелить. Напряженное состояние прорвалось в яростном окрике:

— Торопись, чертова кукла!

Арестант ринулся, точно подстегнутый бичом, и помчался во весь дух, делая ненужные зигзаги.

Конвоиры, подождав немного, бросились в противоположную сторону, разряжая винтовки в воздух.

Лес загрохотал от выстрелов.

НА МЕДВЕДЯ

В начале марта, после нескольких дней оттепели, снова ударил мороз, и снега покрылись настом, крепким и гладким, как стекло. Так всегда бывает в это время года: заулыбается по-весеннему солнце и от его первых теплых лучей рыхлый и порский снег плотно осядет, спрессуется, покроется твердой коркой. Тогда везде охотнику путь: куда хочешь иди по сугробам, как по деревянному помосту, и нигде не проваливаются лыжи. Этой чудесной поры целую зиму ждут зверовые охотники. Наступил наконец такой момент и для нас. В полдень мы отправились на охоту, а к вечеру забрались уже далеко в глушь дремучего леса, легко прокатившись на лыжах километров десять. Нас было трое: Савелий, старый охотник, толстый и круглый, как улей, с походкой, точно он к кому-то крадется; Пыж, длинноухий его пес, понимающий охоту не хуже своего хозяина, и я, в то время еще подросток. Все наше оружие состояло из двух шомпольных одностволок, двух топоров и отточенной рогатины. Для ночевки выбрали мы место под большими лохматыми елями, точно под шатром, и стали снимать с себя все лишнее.

— Не замерзнем? — спросил я.

Воткнув с размаху топор в дерево, Савелий повернул ко мне свое обветренное лицо с вывороченными ноздрями, заросшее черной лохматой бородой, хмуро посмотрел на меня из-под шершавых бровей и прохрипел, точно про себя:

— Будем спать, как на печке.

И начал отаптывать снег, проваливаясь в него по пояс, а мне приказал:

— Раскидывай лыжей!

А когда оголили довольно большой круг земли, принялись запасаться топливом. Вблизи много было сухого валежника. Нам ничего не стоило натаскать большую кучу сухих дров. Савелий наломал охапку сырых еловых ветвей для подстилки, а я тем временем приготовил костер и надрал бересты для разводки огня.

— Запаливай, а я покурю,— грузно усаживаясь на плаху, говорит Савелий.

Пыж, набегавшись, исследовав все вокруг, обнюхав все деревья, уселся на задние лапы и, помахивая хвостом, смотрит, как я развожу огонь.

Кругом ни одного живого звука. Только дует ветер заунывно, шумит лес, загадочно качая высокими вершинами, и скрипит, словно стонет от боли, подгнившая сосна. В сгущающихся сумерках, кружась, точно гоняясь друг за другом, реют снежинки.

Вспыхнув, быстро разгорается береста, свертываясь в трубку, давая копоть, пахнущую дегтем. Затрещали и сухие сучки,— огонь, перебегая змейками от одного к другому, ласково лижет их острыми длинными языками. Над костром вьется, кудрявясь, сизый дым, он становится все гуще, ширится, вырастая в волнующиеся клубы. Через минуту, пробившись сквозь толщу наложенных дров, высоко поднялось дрожащее пламя и весело пылает, раздвигая навалившуюся тьму, щедро разбрасывая вверх золото искр. Словно испуганные, заметались вокруг тени, населяя лес привидениями.

Савелий сосет трубку, широко расставив ноги, обутые в лапти, и щурит зоркие глаза, крякая:

— Благодать!

На его черную бороду падают снежинки, тают, превращаясь в сверкающие капли, мелкие, как бисер. С темного неба между вершин они роем мух опускались, белея над костром, смешиваясь со встречным желтым снопом искр, поднимавшимся от жарко разгоревшихся дров.

Я впервые на охоте с Савелием. О медведе, которого он обложил еще осенью, мне хочется узнать больше,

подробнее, но до сих пор я от него почти ничего не добился. Подсев к нему ближе, я пристаю с расспросами:

— А большой твой медведь?

Продолжая сосать трубку, Савелий задумчиво смотрит на костер, который разгорается все сильнее, озаряя лес. Потом сплюнул и, не глядя на меня, в свою очередь, спросил:

— Дьяконова быка знаешь?

— Ну?

— С него будет. Задние лапы — во.

— Ой-ой! — удивился я.— И силен, поди, а?

— С тобой справится.

Но я стал возражать, доказывая, что если не убью сразу медведя из ружья, то доконаю его топором.

Старый охотник, выслушав, недоверчиво посмотрел на меня, скосив темные глаза.

— Ах ты, голова — два уха! — засмеялся он и надвинул мне на глаза шапку.

Это меня обидело,— я насупился.

— Давай-ка, молодец, ужин сварганим,— ласково молвил он и, поднявшись, достал из мешка котелок и стал набивать его снегом.

К полуночи погода улучшилась. Реже налетает ветер, а снеговые тучи, сплошь закрывшие было небо, разрываются на части, и между ними, из глубоких темно-синих озер, кротко мерцают хороводы звезд. Лес замолкает, и в зареве пылающего костра он кажется волшебно-призрачным. Из котелка, стоящего на раскаленных углях, словно на расплавленном золоте, бьет пар, разнося приятный запах супа. Тепло около огня, приятно.

Мы с Пыжом лежим рядом на хвойных ветвях, голова с головою, и слушаем корявую речь Савелия:

— Иногда медведь, даром что тварь, а смекает здорово. Пчеловод Галкин, по прозвищу Зуда,— отсель верст двадцать живет,— мне рассказывал... Повадился к нему медведь на пчельник ходить и самые что ни есть лучшие ульи таскать. Схватит в охапку — и айда, шельма, в лес, к речушке. В воде наперед подержит улей, чтобы пчелы меньше кусали, а потом уже работает — услаждается медком. Обозлился Зуда и решил живьем медведя поймать. Ладно. Вырыл глубокую яму, дерном прикрыл. Милости просим, господин Топтыгин. Прихо-

дит на второй день: дерно провалилось, а в яме огромнейшее бревно торчит. Что за оказия? Смотрит: на дне ямы малые медвежьи следы, а сверху — большие. Значит, вдвоем приходили. Молодой вляпался, а старый выручил. Ведь пришло же в голову косолапому бревно товарищу подать, а?..

Савелий сидит на плахе, привалившись к стволу дерева, расстегнув зипун и полушубок, расчесывая пятерней свою бороду. Рубашка на нем грязная, на портках самотканого сукна заплаты, лицо от огня как красная медь. Если раздается какой-нибудь звук вблизи, то он, как и его Пыж, невольно настораживается.

— А то вот еще случай был,— продолжает Савелий, помолчав немного.— В Сибири я охотился. Медведей там, что у нас зайцев. Однажды иду вдоль реки. Ружье у меня — одностволка шомпольная, дробью заряжено. Вдруг — сам берложный архирей на берегу. Черный, большой,— пудов на двадцать. Я — за дерево. Присел на одно колено, запустил тихонько пулю в дуло. Ну, думаю, сейчас угощу свинцовым орехом. Только начал целиться, норовлю под переднюю лопатку садануть, а медведь — бух в воду! Потом — вынырнул. И хрюкает довольно, как свинья перед жирными помоями. Неужто, думаю, купается? Вытянул я шею, гляжу,— глазам не верю. Насчет рыбы, подлец, промышляет. Как раз кета шла, икру метала. Схватит лапами рыбу, помнет и на берег бросит. А тут, вижу, еще новое дело: за спиною у него лиса шемутится...

— А она что делала? — осведомился я.

— Слухай дальше. Медведь-то старается, а лиса только готовое добро подбирает. Только он в воду, а она — шасть из-за кустов и обратно. Уж вот до чего продувная рыжая проказница! Мне скорее выстрелить охота, и в то же время любопытство заедает. Оглянулся медведь. Вместо рыбы — рыжий хвост замелькал. Как рявкнул он от злобы! Река, кажись, всколыхнулась. Меня так и затрясло от смеха. Должно быть, невзначай я на спуск нажал. Ружье мое бац в белый свет, как в копеечку. Только зверей даром перепугал...

Слушая Савелия, я не могу удержаться от смеха — в моем возбужденном воображении так ярко рисуется мед-

ведь, обманутый лисою. Пыж удивленно косит на меня желтый глаз.

— А вся прочая дичь тоже соображает? — спрашиваю я.

— Чудак! Без соображения не проживешь на свете.

Он рассказывает мне, к какой хитрости, прячась от врагов, прибегают лоси, куницы и другие обитатели леса, и как охотник может перехитрить их повадки.

— Главное — должен знать повадку каждого зверя, каждой птицы.

Налетел ветер, пошарил что-то в густой хвое елей и, шумя, помчался дальше, а встревоженные деревья еще долго о чем-то шептались.

— Нравится мне в лесу!

— Знамо, хорошо,— согласился охотник.— Хоть в рваных штанах, а ходишь себе, будто король. Выше тебя никого нет. Ведь правда, Пыж, а?

Пес вскочил, прыгнул хозяину на грудь и, словно во всем с ним согласившись, громко тявкнул.

Савелий поднялся, достал из кармана ложку и попробовал суп.

— Скоро будет готов.

Я смотрю на его крупную и нескладную фигуру с опущенными плечами и крючковатыми руками, на его неповоротливость, и мне кажется, что в нем самом есть что-то лесное, увесистое, медвежье. Быть с ним наедине, в особенности, когда он угрюмо молчит, неловко, но в то же время он разжигает любопытство. Живет он своей особенной жизнью, не так, как все. Его постоянная стихия — лес, дома у него хозяйничает единственная дочь, курносая полногрудая девка, прижившая трех детей. Но к дочке и внучатам он относится хорошо, оставляя им деньги на жизнь, награждая гостинцами. А когда подвыпьет, он, никого не стесняясь, хвастливо рассказывает о своих внучатах.

— Погоди — дай только им подрасти. Из них выйдет толк. Племенной народ, хороших кровей...

— Это зауголыши-то твои? — смеются мужики.

— Они самые! И зауголыши не лыком шиты...

Говорят, что он не верует в бога, знает какие-то заклинания, что лесника, пропавшего несколько лет тому

назад, будто бы он убил и зарыл в лесу. Поэтому и крестьяне и лесники боятся его, избегают с ним ссориться, а он, пользуясь этим, никому не подчиняется, невозбранно охотясь в казенных лесах.

Я спрашиваю Савелия:

— Говорят, ты горячую кровь пьешь, когда убиваешь дичь,— правда это или нет?

— Правда, да замешана на кривде,— ухмыльнувшись, отвечает он.— Ты бы послухал, что в Москве обо мне говорят.

— Кто?

— Семь пустых дворов...

Он снял котелок с огня и поставил его на землю. Мы поужинали.

— А теперь приготовим постель,— сказал Савелий и принялся переваливать обуглившиеся дрова в сторону. Кончив это, он развел костер на новом месте, а на согретой земле разостлал охапку елового лапника. Спать было мягко и тепло. Только сверху пробирал холод, заставляя часто просыпаться и перевертываться, чтобы согреть остывшую часть тела.

Встали рано, часа за два до рассвета. Позавтракали хлебом с водою, покормили Пыжа и тронулись в путь. Тихое мартовское утро, с легким морозцем. Небо, прояснившись, сверкает лучезарными звездами.

Пыж не знает, как выразить свою радость. Взвизгивая, он прыгает на грудь то к хозяину, то ко мне, опрокидывается на спину, мечется по сторонам.

Мы продвигаемся, не торопясь, осторожно обходя вывороченные деревья и чащи кустарника. По насту, покрытому, точно пухом, тонким слоем свежей пороши, как бы со вздохом, слегка шурша мягко скользят лыжи. За нами узким холстом стелется едва приметный наш след. Споткнувшись о пенек, я стукнул лыжами друг о дружку и сам вздрогнул от лесного эха. Савелий оглядывается и значительно грозит пальцем.

Пыж вдруг отстал, поднял кверху морду и хотел было на кого-то залаять, наверно, на белку, но хозяин сердито цыкнул:

— Назад!

Пес плетется рядом со мною и, глядя на меня, скулит, как бы жалуясь, что напрасно его обидели.

В чуткой тиши леса ничего, кроме шорохов нашего движения, не слышно, но в то же время чувствуешь, как все кругом насторожилось и чего-то ждет. Напрягая зрение, я всматриваюсь между деревьев. Иногда почудится: впереди стоит не то человек, не то зверь, поднявшийся на дыбы, до жути уродливый. Рука невольно протягивается к ружью. Подходишь ближе — это корень вывороченного дерева. Но стоит посмотреть на небо, усеянное переливчато горящими звездами, как на душе, точно от хорошей музыки, сразу становится светло и радостно.

Выходим на просеку и скользим прямо по ней на лыжах.

Через полчаса, ожидая рассвета, мы стоим на горке и смотрим через вершины деревьев на восток — разливаясь по небу разводами, горит золотой пожар, облекая все в цветистые краски нарождающегося утра. Туда же, присев на задние лапы, смотрит и Пыж, настораживая по временам свои чуткие уши.

Лес будто радуется, опушенный красивым узором инея, весь в отблеске пылающей зари. Уже слышны звуки проснувшейся жизни. То близко, то далеко раздаются в морозной тишине пронзительно-плаксивые звуки: «кры-кры-кры...» Я знаю, что это поет одна и та же желна, черная, с красной головой, переносясь дугой с одного места на другое в поисках корма,— поет на лету. Присев на дерево, она издает тогда такой тоскливый стон, словно плачется на свою судьбу. С толстой осины доносится упрямое глухое туканье пестрого дятла: пернатый санитар леса уже начал свою шумную хирургическую операцию, извлекая из-под коры личинки насекомых. По сплетениям заиндевевших ветвей, как игрушечный зеленый шарик на резинке, снует суетливая синица: незатейливая ее песенка звучит над ухом, словно комариный писк. С высокой ели рядом со мною срывается снежный пряник. Я вздрагиваю и засматриваюсь ввысь: освобожденная от нависи, лапистая ветвь раскачивается, как маятник.

Еще полверсты отделяет нас от встречи со зверем.

Савелий, присев на одно колено, подсыпает в капсуль свежий порох, меняет пистон.

— Посмотри и ты свое ружье,— наказывает он мне приглушенным голосом.

Пыж перестает вертеться юлой и смотрит на нас живыми и умными глазами, словно понимает, куда и зачем мы идем.

Все готово.

Мы тронулись дальше и тихо крадемся, стараясь не щелкать лыжами, подгибаясь под кусты. Ружья держим наготове. Через несколько минут, почуяв близость зверя, Пыж настораживается, топорща шерсть и вздрагивая. Потом, заметив на клене серую белку, он только пристально следит за ней, но не лает, догадываясь, что предстоит более важное дело, а она, закинув пушистый хвост на спину, цокает на нас, точно желая напугать незнакомых пришельцев. Перепрыгнув на ель, белка быстрыми прыжками поднимается к ее макушке, осыпая серебристый иней.

Восходит солнце, прогоняя последние ночные тени из лесной хмури.

Остановились.

На пригорке, недалеко от нас, как баррикады, навалены сломанные и вывороченные с корнями деревья. Я с изумлением оглядываю буреломный завал. Среди древесных трупов лежит необыкновенно толстая ель, размашисто вздыбив оторванные от родной почвы корни. При своем падении она захватила молодой вяз и согнула его в дугу, но кажется, он сейчас своей вершиной взмоет кверху из-под навалившейся на него тяжести. С соседней поляны за долгую зиму наметаны сюда глыбы снега. Белыми колпаками торчат мелкие лапистые елки. Я смотрю на эти снежные шатры и арки, на скрещенные сучья и не нахожу никаких заметных признаков присутствия здесь зверя. Долго оглядывается и Савелий, вспоминая свои приметы. Наконец он твердо показывает рукой на выворот толстой ели и шепчет:

— Здесь он. Под этой елью лежит. Ближе к корням.

Голицы у него заткнуты за пояс, в одной руке ружье, в другой — рогатина.

— Становись за дерево... Подальше от меня. Не егози...

Сойдя с лыж в сторону, он отаптывает вокруг себя снег, а я стою за дубом, взяв ружье на изготовку.

Тихо. Солнце поднимается все выше. Синими и зелеными искрами блестит снег, словно усыпанный алмазной пылью. От ослепительной белизны и света, разлитого вокруг, больно глазам.

Нервы мои напряжены, слух обострен. И в эту минуту меня встряхнуло пронзительное верещание, как будто вблизи разодрали на части коленкор. Вскидываю голову — юркая сойка с небесно-голубой чешуей на крыльях, подняв коричневый хохолок, изо всех сил надсаживается дребезжащим голосом. Она всегда некстати закричит, выдавая присутствие крадущегося охотника, но иногда и помогает ему, обнаруживая таящегося зверя.

— Вперед! — слышу я голос Савелия.

Пыж опрометью бросается к бурелому и заливается звонким лаем. Ни движения, ни звука, но чуткий пес знает, что здесь добыча, и, наступая на снежный полог, становится все свирепее. Он все больше взъерошивает шерсть, захлебывается злобным лаем. Но среди бурелома мертво и недвижимо. Что же это значит? Закрадывается сомнение: здесь ли зверь? Я бросаю взгляд на Савелия — он стоит в напряженной позе, впиваясь глазами вперед.

Вдруг заколебался снежный балдахин, давая извивы трещин; рухнули, как от землетрясения, белые глыбы, задергались, как живые, верхушки молодого ельника. Над выворотом огромной ели взвихрилось облако снежной пыли. Между буреломом и нами как будто опустилась кисейная завеса, а за нею послышался хруст сучков с приглушенным рычанием. В ту же секунду из зияющей черноты выкатился бурым шаром огромный медведь. Раздался выстрел. Медведь рванулся, упал и, наполнив тишину леса страшным ревом, вскочил. Он повернул влево, чтобы обежать выворот ели и скорее скрыться в чаще. Я выпалил ему вдогонку, и снова рев, смешанный с собачьим лаем, всколыхнул дикую глухомань. Вижу, убегает от нас зверь, подкидывая кургузый зад, словно кувыркаясь. Он глубоко проваливается в снег, а Пыж,

преследуя, мечется около него по насту, точно по гладкой дороге.

— Пропало наше дело! — крикнул я.

— Не уйдет,— уверенно ответил Савелий.

Став на лыжи, мы мчимся за медведем, который уже далеко мелькает между деревьями, оставляя на снегу кровавый след.

— Ранен, ранен! — возбужденно кричу я.

— Сегодня же поедим солянку из медвежатины,— отвечает Савелий.

Но медведь не ждет, уходит, преследуемый Пыжом. Захлебываясь от лая, пес становится все смелее, хватая его зубами за икры. Иногда, выведенный из терпения, медведь, разинув пасть и рыча, набрасывается на маленького врага. Кажется, в один момент пес будет разорван в куски. Однако трудно поймать изворотливого и ловкого Пыжа. И снова, убегая, раненый зверь месит лапами снег, выворачивая пластины остеклевшего наста, а мы, то отставая, то настигая, гонимся за ним, разгоряченные, задыхающиеся, мокрые от пота.

Все несчастье наше в том, что мы на бегу не можем зарядить ружей. Но боязни нет. Придя в азарт, мы сами стали как звери, готовые поймать свою добычу руками.

Вот медведь повернул в сторону, где гуще подсад молодого ельника. Савелий помчался наперерез. Забыв об опасности, он на близком расстоянии метнул в него рогатиной. Рев снова всколыхнул тишину и замер. Остался лишь собачий лай, точно повисший в воздухе.

Вскоре в боку медведя, в том месте, куда попало острие рогатины, показалась петля кишки. Изловчившись, Пыж цапнул зубами за кишку, выдернув ее на аршин.

Рявкнув, медведь повернулся, на мгновение замер, ощетинив темно-бурую шерсть, дико озираясь, словно ослепленный ярким солнцем. И вдруг, точно поняв, кто его главный враг, стремительно двинулся на Савелия. Старый охотник спрыгнул с лыж и, утвердившись на утоптанном снегу, ждал, крепко держа наготове рогатину. Медведь, быстро приближаясь, мотал головою, ис-

ступленно рычал, потрясая лес, а за ним, цепляясь за сучки деревьев, безобразно тянулись, пуская пар, горячие кишки. Остался еще один прыжок, но он поднялся на дыбы, огромный, страшный в зверином гневе. Тяжелые передние лапы, выпустив когти, судорожно тянулись к охотнику, готовые схватить его в смертельные объятия. Широко раскрылась красная пасть, оскалив клыки, брызгая липкой слюной, а из маленьких черных глаз катились слезы. И еще сильнее, еще оглушительнее, вызывая грохочущее эхо, покатился по дремучему лесу рев, полный яростной злобы и предсмертной тоски. Медведь наступал, шагая задними лапами, охотник, немного пригнувшись, твердо стоял на месте, выжидая удобного момента для удара,— оба черные, лохматые, похожие друг на друга. А когда в грудь медведя вонзилась острая рогатина, он сильным ударом лапы сломал рукоятку ее и, обрушившись всем своим грузным телом на подмятого охотника, начал беспощадно рвать его зубами и когтями, переворачивая человеческое тело, точно куклу. Пыж, заступаясь за хозяина, с яростью набрасывается сзади на зверя. Казалось, все трое борющихся, барахтаясь в изломах снегового наста, обезумели, издавая надрывный крик, лай, рычание, наводняя лес диким гулом.

Скованный страхом, я неподвижно стоял тут же, за выворотом дерева, точно прикованный к нему.

— Выручай! — встряхнул меня отчаянный вопль.

Торопливо зарядив ружье, я прицелился в голову медведя. Грянул выстрел, вслед за ним что-то охнуло. Когда рассеялся пороховой дым, медведь уже был мертв. Из-под его туши едва удалось выручить Савелия. Весь измятый, растрепанный, в крови и снегу, с клочьями одежды и живого мяса на искусанном теле, он был неузнаваем. Он лежал на снегу, привалившись головою к еще теплой спине медведя, бормотал, точно пьяный, блуждая мутными глазами:

— Вот оно что... Небо-то какое красное... в кругах...

Пыж, задыхаясь от натуги, то теребил зверя, то, бросая его, лизал лицо и руки хозяина.

Разорвав мешок, я начал перевязывать раны Савелия.

— Зря это ты,— опомнившись, заговорил он деловито.— Видно, доохотился... Ты в случае чего с внучатами

поделись... А то без меня плохо им будет, зауголышам-то... Мужикам скажи: не убивал лесника... Ух, голова кружится...

Часа через два я один возвращался домой.

По-прежнему было тихо. Вздыхали под ногами только лыжи по насту. Сияло бледно-голубое небо, ярко горело солнце, разливаясь блеском по чистому снегу, а лес, обласканный ясным днем, зачарованно молчал, сверкая белым нарядом инея, точно распустившимися цветами. Вокруг было радостно-светло, словно ничего не случилось. И только Пыж, оставшись около хозяина, протяжно и заунывно выл, безутешно оплакивая старого охотника.

СУДЬБА

Давно это было, еще в детские годы...

Помню — тихий летний вечер. Мы с матерью вдвоем, с сумками за плечами, только что покинув монастырь, куда ходили молиться богу, возвращаемся в свое село. Дорога, извиваясь, идет красивым бором. Стройные сосны, подняв в безоблачную высь зеленые кроны, кадят солнцу пряным ароматом смолы. Золотой дождь лучей, пробиваясь сквозь вершины леса, падает на серебристую скатерть мха, расписывая по ней узоры, запутанные, как сама жизнь. Кругом разлит зеленоватый свет. Под ногами хрустят засохшие иглы хвои.

Жарко.

Мать в сереньком ситцевом платье, в белом платке с голубыми крапинками, в истоптанных башмаках идет плавной походкой. Лицо ее, когда-то красивое, покрыто мелкою сетью морщин, тонкие губы строго сжаты, и только голубые глаза мерцают, излучая неземную радость. Она довольна тем, что я наконец согласился пойти в монахи.

— Хорошая жизнь будет у тебя, сынок,— ласково говорит мать, дотронувшись до моего плеча.— Ты только представь себе... Белая чистая келейка. На стенах иконы. Лампадка горит. Один. Никакого соблазна, никакого греха. Только с господом богом будешь общаться.

Когда-то отец, будучи солдатом, обманом умчал ее из одного губернского польского города и поселился с ней в убогом селе, затерявшемся среди лесных трущоб. И хотя она, выходя за него замуж, приняла правосла-

вие, но до сих пор у нас в доме вместе с православными иконами стоят на божнице и католические, пользуясь в семье одинаковым почетом. Тоска по родному краю, непосильная работа, насмешки соседей, как над иностранкой, говорящей с польским акцентом, бестолковая и непривычно грязная жизнь крестьян — все это действовало на нее удручающе, преждевременно состарив ее, часто вызывая слезы о загубленной молодости. Вот почему она смотрела на землю как на юдоль скорби и взоры свои, все мысли своей мечтательной души обратила к религии, с особенной любовью посещая монастыри и воспитывая меня в таком же духе.

— А главное — не будешь ты видеть земных грехов,— продолжает мать сладко-певучим голосом.— В монастыре людская злоба не отравит твоего сердца. Тихо и скромно, стезею праведной, пройдешь ты путь земной перед светлыми очами всевышнего с радостью неизреченной. Обрадуется и бог, как увидит, что твоя душа чиста, как свежий снег,— ни одного пятнышка порока...

Тихая речь матери ласкает слух, баюкает, настраивает на молитвенный лад. Я уношусь мыслями в монастырь, в прекрасную обитель, расположенную в высоком бору, в углу двух больших сливающихся рек. В этот раз я особенно был поражен величием храмов, блеском золоченых иконостасов, пышным нарядом архиерея, а больше всего торжественностью хорового пения, словно на крыльях, уносившего мою молодую душу в светлое небо. В голове все еще звучит голос одного монаха, широкоплечего и волосатого, похожего на льва. Когда он поет, широко разинув рот и выворачивая белки глаз, то его могучая октава, перекатываясь низким гулом, заполняет весь храм, потрясая до основания.

Я обращаюсь к матери:

— Знаешь, мама, что я тебе скажу?

— Что, милый? — спрашивает мать, поправляя на голове платок.

— Когда я вырасту в монастыре, у меня будет такой же голос, как у того здорового монаха.

— Это у какого же?

— Что похож на льва. С бородавкой около носа...

— Вот глупый! Да разве можно так говорить? Лев — зверь, а монах — святой отец...

— Только я должен жрать побольше — щей, каши и рыбы, чтобы стать силачом. Потом простужусь или водку буду пить, чтобы голос хорошенько ревел. Так я еще сильнее его, этого монаха, запою. Правда, а?

Мать недовольно замахала руками.

— Ах, греховодник ты этакий! Поститься надо...

Не слушая ее, я останавливаюсь, топорщусь и, стараясь во всем подражать монаху с октавой, пою хриплым голосом «На реках вавилонских».

— Похоже, а?

— Очень похоже, сынок,— улыбаясь, ласково говорит мать и целует меня в щеку.— Идем...

Дорога, свернув в сторону, приближается к высокому берегу. Под крутым обрывом его, пламенея отражением солнца, тихо катит свои воды широкая река. Противоположный берег совсем отлогий, с золотистыми отмелями. Вдоль него, перемежаясь кустарником и небольшими озерами, тянутся широкой полосой заливные луга. Здесь к крепкому запаху смолы примешивается аромат цветов и самой реки. В монастыре, призывая к вечерне, ударили в колокол. Перекрестившись, я оглядываюсь назад — над вершинами леса, на фоне темно-зеленой хвои и голубого небосклона, ярко выделяются купола храмов, сияя золотистыми крестами. По всей окрестности, колыхаясь волнами, разливается торжественный гул меди, и мне кажется, что кругом все ожило, задрожало от избытка счастья, запело в тон колокола — и тихая река, и зеленые луга, и дремучий бор, и прозрачный воздух. Музыкой наполняется моя душа, словно осененная свыше, готовая к каким угодно подвигам. Я смотрю под обрыв, на зеркальную гладь, и в воображении моем почему-то рисуется, что жизнь монаха похожа на эту сверкающую реку: тихо и безмятежно струятся ее прозрачные воды среди живописных берегов, под стрекотание реющих ласточек, под звонкие трели жаворонков, все вперед, в неведомые края, туда, где небо упирается в землю. Там, должно быть, и есть врата в чертоги рая...

— Недурно,— говорю я вслух.

— Что? — спрашивает мать.

— Быть монахом.

— Еще бы...

Звонят во все колокола, веселым эхом отвечает им бор, повторяя все перезвоны.

Лицо матери озарено улыбкой.

Впереди нас, в стороне от дороги, на краю берега, опираясь на локоть и поглядывая в синюю даль, лежит человек лет двадцати шести, в одежде такой странной формы, какой я еще не видел ни разу.

— Это кто? — спрашиваю я шепотом у матери.

— Матрос... Это из тех, что на кораблях плавают...

Грезы, навеянные колокольным звоном, сразу исчезли, осыпались с моей души, словно красивые цветы от сильного порыва ветра.

Когда мы с ним поравнялись, он поднялся и, окинув нас взглядом, бойко бросил:

— Здорово, божьи люди!

Мы кланяемся ему в ответ.

— Куда держите путь? — спрашивает матрос, присоединяясь к нам.

Мать что-то объясняет ему, а я смотрю на него и не могу скрыть своего удивления. Черные брюки навыпуск, синяя фланелевая рубаха с широким воротом, обнажающим часть груди и всю шею, хорошо подходят к его стройной фигуре. Фуражка с белыми кантами, без козырька, сдвинута набекрень, отчего лицо его, покрасневшее от жары, кажется очень отважным. Еще больше приводит меня в изумление золотая надпись на атласной ленте, охватывающей фуражку и спускающейся, как две косы, до середины спины. Я несколько раз прочитываю на ней два таинственных слова: «Победитель бурь».

— Вот хочу сынка пристроить в монастырь,— сообщает ему мать.— Через месяц обещали принять.

— Это что же — божьей дудкой хочешь заделаться, а? — близко заглянув мне в лицо, смеется матрос, обнажая белые, как сахар, зубы. От него пахнет водкой.

— Вовсе не божьей дудкой, а монахом,— отвечаю я, немного обиженный такой насмешкой.

— Ты сначала поживи на свете да погреши, а потом уж в монастырь пойдешь. Иначе скучно будет: о чем будешь просить бога?

Мать бросает на матроса недовольный взгляд, но меня интересует другое — надпись на фуражке.

— Это, браток, название корабля, на котором я плавал.

— Ты... плавал? По реке?

— Нет, по морям...

— Взаправдашним морям?

— Ну, ясное дело.

— Вот это занятно! — восклицаю я, повторяя любимую фразу отца.

Матрос, покручивая белокурые усы, рассказывает матери, что он ходил к тестю, в другое село, где малость выпил и закусил яичницей. Теперь он возвращается домой и ему очень весело.

— А бог любит радость: он сам очень веселый старик. Вот почему он и создал поющих птиц, разные цветы. А постные или кислые морды, будь то у черта или у монаха, ему должны претить. Об этом я точно знаю, уж поверьте мне, мадам...

Он говорит шумливо, словно перед глухими, широко размахивая руками и разражаясь тем непосредственным смехом, в котором чувствуется избыток силы.

Взволнованный, обуреваемый жаждой знания, я пристаю к нему с расспросами.

— Море! — громко восклицает он, поглядывая на меня зоркими серыми глазами.— Это, брат, раздолье! Эх! И куда ни поверни корабль, везде тебе дорога. Гуляй, душа! Любуйся красотами мира! А какой только твари в нем нет! Часто даже не поймешь — не то это рыба, не то зверь какой. И всяких нарядов, всяких образцов. Глядишь — плывет что-то круглое, сияет, как радуга. А вытащишь из воды — кусок студня. Оказывается, тоже живое существо. Да ты, малец, хоть бы одним глазом взглянул на море, так и то ахнул бы от удивления...

Дальше он рассказывает мне о кораблях, как они устроены и как управляют ими.

— А в заморских странах бывают наши корабли? — спрашиваю я, не сводя с матроса глаз.

— Заходим. Я несколько раз бывал за границей.

— А там не режут русских?

— Вот те на! За что же резать? За границей такие же люди живут, как и мы... А то есть дикари. Ходят, в чем мать родила. Есть из них черные, как вороново крыло. Прямо чудно смотреть.

Заморские страны у меня связаны с красивыми сказками, какие я слышал от матери... Там, в других государствах, все необычно, все не так, как в нашем селе. Это подтверждает и матрос, говоря, что там растут какие-то пальмы, орехи величиною с детскую голову, цветы в аршин шириною, фрукты сладкие как мед, а солнце светит в самую макушку и лучом может убить человека, как молнией.

Нам иногда встречаются люди, и, как мне кажется, все они с восхищением смотрят на матроса, любуясь его удивительным нарядом.

— Ты спрашиваешь, видны ли в море берега? — продолжает матрос, довольный моим напряженным вниманием к его рассказам.— Ни черта, брат, не увидишь, хоть залезь на самую высокую мачту. Иногда плывешь неделю, две, а кругом все вода и вода...

Глядя на реку, посеребренную косыми лучами вечернего солнца, я стараюсь представить величину моря, но мне все время мешает противоположный берег. Я вижу песчаные отмели, сочно зеленеющие луга, а дальше — равнину поля, обширную, похожую на степь, с затерявшимися в ней деревнями и селами.

— Как же это так — берегов не видно?

Матрос улыбается.

— Посмотри на небо. Где берега в нем? Так и в море. И такое же оно глубокое. Ну, как, браток, просторно, а?

Я иду, запрокинув голову, обводя глазами бездонную синь неба, откуда весело льются песни жаворонков, и вижу парящего коршуна. Вот так, думается мне, и должен плыть корабль «Победитель бурь». Хорошо! Чудесно, как в сказке!

Матрос не может молчать. Пока я занят своими мыслями, он уже рассказывает матери, как учился живописи у одного иконописца.

— Большой пьяница был он и похабник первой руки — мастер-то мой. Однажды передал мне заказ — нарисовать «божью матерь», а сам в кабак залился. Нарисовал я икону, как умел, жду хозяина. Возвращается он на второй день. Стал перед святыней, подперши руки в бока, качается. «Это, говорит, что у тебя вышло? Разве это божья матерь? Это, это...» И давай крыть с верхне-

го мостика и меня и мое, так сказать, искусство. А в заключение добавляет: «Приделай бороду — за Николая чудотворца сойдет». Ослушаться нельзя было — сердился и дрался. Вот они как пишутся, иконы-то наши...

Матрос хочет еще приводить примеры, но мать сердится, умоляя:

— Не надо про это... Лучше про море расскажите.

Он охотно соглашается и говорит мне о буре, понизив голос и делая страшные глаза.

— Беда, что тогда происходит... Недавно, в последнее мое плаванье, нам пришлось испытать это в Атлантическом океане. Как-то сразу наползли тучи, залохматились. Все небо почернело, точно бог целую реку чернил разлил. Налетел ураган, прошелся раз-другой и, точно пьяный бродяга, давай шуметь и рвать все на свете. Океан сначала только хмурился да кривлялся, а потом вздулся и зарычал на все лады. Ух, мать честная! Но недаром наш корабль носит название «Победитель бурь». Нипочем ему ураганы. Накатит на него водяной вал, накроет всю верхнюю палубу, а он только встряхивается и прет себе дальше, как разъяренный бык. Ну и командир у нас, я тебе доложу, полное соответствие имеет кораблю. Одна рожа чего стоит — прямо вывеска для кабака. Оплывшая, вся красная, усы до ушей, глазищи по ложке, забулдыга форменный и уж сердцем очень лютый. Однажды, пьяный, увидел в море акулу и с одним кинжалом бросился на нее. И что же ты думаешь? Зарезал ее, окаянную, в один миг зарезал!.. Так вот, в бурю-то эту самую налопался он рому и стоит себе на мостике, клыки оскаливши. Тут небо смешалось с океаном, весь мир ходуном ходит и, кажется, вот-вот ухнет куда-то, а он одно только твердит: «Люблю послушать музыку ада...» И хохочет, как водяной леший...

— Господи, ужасы-то какие! — вздохнув, говорит мать.

— Ничего ужасного тут нет,— отвечает ей матрос.— С первого разу немножко поджилки трясутся, а потом привыкаешь ко всему.

Мы выходим в поле. Дорога, немного отойдя от реки, серой лентой вьется среди молодой ржи, кое-где обрызганной синими васильками. С цветущих колосьев веет запахом желтой пыли.

Матрос объясняет мне дальше о морской службе, увлекаясь сам, увлекая и меня. И, по мере того, как я слушаю его, все яркие впечатления, воспринятые в монастыре, бледнеют и вянут, теряя красоту свою. Я захвачен, упоен рассказами моряка, передо мною развертывается картина новой жизни, полной интересных приключений. Будущее уже рисуется не в белых стенах святой обители, а на корабле, на «Победителе бурь», плавающем в неведомых морях, по безбрежному простору, залитому горячим солнцем, или в схватках с ураганами, под тяжелыми грозовыми тучами, среди бурлящих волн.

— Ну, больше мне с вами не по пути,— заявляет вдруг матрос, остановившись перед двумя расходящимися дорогами.— Так что бывайте здоровеньки.

— До свиданья,— в один голос отвечаем мы.

— А вы, мадам, не больно сердитесь на меня, что я там, может, что-нибудь лишнее сказал,— прощаясь, обращается он к матери с веселой улыбкой.— Люблю пошутить. Это от бога у меня, а он сам большой шутник. Скажем примерно, вместе с красивыми тварями в море живет спрут, иначе восьминог. Черт знает, какое безобразие! Разве это не шутка? Или, скажем еще, у моего кума Федота корова отелила телка с двумя головами — так это как нужно понимать? А потом, мадам, я и сам к духовному званию некоторое касательство имею...

— Неужели? — обрадовавшись, воскликнула мать.

— Ну, а как же? Во-первых, я учился грамоте у дьячка, а во-вторых, мой родной дедушка только тем и занимался, что церкви обкрадывал...

— Ай-ай, какой вы насмешник! — говорит мать, укоризненно качая головой.

Матрос, повернувшись ко мне, жмет мне руку, щуря веселые глаза.

— Эх, молодец, из тебя, я вижу, хороший бы моряк вышел...

От такой похвалы приятно замирает сердце.

Матрос уходит. Некоторое время я смотрю ему вслед, крайне сожалея, что не пришлось поговорить с ним больше. Он везде бывал и все знает. Над колосьями ржи, в прощальных лучах заката, уплывая, раскачивается его крепкая, широкоплечая фигура. В своем морском наряде он мне кажется необыкновенно ловким, сказочно-краси-

вым, совсем не похожим на тех людей, с какими я встречаюсь в своем селе, словно он явился к нам с другой земли.

Догорает день. Река, откуда веет приятной прохладой, накалена закатом докрасна. Где-то, перекликаясь, бьют два перепела...

Взбудораженным мозгом, пьяными мыслями думаю я о море. И вдруг спохватился...

— Ты, мама, подожди здесь, а я догоню матроса. Забыл спросить еще про одну вещь...

— Куда ты, непутевый? — донесся мне вслед недовольный голос матери, когда я бросился прямо по ржи в погоню за матросом.

— Дядя матрос! Подожди-и...

Но матрос, находясь от меня за полверсты, не слышит и все уходит, быстро шагая и раскачиваясь с боку на бок.

— Ты что, молодец? — останавливается он, когда я, обливаясь потом и задыхаясь, подбежал к нему ближе.

— Океан... Все вода и вода... Берегов не видно... Дорог тоже нет... Как же можно не заплутаться?..

Матрос расхохотался.

— Ах ты, ерш этакий! Ишь, что его занимает! Ну, ладно, расскажу тебе.

Нарисовав на дорожной пыли круг, разбив его черточками на части, он долго объясняет об устройстве компаса.

— Это, малец, главный прибор на корабле. Без него судно, что человек без глаз.

Мать, стоя на одном месте, отчаянно машет мне рукой.

— Ну, спасибо, брат. Я в матросы пойду, а монахом не буду...

— Хорошее дело. В монастыре только плесенью обрастешь, а ничего путного не увидишь. А молиться, если хошь, везде можно. Сказано в писании: «Небо есть престол мой, а земля — подножие ног моих...»

Мне очень понравилось, что он простился со мною, как с равным.

Я возвращаюсь к матери, обогащенный мыслями и чувством. Она ругает меня, а я, став в гордую позу, решительно заявляю:

— Сердись или не сердись на меня — все равно, а только в монастырь я не пойду, потому что не желаю плесенью обрастать...

— Господи, какие он слова говорит! Куда же ты пойдешь?

— В матросы.

Мать бледнеет.

— Да ты с ума сошел! Это чтобы в море утонуть, да?

— Нисколько. Я вернусь таким же молодцом, как этот матрос. И гостинцев привезу заграничных, самых лучших...

На глаза у матери навертываются слезы. Хватаясь за голову, она бранит матроса:

— Что он, супостат, сделал с моим мальчиком... Совратил с истинного пути...

Мы продолжаем свой путь, нежно окутанные рыжим сумраком вечера. Впереди смутно мерещится село с белой церковью, но мы в нем не остановимся, а будем идти так до утра, пользуясь ночной прохладой. Воздух становится влажным, дышать легко. Пахнет дорожной пылью и полевыми травами. По тускнеющей реке, крутым поворотом отступающей от нас в сторону, плывет длинная вереница плотов, бросая вокруг отблеск пылающего костра; оттуда доносится какая-то песня, полная удали и широкого, как эти поля, размаха. С лугов, как бестелесные видения, поднимаются клубы молочного тумана.

Я смотрю на мать, сокрушенную и печальную. Причитая, она жалуется на свою судьбу, на горькую долю и на то, что я не оправдал ее надежд. Я чувствую слезы ее тоскующего сердца. Но что мне делать? «Победитель бурь», этот таинственный и чудесный корабль, плавающий где-то в далеких водах, не выходит у меня из головы. Матрос зажег в моей голове новые звезды, раздвинув передо мною мир, открыв широкие возможности. Я уже не закисну в темной и придавленной, как чугунной плитой, жизни своего села. Нет! Мое будущее — там, где-то очень далеко, на синих морях, на беспредельных океанах, куда, как на орлиных крыльях, уносит меня юная фантазия.

СРЕДИ ТОПИ

Половина сентября, а в лесу по-летнему тепло. Над ветвистыми деревьями — прозрачная синь без единого облака. Сквозь чащу деревьев струится золотая пряжа. Зелень, переливая, уже горит желтизной и багрянцем. Это солнце ткет осенние наряды. Душистый ветер путается в ветвях, с шелестом срывает засохшие листья, и, точно забавляясь, долго кружит их в воздухе.

Два охотника шуршат ногами по мягкому ковру опавших листьев. Оба мокрые от пота, у каждого в сумках за плечами теплая одежда и провизия, а в руках, наготове, по централке. Впереди идет Максимыч, плотный, среднего роста крестьянин. Сын лесника, он родился и вырос в лесу, с малых лет занимаясь охотой. Теперь ему около сорока. Он знает все здешние места, как свой полураскрытый двор с избой, искривленный и почерневший от времени; знает повадки всей дичи, как свою гнедую кобыленку. За ним, часто спотыкаясь, шагает четырнадцатилетний мальчик Коля. Этот маленький светлорусый человек — столичный житель, попавший в лесную глушь через родственников своего отца. Несмотря на усталость, у него такой вид, точно он завоевал всю Европу. Разве он не настоящий охотник, если в руках у него франкот 24-го калибра, а сбоку висят два рябчика? Правда, рябцов подманил ему Максимыч, но это не важно — убил-то их все-таки Коля.

Максимыч и Коля дружат уже второй год. Одному без другого им трудно обойтись. Молодой охотник доставляет из столицы охотничий провиант, а Максимыч

знакомит того с настоящей охотой. Дичь, независимо от того, кто сколько убьет, делится пополам.

Два дня они искали навадок, обшарили много озер, и все напрасно. А утки, собираясь к отлету стаями, скрывались где-то здесь, близко, на какой-нибудь квадратной версте. И только вчера вечером наконец нашли. Максимыч залез на самую высокую ель, едва пробившись сквозь густую хвою ее, и очутился над лесом. При закате солнца он радостно крикнул сверху:

— Вот она, поднялась одна артель!

— Откуда? — спросил Коля.

— Из Чертова Логовища.

— А почем ты знаешь, Максимыч? Ведь озер тут много?

— До сих пор я не ошибался.

Через минуту послышался еще более восторженный и повышенный голос:

— Уй, гляди, гляди, еще партия! Туча!

Коля подпрыгивал от радости.

— Эх, и постреляем!

Спускаясь, Максимыч удивил своего друга: он быстро, точно со снеговой горы, скользил вниз по концам еловых ветвей, перехватываясь за них руками. Мальчик, подняв голову, следил за ним, замирая — вот сорвется.

Сегодня, поохотившись на красную дичь, они направляются к Чертову Логовищу. Торопиться им некуда,— солнце только что перевалило за полдень. Идут медленно, с остановками, прислушиваясь к лесной глуши.

Максимыч повертывается к малышу, улыбается.

— Не устал, браток?

— Малость.

Лицо у Максимыча круглое, чуть-чуть рябоватое, с небольшими редкими усами. В лесу оно всегда торжественно-просветленное.

— Тут недалеко озеро есть. На нем всегда бывают утки. Завернем к нему?

— Хорошо,— соглашается молодой охотник.

Озеро окружено крупным лесом. Только с одной стороны в него упирается небольшой лужок, заканчиваясь мелким кустарником. Отсюда удобнее подкрадываться. Оба охотника, согнувшись, шагают тихо и осторожно.

Приблизившись к курению калинника, осыпанного желто-красными ягодами, Максимыч приподнимается, неестественно вытягивая шею. Серые глаза его цепко обшаривают поверхность воды, покрытой болотными травами.

— Есть одна,— шепчет он.

— Где? — спрашивал Коля, волнуясь.

— Смотри по моей руке.

— Вижу, вижу. Стрелять?

— Дуй!

Грохнул выстрел. На озере, кружась, заплескалась утка.

— Попал, попал! — неистово закричал Коля.

— Молодец,— одобрил Максимыч.

Убитой оказалась матерка. Но как ее достать? Собаки нет, а человеку лезть за нею опасно: глубоко и болотная трава, в которой легко можно запутаться.

Коля от радости переходит к отчаянию:

— Что же, Максимыч, значит, пропала наша утка?

— Пропасть-то ей некуда. А только жалко, что много времени придется потратить.

— Давай достанем.

Максимыч спрашивает вдруг:

— А хочешь, твоя матерка без нас очутится на берегу?

Мальчик широко раскрыл глаза.

— Как же это сделаешь? Она уже перевернулась вверх брюхом,— мертвая.

— Значит, еще лучше. Скорее выйдет дело.

— Верно, Максимыч?

— Дай бог сметаной подавиться, если вру...

И тут же, немного подумав, добавляет:

— Впрочем, зря это я болтаю. Давай лучше закусим и посидим. Может, еще прилетят утки. Тогда кстати доставать. А то из-за одной штуки не стоит валандаться.

Оба спрятались в кусты. Старший охотник вытаскивает из сумки хлеб, а молодой — сало. Молча уничтожают еду. Максимыч, озирая озеро, для чего-то держит ружье наготове, а мальчик смотрит на него, не понимая, почему тот настораживается. Иногда Коля переводит взгляд на убитую матерку,— она лежит на поверх-

ности воды без движения. Проходит час, а может быть, больше. Давно покончено с едой. Скучно. Но Максимыч строг — нельзя ни шевелиться, ни разговаривать.

Внезапно сквозь кусты что-то мелькнуло, камнем спускаясь на озеро. И тут же мальчик почувствовал взмахи больших крыльев, поднимающихся уже вверх. Максимыч весь напрягся, сжался. В правой руке его, взводясь, щелкнули курки. В следующий момент он с ловкостью зверя выскочил из-под навеса кустов. Два дуплетных выстрела оглушили лес. Все произошло с такой быстротой, что Коля ничего не мог понять.

— Получай свою матерку.

На лугу, рядом, лежали утка и ястреб. Пернатый хищник, обливаясь кровью, беспомощно взмахивал одним крылом. Судорожно сжались его когти, впиваясь в корни отавы. Предсмертной болью затуманилась ясность в зорких глазах, с гневом смотревших на охотников.

Остолбенело стоял Коля, пораженный и ловкостью охотника и молча умирающим ястребом.

— Идем,— говорит Максимыч, подхватывая утку.

— А ястреба разве не возьмем?

— На что он нам нужен? Только тяжесть лишняя.

Шагая за Максимычем, мальчик думает, как он вернется в Москву. У него столько новых впечатлений. Товарищи, слушая его, разинут рты.

Пройдя версты две, Максимыч заявляет:

— Чертово Логовище рядом. А нам нужно быть на нем только вечером. Отдохнем пока.

Сбросив с плеч сумки, охотники разваливаются на полянке, около толстого старого дуба, так уверенно и крепко внедрившегося в землю. Столетия прошли, как пустил он первый корень,— сколько еще думает жить на свете?..

Максимыч, щурясь от солнца, все расспрашивает о городе. Коля сначала отвечает неохотно,— уж очень хорошо в лесу. Любуется разноцветно окрасившимся кленом. А вот липа, поредевшая скорее других деревьев,— ее листья осень будто облила яичным желтком. По другую сторону поляны густо и сочно рдеет рябина, похожая издали на пламя пылающего костра.

— Теперь знаешь, какие строят радиотелефоны?

— Ну?

— На тысячу верст по ним разговаривают. И музыку можно слушать.

— Эх, шут возьми! На тысячу верст!

Для Коли интересно, что Максимыч слушает его. Рассказывает о воздушных кораблях, поднимающих до сотни пассажиров, и о других чудесах техники. Наконец сообщает сногсшибательную новость науки: об омолаживании человеческого организма.

Максимыч даже привстал.

— Нет, ты шутишь?

— Нисколько.

— Старика могут в молодого превратить?

— Да.

— А ты откуда знаешь?

— К нам в Москве ходит женщина-врач, приятельница наша, Мария Федоровна. Она папе и маме рассказывала об этом. А я задачи решал и слышал все.

Максимыч снова улегся, раскинув руки и ноги.

— Ну, дела! До чего могут достукаться ученые!

Долго молчат, прислушиваясь к тихому шелесту леса. Коля смотрит в голубые просветы. Падают листья, отрываясь от родных ветвей, а ему кажется, что это порхают, кружась, золотые мотыльки. Крестьянин думает о городе, где творят разные чудеса. Жизнь там богаче и разнообразнее. Но ему трудно уйти от лесов дремучих, от озер, поросших камышами,— привык. Неожиданно решает озадачить своего друга вопросом:

— А кто, слышь, сильнее: бог или человеческая воля?

И не дождался ответа: мальчик, усталый, обласканный солнечным теплом, крепко заснул.

Небо косит огненный глаз, удлиняя тени. Ветер замер. Не дрогнет ни одна ветка. Покорно и незаметно увядает лес, погруженный в мудрый покой.

Охотники, выспавшись, направляются к Чертову Логовищу. Вокруг него на полверсты, а местами и больше,— непролазная топь, кустарники ивняка, гривы черной ольхи. Озеро неприступно. Один лишь Максимыч знает

ход туда, к центру, где чистая поверхность воды и где, возвращаясь с ночной кормежки, садятся утки.

— Как уговорились, здесь я над тобою командир,— шепчет Максимыч, приняв вдруг строгий вид.— А в городе ты будешь командовать мною. Хоть и дружок ты мне, а чтоб дисциплина полная. В случае чего я те враз фуражку поправлю.

— Ладно,— недовольно отвечает Коля.

Теперь у каждого в руках по шесту. Ощупывая шестом болотную почву, охотники медленно подвигаются вперед. Мешает чаща ивняка, но она же и спасает от топи. При малейшем ошибочном шаге нога вязнет выше колена. Приходится постоянно сворачивать то вправо, то влево, чтобы пройти по стволу свалившегося дерева или перепрыгнуть с одного куреня кустарника на другой. Донимает, обжигая лицо и руки, крапива, высокая, ростом в сажень. А там, где немного посуше, все цепко схвачено и оплетено вьющимся хмелем, который приходится разрывать руками. И впереди и по сторонам, как вздыбившиеся чудовища, лохмато поднимаются вывороты ольховых корней. Режет тело осока, рвет одежду телорез. А главное — все здесь ненадежно: остерегайся, чтобы не наступить на дерево, целое с виду, но превращенное временем в труху; почва под ногами, заросшая болотными травами, глубоко зыбится, угрожая втянуть в липкую, как замазка, грязь, засосать с головою. Сзади охотников, там, где они прошли, долго хлюпает, вздуваясь пузырями, потревоженная трясина.

Мальчик впервые в болотно-лесных трущобах. Жутко. Куда его ведет этот коренастый человек? И хоть бы посмотреть на одну утку. Ничего! Мертвая тишина.

Вдруг согнутый куст под ним сломался,— он сразу увяз обеими ногами. Хотел выскочить, но погрузился глубже. Перед глазами замутился свет, качнулись деревья. В тревоге заорал:

— Максимыч! Максимыч!

— Тише! — повернувшись, зашипел тот сердито.

Он крепко схватил Колю за руки и потянул, как редьку с грядки.

Точно слюнявым ртом чмокнула топь.

— Смотри, куда шагаешь! Это тебе не московские бульвары.

Чем дальше, тем глубже трясина. Но пробираться здесь легче — переходят по ольхам, срубленным Максимычем раньше.

Конечный пункт охотников — это большие коблы. Один из них представляет собою островок величиною с квадратную сажень. С краев его поднимаются ольховые деревья. Охотники, измученные, мокрые от пота и воды, с радостью взбираются на этот кобел. Здесь сухо. Тихонько переодеваются в запасную одежду и валенки.

Перед ними — небольшое продолговатое озеро. Вокруг него высокая стена ольхового леса. Верх этой стены переплетен ветвями, кое-где побуревшими под дыханием осени, а низ густо порос кустарниками ивняка, камышами, кугою и другими болотными растениями. Вода в озере темная и блестящая, как конопляное масло.

Боевой пост расположен очень удобно — с него, прячась за кустами, можно стрелять в любой конец озера.

За озером, недалеко от края, голенасто стоит единственная сосна; она будто сторожит Чертово Логовище, высоко подняв над ольхами иглистую крону.

— Вот чудо,— шепчет удивленный Коля.

— Что? — спрашивает Максимыч.

— В такой топи и вдруг сосна!

— Да. По ней-то вчера я и догадался, что здесь навадок. И не ошибся. Вон видишь — всюду, как в птичнике, перо и пух: на почках и на воде.

— Вот как!

Максимыч сухо наказывает:

— Довольно. Больше — чтобы ни звука.

Ждут, прильнув к земле, боясь даже пошевелиться. Глаза устремлены на пустое озеро. Молчит Чертово Логовище, словно погруженное в свои темные думы. Жирно посапывает топь, пуская пузыри. Иногда рыба, сверкнув серебром чешуи, плеснется на черной воде. Но утки здесь. Они знают, что кто-то пришел и не уходил обратно, и теперь прислушиваются, чуткие к малейшему шороху.

Коле невтерпеж эта неподвижность. Он хочет заворочаться, переменить положение своего уставшего тела. Максимыч показывает ему кулак. Мальчик надул губы и в сотый раз начинает интересоваться убитой

дичью, рассматривая крылья, ноги, заглядывая и в клюв и под хвост.

Спустя некоторое время послышались звуки: шуршание камышей, щелканье утиных носов, обшаривающих корни и траву. Старший охотник весело подмигивает глазом — будет, мол, добыча. Оба слушают с открытыми ртами, улыбаются тоже открытыми ртами, беззвучно раздвигая лишь шире губы. От этого лица их становятся идиотски глупыми.

Наконец на озеро бесшумно выплывает утка. Остановившись, она настороженно оглядывается.

— Кряк...

Голос у нее низкий и корявый. Видимо, старая матерка, опытная в жизни.

Помолчав, снова крякает. Откуда-то из глуши откликается другая, потом третья. На озеро выплывает несколько матерок. С каждой минутой число их увеличивается. Теперь они стягиваются к центру, как на митинг, со всех сторон. Скоро на озере не остается пустого места — вся поверхность ожила, посерела от птиц. Сколько их? Тысяча или больше? Продолжают крякать по-прежнему редко, словно о чем-то предупреждая друг друга.

Охотники, притаившись, едва дышат и уже не чувствуют усталости онемевшего тела. Вздрагивают мускулы, горят щеки, хищной жадностью сверкают глаза.

Утки начинают купаться, охорашиваются. Ныряют, плещутся, поднимая брызги. Некоторые размахивают крыльями, точно испытывая их упругость. Подкрякивают чаще и веселее, охваченные каким-то игривым настроением. Так продолжается недолго. Оборвав забавный говор, сразу замолкают, сидят смирно. Только переглядываются, дергая головами, точно давая на что-то общее согласие.

Солнце прощается с лесом, озаряя лишь верхушки его. Снизу повеяло сыростью.

Внезапно закрякала одна матерка, закрякала громко, как-то по-особенному, высокой нотой, точно бросала призыв остальным. И сразу напряженная тишина будто треснула, прорвалась. Воздух наполнился гулом и свистом хлопающих крыльев. Это поднималась огромнейшая стая. Утки вылетали не только с озера, но и с краев

его, из травы и кустов. Казалось, что над Чертовым Логовищем разразилась буря.

Коля вздрогнул, закрутил головою. Максимыч толкнул его в бок.

На короткое время установилась тишина. Оставшиеся на озере утки сидели неподвижно, вытянув длинные шеи, словно ожидая команды. Опять раздался призывный выкрик. Загремела новая стая, взвиваясь и кружась серым вихрем.

А когда озеро опустело, Максимыч, вставая, объявил:

— Все улетели. Осталось только несколько штук — сторожевые. Теперь можно разговаривать и шуметь сколько угодно.

Коля, необыкновенно возбужденный, пристает с расспросами.

— Для чего сторожевые остались?

Лицо Максимыча расплывается в широкой улыбке.

— Может, завтра туман будет. Тогда тем уткам, что вернутся рано,— как найти свое озеро? Вот эти и начнут им подкрякивать — сюда, мол, заворачивайте. У птицы тоже, брат, есть свой порядок. Такая моя догадка. А если всерьез,— черт их знает, зачем они остались.

— Что же мы не стреляли? Ловко так сидели. Сразу могли бы убить десятка два.

— Завтра настреляемся, родной, завтра.

— А куда улетели утки?

— На луга кормиться.

— А далеко это?

— Верст за двадцать, а то и больше.

У мальчика еще много вопросов, но Максимычу некогда отвечать. Взяв топор, он пробирается по валежнику до сухой ольхи, чтобы заготовить на всю ночь дров.

Ночь.

На кобле, согревая чайник, потрескивает костер. Колеблется тьма, рассекаемая светом пламени, дрожат и шарахаются, словно с испугу, тени. Золотыми отблесками вспыхивает озеро.

Охотники кончают ужин. Дичь у них приготовлена не совсем обычным способом: очистили ее, посолили и, завернув в мокрые тряпки, сунули в золу. И оба не нахвалятся, уничтожая полусырое мясо.

— В особенности рябчики вкусные! — восторгается Коля, усердно работая челюстями.

— Через это вот у них и жизнь никудышная, слезы одни.

— Я что-то не пойму: почему слезы?

Максимыч обглодал последнюю косточку, бросил ее в воду и рукавом зипуна вытер губы.

— Надо бы лоб перекрестить, да забыл, какой рукой это делается. С революции не молился. Вроде чурки стал. Да. А насчет рябчиков сам посуди — какая это жизнь? Каждую минуту дрожи и оглядывайся, чтобы не попасть в когти ястреба. А взять примерно зимнее время. Поспать ведь негде спокойно сердешному. В мороз любит рябчик в снег зарыться. А лисе только того и надо. Захрустят его косточки в зубах этой хитрой бестии. Спрятаться в ельнике — куница схряпает не хуже лисы. А больше всего лиха — от человека. Постоянно нужно быть наготове — чуть где шорох, не с ружьем ли кто? Да еще характер у рябчика чудной — не любит он один оставаться. Услышит пение другого — бежит к товарищу по земле или летит и сам откликается. А тут оказывается подлинная провокация: охотник в манок наигрывает. Значит, смерть. Давеча утром видал как? Я так полагаю: всем рябчикам на свете погибать, не иначе. Уж больно их любят все...

Забурлил чайник, выплескивая из дудочки воду. Максимыч осторожно снял его, заварил чай.

Мальчик задумался, чувствуя какую-то неловкость.

— Зачем же мы убиваем рябчиков? — спрашивает он с упреком в голосе.

— Мы, дружок, тут ни при чем. А ты вот скажи: зачем у рябчика такое сладкое мясо? Стало быть, виноват тут бог или, как это сказать по-вашему, по-комсомольски, природа виновата. Будь он вонючий, как клоп, кто бы его тронул?

— Верно, Максимыч, мы тут ни при чем,— обрадовался молодой охотник.

По другую сторону озера, вдали, крякает утка. Коля, обжигаясь, пьет чай и оглядывается на соседние коблы, где кто-то шуршит сухими листьями. Максимыч, опорожнив пару больших кружек, самодовольно гладит себе по животу:

— Тепла нагнал на всю ночь.

Потом, закурив цигарку с самокрошкой, рассказывает:

— Гиблое это место. Скотина ли попадет сюда, человек ли, если неопытный,— крышка. Потому — топь. Местами шестом дна не достанешь. Даже охотники боятся Чертова Логовища. Один в позапрошлый год пропал здесь.

Коля вскинул голову.

— Как пропал?

— Очень просто. Зашел сюда, а выбраться не мог — увяз. В эту же пору было, осенью. А в декабре, когда уже все замерзло, другой охотник напал на него. Шел за куницей по следу. Смотрит, из снега человеческая голова торчит, объедена вся. Зубы оскалены, вместо глаз — дыры. Охотник без оглядки домой приударил. Потом пришли люди, отрыли покойника. Туловище оказалось целым. Время было холодное, не успел сгнить.

Коля теперь знает, что такое Чертово Логовище,— действие его отчасти испытал на себе. В молодом воображении представляется мрачная картина одиноко погибающего охотника в этих диких и трясинных дебрях. Вздрогнул от страха.

С напускным равнодушием обращается к Максимычу:

— Как же это он не выбрался? А еще охотник!

— Храбрый ты, я вижу. А вот брошу тебя — что тогда будешь делать? Попробуй выйти.

Коля пытливо смотрит на своего друга.

— Ты этого не сделаешь.

Максимыч смеется.

Догорает костер. После сытной еды и чая лень протянуть руку, чтобы подложить дров. Да и без огня тепло. Молчат. Коля сквозь ольшаник смотрит на небо. Звезды кажутся рядом, сверкают в кружевной ткани ветвей, точно сами деревья расцвели золотыми веснушками. Но если глянуть вниз, в беспросветную темень, становится жутко. Иногда что-то забулькает в воде. Где-то, точно покинутый ребенок, заплачет сова. И снова зловещая тишина. Слышно даже, как спит Чертово Логовище, утробно, как тесто в квашне, вздыхает жирная топь, обдавая болотным запахом.

Максимыч лениво продолжает:

— Тут, говорят, в старину поп один погиб. С тех пор эту местность и прозвали Чертовым Логовищем. Любил поп и поохотиться и по части выпивки здорово промышлял. Вздумал однажды походить за дичью в этих местах. Лесника захватил с собой. Тот предупреждал его, чтобы не лез в трясину. А поп не послушал — попер. Сколько потом ни кричал ему лесник — ни звука. Значит, утопился. Говорят — до сих пор жив. Только тиной весь оброс.

— Кто? — спрашивает Коля.

— Да поп.

Мальчик недоверчиво смотрит на пожилого охотника.

— Как же утопленник может быть живым?

Максимыч хмуро поясняет:

— Потому что поп, а не наш брат. Ему не полагается на охоту ходить, а он пошел. Вот теперь и мучается в наказание. Понял? Сказывают, по ночам, как двенадцать часов, черт схватит его за гриву и ну возить по озеру. Спьяну и на беду себе, видишь ли, поп забыл дома крест. А чтобы он не мог молитву сотворить, черт ему язык вырвал. Теперь его преподобие только мычать может, как бы с голодухи, а дьяволу смешно. Вот и потешается над ним.

— Болтай побольше, — критически замечает Коля, чувствуя, однако, знобящий холод на спине. — Этого не бывает.

Максимыч вздохнул.

— Не знаю — бывает или нет. Люди говорят. А я за что купил, за то и продаю.

Странное дело — в Москве мальчик никогда не думал о чертях. И в школе и отец с матерью говорят, что чертей, как и бога, выдумали попы, чтобы пугать народ. А здесь почему-то боязно. Растет непонятная тревога, напрягаются нервы. Костер погас, тлеют одни угли. Коля, приподнявшись, робко смотрит на озеро. И ничего не видит, кроме черной бездны, усыпанной звездами. По сторонам — сырой и непроницаемый мрак. Но чудится, что кто-то близко притаился в болоте, ждет...

Вдруг — сильный всплеск воды, точно бултыхнулся человек. Мальчик отпрянул назад, присел, съежился, захлестнутый темной волной страха. Что-то огромное и

давящее нависло над ним. Сейчас, сию минуту он услышит барахтанье двух чудовищ: один, обросший тиной, надрывно замычит, а другой, рогастый и лохматый, громко заржет от распираемого хохота...

Осторожно, как вор, покосился на Максимыча. Насмешливая улыбка щелью раздвоила круглое лицо. Стало неловко.

— Знаешь, Максимыч, что? — говорит Коля не своим голосом.

— Ну?

— Давай еще подложим дровец на костер. А то что-то холодновато.

— И то дело.

Максимыч раздувает огонь. А когда весело вспыхнуло пламя, он добавляет:

— Про чертей и про попа зря это болтают люди. Я сколько раз ночевал на этом кобле — ничего не слыхал.

— Я тоже думаю, что зря,— обрадовавшись, соглашается и молодой охотник.— Глупости одни и больше ничего.

Максимыч обращается к Коле:

— Ты вот что, дружок, достал бы мне из Москвы яду. Стрихнином называется.

— Для чего?

— Волков и лис морить. Страсть сколько развелось этого зверья! Будь у меня стрихнин, сварганил бы я себе пятистенку. А то изба совсем разваливается.

— Достану, Максимыч, обязательно достану. Как только приеду в Москву, так сейчас же к Марии Федоровне. У врача, наверное, найдется стрихнин. А медведей им морить нельзя?

— Нет. Медведь не пойдет на приманку Он жрет только ту скотину, что сам задерет. Хитрый, подлец.

Немного помолчав, Максимыч рассказывает:

— Потешный зверь, этот медведь. У нас на пасеке был случай. Пасека эта в лесу находится. Однажды просыпается пчеловод. Заря занялась. Почти развиднело. Глядь в окно — что за происшествие? На пасеке у него комедия происходит. Медведь у него, оказывается, два улья обработал. И что бы уйти? Так нет же. Поиграть ему нужно. И медведь-то уж немолодой — пудов на двенадцать был...

— Как же он играл? — нетерпеливо спросил Коля.

— А вот умудрился. Станет на дыбы, передними лапами ухватится за толстый сучок дерева, задние подожмет и давай качаться. Забавно ему. Хрюкает самодовольно. Пчеловод-то этот — мужик сильный, а по характеру — порох. Чуть какая досада — нальет кровью глаза и на черта полезет. А тут и подавно злоба обуяла. Схватил он рычажок и к медведю. Тихо, незаметно. Только медведь раскачался, пчеловод как гаркнет да как опояшет его поперек хребта! Тот — бряк на землю. И ну кататься по пасеке. Половину ульев посвалял. Ревет так, что лес дрожит, а из него — понос, с кровью, как из пожарной кишки. Опомнился пчеловод — страшно стало. Вот, думает, медведь полезет к нему христосоваться. Подкосились резвые ноженьки — сел. И тоже заорал — карау-у-ул...

Чертово Логовище огласилось смехом мальчика.

— А потом что? — спрашивает Коля.

— Сдох медведь, и больше ничего. Тут же и сдох. Силы у него сколько хошь, а сердцем слабоват. Не выдерживает испуга.

— А пчеловод?

— Человек на этот счет крепче. Оправился.

Снова веселым смехом закатывается Коля.

— Эх, как интересно! Вот так покачался медведь! Расскажи еще что-нибудь, Максимыч!

Два друга, сидя у огня, продолжают свою беседу. Впрочем, рассказывает больше пожилой охотник, а молодой только слушает его с ненасытной жадностью. Для Коли теперь милее Максимыча никого нет на свете. Он, этот человек, интереснее всякой книги.

— В какой бы части России я ни был, а уж на охоту обязательно схожу. Жил я однажды в Польше. Это во время войны было. Дай, думаю, прогуляюсь с ружьишком. Местность — то лесок, то поле. Подхожу к одному овражку. Глядь — за кустом дикая коза встает. Взял на мушку — бац! Сразу опрокинулась. Обрадовался я. Подхожу ближе. Батюшки мои! Что же это я наделал? У козы два детеныша. Совсем молоденькие. Поглядеть — красавчики. Ножки высокие и тонкие, как свечки. Глаза большие, темные, смотрят на меня так жалостно, что вот слезы из них брызнут. И никуда не бегут от мертвой

матери. Глупые еще, не понимают опасности. Эх, защемило сердце! Взвалил козу на плечо — и айда домой. А детеныши — за мной. Бегут и блеют, вроде как плачут. Положу мать на землю, они к ней прижмутся, головы на живот положат. Не могу смотреть — слезы душат. А убить — да разве поднимется на них рука! Уж больно они несчастные, козлятки-то. Поверишь ли ты? Всю дорогу не в себе был, точно за мною бежали родные дети. Так и привел их домой...

Коля часто заморгал влажными глазами. Отвернулся в сторону озера, смотрел на черную поверхность воды и ничего не видел. Что-то, подкатывая, до боли сжимало горло. И только спустя несколько минут спросил дрогнувшим голосом:

— Что с козлятками стало?

— Подарил их ротному командиру. В Москву отвезли.

Молодой охотник лег на спину и долго еще слушал рассказы. Потом опустились отяжелевшие веки. Попробовал их поднять и не мог. Только почувствовал, что будто тает он, как облачко перед горячим солнцем.

Бледнеет ночь, постепенно угасают звезды.

Контуры деревьев становятся более четкими.

— Эй, вставай! Слышишь, что ли? — тормошит Максимыч своего друга.

Коля вдруг начинает хныкать:

— Не надо козочку убивать, не надо...

Усевшись, долго трет глаза — не может опомниться. Максимыч взял чайник с водою, уговаривает:

— Сполосни лицо, браток. Сейчас стрелять начнем.

— Стрелять?

Коля быстро вскакивает и наскоро умывается.

Над Чертовым Логовищем легкой пеленой висит туман. В морозном воздухе далеко и четко выделяется голос подкрякивающей утки. Прохладно, знобит.

Охотники вытаскивают из сумок запасные патроны.

— Чу-ка! — насторожился вдруг Максимыч.

Послышался свист крыльев. Это возвращаются с ночной кормежки более ранние и беспокойные утки. Артель штук в десять. Крутой поворот, и почти отвесное падение на озеро прямо перед охотниками. Птиц, сливающих-

ся с серой мглой, не видно, прицел приблизительный. С кобла свернул длинный огненный язык, громом взорвав утреннюю тишину. В ушах звон. На воде, трепыхаясь, бьется в предсмертных судорогах кряква. Коля не успел разрядить ружья, но все-таки радостно взвизгивает:

— Есть!

Через несколько минут подсаживается еще стайка. Опять выстрел, опять хлопают на воде крылья умирающей дичи.

— Это я убил! — возбужденно кричит Коля.

— Глаз работает у тебя очень хорошо! — отвечает Максимыч.— А только вот что: раз ты сидишь с левой стороны кобла, то и стреляй в левых, а я буду в правых. Иначе мы в одну утку можем закатить два заряда.

По мере того как надвигается рассвет, усиливается и приток уток. Опускаются на озеро по три-четыре штуки, иногда десяток и больше. Теперь уже видно их на воде. Охотники едва успевают закладывать патроны в ружья. Ударят залпом в сидячих — заплещутся несколько штук, поднимая брызги. Остальные в ужасе взмывают вверх, торопливо захлопают крыльями, вытягивая длинные шеи. Поднимаются почти вертикально, только бы скорее очутиться над лесом и удариться, рассекая воздух, по прямой линии — подальше от этого страшного грохота. Но раздаются еще два выстрела, и смерть вырывает из партии еще пару уток. Видно, как опускается одна, нелепо кувыркаясь, а за нею растрепанным свертком падает другая.

— Видал, Максимыч, как я ее сшиб?

— Одобряю.

Коля полон задора. С десяти лет он ходит с ружьем, но на такой охоте в первый раз. Стволы у франкота стали горячими, и сам мальчик, разгоревшись, готов раздеться.

Вся трагедия уток заключается в том, что они улетают на кормежку большими стаями, почти все сразу, а возвращаются частями, по нескольку штук. Охотники, зная это, устроили бойню. Уже растаяла ночь, радостно зарозовели вершины деревьев, ожидая первых лучей солнца, а ружейный грохот все продолжается. Гулким эхом откликается лес. Над Чертовым Логовищем клубы



«ПЕВЦЫ»



«В БУХТЕ «ОТРАДА»

порохового дыма. В то время как одни из матерок, оглушенные выстрелами, поднимаются, другие, ничего не подозревая о страшной засаде, опускаются на воду. В воздухе, над озером, точно вьется птичий рой. Бить можно без промаха, на выбор.

С восходом солнца прилет уток уменьшился. Максимыч заявил:

— У меня осталось только два патрона.

— Я тоже последние достреливаю.

— Значит, пора зашабашить. На племя оставим.

Позавтракали.

Максимыч, взяв топор, осмотрелся.

— Надо дичь подбирать. Хлопот еще много.

Он сходит с кобла и, сделав большой круг, пробирается к озеру с другого конца его. Там, у небольшого залива, поверхность воды чистая, без травы. Долго раздается стук топора.

Над озером, планируя, то и дело проносились ястребы. Они жадно поглядывали на убитую дичь, пугаясь возившегося в заливе охотника. Только один из них осмелился опуститься ниже. Коля вскинул ружье. А когда раздался выстрел, ястреб точно ткнулся в незримую преграду и, расшибленный, встрепанный, безумно завертелся в воздухе, падая в кусты.

— Готов один! — восторженно заорал молодой охотник.

— Кто? — спрашивает Максимыч.

— Ястреб.

— Они тут, окаянные, точно дрессированные: так и норовят украсть утку.

Через некоторое время Коля видит охотника плывущим по озеру. Работая длинным шестом, он стоит на плоту, босой, без штанов, освещенный утренним солнцем. Дичи много, и Максимыч, подбирая ее, хохочет, как шатоломный. Потом направляется к коблу, с которого стреляли. Близко с плотом подойти нельзя,— мешает телорез, плотно покрывающий поверхность воды. Останавливается саженях в трех и перебрасывает уток Коле, а тот, считая, складывает их в кучку и радуется. Освободившись от тяжести, плот отходит за новым грузом.

— Максимыч! Восемьдесят семь голов набили! — громко сообщает Коля, подхватив последних уток.

— Ого! Здорово наколошматили. Без лошади нам не обойтись. Только бы вынести из болота.

Плот скрывается в том же заливе, откуда выплыл. Слышен хруст и шорох кустов. Возвращается Максимыч. Обходя опасные места, он шутит и смеется. В одной руке у него топор, а в другой — пара уток.

— Видал? Еще нашел.

— Где?

— В кустах.

Чтобы сократить расстояние до кобла, охотник решает пойти более прямым путем. Перед ним лежит на траве жердь, прогнившая, покрытая плесенью. Он ощупывает ее ногою — с комля крепкая. Шагает по ней, балансируя, точно акробат, и весело насвистывая.

Вдруг жердь под ним затрещала. Максимыч на момент растерялся и сделал непростительную ошибку: вместо того чтобы повернуть назад, он метнулся вперед — к маленькому куреню ивняка. Правда, ему удалось ухватиться за кусты, но обе ноги провалились. Курень оказался ненадежным — под тяжестью охотника начал постепенно уходить вглубь. До кобла оставалось шагов десять. Положение создалось безнадежное.

Коля услышал выкрики, похожие на собачий лай. А когда увидел глаза, расширенные от ужаса, понял, что случилось что-то страшное. Стоял, открыв рот, онемелый, с дрожащими коленями.

Опомнившись, Максимыч, сразу сообразил, что прежде всего надо перебросить мальчику топор. Тогда только можно ждать от него помощи. Откинув назад правую руку, охотник нацелился.

— Посторонись!

Коля, встрепенувшись, отскочил за дерево.

Топор упал прямо на кобел.

— Руби ольху!

— Какую?

— Крайнюю ко мне.

— Эту?

— Да.

Мальчик всадил лезвие в ствол дерева.

Вершина ольхи вздрогнула.

— Стой, черт возьми,— заорал вдруг Максимыч.— Что ты делаешь? Подрубай с моей стороны, чтобы ко

мне упала ольха. А еще вот что — возьми мой кушак и привяжись за другое дерево. А то сорвешься с кобла, тогда конец обоим...

Ольха стоит на самом краю кобла. Чтобы подрубать ее, приходится свисать над топью.

Максимыча поддерживают свалившиеся набок кусты. Не будь их, он давно бы скрылся под этой обманчивой буро-зеленой поверхностью трясины. А теперь он погрузился только по пояс. Но чувствует, что топь продолжает заглатывать его мягкой и липкой пастью,— заглатывать медленно, точно наслаждаясь муками охотника. Вокруг него хлюпает черная жижа, вздуваются и лопаются пузыри. А ему кажется,— кто-то неведомый с простуженно-забитыми ноздрями дышит из глубины, обдавая гнилым запахом. По ногам, снизу вверх, ползет холод и шевелит на голове волосы. Молча и равнодушно стоят деревья. Только вздрагивает одна ольха на кобле,— та, у комля которой, торопливо размахивая топором, маячит мальчик в голубой рубахе. Охотник с слабой надеждой смотрит на нее. Она чуть-чуть наклонена в его сторону и должна упасть от него приблизительно на сажень. А если ближе? С ужасом представляет себе, как толстыми сучьями ударит по черепу и еще глубже вгонит его в зловонную утробу Чертова Логовища.

Хрипло обращается к другу:

— Подожди, Коля!

Мальчик остановился, раскрасневшийся и мокрый от пота.

— Что?

— Если я погибну, то выбирайся из Чертова Логовища тем же путем, каким пришли сюда. Другого выхода отсюда нет. Главное, смотри на наши следы и не сбивайся.

Коля задергался, замахал руками, плаксиво выкрикивая:

— Нет, нет, Максимыч, этого не будет! Я спасу тебя...

Изредка пролетают утки и, не подсаживаясь, пугливо кружатся над озером, где утром при ясной заре неожиданно разразились громы и молнии. А заслышав стук топора, снова куда-то улетают.

Жарко, точно в натопленной бане. Рубаха на Коле

мокрая, хоть выжимай, а он все рубит и рубит. Ольха не толстая, но без привычки работа подвигается медленно. Запаленный, как молодой жеребенок в непосильном беге, он останавливается, чтобы перевести дух. В пересохшем горле першит и режет, точно попала в него ржаная мякина. Глаза туманятся, как вспотевшее стекло. Но глянет на Максимыча, продолжающего проваливаться, и снова возьмется за работу. Летят свежие щепки. Больше половины ствола подрубил, а ольха все не падает. В голове проносятся обрывки мыслей. И жалко погибающего друга и страшно за себя. Как он выберется отсюда без опытного охотника? Не видать ему больше Москвы. Будет сидеть на этом кобле, как пленник, и плакать до тех пор, пока не сдохнет. А отец и мать будут ждать его и никогда уже больше не дождутся.

Еще немного остается, и ольха повалится. Но Коля не может больше рубить,— задыхается, точно не хватает ему воздуха. Беспомощно привалился к другому дереву. Порывисто поднимается грудь, а в ней подстреленной птицей бьется сердце. Трясутся руки. В уши лезет хриплое, разворачивая мозг:

— Руби... Скорее руби...

Топь начала душить Максимыча, оставив на поверхности только голову и плечи. Из травы выглядывало страшное лицо, натуженное до оскала зубов, с посиневшими губами. Болезненно выворачивались белки глаз. Все вокруг стало багровым, как при ночном пожаре. Над лесом заплясало солнце.

— Коля...

Мальчик вздрогнул, точно разбуженный от сна, и снова, преодолевая усталость, замахал топором.

Ольха затрещала и с шумом повалилась, ломая свои и чужие сучки.

Жутко ухнуло Чертово Логовище.

— Скорее сюда...

Коля храбро бросился на зов товарища. С кушаком в руках, рискуя свалиться в трясину, он почти бегом пробежал по стволу дерева и остановился против Максимыча. Охотник был накрыт концами ветвей, за которые он успел перехватиться. Оцарапанное лицо его сочилось кровью. Он старался подтянуться к стволу дерева, но

топь, плотно обняв, держала его крепко, а хрупкие ветви ломались.

Мальчик теперь уже не чувствовал страха. Голова работала ясно. И одно лишь чувство кипело в груди, это скорее помочь старшему товарищу. Он бросил ему конец кушака, а сам ухватился за другой.

— Держись, Максимыч! Крепче держись.

Началась отчаянная борьба. Мальчик, упираясь ногами в ствол дерева, тянул охотника к себе, а топь не отпускала его. На ольхе еще сильнее изогнулась фигура маленького человека, налилась кровью, кряхтела. Только бы не треснула спина. Наконец Максимычу удалось ухватиться за более толстую и надежную ветвь. Подтягиваясь, он задыхался от неимоверного напряжения. Под кожей дрожащих рук проводами натянулись сухожилия. Еще осталось несколько усилий. Вот уже освободилась грудь, медленно выползая из липкой грязи. Коля по сучкам добрался до Максимыча и перехватил его поперек кушаком. Опять, изгибаясь, нажилился он. Перед глазами поплыли огненные круги.

Топь, упуская свою добычу, жадно чавкала, как прожорливая свинья.

Расстояние между охотниками все уменьшалось.

С криком пролетела над ними красноголовая желна и где-то, на другой стороне озера, протяжно застонала.

— Ух! — выдохнул наконец Максимыч, взбираясь на ствол ольхи.

Оба прильнули к дереву, придерживаясь за сучки его, и долго молчали, дергаясь от тяжкого дыхания.

«КОММУНИСТ» В ПОХОДЕ

Бывший «Михаил Лунд», а ныне «Коммунист», принадлежащий Государственному балтийскому пароходству, целую неделю гостил у себя на родине — в Зундерландском порту, где тридцать два года тому назад появился на свет. Целую неделю развевался на нем красный флаг, дразня англичан. Наконец все было готово: трюмы до отказа наполнены углем, вновь приобретенный якорь поднят на место, пары разведены, все формальности с берегом окончены. Можно трогаться в путь. Нам предстоит пересечь два моря — Северное и Балтийское, чтобы доставить груз в Ригу.

Утром четырнадцатого ноября английские буксиры вытянули наш пароход на морской простор. А когда отдали концы, на мостике звякнул машинный телеграф, передвинув стрелку на средний ход. Корабль загудел, посылая прощальный привет крутым берегам Шотландии. А потом, взяв курс на зюйд-ост 62° минус 17° на общую поправку, устремился вперед полным ходом. Ветер был довольно свежий, но он дул в корму, увеличивая только скорость судна.

У камбуза смеялись матросы:

— С попутным ветром враз доберемся до Кильского канала.

— Через двое суток будем пробовать немецкое пиво.

На это кок, немец, всегда хмурый и такой серьезный, точно занятый изобретением вечного двигателя, отрицательно покачал головой.

— Нельзя так гадать.

— А что?

— Мы в Северном море. А оно может надуть, как шулер. Знаю я...

Кок замолчал, мешая суп в большой кастрюле.

Боцман, громаднейшие сапоги которого казались тяжелее самого хозяина, ходил вместе с другими матросами по верхней палубе, заканчивая найтовку предметов. Плотник, широкоплечий, с жесткими усами, опуская в водомерные трубки фут-шток, измерял в льялах воду. Покончив с этим, он поднялся на мостик и доложил вахтенному штурману:

— В трюмах воды — от пяти до семи дюймов.

— Хорошо.

Серые облака заволакивали синь. Катились волны, подталкивая корму. «Коммунист», покачиваясь на киль, шел ровным ходом.

На корме крутился лаг, жадно отмеряя мили пройденного расстояния.

На второй день с утра ветер стал затихать. Прояснилось небо. По-осеннему холодно светило солнце.

Матросы, свободные от вахты, ютились на машинном кожухе, около дымовой трубы, где было тепло. Я уже не раз слушал здесь их разговоры. Вспоминали о недавнем прошлом, когда вихри революции перебрасывали людей с одного фронта на другой,—от Балтики к берегам Белого моря, из холодных равнин Сибири на могучие хребты знойного Кавказа.

— Да, горячее время было,— заключил один.

— Думали, что никогда и конца не будет.

И сейчас же заговорили о другом.

— Эх, что-то наши жены теперь поделывают в Питере...— вздохнул пожилой матрос.

Молодой кочегар, игрок на мандолине, тряхнув кудрявой головой, весело засмеялся.

— Вот у меня хорошо: нет ни жены, ни постоянной зазнобы. Я люблю, пока лишь на якоре стою.

Боцман о своем мечтал. Он доволен был тем, что пароход шел в Ригу. Там живет его родная мать, с которой он не виделся четырнадцать лет.

— Неужели за это время ни разу дома не побывал? — осведомился я.

— Нет.

— Почему?

— Да все плавал. Я с малых лет по морям скитаюсь.

На мостике попеременно прохаживались штурманы, довольные хорошей погодой. Иногда слышался оттуда свисток и голос:

— Вахтенный!

— Есть!

— Как на лаге?

Матрос бежал к корме, заглядывал на циферблат лага и возвращался на мостик с докладом.

— Восемьдесят две с половиной.

Штурман открывал вахтенный журнал и записывал.

После обеда погода начала быстро портиться. Ветер свежел. Завыли вентиляторы, послышался свист в такелаже. Из-за горизонта без конца выплывали облака и, заволакивая небо, неслись быстро и низко. Старые моряки строго посматривали вокруг.

— Кажется, трепанет нас...

Другие утешали:

— Ничего. Не то видали. Выдержим...

А к вечеру, постепенно нарастая, разразилась буря. Надвигалась ночь, бесконечно-долгая, угрюмо-холодная. Северное море, озлобляясь, стало сурово-мрачным. Пароход наш начал кланяться носом, точно прося у стихии пощады для своей старости. Но отовсюду веяло жестокой неумолимостью. Вздыбились воды и, взбивая пену, заклокотали. Седоволосые волны полезли на палубу, ощупывая и дергая каждую часть корабля, точно испытывая, основательно ли все укреплено.

Я взошел на мостик. Капитана не было здесь: он заболел и находился у себя в каюте. Кораблем управляли штурманы. Я обратился к ним с вопросом:

— Ну, как дела?

— Как видите, дела корявые.

В их отрывистых приказаниях матросам чувствовалось, что предстоит пережить нечто серьезнее. Барометр

падал. Буря усиливалась. Напрягая зрение, я впивался в разноголосо шумевшую тьму.

Вздымались волны, пенились, но казалось, что чьи-то незримые руки, потрясая, размахивали белыми полотнищами. Весь простор, густо залитый мраком ночи, находился в бешеном движении. Все вокруг, порываясь куда-то, неслось с яростным гулом, мчалось с дикими песнями. Вырастали водяные бугры и тяжестью обрушивались на судно.

Первый штурман, рослый и дюжий человек, заявил:

— Мы попали в крыло циклона. Это определенно.

Второй, темноволосый украинец, всегда выдержанный, ничего против этого не возразил, добавив только:

— Нам осталось до Кильского канала всего сто с небольшим миль.

Предстояла задача — как выбраться из циклона, а еще важнее, как избежать грозного центра: там удушливая тишина в воздухе, и буря смотрит синим глазом неба, но там, выворачиваясь из бездны, так пляшут волны, что способны разломать любой корабль.

— Нужно бы выйти из Зундерланда на один день раньше,— заметил второй штурман.

— Да, мы могли бы проскочить через Северное море без приключений,— подтвердил первый штурман.

Оба замолчали в напряженных думах.

Началась безумная атака. Волны, обнаглев, с яростью лезли на судно, достигая мостика, проникая в жилые помещения. По верхней палубе уже трудно было пройти. Ломались некоторые части корабля. Водою сорвало железную вьюшку со стальным тросом, похожую на громаднейшую катушку ниток. Она ерзала и каталась по палубе, билась о фальшборт. Парадный трап переломился пополам.

В рубку пришел больной капитан, взглянул на карту Северного моря и молча лег на диван.

Чтобы не попасть в сторону низкого давления, решили изменить курс. Раздалась команда:

— Зюйд-вест тридцать пять!

— Есть! Зюйд-вест тридцать пять! — ответил рулевой у штурвала.

«Коммунист», медленно повернувшись, ринулся против ветра и буйствующих волн. Казалось, что он и сам пришел в ярость и, раздраженный врагом, врезался в гору кипящей воды. Это был маневр, вызванный отчаянием.

Нужно было определить свое местонахождение. Определиться можно было только по глубине моря, ибо не открывалось ни одного маяка. Кругом свирепствовал лишь воющий мрак. С мостика распорядились:

— Приготовить лот Томсона!

Но волны были неистощимы в своих каверзах — механический лот остался за бортом навсегда.

Боцман, скупой на слова, крепко сплюнул на это и полез на мостик, сопровождаемый кучкою матросов.

Споря с ветром, вырывавшим у меня дверь, я втолкнулся в рубку. В этот момент «Коммунист» с размаху повалился на левый борт. Меня точно швырнул кто — я полетел к противоположной стенке, больно ударившись о койку. Здесь было светло. Старший штурман держался за край стола, курил трубку и хмуро смотрел на разложенную карту моря. На мой вопросительный взгляд он заметил:

— Скверное положение, черт возьми. Надо придумать что-нибудь, чтобы обмануть бурю. Определенно.

— Как?

Он не успел мне ответить. В открывшуюся дверь ворвался тревожный голос темноволосого украинца:

— Шлюпка номер третий гибнет!

Старший штурман распорядился:

— Вызвать наверх всех матросов!

И сам выскочил из рубки.

Одна половина спасательной шлюпки сорвалась с блоков и билась о надстройку. Люди набрасывали на нее концы, стараясь поставить ее на место и закрепить. Работали в темноте, цепляясь за что только возможно, обливаемые с ног до головы холодной водой. С невероятным трудом удалось достичь цели. Матросы, успокоившись, ушли защищать другие части судна. А тем временем на ростры вкатилась тысячепудовая волна, рванулась со страшной силой, и шлюпка с грохотом полетела за борт.

Штурманы нетерпеливо взглядывали на барометр. Стрелка, продолжая падать, показывала на циферблате грозную цифру — 756 миллиметров.

На мостик поступило сообщение:

— Лаг оборвался.

Немного спустя узнали о новой беде:

— В фор-пике и матросском кубрике появилась вода.

Последнее известие внесло тревогу. Каждый из моряков хорошо знал, что фор-пик, расположенный в самом носу, представляет собою довольно большое помещение. Но этого мало. Это помещение, где хранятся запасные брезенты, тросы, концы снастей и другие необходимые для судна вещи, начинается от киля и посредством люка соединяется с коридором матросского кубрика. А это значительно ухудшало положение, увеличивая объем для воды.

Штурманы наскоро переговаривались:

— Я давно замечаю дифферент на нос.

— Да, судно больше стало зарываться в море.

Предательство воды, проникавшей в фор-пик и матросский кубрик, можно было устранить только ручным насосом.

— Не поставить ли брандспойт?

— Это немыслимо: волною смоет всех людей.

— Больше ничего нельзя придумать.

Штурманы нахмурили брови.

А память жестоко хранила трагедию, что недавно разыгралась здесь, на этих зыбучих водах. Всего лишь два месяца прошло с тех пор. Так же вот налетел циклон, так же, запенившись, поднялись могучие волны. А когда все стихло, в Лондоне, в большом гранитном здании, Ллойд вычеркнул из мирового списка шесть кораблей: вместе с людьми они провалились в ненасытное брюхо Северного моря.

У штурвала, в темноте, стоял рослый матрос. Компас, покрытый колпаком с вырезом, освещался маленькой лампой. Рулевой упорно смотрел на картушку, стараясь держать корабль на заданном курсе. Вдруг услышали его тревожный голос:

— Руль заело!

И еще раз повторил то же самое, но уже громче. На мгновение это известие ошарашило всех. Тут же все убедились, что руль действительно перестал работать, оставаясь положенным «право на борт». «Коммунист», содрогаясь от толчков, начал кружиться на одном месте, словно оглушенный ударами стихии. Застопорили машину. Размах качки увеличился, доходя до сорока пяти градусов. Корабль как бы попал в плен, находился во власти разъяренного моря. Но каждая потерянная минута грозила нам гибелью. Поэтому старший штурман, не переставая, отдавал распоряжения:

— Вызвать механика в рулевую машину!

Потом повернулся к другому матросу:

— Товарищ, осмотрите штуртрос!

Впереди нас, приближаясь, моталось какое-то судно. Нужно было с ним разойтись.

Вызвали телеграфиста.

— Сообщите по радио, что мы не можем управляться.

На это телеграфист, немного медлительный и всегда, при всяких обстоятельствах, сохраняющий полное спокойствие, четко ответил:

— Антенна порвана. Генератор залит водою. Аппарат не действует.

Принесли красный фонарь. Матрос с трудом зажег его и тут же, не успев выйти из рулевой рубки, полетел кувырком. Послышался звон разбитого стекла.

Рулевая машина находилась под мостиком, в особой рубке. Там уже работали все три механика и четвертый — машинист, считавшийся лучшим слесарем. У них не было огня. Освещались лишь ручными электрическими фонариками. В отверстия, где проходит штуртрос, и в иллюминаторы проникала вода, поднимаясь временами выше колен. Судно дергалось, металось, падало с борта на борт. Нужны были изумительная ловкость и напряженность воли, чтобы разбирать машину при таких условиях. Но стучала кувалда, и каждый ее удар дрожью отзывался в сердце — обнадеживал.

А пока что «Коммунист» находился в параличе. Штурманы напрягали мозг, придумывая, как спасти судно. Хотели перейти на ручной руль, что находится на корме. Но как это выполнить, когда море набрасывает

на палубу сразу по нескольку сот тонн воды? А нас несло, несло неизвестно куда. Решили прибегнуть к последнему средству — это отдать якорь. Но и эта задача была не из легких. И не было веры в то, что он может удержать нас против такого напора со стороны ветра и зыбей. Долго искали ручной лот, не сразу измерили глубину. А тем временем «Коммунист» начал давать тревожные гудки. Был мрак, перекатываемый вспышками зарниц, свистали незримые крылья ветра, рокотало море, а в эту адскую симфонию, захлебываясь и хрипя, врывался предсмертный рев погибающего судна.

Зажгли ракету. С треском взорвалась она, ослепив людей.

Но кто мог помочь нам в такое время, когда бездны моря опрокидывались вверх торманом?

Стучала кувалда — механики работали, вызывая к жизни полумертвое судно.

Сколько времени мы находились под страхом немедленной катастрофы?

Наконец из рулевой рубки горланисто крикнули:

— Руль действует!

Опять заработали стальные мускулы машины, опять «Коммунист» лег на свой курс, продолжая продвигаться к желанному берегу.

В первый момент обрадовались все, но скоро поняли, что мы получили только отсрочку. Свирепый натиск волн не прекращался, подвергая судно разрушению. У фок-мачты сорвался с найтовов заводной якорь. Передвигаясь, он, как изменник, помогал буре разбивать судно. С грохотом катался железный горн. На палубе постоянно раздавался треск и что-то бухало — казалось, что кто-то бесконечно злобный, ломая, разворачивал корабль железными брусьями.

Прошла кошмарная ночь. Наступил мутный рассвет. Мало отрады принес нам день. Погода не улучшалась.

Во всех жилых помещениях, как и в кают-компании, мрачно плескалась вода. Единственное место, где могли приютиться люди,— это машинное отделение. Здесь с левого борта, на высоте цилиндров, расположена не-

большая кладовка, где хранятся разные инструменты и запасные части машин. Теперь она превратилась в убежище моряков. В это грязное помещение лезли все — рулевые, машинисты, механики, кочегары, штурманы. Было тесно. Люди сидели и валялись в разных позах, переплетаясь телами, освещенные тусклым огнем керосинки. Некоторые, изнуренные непосильной работой, быстро засыпали, но их тут же будили, вызывая на какое-нибудь новое дело.

— Ну, как там, наверху? — каждый раз обращались к вновь пришедшему с палубы матросу, стучавшему зубами от холода.

— Поддает, окаянная! — сообщал тот.

— Значит, не улучшается погода?

— Еще хуже стала. Ну и буря! Прямо землю роет.

Старший механик, пожилой и полный человек, пояснил:

— Да, за тридцать лет моего плавания я уже не раз попадаю в такую переделку.

Из угла слышался знакомый голос.

— В Японском море нас однажды тайфун захватил. Здорово потрепало. У нас пассажиры были. Один из них вышел из каюты и хотел на мостик пробраться. А в это время на палубу полезла волна. Ему бы бежать надо или ухватиться за что-нибудь. Так нет же! Остановился он и уши развесил, как тот лев, на котором Христос в Иерусалим въезжал...

— Ну и что же? — кто-то нетерпеливо спросил.

— Волна слизнула его, как бык муху.

— Не спасли?

— Попробуй спасти в такую бурю.

Замолкли, прислушиваясь к тяжелым ударам моря. Судно, поднимаясь, быстро потом проваливалось и кренилось с такой стремительностью, точно намеревалось опрокинуться вверх килем. Люди, сдвинутые с места, валились друг на друга. Захватывало дух, наливались тоскою глаза. Краснощекий эстонец, никогда не унывавший раньше, заговорил на этот раз с грустью:

— Эх, родная мать! Ничего она не знает, где буря сына ее качает...

Старший машинист, организатор коллектива, подбадривал:

— Ничего, товарищи, это ерунда. Наш «Коммунист» выдержит.

— У нашего корпус...— подхватил другой и сразу оборвал, трагически расширив глаза.

Сверху через световые люки в машинное отделение вкатывалась волна, с шумом обрушиваясь вниз. Вода, попав на горячие цилиндры, шипела и превращалась в облако пара. Мы вытягивали шеи в сторону открытых дверей, настораживаясь, ожидая худшего момента. По-прежнему, часто вздыхая, работала машина. На время это успокаивало нас.

Кто-то в полутьме роптал:

— На берегу, когда выпьем, нас все осуждают... А никто не знает, что достается нам в море...

Динамо-машина, обливаемая водою, вышла из строя. Судно осталось без электрического освещения. Специальные морские лампы нельзя было зажечь: от брызг лопались стекла. Горели одни лишь коптилки. В машинном отделении вся работа происходила в полумраке.

Машинист, рискуя сорваться, лазил по решеткам с ловкостью акробата, ощупывал машину, не нагреваются ли движущиеся части, и густо смазывал их маслом. А в это время механик стоял на нижней площадке и зорко следил глазами и слухом за работой девятисот лошадиных сил, заключенных в железо и сталь. Левой рукой он держался за поручни, чтобы не свалиться при размахе судна, а правой — за ручку штурмового регулятора. Волнами подбрасывалась вверх корма; винт, оголившись, крутился в воздухе. Машина готова была сделать перебой, увеличить число оборотов с восьмидесяти до трехсот раз в минуту. Но привычная рука специалиста чувствовала приближение этого момента — штормовой регулятор быстро передвигался вверх, уменьшая силу пара.

Через световые люки продолжали вкатываться волны. Люди, попадая под тяжесть холодной массы, съеживались, втягивали в плечи головы. Вся машина побелела от осевшей соли. Под настилкой, переливаясь, угрожающе рычала вода. Механик командовал:

— Пустить помпу!

В то же время нужно было следить за льялами. Машинист докладывал:

— Опять наполняются водою.

— Начинайте выкачивать!

Часто помпы, засорившись в трюмных приемных клапанах, работали вхолостую. Чтобы привести их в порядок, на подмогу к вахтенным спускались еще машинисты и механики.

Качаясь, трудно было проходить по железной настилке, скользкой от воды и масла, а тут еще труднее — работать, дергаясь от толчков. В полусумраке, как три богатырских кулака, грозно размахивались стальные мотыли, разбрасывая жирные брызги. Тут держи глаз остро и знай, за что ухватиться, если только не хочешь быть расплющенным в кровавую лепешку. А сверху, нагоняя тоску, доносился грохот и рев бури, точно там, на палубе, развозились железные быки, одержимые страстью разрушения. Люди поднимали головы, смотрели на световые люки и с тревогой ждали — ждали своего провала.

Я заглянул в кочегарку.

Здесь у каждого котла находился человек, грязный и потный, с открытой грудью, засученными рукавами. Из поддувала выгребалась зола. А потом открывалась огненная пасть топки, дышала нестерпимым жаром, просила пищи. Кочегар, держа в руках лопату, широко расставив ноги, балансируя, старался подбросить уголь. Но судно металось, терзаемое бурей. Уголь попадал не туда, куда следует. Часто и сам кочегар, потеряв равновесие, опрокидывался и летел по настилке к другому борту. Быстро вскакивал и снова принимался за свое дело. Так или иначе, но топка заправлялась и гудела яростным огнем. Труднее приходилось, когда выгребали шлак. Он катался по всей площадке, раскаленный добела, обжигающий. Кочегары, обутые в большие деревянные башмаки, танцевали по железной настилке, извиваясь точно гимнасты,— только бы не свалиться. В то же время сверху обрушивалась вода и, попадая на раскаленное железо котлов и топок, разлеталась горячими брызгами, ошпаривая людей.

— Не зевай!

И чумазые «духи», замученные пытками бури, раздраженные ее каверзами, крыли всех богов, какие только существуют на свете.

Нам оставалось одно — держать судно против ветра и ждать улучшения погоды. Это означало, что мы имели направление обратно в Англию. Но так как машина работала только средним ходом, то нас сносило назад — не то к берегам Германии, не то к Голландии. Кто мог правильно сказать об этом, если мы давно уже сбились с курса и не имели понятия о том, где находимся? Барометр стал понемногу подниматься, хотя буря как будто еще усилилась.

Под колыхающимся сводом грязных и рваных туч, взмыливаясь, зыбилась серо-зеленая поверхность моря, вся в холмах и рытвинах; распухали водяные бугры, чтобы сейчас же опрокинуться в темные провалы. Напряженно выл неистовый ветер, вызывая в ответ рыкание бездны, охапками срывал гребни волн и дробил их в хлесткие брызги. В мутном воздухе, как белые птицы, носились клочья пены.

Одинокой черной скорлупой мотался «Коммунист», выдерживая чудовищный натиск бури. Раздавался удар за ударом — ни одной минуты отдыха. На трюмах ломались задраечные бимсы, рвались брезенты и раскрывались люки. Это были удары, направленные к тому, чтобы лишить судно плавучести.

Сколько у бури еще осталось предательских замыслов?

От них холодело в груди.

— Если море ворвется в трюмы...— заговорил немец и, словно испугавшись своей мысли, замолчал.

За него кончил другой, русский:

— Тогда пиши — всем нам крышка...

Но рассуждать было некогда. Матросы вместе с третьим штурманом, сознавая близость гибели, бросались на защиту «Коммуниста». Около одного трюма пришлось повозиться особенно долго. Он почти раскрылся совсем. Вокруг него происходила самая решительная схватка. На люк натягивали новый брезент. Ветер вскручивал его и срывал. Захлестывали взмывы волн, бурлили от борта к борту, завьюживали людей белыми космами пены. Человеческие фигуры, напруживая тело, изгибались, пучили глаза. Опасность удесятерила их силы,— мускулы превратились в гибкое железо, и пальцы, как острозубцы, впивались в мокрые края брезента. Некото-

рые по-собачьи фыркали и отплевывались от воды, забившей ноздри и рот. Наконец с одной стороны люка брезент удалось закрепить. Перешли на другую сторону. Штурман, боцман и матросы зажали брезент толстым железным шилом, навалились, уперлись, натуживая докрасна лица, а широкоплечий плотник, широко размахиваясь, вбивал обухом клинья. А когда почти все уже было готово, кто-то громко крикнул:

— Держись крепче!

Над судном поднялась стена, изогнутая, мутно-зеленая, как сплав стекла. Хрипло ухнув, она обвалилась на палубу и накрыла всех, кто работал у трюма номер три. Некоторые, не устояв под тяжестью воды, полетели кувырком. Одного матроса забило в штормовой полупортик — он удержался чудом, ухватившись за пожарный водопровод, а все туловище болталось уже за бортом. Его вытащили товарищи.

— Буря — это тебе, брат, не тетка родная. Тут гляди в оба.

Матросы покашляли, освобождая легкие от горечи и соли, и снова взялись заканчивать свою работу.

Старший штурман вздумал пробраться на корму, чтобы взглянуть, что делается в кают-компании, где давно уже разбойничало море. Волна, казалось, только и поджидала этого момента. Откуда она взялась? Вывернулась из бездны. В две сажени ростом, лохматая, она качалась, потрясая седой бородой. Она мягко подхватила его под руки, как маленького ребенка, окутала в белые пеленки пены и понесла к корме. Те, кто видел эту сцену, замер от ужаса, молча прощаясь с товарищем навсегда. Но тут произошла неожиданность: перед полуютом волна, зашипев, вдруг разрядилась и с размаху ударила штурмана о фальшборт. Он едва мог встать, с трудом поднялся на мостик, окровавленный, с разбитым лицом.

— Я вернулся с того света,— уныло проговорил штурман, шатаясь, как пьяный.

День приближался к концу.

«Коммунист» изнемогал. Дифферент на нос увеличился. Что делается в носовом кубрике? Один матрос решился посмотреть. Он долго целился и, уловив момент, когда нос судна высоко взметнулся вверх, бросился бе-

жать. Маневр удался: матрос очутился под прикрытием, защищающим вход в кубрик. Тот же способ он применил и при возвращении обратно, но за ним, неожиданно взметнувшись на палубу, бурно помчалась волна, потрясая взмыленным хвостом. На полпути она настигла его и, скрутив в черный ком, швырнула к каютам. Он вскочил, вбежал на мостик и там уже застонал, хватаясь за расшибленные колени.

— Кости целы? — обратились к нему другие.

— Целы.

— Ну, значит, пройдет.

А потом спросили о главном:

— Что в кубрике?

— До половины воды набралось. Волны гуляют. Разломали все переборки. Не узнать нашего жилья. Все наше добро пропало...

— Черт с ним совсем, с этим добром. Только бы до берега добраться...

Исступленно билась буря. Страшно было смотреть, когда вся передняя половина корабля зарывалась в море, когда буруны, вскипая, с грохотом катились к мостику, угрожая снести все надстройки. Останавливалось дыхание в ожидании надвигавшейся катастрофы. Но проходил момент, и нос судна, болезненно содрогаясь, снова выбирался на поверхность.

И опять наступила тягостная ночь. Она была похожа на бред и тянулась бесконечно долго.

Много раз выходил я из рубки. На мостике трудно было стоять: обливали волны, а ветер хлестал по лицу солеными брызгами, как плетью. Ослепляя, мутью давил бушующий мрак. Я прислушивался к враждебным звукам. Иногда казалось, что «Коммунист» окружен толпами невидимых врагов,— они рычали, выли сквозь зубы, ломали дерево, выбивали заклепки, царапали и грызли железо. И когда этому будет конец?

Я смотрел на штурманов: у них стиснуты челюсти, а в глазах, налившихся от соленых брызг кровью, как у алкоголика с похмелья,— напряженность и боль. «Коммуниста» сносило — куда? В клокочущую тьму, в горланящую неизвестность. А где-то в море разбросаны под-

водные рифы. В обыкновенную погоду штурманы знают, где скрываются эти чудовища с гранитными клыками. А где они теперь? Может быть, далеко, а может быть, рядом: притаились и ждут сбившихся с курса кораблей. Горе судну, если оно попадет в страшный оскал такого чудовища: гранитные клыки вонзятся в железное дно и не выпустят, пока не растерзают в бесформенные куски.

В рулевой рубке я встретился с эстонцем.

— Ну, что скажешь, товарищ Володя?

Он воскликнул на это:

— Эх, коробка наша горемычная! И как только выдерживает такую бурю!

Почти двое суток люди ничего не ели и не пили, двое суток провели без сна, мотаясь над зыбучей бездной, среди разверзающихся могил. Против «Коммуниста», нападая, действовал тройственный союз — ветер, волны, мрак. В неравной борьбе истощались последние силы. Отчаяние рвало душу. Нет, никогда нам больше не причалить к желанному берегу. Он пропал для нас навсегда в этом бушующем хаосе, мрачном и холодном, как сама пучина.

И безмолвно стонала душа моряка, истерзанная дьявольской злобой циклона.

Я настолько устал, что перестал ощущать страх. Сознание помутилось. Все стало противным. Казалось, что легче умереть у стенки, под направленными дулами винтовок, чем здесь, в этой буйноголосой тьме, в осатанелом реве бесконечности.

В рубке, перевалившись через стол, держась за края его, я, точно в бреду, видел, как вошел третий штурман, очень глазастый парень, и торопливо начал протирать бинокль. Мокрый весь, он стучал зубами и, волнуясь, говорил:

— Что-то там замечается. Сейчас узнаю...

Он еще что-то говорил, но мне вспомнились слова, сказанные про него одним матросом:

— Глаза у него вонзаются в темноту, как штопор в пробку.

Третий штурман выбежал, но через минуту-две вернулся.

— Маяк Боркум открылся! — торжествующе крикнул он.

Этому трудно было поверить, тем не менее все почувствовали себя окрыленными.

Вызвали на помощь второго штурмана, уходившего в машину погреться. Темные волосы его поседели от осевшей соли, поседели ресницы и брови. Он был похож на старика с молодым, энергичным лицом. Все три штурмана смотрели в черную даль. Там, как маленькие звезды, виднелись три огня: красный посредине и два белых по краям. Да, это был Боркум, тот самый маяк, который нам так нужен,— наша радость, наша надежда на возвращение к жизни.

Предстоял еще один опасный момент: удастся ли повернуться на свой правильный курс?

— Лево на борт! — скомандовал первый штурман и в то же время звякнул машинным телеграфом.

Машина заработала полным ходом. Море накрыло волною всю палубу от носа до кормы. Корабль, казалось, напрягал последние силы — погружался в кипящие провалы, падал с борта на борт и упорно поворачивался влево.

В разрыве черных туч показалась молодая луна. Это небо серебряным полуглазом смотрело с высоты, следило за нашим рискованным маневром.

Наконец услышали громкий голос того же штурмана:

— Так держать!

— Есть так держать! — обрадованно ответил рулевой.

Напрасно злился циклон, упуская свою добычу,— с каждой милей море становилось мельче, а волны теряли силу.

На второй день к вечеру «Коммунист», потрепанный в отчаянной схватке, израненный, медленно входил в Кильский канал. Муки наши кончились.

Улыбками осветились усталые лица моряков.

Еще через день на «Коммунист» явились рабочие, чтобы приступить к ремонту. Они искренне пожимали нам руки, поздравляли.

Тут только мы узнали о жертвах циклона. Оказалось, что в Северном море погибло пять судов.

— Три парохода и два парусника,— пояснил один из рабочих.

— А из людей кто-нибудь спасся? — справились наши матросы.

— Да, несколько человек на одном паруснике. Они привязали себя к мачтам. Их сняли через двое суток.

Матросы широко раскрыли глаза, придвинулись ближе к говорившему рабочему.

— Живыми?

— Да, живыми. Но их всех отправили в сумасшедший дом.

Мы тоже видели смерть. Она дышала холодом бездны, так близко раскрывавшейся перед нами, рвала нас лохматыми лапами циклона. Теперь ничто нам не угрожало — палуба под ногами не качалась, твердая земля находилась рядом. И все-таки, услышав о гибели других моряков, еще раз почувствовали зябкую дрожь на спине.

На «Коммунисте» застучали молоты, восстанавливая разрушенные части.

В БУХТЕ «ОТРАДА»

В волнах Балтийского моря мерно покачивался наш пароход, преодолевая встречный ветер и ночной мрак, держа курс к далеким берегам Англии, а в кают-компании при свете электрической лампочки пожилой и полный механик рассказывал мне свою историю.

...Я, если хотите знать,—человек мирный. Во время каких-нибудь скандалов и столкновений других люблю держать нейтралитет. Это уж в моем характере. О политике люблю только послушать, но почти не занимаюсь ею. Для этого, я полагаю, есть другие люди, которые могут протанцевать на острие ножа и не обрезаться. А мое дело — знай работай. Это у меня с детства, из деревни, где вместе с отцом я немало земли переворочал.

Должен сказать, что на военной службе мне везло. Начал я с матроса второй статьи, как полагается нашему брату, а на второй год уже плавал кочегаром. Потом благодаря своему старанию добился, что меня назначили в школу машинистов самостоятельного управления. Через два года успешно кончил ее. Дальше пошло само собой: дослужился до судового кондуктора, а после революции получил звание механика. Правда, для этого мне пришлось потратить двадцать с лишком лет упорного труда. За это время много судов переменил. Плавал на броненосцах, крейсерах, миноносцах, подводных лодках. И, не хвастаясь, скажу, что всю судовую механику на практике прошел и знаю ее так, как едва ли знает любой мусульманский мулла свой коран.

При царском режиме я не особенно любил власть — она всегда казалось чужой, не народной. Правда, воевал за нее, но только потому, что нельзя было не воевать. А тут еще об измене заговорили. Под яростным натиском немцев ломалась Россия, слезами и кровью истекал народ. Наконец всплыл Гришка Распутин. Все это очень раздражало меня, но не настолько, чтобы я мог зашипеть, как волна у скалы, и стать революционером... Нет, я честно исполнял свою работу.

А революция все-таки пришла, пришла помимо меня. Ураганом налетела она и развеяла всю старую власть, как мусор. Скажу откровенно — в груди моей загорелось новое солнце. Вместе с другими я чувствовал себя перерожденным. Дальше этого мне не хотелось идти. Однако недолго продолжались медовые месяцы. Истории неугодно было справляться с моими желаниями, и она продолжала разворачиваться по-своему. В революционной стране еще раз произошла революция. Потом, как вам уже известно, началась гражданская война.

Все это очень не нравилось мне. Я насторожился.

Еще раз повторяю, что я человек мирный, люблю тишину и покой. И все-таки циклон революции одним крылом захватил и меня. До сих пор не могу без дрожи вспомнить об одном случае, какой выпал на мою долю.

В то время я находился на далекой окраине России — в царстве белых. Отсюда именно поднимались «спасители» отечества. Забряцали сабли, засияли разные погоны, до генеральских включительно. К восставшим присоединились попы, благословляли их на ратный подвиг золотыми крестами и усердно служили молебны. Везде, бывало, только и слышишь:

— За возрождение родины!

Хотели и меня мобилизовать, но этот номер не прошел: я уже отпраздновал сорок девятые именины. Поступил механиком на коммерческий пароход «Лебедь». Судно это было небольшое, в тысячу тонн, и годами чуть ли не ровесник мне.

По-прежнему я строго держался своего правила — сохранять во всем нейтралитет. От политики подальше, а труд, где бы он ни происходил, всегда останется только

на пользу человечества. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Мобилизовали моего старшего сына Николая. Прослужил он несколько месяцев, а потом, не будь дурным, взял да и дезертировал из армии. Явился голубь домой.

— Здравствуйте, папа и мама!

Так мы и ахнули с женою. Сколько хлопот наделал нам, сколько страху нагнал на своих родителей.

Что, думаем, теперь делать?

Далеко на севере есть приятель у меня, верный друг — Саим. Решаю отправить сына к нему. Иначе пропадет парень. А там — сам черт его не найдет!

Говорю:

— Поезжай, Николай, к Саиму. Дам денег. Переждешь у него, пока вся эта кровавая суматоха не кончится. А там, глядишь, и домой благополучно вернешься.

Парень он у меня работящий и послушный. Против родителей никогда и ни в чем не возражал. Грех пожаловаться. Любимец мой. А тут заупрямился.

— Не для того,— говорит,— я из армии убежал, чтобы прятаться, как налим под камнем. Я хочу сражаться за правду...

— Какая,— спрашиваю,— тут правда, когда поднялся брат на брата и кровь на свою кровь пошла?

Нет, не уговорить его. Одно — стоит на своем. До слез ведь довел нас с женою.

Ушел в сопки к партизанам.

Тяжелое горе свалилось на мою седую голову. Задумался я. Сделаю рейс, вернусь домой, и что же? Чувствую безотрадную пустоту в своей собственной квартире. Жена в слезах, увидит меня — начинает пилить:

— Брось ты на этих лиходеев работать. Как тебе не стыдно против родного сына идти?

Она у меня из простых, малограмотная, но женщина хорошая.

Возражаю ей:

— Мое судно не военное, а коммерческое. Ты это сама знаешь. Значит, я сохраняю нейтралитет.

— Подумать только, какое слово выдумал! А мне наплевать на твой нейтралитет...

Есть у меня сынишка, Павлик, черноглазый крепыш, такой шустряга, каких мало на свете. Ему тогда только

что на пятнадцатый перевалило. Услышав наш разговор с женою, заявляет самым серьезным образом:

— Идем, папа, к партизанам, и больше никаких.

Смотрю на него, сдвинув брови.

— Откуда это тебе в голову пришло?

Обиженно отвечает:

— Егоркин отец вместе с партизанами сражается. А мы что глядим? Буржуям, что ли, продались?

Егорка Сурков на год старше моего сына, дружит с ним. А отец его — бывший токарь из Петрограда, служил машинистом на «Лебеде» и за месяц до этого сбежал с парохода.

Постучал я по столу кулаком.

— Вот что, Павлик, такие мысли выкинь из головы. Чтобы я больше не слыхал об этом. Тебе учиться надо. Слышишь?

Мальчонка насупился, как галчонок в ненастье, и басит.

— Слышу. Я, поди, не глухой.

— Еще что скажешь?

— Трусишь ты...

Обидно мне стало. Щелкнул я его раза два по голове. И что же вы думаете? Вместо того, чтобы испугаться, выпалил мне:

— Я все равно к красным убегу.

Ну, думаю, все на свете пошло вверх торманом. Революция запутывает в хитроумный узел и мою семейную жизнь — не распутать.

Дошло до того, что свет стал не мил. И чуяло сердце, что этим беда не ограничится.

Так и случилось.

Выбрали меня в правление союза моряков. Не хотелось идти на такой ответственный пост и в такое грозное время. Отказывался, долго упирался,— уговорили.

Продолжаю плавать на своем «Лебеде», а после каждого рейса хожу на собрания, общественные дела выполнять. Присматриваюсь вокруг — власть круче и круче заворачивает вправо. А тут еще иностранные войска появились, помогают нашим генералам творить черное дело. Вся жизнь в наморднике, как будто никогда и не было революции. И морякам плохо — прижимают. Работы по горло.

Получаю сведения от Николая. Жив и здоров он. Сообщает, что сила их увеличивается, растет. Я все чаще начинаю задумываться о целях моего сына.

Грозовые тучи нависли над Россией. И вся она — в пожарах и дыму, в крови и в слезах, распинаемая гражданской войной. Шарахается народ из стороны в сторону, от одной власти к другой, добивается своего счастья. А кто доподлинно знает, где скрывается солнце правды? Я только одно замечаю, что история идет своим чередом, движется вперед — не прямо, а с какими-то громаднейшими зигзагами. Куда приведут эти запутанные пути?

Позднее у меня началось прояснение. Правда, я не очень-то восторгался красными. Я понимаю так: пусть в прошлом человек был только кладбищенским сторожем, а революция может поставить его во главе государства, если соответствует у него голова. А тут слишком просто поняли слова из «Интернационала»: «Кто был ничем, тот станет всем...» Отсюда — был баран, стал барон: на автомобиле запузыривает. Другой никуда больше не годен, как только быкам хвосты накручивать, а он в кабинете заседает, и без доклада к нему не входи. Много и других уродств замечал я. Но наряду с этим среди красных есть действительно головы.

Неужели, думаю, они не выведут народа на путь лучшей жизни? Сравниваю: а что среди белых? Одна мутная пузырчатая пена. Что это за «спасители» родины, которые опираются на штыки иностранных войск? Таким образом, постепенно, под влиянием разных событий, мой нейтралитет изветшался и не мог уже больше спасать меня от революции, как дырявый зонтик от дождя. Куда-то нужно примыкать. Мое сочувствие переходит на сторону, где находится старший сын. Я начинаю увлекаться общественной работой. И все чаще произношу: мы, что пришли от полей и фабрик, от рудников и заводов, и они, что спустились с парадных подъездов и нарядились в золотые погоны. Сквозь кровавую мглу уже стала мерещиться другая жизнь, обновленная в купели революции.

Однажды прихожу в союз моряков, а там — засада. Схватили меня, скрутили.

— Механик еще, а негодяем заделался,— говорит один из охранников.

Обычное мое спокойствие взорвалось.

— Я никогда негодяем не был и вам не советую быть.

— Молчать! — кричит тот и браунингом размахивает.— А то сразу заткну глотку свинцом!..

Никогда я раньше не думал, что могу так разозлиться. Выпячиваю грудь, налезаю:

— Не испугаешь. Я уже пожил на свете. Бей!

— Посмотрим, что через несколько дней запоешь.

— Подумайте лучше о том, как бы вам не пришлось запеть вавилонскую песню.

Вот ведь до чего сорвался — сам в петлю полез.

Засадили меня в трюм железной баржи. Нас там набралось человек с полсотни. А с арестованными тогда расправлялись очень просто: уводили баржу в море и выбрасывали людей за борт — рыбам на пищу.

Смотрю на своих товарищей — обреченность в их глазах. И у самого остро ноет сердце. Думается, как теперь дома, знают ли, в каком положении я нахожусь? Никнет моя седая голова, копошатся безотрадные мысли, как пойманные раки в ящике,— нет выхода. Начинаю раскаиваться, что напрасно отступил я от своего постоянного правила — во всем быть осторожнее.

Однажды на военной службе я так же вот сорвался, но сейчас же все дело поправил. В то время я был машинным квартирмейстером. Дело произошло пустяковое. Один мой приятель, тоже машинный квартирмейстер, спрятал на судне бутылку водки, принесенную с берега. Никто об этом не знал, кроме меня. И бутылка все-таки пропала. Встретился я с приятелем на шкафуте. Он вдруг на меня набросился.

— Ты бутылку взял?

Я загорячился.

— Ты что — обалдел? Знаешь ведь, что водку совсем не пью.

Слово за слово — схватились. Он мне два зуба вышиб, а я ему нос набок своротил. Не знаю, до каких пор мы лупили бы друг друга, если бы не услыхали грозный оклик:

— Стойте! Что вы делаете?

Глянули — перед нами старший офицер. Сразу оба вытянулись.

— Играем, ваше высокоблагородие! — первый ответил я.

— Играете? — переспросил старший офицер и посмотрел строго на наши окровавленные физиономии.

— Так точно — играем, ваше высокоблагородие,— подтвердил и мой приятель.

Что оставалось старшему офицеру делать? Расхохотался, схватившись за живот, а нас послал умываться. Таким образом мы избавились от карцера.

С тех пор за всю военную службу у меня ни одного скандала не было.

Однако я отвлекся. Вернусь к своей барже. Два дня просидел я в ней, а на третий вызвали меня на допрос в охранку.

— Что вы, господин Раздольный, делали в правлении союза моряков?

Следователь, штабс-капитан Аносьев, сидит по одну сторону стола, а я по другую. В его лице ничего нет зверского, о чем я понаслышался от других. Напротив, самое безобидное лицо с маленькой русой бородкой и короткими усами. На голове — прямой пробор, такой ровный, точно бритвой по линейке проведен.

Я показание даю спокойно, не торопясь, обдумываю каждое слово. Упираю больше всего на то, что политикой, мол, мы не занимались, что наши задачи чисто экономические. Наворачиваю так складно, точно веревочку вью. Следователь подпер руками голову, слушает устало и смотрит на меня так, как будто во всем со мною соглашается. А потом вдруг спрашивает тихо, почти дружески:

— А где находится ваш старший сын, Николай?

Во рту у меня сразу стало сухо.

— До сих пор в армии служил. Вам об этом лучше знать.

Следователь откинулся на спинку стула и повысил голос:

— Да, мы лучше знаем. Мы знаем, что одно время он скрывался у вас на квартире, а теперь разбойничает вместе с партизанами.

Я почувствовал, что следователь свалил меня в гроб.

— Может быть, господин Раздольный, вам неизвестно и то, что правление союза моряков — и вы в том числе — снабжало партизан оружием?

Надо мною захлопнулась крышка, и нечем стало дышать.

Только и мог я ответить:

— Ничего не знаю.

Раздался новый звонок. Явились вооруженные люди. Штабс-капитан Аносьев, кивнув в мою сторону головой, спокойно приказал:

— Уберите его.

Опять я очутился в железной барже. Таскали и других на допросы. Целую неделю так продолжалось. А потом началась сортировка — кого на свободу, кого в тюрьму. На барже нас осталось всего пятнадцать человек. С этих пор в нашем мрачном трюме поселилась смерть. Люди перестали есть, быстро чернели, часто вскакивали по ночам. Безнадежно было, хоть вдребезги расшиби свою голову. Днем у выходного люка беспрерывно сторожили часовые, а на ночь, кроме того, он закладывался тяжелыми лючинами и запирался на замок. Что нам оставалось делать? Мы ждали-ждали, когда баржу возьмут на буксир и поведут в море. С поразительной ясностью представлялось, как на шею каждого из нас привяжут мешок с углем и начнут выбрасывать за борт. А родственникам сообщат, что арестованных выслали в Советскую Россию. Так, по крайней мере, поступали со всеми, кто попадал в трюм этой страшной баржи до нас. Об этом мы хорошо знали и заранее до дрожи ощущали на себе холод глубокой бездны.

Все съежились и притихли перед неизбежностью. Особенно мучительны были те моменты, когда к барже приближалось какое-нибудь паровое судно. Шум гребных винтов приводил нас в оцепенение. Сердце падало от страшной догадки: не за баржей ли пришли? Бледнели лица, безжизненно отвисали посиневшие губы. Некоторые, не мигая, смотрели пустыми глазами на люк. От страха с двумя началась рвота, как при морской болезни...

Так повторялось каждый день.

В баржу к нам неожиданно попал и машинист Сурков. Его привезли вечером. Это был крупный человек, не-

много сутулый, но крепкий, как якорная лапа. Его лохматые волосы были засорены трухой от сена. Он заговорил бойко и весело, точно попал не к смертникам, а на именины:

— Вот и я к вам, товарищи! Здорово бывали!

Все бросились к нему, обступили тесным кольцом.

— Рассказывай, что делается на свете.

— Дела хорошие. Красные войска прут вперед на всех фронтах. Что? Партизаны?

Сурков оглянулся и возбужденно зашептал:

— Скоро у нас будет дивизия. Рабочие и крестьяне — порох. Каждый день прибывают к нам новые люди. И оружие есть. Три дня тому назад и я отправил в отряд полсотни ручных гранат, несколько винтовок и один пулемет. Что? Откуда взял? Солдаты передали и сами перешли к нам. Восемь человек. Караульные. А наша разведка? Каждый день получаем сведения из города. Все знаем, что там делается, знаем даже, что кушают белые генералы. Про одно только не знаю,— куда это запропастился мой сорванец?

— Кто это — сорванец? — осведомились мы у машиниста.

Не отвечая, Сурков вдруг обратился ко мне:

— Ты, старик, ничего не слыхал про своего пистолета?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Да Павлушка-то твой и Егорка мой — где?

Что-то жуткое повисло в трюмном воздухе. Я обалдело смотрел на Суркова, приоткрыв рот. А он, несуразно высокий, нагнулся надо мною, сразу потемнел и выдавил кривыми губами:

— Да, брат, оба исчезли. Не то их арестовали, не то еще что случилось...

Сообщение товарища сдавило мне горло. Как я не сдох в эту ночь? Железное дно баржи показалось необыкновенно холодным. Все тело дрожало, как в лихоманке. Много раз я поднимался, переспрашивал Суркова и снова ложился, оглушенный его ответами. Весь мир представлялся мне в виде сумасшедшего дома...

Днем Сурков заявил нам:

— Раз я засыпался — и засыпался безнадежно,— то мне нечего больше ждать.

— А что можно поделать? — спросил кто-то.

Сурков сжал кулаки. Гневом загорелись коричневые глаза.

— С моей силой да чтобы умирать смиренным ягненком? Нет! Я поступлю иначе...

Он попросился у стражи «оправиться». Его вывели наверх. Вскоре мы услышали рев голосов, топот ног и ружейные выстрелы. Что случилось там? Мы ничего не знали. Только больше уже не видели ни нашего Суркова, ни того курносого часового, что повел его наверх.

После этого другой часовой угрожающе бросил нам:

— Вас всех нужно перерезать.

Пример машиниста не заразил нас. Мы сидели на дне баржи, скрюченные, безвольные, уныло ожидающие своего смертного часа.

На второй день я услышал голос сверху:

— Раздольный! Выходи!

В первый момент мне стало холодно, точно я оброс ледяной корой, но сейчас же бросило в жар.

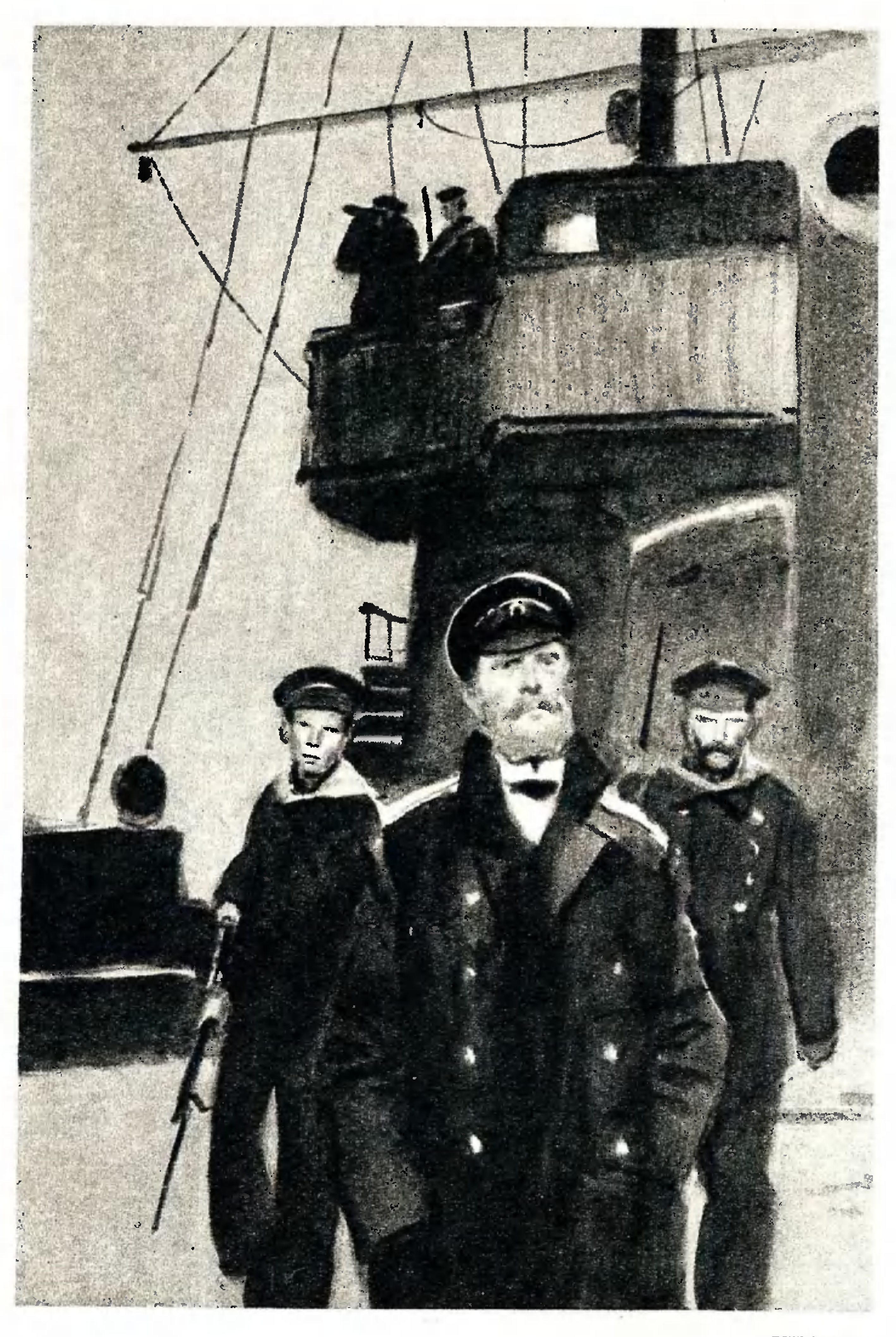
Когда высадились на берег, я не знал, куда ведут меня часовые. Ноги потеряли свою упругость и гнулись, точно были восковые. Казалось, не тело, а сама душа качалась, как одинокое дерево под ветром. Посмотрел на ласковую синь неба, вдохнул полную грудь свежего сентябрьского воздуха,— стало легче.

Около пристани нас поджидал паровой катер. Минут через пятнадцать я был переброшен на свой «Лебедь». На нем находились офицеры с револьверами и сотни три солдат и кадетов, вооруженных винтовками, пулеметами, ручными гранатами. Кроме того, было десятка полтора лошадей. Отупевшим мозгом я сообразил лишь одно, что моя казнь, очевидно, отсрочена. Все эти люди затеяли какое-то серьезное дело, где мое присутствие необходимо. Но в этом для меня мало было утешительного.

Вместо прежнего капитана судном командовал знакомый лейтенант. Он призвал меня на мостик и заговорил строгим голосом:

— Это я вас вызвал на судно. Смотрите, чтобы все было в исправности. Если хоть что-нибудь заметим, то расчет будет короток. Я надеюсь, что вы понимаете меня...

На момент во мне загорелась надежда, и я умоляюще смотрел на бритое лицо лейтенанта.



«УХАБЫ»



«УХАБЫ»

— С якоря сниматься через полтора часа. Можете идти.

— Есть! — машинально ответил я.

В сопровождении часового спустился в машинное отделение.

На токарном станке трое машинистов пили чай и мирно разговаривали. Один из них, рослый и развязный человек, по фамилии, как после узнал, Маслобоев, при виде меня весело засмеялся:

— А, господина большевика привели.

Я хотел возразить на это, но смолчал, ибо начал приходить в себя. Спросил только:

— Вы на каком судне плавали раньше?

Маслобоев оказался очень болтливым и отвечал на все охотно.

— Раньше? Хо-хо-хо... Я не плавал, а, можно сказать, летал, летал на сухопутных скороходах. Я передвигал составы в сотню вагонов.

Он навеселе. Глаза у него влажные, а на крупном носу фиолетовые жилки, тонкие, как паутина. Вахта его начинается часа через два.

Еще машинист Позябкин, широкий и тяжеловесный. Этот — угрюмо молчалив, болезненно задумчив. Он стоит на вахте.

Третий — молодой и кудрявый парень. Улыбается широко, смотрит доверчиво. Он как будто сочувствует мне. Ему вступать на свой пост не скоро. Он заявляет:

— Пойду в кубрик: сочинением храповицкого займусь. В случае чего — разбудите меня.

Заглядываю в кочегарку. Часовой не отстает от меня. Там происходит галдеж: судовые кочегары спорят с сухопутными, размахивая кулаками. Я сразу понял, в чем дело. Оказывается, что в одном котле пар поднят до марки, а в другом — стрелка манометра показывает всего лишь шестьдесят фунтов давления.

— Это вам не паровоз, черт возьми! — кричит один судовой кочегар.

— А какая разница? — спрашивает его сухопутный.

— Разница такая, что в этом деле вы понимаете столько же, сколько лангуст в библии.

Потом обращаются ко мне:

— А ну-ка, большевицкий механик, разберите, кто из нас прав.

Из прежней команды — ни одного человека. Очевидно, они все арестованы.

Откуда собрали этих людей?

Я не стал их разбирать, а сейчас же полез на кожух, чтобы соединить пар обоих котлов. Все это сделал в одну минуту. А когда слез, научил кочегаров, как держать пар в котлах. Затем распределил вахту,— оставил только двух человек, а остальных отослал отдыхать,— и вернулся в машинное отделение.

Осматриваю машину. Загрязнена она, в ржавчине и запустении. Испытываю отдельные части, смазываю; привожу все в порядок. Мрачный машинист Позябкин помогает мне довольно добросовестно.

Подвахтенный, машинист Маслобоев, пьет чай и говорит всякий вздор. Одно лишь я замечаю — он очень заинтересован мною, точно я представляю собою редкую диковинку. Пристает с разными вопросами.

— Коммунисты собираются устроить рай на земле и хвалятся, что они все знают. А скажите мне, господин большевик, знаете ли вы, какой в мире самый несчастный ребенок?

Он помолчал, вытянув ко мне длинную шею. Не дождавшись ответа, торжествующе рассмеялся. Потом замахал правой рукой, точно на балалайке заиграл. Я услышал его хрипучий голос:

— Значит, не можете ответить. Хо-хо. Так я вам скажу. В мире самый несчастный ребенок — это поросенок: у него одна только мать — и та свинья. А это потому вы не знаете, что в цирк не ходите...

Но я, не обращая внимания на издевательства Маслобоева, осторожно спрашиваю его:

— Долго нам придется быть в пути?

— Пустое: часов пять.

— Куда же это мы направляемся?

Каждое слово его ершом топорщится у меня под черепом, колет:

— Одно только знаю, что идем партизан лупить. Хо-хо, будет горячее дельце. Алеша, ша! Не пикни! Тут сила...

Из памяти у меня не выходит сын. Поблизости нет

других партизан, кроме того лишь отряда, где находится Николай. Вернее всего — туда именно направляется «Лебедь». В сопках недалеко от моря находятся партизаны. Быть может, они отдыхают. И никто из них не подозревает, что скоро на берег высадится десант, хорошо вооруженный. Окружат их, переловят. А потом начнется расправа. Может случиться даже так, что в последний момент Николай увидит своего отца.

Что он подумает обо мне?

У меня конвульсивно задергались губы.

— А вы, господин большевик, должно быть, кур воровали? — спрашивает меня Маслобоев.

Поворачиваю голову. Качаясь, двоится знакомое лицо с большим носом, насмешливо скалятся зубы.

— Каких кур?

— Не знаете? Хо-хо. Отчего же у вас руки трясутся?

Скоро заработала машина. Немного времени спустя пароход начал покачиваться. Я понял, что мы выходим в открытое море.

Часовой все время смотрит за мной. Помимо винтовки — у него еще ручная граната. За пояс заткнута. Своим присутствием он как бы напоминает мне, что судьба моя решена — смерть. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Сделаю только рейс, а дальше — балласт на шею и в морскую пучину. А тут еще Николай в воображении рисуется: светловолосый, с синими глазами, живой и любознательный; вот он мечтает, подготовившись, поступить в технологический институт, и я ему сочувствую в этом. И что же? Этот здоровый и румяный парень, которому жить бы и жить, скоро будет уничтожен.

Голова моя разваливается от горьких дум.

Я работаю машинально, без участия мозга, только благодаря многолетней практике. Руки сами знают, что нужно делать.

С каждым ударом моря, при каждом крене часовой пугливо озирается. Лицо у него становится бледным, с зеленоватым оттенком, глаза мутнеют. Он положил винтовку на настилку, а сам держится за токарный станок, чтобы не свалиться.

— Чтоб дьяволы слопали вас вместе с кораблем! Ох, до чего мутит...

На машиниста меньше действует качка. Он рассказывает мне:

— Где Зубаревский отряд партизан? Уничтожен. А где Чижаевская шайка? Всю ее переловили и на солнышко посушить повесили. Чудак! Тут пушки, винтовки, пулеметы, а там только дробовики да самодельные пики. Куда уж эти бараны лезут сражаться против львов?

Я стараюсь не слушать Маслобоева, но слова сами назойливо лезут мне в голову. Он кажется мне исчадием ада. Хочется броситься на него, столкнуть его под размах мотыля, чтобы машина окрасилась человеческой кровью. Но я молчу. Только крепче стискиваю зубы.

Маслобоев подходит ко мне ближе.

— Скажи на милость, господин большевик, зачем это ваши коммунисты хотят свергнуть самого бога?

Обыкновенно я очень осторожно и терпеливо относился к религиозным чувствам другого человека. А тут случилось нечто странное. Глаза у меня полезли на лоб. Я придвинулся к машинисту почти вплотную. Он взглянул на меня и сделал шаг назад.

— У вас лицо злое, как морда у рыси.

Как я удержался, чтобы не вцепиться в его горло? Вместо этого я начал шарлатанить.

— Не в этом дело, господин машинист,— говорю я сквозь зубы.— Теперь я задам вам вопрос.

— Ну?

— Жена у вас есть?

— Да.

— А бога любите?

— Бога нельзя не любить: он есть альфа и омега.

— Так. Теперь скажите: что вы стали бы делать, если бы свою жену застали спящей в постели с самим богом?

Маслобоев дернулся, ощетинился и громко крикнул:

— Дьявол!

Он повернулся и быстро полез по железным трапам наверх.

В этот именно момент и родилась у меня мысль, от которой самому стало страшно.

Я попал в неприятельский стан. А война есть война. Не я выдумал ее, будь она трижды проклята. Тут — кто кого одолеет: если не мы их, то они нас. А сам я что

теряю? Впереди у меня так или иначе — черная пасть смерти. Ладно! В таком случае всем могила — на дне моря.

До сих пор не могу понять, что тогда произошло со мною. Я действительно превратился в дьявола.

С холодной ясностью я создавал план уничтожения. Кого? Живых людей. А те, что в сопках скрываются, разве падаль какая? И в окаменевшем сердце не было больше ни чувства жалости, ни угрызений совести.

Вахтенный по-прежнему угрюмо молчал.

— Куда это направляется наше судно? — обратился я к нему.

Позябкин взглянул на меня, как городовой на нищего.

— Об этом спросите у командира,— отрезал он и отвернулся.

Встряхивает бортовая качка. В вентиляторы доносится гул ветра.

Скользко шмыгают в цилиндрах поршни. Лениво ворочаются эксцентрики. Зато усердно размахиваются мотыли, точно не желая отстать один от другого в работе. Напряженно вращается гребной вал. А я под этот привычный шум звуков произвожу свои расчеты, взвешиваю каждую мелочь.

Нужно открыть крышки кингстонов. Море тогда ворвется внутрь судна с невероятной силой. Но этого мало. Чтобы судно погибло, должны водою наполниться и трюмы. А для этого необходимо открыть клинкеты — те железные задвижки, посредством которых машинное отделение соединяется с ближайшими трюмами. А спасательные помпы? Для них немного надо — достаточно несколько ударов кувалды, чтобы вывести их из строя...

Но как это все проделать?

Я смотрю на часового — он лежит пластом, хоть живьем бери его.

Начинает укачиваться и вахтенный. Он мне заявляет:

— Я свои часы отстоял. Пойду искать Маслобоева.

Отвечаю ему очень вежливо, с поклоном:

— Пожалуйста.

Я воспользовался его отсутствием и осмотрел клинкет заднего трюма.

К моей большой радости, он оказался открытым. Мне оставалось сделать только, чтобы не могли его закрыть,— я намотал на резьбу шпинделей проволоку. После этого приготовил около кингстонов кувалду, зубило, ключ для отвинчивания гаек. Сходил в кладовку и на всякий случай захватил с собою пробковый нагрудник. Можно приступить к делу. Но тут приходит мысль, что из этого ничего не выйдет. Меня могут убить раньше, чем я возьмусь за разрушительную работу. А мне хочется бить наверняка, без промаха, хочется видеть гибель противника своими глазами.

На вахту является Маслобоев. Он уже не кажется мне злодеем. Я первый заговорил с ним:

— Ну, что хорошего наверху?

Маслобоев обрадованно замахал рукой, сообщая:

— Эх, разъярилось море! Ветер — беда. Берегов не видно. Наша пехтура валяется вся и корежится, точно холерой заразились. Как вы думаете, господин большевик, после такой встряски могут солдаты сражаться или нет?

— Не знаю. А вот что скажите мне: почему вы величаете меня большевиком? Я даже во сне никогда большевиком не был.

— Рассказывайте! Хо-хо. Сову видно по полету, а молодца — по мыслям.

Он подумал немного и добавил:

— Сколько собака ни крутись, а сзади все хвост останется.

Я учу его, как нужно ощупывать размахивающие мотыли. Без привычки это трудная штука: можно ушибить руку. И удивительно: я беспокоюсь о таком пустяке и нисколько не задумываюсь над тем, что этот человек вместе с другими обречен на смерть. Маслобоев не может молчать.

— Чего только коммунисты добиваются? Не могу понять.

— Да, трудно понять. Для этого нужно иметь в голове, кроме насекомых, еще что-то...

Машинист что-то возражает мне, но я не слушаю его. У меня создается новый план. Решаю взорвать цилиндр.

Мне, как механику, выполнить это ничего не стоит.

Тогда машинное отделение превратится в ад кромешный, куда никто не посмеет спуститься для спасения судна. А я буду действовать совершенно свободно...

Раздался свисток. Я пошел к переговорной трубке.

— Сколько машина дает оборотов? — спросил командир.

— Пятьдесят восемь,— ответил я.

Командир рассердился.

— Дайте до семидесяти оборотов!

— Есть. Но должен сказать вам, что кочегары плохо работают.

— Передайте им, что я их арестую...

— Есть!

Я передал кочегарам приказание командира. Они посмеялись надо мною, но все-таки взялись за лопатки и начали подбрасывать уголь в топки.

К осуществлению своего плана я приступил не сразу. Это довольно сложная затея. Вам, как не специалисту, пожалуй, не понять. Но попробую все-таки пояснить. Дело в том, что все работающие части машины построены на принципе точного расчета. Мое дело — нарушить эту точность. Я увеличиваю смазку цилиндров больше, чем следует. Масло, попавшее в цилиндры, поступает потом в холодильник, а оттуда через воздушные насосы и питательные помпы добирается до котлов. Кроме того, я перепитываю левый котел. Все это нужно для того, чтобы получилось вскипание в котле: вода забурлит и вместе с паром бросится в машину. А это поведет к взрыву цилиндра.

Смотрю на водомерное стекло левого котла,— вода в нем достигает на три четверти. Дело идет отлично. С нетерпением жду взрыва, бездушный и холодный, точно кусок железа в мороз. Водомерное стекло начинает белеть,— страшный момент приближается.

Вдруг из глубины души, как со дна моря, всплывает новая мысль: отставить все это. Потопить корабль я успею в любое время. Мне нужно посмотреть сражение. И еще вопрос: куда мы идем? Вернее всего, я здесь слукавил перед самим собою: просто мне хотелось еще пожить час-другой.

Я убавил ход машины и побежал в кочегарку.

— Закройте поддувало левого котла! — крикнул я.— Убавьте огонь! Нам грозит опасность...

На этот раз кочегары быстро исполнили мое приказание. Вероятно, и в голосе и в выражении лица они почувствовали тревогу.

Я вернулся в машину и устало опустился на табуретку. Отдохнул, прислушиваясь к гулу моря. Потом, когда опасность миновала, увеличил ход машины.

Маслобоев опять пристает ко мне с разговорами.

— Слышал я, что в вашем коммунистическом царстве обедают наизусть! Правда это?

— А здесь? — спрашиваю я.

— У нас пока слава богу. А в случае чего — иностранцы помогут.

Иностранцы — мое больное место. Я раздраженно кричу:

— За что? За ваши глаза?

— Это неважно, за что. Но помогают и будут помогать.

— Они так помогут, что у каждого русского человека от жилетки одни рукава останутся.

Мы разговаривали так до тех пор, пока не прекратилась качка. Вой в вентиляторах точно оборвался. Машинист сорвался с места.

— Пойду взглянуть, что делается наверху.

Поднялся с мостика и мой телохранитель, весь грязный и все еще похожий на зачумленного.

Несколько раз звякал машинный телеграф, передавая распоряжения с мостика. Я останавливал машину, потом давал ход назад и опять повертывал регулятор на «стоп». Немного погодя послышался грохот якорного каната. В машинном отделении стало тихо.

— Кончилось, что ли, наше путешествие? — спросил часовой, оправляясь от морской болезни.

— Об этом знают только на мостике.

— Чтобы провалиться в тартарары вашему кораблю. Пусть на нем водяные лешие плавают, а не люди.

Я только теперь заметил, что лицо у него добродушно-пухлое, обросшее щетиной, с наивной прозрачностью в широко открытых глазах. Этот парень, проживший на свете лет двадцать пять, по-видимому, ничего не пони-

мал в российских событиях. Что-то кольнуло в груди, но я остался тверд к своем решении.

Спрашиваю:

— Не понравилось плавать?

— Хорошо, что служу на берегу. Пропал бы я в море.

Является Маслобоев.

— Вот это новость! Одного партизана уже видели. На велосипеде появился между сопок. Вот жулики — разведку поставили, а? Точно настоящие воины. А только как увидел, что тут прибыли не в жмурки играть,— эх, и стрекача задал назад! Где же им против нас! Одно только им остается — смазывай пятки и в лес...

Я напрягаю всю силу воли, чтобы не выдать своего волнения.

Вставляю с напускным равнодушием:

— Значит, никакого сражения не будет.

— А для чего лошади взяты? Догонять. Там уже начинают шлюпки спускать.

Топот ног и отдельные выкрики доносятся сверху, подтверждают слова Маслобоева, пронизывают тело как электрическим током. Но меня интересует другое. Спрашиваю, как бы между прочим:

— Где это мы остановились?

— В бухте... Как она, шут возьми, называется? Да, бухта «Отрада». Кругом сопки. Дикое место...

Машинист еще что-то говорил, но я ничего уже не понимал. Мы пришли туда, где находится мой сын. Недалеко начинается глухая тайга. В ней скрывались партизаны. Отсюда делали набеги на села, уничтожая милицию и вооружаясь. Об этом я знаю из последнего сообщения Николая. Он уверен был, что их ни за что не найдут. Но их открыли. Сейчас начнут уничтожать.

Стучало в висках, а в голове — точно размахивались мотыли. Сколько времени прошло? Я не отдавал себе отчета. Послышались первые выстрелы. Наверху топали люди, что-то кричали. Машинист убегал и возвращался обратно. Ему обязательно нужно было поделиться с кем-нибудь новостями. Он дергался, суетился, размахивая руками. Я не понимал его... А потом в помутившемся сознании вырос один вопрос, до боли расширяя че-

реп, страшно мучительный,— почему я не потопил корабль в пути? Рушились надежды. Уязвленный, я стоял, как в столбняке.

Фуражка слетела с моей головы. Я поднял ее, посмотрел. А когда увидел маленькую дырку в козырьке, понял: через световой люк влетела пуля, ударилась о железо и сделала рикошет.

— Хорошо, что голову не задела,— заботливо отозвался Маслобоев.

Это меня отрезвило. Я взял себя в руки. Нет, от своего плана я не откажусь. Все стало ясно, как в морозное утро.

Оказалось, что не успел десант отплыть на шлюпках от борта, как партизаны, спрятавшиеся в сопках, засыпали его огнем.

Это было настолько неожиданно, что белые растерялись. Они бросили шлюпки и забрались на пароход. Все спрятались в трюмах. Я сам услышал крики раненых.

Машинист рассказывал мне дальше беззлобно, даже как будто восторгаясь:

— Вот это стрелки! Только вышел командир на мостик — бац! Готов. Прямо в сердце. Помощника его — то же самое. Никому нельзя наверху показаться. Ах, жулики! Я думаю — у них охотников много. Те могут одной дробинкой убить белку прямо в глаз, чтобы шкурку не испортить. Навык большой. А что вы думаете на этот счет?

— Мое дело маленькое. Я ничего не думаю.

Часовой поднимал прозрачные глаза и ожидающе смотрел на световой люк.

Дикое злорадство охватывает меня. Война есть война.

Мне нельзя терять времени. Я приказываю поддерживать в котлах пар до отказа. Они дрожат. И в груди моей все дрожит. Я превратился в азартного картежника. На кону — вместо золота — триста человеческих жизней. Никто из них не подозревает, что участь их решена. В этой вот седой голове, под костяным черепом, остались одни козыри. Выигрыш обеспечен.

Не будучи наверху, я все-таки хорошо представлял себе, как обстоит там дело. Никто не мог подняться на

мостик, чтобы занять командный пост. А о поднятии якоря нечего было и думать. Положение для белых создалось безвыходное.

Наконец одному мичману удалось ползком пробраться в машину. Он поместился на верхней площадке около дверей и оттуда начал командовать:

— Механик! Полный назад!

Для меня ясно стало, что хотят выбраться из бухты, не поднимая якоря. Но я не так глуп, чтобы пустить машину во всю силу.

В свою очередь, я приказал машинисту:

— Скажите кочегарам, чтобы шуровали хорошенько. Иначе нам не выбраться из этой кутерьмы.

— Хорошо,— ответил он и кинулся в кочегарку без разговора.

Я успел крикнуть ему вдогонку:

— И вы сами последите за ними!

Мною сделано все, чтобы взорвать цилиндр. Я с нетерпением косился на водомерное стекло. У меня было такое чувство, как будто я схватил противника за горло и оставалось только придушить его.

Мельком взглянул на часового. Он поднялся по трапу на несколько ступенек и остановился. Для чего-то пощупал гранату за поясом и запрокинул голову, глядя вверх.

— Полный вперед! — доносился до меня тревожный голос того же мичмана.

Я передвигал регуляторы. Машина работала. «Лебедь» дрожал, точно чувствовал приближение грозы.

Якорь, по-видимому, крепко вцепился железными лапами за грунт. Судно могло двигаться взад и вперед лишь на том расстоянии, на какое позволяла ему длина каната. Мы болтались так, меняя ход, довольно долго.

Вдруг я заметил, что вода в водомерном стекле запузырилась. Немного погодя оно побелело, точно налитое молоком. Сейчас должен быть конец. Несколько минут осталось жизни.

«Война есть война!» — с хладнокровием повторял я про себя.

Я пустил машину на полный ход.

Якорный канат не выдержал — лопнул.

Офицер торжествующе заорал:

— Наконец-то, черт возьми, пошли!

Он высунул голову из машинного отделения наружу и высоким срывающимся голосом распорядился:

— Передайте рулевому в рубке — пусть правит в море!

В машине послышался толчок, потом другой, сильнее. Я догадался, что это значит. Успел прыгнуть за дверь кочегарного отделения. Раздался удар, точно из пушки, за ним второй, более резкий, с металлическим звоном. Крышка цилиндра от высокого давления вырвалась и с грохотом обрушилась вниз. Все машинное отделение наполнилось паром, довольно горячим даже внизу. Он травился со страшной силой, с свистящим шипением. Создавался такой шум, в котором глохли крики обезумевших людей.

Точно сквозь туман я увидел, что внизу на железной настилке что-то копошилось. Подошел ближе, нагнулся. Это оказался часовой с разорванным животом — он извивался, пытался вскочить и опрокидывался. Вспомнилась граната, заткнутая за пояс.

На мгновение я оцепенел, но тут же бросился к левому борту, туда, где находились кингстоны. На пути увидел свалившегося мичмана. Он еле ворочался, разбитый и ошпаренный. Работать мне пришлось вслепую, в клубах обжигающего пара. Привычные руки быстро отвинчивали гайки. Одна лишь мысль сверлила мозг — скорее, скорее. Наконец крышки кингстонов были отброшены напором воды. Она с ревом начала врываться внутрь судна. Что мне еще оставалось выполнить? Я схватил кувалду и начал колотить по золотниковым штокам спасательной помпы. Замысел мой осуществился полностью. Никто больше не спасет судна. Триста человек вычеркнуты из жизни. Как бы желая убедиться в этом, я с минуту постоял на одном месте. Рев воды смешался с свистящим шипением пара. Я слушал эту музыку, стиснув зубы. Все шло ладно, как нельзя лучше.

Осматриваюсь. Мичман лежит трупом. Нагнувшись, перехожу к другому борту. Темным пятном выделяется распластанный часовой. Я почему-то говорю ему, мертвому:

— Так-то, брат.

Больше мне нечего делать. Остальное пойдет само собой. Нужно попробовать, нельзя ли спастись. Под настилкой у меня спрятан пробковый нагрудник. Я схватил его и бегу в кочегарное отделение. Здесь ни одного человека. Очевидно, все побежали по трапу, непосредственно соединяющемуся с верхней палубой.

Прежде всего надо освободить топки от огня. Это уменьшит шансы на взрыв котлов. С гребком в руках я работаю за пятерых, обливаясь потом. Над настилкой показалась вода, поднимается все выше и выше. «Лебедь» накренился на левый борт, беспомощный и жалкий. Но у меня в душе ни чувства страха, ни раскаяния.

Когда вода залила топки, я остановился и прислушался. Из машины все еще доносился шум вырывающегося пара. Над головою ржали лошади, с дикими воплями кричали люди. Я отчетливо представлял положение противника. Оно было безнадежным. На судне оставаться нельзя: оно само погибало. Белые бросались за борт, искали спасенья в воде, постепенно проваливаясь в пучину. А с берега ловкие стрелки без промаха разбивали черепа и вонзали штыки в тела тех, кто достигал подножия сопок.

Я надел на себя пробковый нагрудник. Подождал немного, пока еще не поднялась вода. А потом открыл люк прогара и полез в дымовую трубу. Крики наверху реже.

Проходит еще некоторое время. Котлы покрываются водою. Судно, избавившись от крена, стоит прямо. Пар исчез. В отверстие трубы виднеется круглый кусок потемневшего неба. Загораются звезды. Должно быть, наступает ночь. Вокруг меня что-то жутко бурлит. Это вырывается наружу где-то задержавшийся воздух.

Я подсчитываю шансы на спасение. Сколько их? Пять из сотни. Нет, меньше. Почему-то кажется, что сейчас взорвутся котлы. Взлечу на воздух. Есть и другая опасность: корабль может сесть на мель, тогда мне не выбраться из этой черной дыры. А я уже плаваю в железном круге, диаметр которого не больше двух аршин, и коченею от холода. Зябко стучат зубы.

Всхрапывают лошади. Кто-то надрывно тянет:

— Товарищи... Спасите...

Другой хрипло умоляет:

— Глоточек воды... В груди жжет...

Это остались на палубе раненые. Стоны их терзают мозг, выворачивают душу. Уничтожены триста человек. Я — главный виновник их гибели.

А у них, как и у меня, тоже есть жены и дети, есть матери.

Я запрокидываю голову и смотрю в небо. Бесстрастно горят далекие лампады. Я спрашиваю, точно делая кому-то вызов:

— Ну что?

Нет, ничего мне не осталось, как только разбить свой череп об эту проклятую трубу.

Но тут, как всегда, всплывает лукавая мысль. Она оправдывает какое угодно действие. Вспоминаются товарищи, что остались закупоренными в барже.

«Лебедь» вдруг качнулся, вздрогнул, точно испугался своей гибели. Под ним расступилась вода. Он с гулом начал проваливаться. В ужасе заржали лошади, бросая к звездам последний свой крик. Сверху, через трубу, ухнув, обрушилась вода, смяла своею тяжестью. Я завертелся в водовороте, опускаясь вместе с кораблем на дно.

Пробочный нагрудник выбросил меня на поверхность. С забитыми легкими, задыхаясь, я поплыл к ближайшему берегу.

Как выдержали мои мускулы? Как не оборвались нервы?

Вдали, у подножия сопок, виднелись пылающие костры. Мелькнула догадка, что это лагерь партизан. Раздавленный и закоченевший, я полз туда, как собака с перешибленным хребтом, полз вдоль берега и орал до хрипоты.

— Стой, чертова голова! — раздался вдруг грозный окрик.— Куда прешь?

Остро нацелились штыки, готовые вонзиться в мое полумертвое тело. Я почувствовал отвратительный холод стали. Проваливаясь куда-то, слепой, я успел простонать:

— Где сын мой, Раздольный?

Показалось, что я опять очутился в черной трубе. Страшный водоворот крутил и затягивал меня вниз. Но чьи-то руки крепко охватили за плечи, трясли. Я отчетливо услышал голос:

— А, вот он где нашелся...

Меня подхватили на руки и куда-то понесли. Я качался, как на волнах. Одна лишь мысль тяжело ворочалась в голове: как можно ходить по воде? А когда увидел костры и людей, начал кричать, что «Лебедь» потоплен мною. Скалились лица, сотни лиц, кружились фигуры, пожимали мне руки, тормошили. Николай почему-то превращался в Павлика, а потом Павлик вырастал в Николая. И все это провалилось в тьму, как в угольную яму. На смену явились кошмарные видения. Так продолжалось до утра.

Я удивился, что на мне чужая сухая одежда. Ветер ласкал лицо. Вершины деревьев чертили ясную синь неба. В шум тайги странно вплетались человеческие голоса. И еще больше удивился, что вместо Николая около меня крутился Павлик, а рядом с ним стоял Егорка.

— Папа, мы знали, что «Лебедь» идет к нам,— восторженно сообщил Павлик.

— Как ты очутился здесь? — спросил я, задыхаясь от радостного волнения.

— А нас с Егоркой привел — знаешь кто? Товарищ Евсеенко. Помнишь — рулевой с «Лебедя»? Мы теперь с Егоркой костры разводим и чай кипятим для партизан. Нам самый главный начальник поручил это дело. Честное слово! А Николая выбрали начальником штаба. Какой он сердитый стал! А уж задается! Через губу больше не плюет...

Павлик торопился рассказать мне все, что ему известно. А я, все еще больной, с трудом воспринимал действительность, плохо верил в то, что нахожусь на твердой земле, среди партизан.

В стороне стояли пленные, окруженные часовыми. Их набралось человек сорок. Это были люди с того света. Николай, сурово-возмужалый, не похожий на прежнего наивного подростка, производил над ними следствие. Смутно помню, как сортировали пленных. Из од-

ной кучки смотрел на меня Маслобоев, пришибленный и скучный, как безнадежный пациент в ожидании доктора.

— Отпустите его на все четыре стороны,— попросил я за машиниста.

Партизаны немного подумали и объявили Маслобоеву о моем желании. Он поднял голову, оглядел всех воскресшими глазами.

— Товарищи! Я по глупости своей был на другой стороне. А теперь прошу — можно мне остаться с вами?

Одобрительно заревели голоса.

Из пленных человек десять повели в сторону.

Тайга огласилась дикими воплями.

Недалеко, в окружении щетинистых сопок, голубела бухта «Отрада». От парохода «Лебедь» виднелась лишь верхняя часть мачты. Она поднималась над водою крестом, как символ разыгравшейся здесь трагедии.

УХАБЫ

На океанском торговом пароходе «Октябрь», пришвартованном к стенке порта, только что закончили погрузку. Все рабочие ушли. Под тяжестью четырех тысяч тонн жмыха, набитого в трюмы, черный корпус судна осел в воду по марку. Матросы, готовясь к заграничному рейсу, затягивали люки брезентом, опускали на место стрелы, принайтовливая их, и убирали палубу. На корме под порывами легкого ветра развевался красный флаг, показывая серп и молот.

По берегу, против «Октября», заложив руки за спину, прохаживался старик в сером поношенном костюме, в мягкой шляпе. Он был высок ростом, с крутыми плечами, голову держал прямо. Сивые пушистые усы сливались с такой же сивой бородой, расчесанной на две половины и напоминавшей по своей форме лиру. Во всей фигуре старика, в его четкой и размеренной походке чувствовалась военная выправка. Совсем другое впечатление он производил, когда останавливался, разглядывая иностранные корабли, выгружающие из объемистых железных утроб машины, трубы, тюки, ящики. Здесь его упругие ноги были раздвинуты, как циркуль,— верный признак того, что этот человек долго плавал по морям и океанам и десятки лет провел на качающемся мостике.

С «Октября» сошел по сходням старший кочегар Томилин, организатор судового коллектива, и направился к старику. Он приветливо заговорил, протягивая мозолистую руку:

— Здравствуйте, товарищ Виноградов.

Старик, отвечая на приветствие, тоже улыбнулся в сивую бороду.

Они пошли вдоль каменной набережной.

Виноградов спросил:

— Когда снимаетесь?

— Сказали, всем быть на судне в шесть часов вечера. Придет комиссия по отправке. А ночью будем, вероятно, уже в море.

— Так. Ну, голубчик, вот в чем дело: я принес то письмо, о котором уже говорил вам. В первом же заграничном порту наклейте на него марки и опустите в почтовый ящик.

Оглянувшись, старик вытащил из бокового кармана толстый пакет, не запечатанный, и, передавая его Томилину, добавил:

— Ничего секретного и предосудительного в нем нет. Можете прочитать. Кстати, и о себе узнаете кое-что.

— Хорошо,— ответил кочегар и, свернув пакет в трубку, сунул его в карман черных брюк.

— Когда вернетесь обратно?

— Через месяц, не раньше.

— Я вас буду ждать.

— А я вам привезу какой-нибудь заграничный подарок.

— Я без того очень благодарен вам, благодарен за спасение жизни.

Старик остановился, с любовью посмотрел на своего приятеля и снова заговорил:

— Мне завидно, что вы уходите в море. Знаете, что я надумал? Когда я поджидал вас, глядя на ваш пароход, меня охватило такое желание поплавать, побывать в иностранных портах и узнать, чем там люди дышат, что я, вероятно, завтра же подам заявление в Совторгфлот. Я буду просить, чтобы меня назначили на коммерческое судно, совершающее заграничные рейсы.

Кочегар радостно воскликнул:

— Давно бы надо так, Василий Андреевич! Я тогда к вам перейду служить.

Поговорив еще, старик пожал руку приятеля и сказал:

— Желаю вам попутного ветра.

— Спасибо. Привет от меня Клавдии Васильевне и товарищу Смирнову.

Старик, раскланявшись, пошагал твердой походкой в город, а Томилин — на свое судно.

Ночью, когда «Октябрь», слегка покачиваясь, резал уже мелкие волны моря, старший кочегар Томилин, сменившись с вахты, заперся в своей крошечной каюте, примыкающей к косовому кубрику.

Он достал из чемодана пакет, вынул из него большую пачку почтовых листов, которые были исписаны уверенным и разборчивым почерком, и жадно впился в них глазами.

«Милый друг.

Предпоследнее твое письмо попало мне в руки, когда, будучи еще капитаном первого ранга, я командовал лучшим линейным кораблем.

Это было месяца за два до февральских событий. Я тогда был чрезвычайно поражен твоим бодрым тоном, твоими надеждами на скорое окончание войны. Много лет прошло с тех пор — страшных лет, потрясших Россию до самых сокровенных глубин ее прочно установившегося быта. Где наши прежние друзья? Революция разбросала одних, как ветер осенние листья, по всему земному шару; другие, скинутые со своих насиженных мест, влачат жалкое существование, а многих давно уже нет в живых, о них даже перестали справлять панихиды. Тем приятнее было получить снова конверт с густым знакомым почерком. Я считал тебя погибшим, но оказалось, что ты находишься по ту сторону границы, жив и здоров. Это доставило мне величайшую радость.

Ты всколыхнул в моей душе воспоминания, знойные и прекрасные, как солнечное марево. Сколько раз я гостил у тебя! До сих пор мне мерещится, как золотое утро детства, твой чудесный сад, благоухающий редкостными цветами; тихий пруд с зеленоватой водой, местами затененной деревьями; небольшой островок с купальнями, выкрашенными в голубой цвет, с беседкой, пышно обвитой плющом,— там, освежившись в прохладной воде, мы ели самых свежих карасей, добытых из твоих садков, услаждались сочно рдеющей викто-

рией, только что собранной с грядок твоего сада, и пили пенистое шампанское. Более благоустроенное имение, чем твое, трудно было найти. Чего стоила одна только оранжерея с тропическими растениями! Точно кусочек Цейлона ты перенес к себе. А этот буйно разросшийся дубовый парк с дорожками, усыпанными песком,— парк, звеневший в весенние зори трелями соловьев, а твой каменный дом с причудливой старинной архитектурой!

Я помню каждый уголок в твоем имении, каждую деталь. Может быть, потому оно так крепко запечатлелось в моем мозгу, что там я впервые познакомился с баронессой фон Бирман и там же признался ей в любви. Сейчас, когда я пишу эти строки, она, моя супруга, прожившая со мною более тридцати лет, сидит за столом и штопает чулки. Тебе не узнать ее. Она стала в полном смысле старушкой, сгорбившейся, в дешевеньком сером платье, в очках, в которых одно стекло треснуло. Иногда я с грустью смотрю на ее седые волосы, прядями свисающие на сморщенное лицо, в ее черные глаза, когда-то обжигавшие своей страстностью, а теперь полинявшие от обилия слез.

О, жестокое, все разрушающее время!

Где наше прошлое?

Взять твое имение. Оно представляло собой райский уголок на земле. И все в нем было устроено солидно и прочно, все говорило о незыблемости привычных устоев.

А теперь, как видно из твоего письма, разбушевавшиеся крестьяне все это уничтожили: сад и парк срублены, даже выкорчеваны корни, великолепный пруд превратился в замусоренную лужу, а от двухэтажного здания и других построек не осталось ни одного кирпича, ни одного кола.

Там, где процветала красота, где мы думали блаженствовать всю жизнь, мужики устроили кладбище, насыпают свежие холмы могил и ставят кресты.

Какая ирония судьбы!

Ты спрашиваешь, как я живу и что пришлось испытать во время революции.

Я постараюсь ответить тебе длинным посланием. Это будет нечто вроде повести, в которой современную свою жизнь я переплету с воспоминаниями о прошлом.

Ты знаешь мою давнюю привычку: все более или менее яркие впечатления я люблю иногда заносить на бумагу. Сейчас передо мною лежит толстая старая тетрадь. На ее страницах разбрызгана часть моей души. Когда-нибудь на основании этого материала я напишу интересную книгу. Но уже из того, что теперь я сообщу тебе, ты увидишь, какие иногда неожиданности врываются в нашу жизнь.

I

После окончания гражданской войны я ушел из военно-морского ведомства, где занимал довольно крупный пост. Меня уговаривали остаться, но я не согласился. Мобилизовать меня не могли: возраст перешел.

Захотелось пожить другой жизнью. И вот тут началась смена профессий: и занимался сапожным мастерством, и на рынке торговал всякой мелочью, и служил в кооперативном гастрономическом магазине. Все это не удовлетворяло меня. Тянуло ближе к воде, к кораблям. Наконец сбылось мое желание: я заделался береговым матросом в торговом флоте. На моей обязанности лежало принимать швартовы с кораблей, пристающих к стенке. На такой должности я пробыл более двух лет и остался доволен. Потом поступил на парусник, на котором продолжаю служить до сих пор. Парусник этот старый, требующий большого ремонта, чтобы быть годным для плавания. Его предназначили к продаже и поставили у стенки. Нас трое поочередно дежурят на нем, охраняя казенное имущество. Мои сослуживцы — два старых матроса. Вся наша забота заключается в том, чтобы были целы двенадцать пломб, которые мы сдаем друг другу под расписку в вахтенном журнале.

Это самая легкая служба, дающая мне возможность отдохнуть душой и телом. Пользуясь свободным временем, я читаю почти всю нашу современную литературу. Книги пробудили во мне желание исколесить Россию вдоль и поперек. Хочется глубже познать свой народ и уяснить себе, куда и к каким далям держит курс наша молодая республика.

Жалованья я получаю около шестидесяти рублей. Но не в жалованьи заключается суть дела, а в том, что, за-

нимая такое демократическое положение, я могу буянить и кричать против той или иной несправедливости. И ничего — мне, как матросу, все сходит с рук. Если же я сам не могу отстоять свои права, то у меня есть защитник в лице такого сильного коллектива, как профессиональный союз водников. Кроме того, несмотря на мое прошлое офицерское звание — капитана первого ранга, я пользуюсь всеми правами российского гражданина. И за квартиру с меня берут по профсоюзной ставке —совсем ничтожную сумму. А если принять во внимание, что я зарабатываю еще уроками, то и совсем будет хорошо. Да нам с женой больше и не надо. Мы остались с нею только вдвоем. Наша единственная и любимая дочь Клавдия второй раз вышла замуж. Сколько она горечи причинила своей матери! Но об этом после.

Живем мы не так уж плохо! Скажу больше — можно было бы моей бывшей баронессе и не штопать чулок, но она за голодные годы превратилась в такую скопидомку, что дрожит над каждой крошкой хлеба и прячет в сундук лохмотья от изношенной одежды. Я тоже стал удивительно скромным в требованиях к жизни. Флотские щи с мясом, гречневая каша, приправленная маслом, зимою теплая одежда, нормальная температура в квартире —этого вполне достаточно для меня, чтобы чувствовать себя в хорошем настроении. Иногда разрешаю себе чарку водки. Здоровье у меня отличное — лучше прежнего, когда я был в чинах и ни в чем не отказывал себе.

Другое дело жена. Она никак не может примириться с новыми порядками и все ворчит, все протестует,— конечно, только в стенах нашей квартиры. Иногда погрузится в свои беспросветные думы и не разговаривает со мной по нескольку дней. Тогда, глядя на нее, сухую, с трагически загадочным лицом, я испытываю непонятную тревогу, и мне хочется скорее уйти куда-нибудь из своих молчаливых комнат. Она все время находится в каком-то ожидании перемены жизни, и, быть может, только это спасает ее от окончательной гибели. Нередко обращается ко мне с одним и тем же вопросом:

— Скоро ли исчезнут эти изверги рода человеческого?

Я, понятно, стараюсь утешить ее:

— Потерпи, дорогая, еще немного. Через полгодика, а может быть, и раньше, мы опять будем у власти, в чинах и орденах.

С детства мне запомнилось из священного писания одно изречение, когда-то поразившее меня: «Бывает и ложь во спасение». Теперь я применяю его на практике и придумываю всякие истории о заговорах, которые сообщаю жене под страшным секретом. Восемь лет я обманываю ее так.

— Господи! — сокрушенно восклицает она.— Хоть бы денек пожить, как раньше. Тогда бы и умереть можно спокойно.

Она стала религиозной и ни одного праздника не пропускает, чтобы не сходить в церковь. К кому же другому, если не к богу, обращаться ей с горячей жалобой на свою обиду? Я понимаю ее: бывшая баронесса стала женой матроса, сама бегает на рынок, сама стряпает, моет полы, стирает белье. Вот почему, разговаривая со мною о современности, она все явления жизни окрашивает в мрачные тона своей глубокой ненависти и все ждет перемены, возврата прежнего величия,— ждет с тупым упрямством. Мне кажется, что она кончит свое существование в сумасшедшем доме.

Ну, а я, присматриваясь к новым условиям нашей действительности, прихожу совершенно к другим выводам. Строится иная жизнь, совершенно непохожая на прежнюю. Это не то, что было во время военного коммунизма, когда мы питались мороженой картошкой, когда стояли в бесконечных очередях, чтобы получить четверть фунта плохого хлеба, иногда семечек или подвязки для чулок, когда не только людей, но и звезды хотели уравнять. Теперь на этот счет наши вожди стали скромнее. С недоступных высот они спустились на землю и занялись практическими делами. Но вместе с тем это не то, что было при царизме, и не то, чем живет Европа.

Напрасно некоторые ждут возврата старого режима, при котором мы были полными хозяевами жизни. Ушло это от нас безвозвратно.

Я, беспартийный человек, хотя и принимал горячее участие на фронтах против белых, я не знаю, куда мы придем, но отлично вижу, что для поворота назад нам все пути отрезаны.

Такое впечатление сложилось у меня, как у трезвого наблюдателя, исходящего только от фактов. Где все те люди, что с иностранным оружием в руках восставали против народа? Где чуть ли не всемирная блокада, пытавшаяся задушить нашу республику огнем и голодом? Я теперь вращаюсь среди низов. Они часто ругают почем зря советскую власть, но все равно они никогда не признают прежних воротил. Никогда! Поэтому лучше быть дворником, трубочистом, кем угодно, чем утешать себя несбыточной мечтой.

Сейчас жена обратилась ко мне с вопросом:

— Что это ты пишешь, Базиль?

Я не могу ей открыть правду. В начале революции она просила меня уехать всей семьей за границу, но я тогда отказался от этого. А сейчас рассказать ей о друге, проживающем в Париже,— это значит разбередить ее раны. Она тогда расстроится на всю ночь. Поэтому ответил ей выдумкой:

— Доклад пишу, моя родная, доклад.

Она рассердилась:

— И ты, Базиль, начал с ума сходить! Все в России только тем и занимаются, что пишут доклады. Но толкто из этого какой?

Она разворчалась надолго. Я решил на этом оборвать писание, чтобы при первой же возможности снова вернуться к нему. Кстати, время позднее — пора спать. Завтра нужно рано идти на вахту.

II

Сутки я отдежурил в порту и теперь двое суток свободен.

Однако пора мне вернуться к прошлому, к началу революции.

Здесь лучше воспользоваться старой тетрадью.

Да, случилось то, что должно было случиться.

К началу 1917 года среди широких масс война потеряла свою популярность. В армии, обовшивевшей, полураздетой и полуголодной, начинался развал. Не хватало снарядов. Новобранцы обучались военному искус-

ству с деревянными ружьями. Экономическая жизнь России была подорвана. Наши столицы и другие крупные города очутились перед угрозой голода. Такие лозунги, как «за веру, царя», истрепались, превратились в старую ветошь, годную только для мусорной ямы. Нового правительство ничего не могло придумать. А конца войны все еще не было видно. При этом росли чудовищные слухи об изменах наших высших кругов. Эти слухи, как весенняя оттепель, распространялись по всем градам и весям нашей обширной России, внося в народ смутную тревогу. В душе каждого русского человека поднималось недовольство — и всеми порядками и самим собою.

Наша эскадра была сосредоточена в Н-ском порту. Крупные боевые корабли стояли во льдах на рейде под защитой крепости. Шли приготовления к летней кампании.

Я командовал «Громовержцем». Этот корабль был достоин своего названия и представлял собой огромнейшую силу. В моем подчинении находилось полторы тысячи человек. Иногда я присматривался к матросам. Они работали, покорные, обреченные на жертву. Какие мысли возникали в их мозгу? Я оставался без ответа.

Один случай поразил меня и навел на безрадостные размышления,— случай, который сыграл потом для меня большую роль.

Был у меня лейтенант Брасов. Я не знаю, чем это было вызвано, но он относился к матросам с такой ненавистью, точно они отбили у него жену. Он презирал их, отзывался о них самыми скверными словами. Между ним и командой установилась непримиримая вражда.

Однажды перед обедом я вышел на верхнюю палубу и увидел дикую сцену. Лейтенант Брасов бил матроса, бил с каким-то садическим наслаждением, приговаривая:

— Расшибу твою подлую морду!

Голова у матроса откидывалась вправо, влево, в такт ударам. Лицо было в крови. Глаза вылезли на лоб, огромные, жуткие. Я впервые увидел в них едва сдерживаемую ярость. Он оскалил зубы и, словно не ощущая никакой боли, повторял одно и то же с каким-то безумным упорством:

— Бейте! Ваша власть! Бейте еще!..

В его дрожащем голосе, во всей его позе был какой-то дерзкий вызов начальнику.

Помню, как я закричал неестественно громко:

— Лейтенант Брасов! Что вы делаете? Я вас под суд отдам!

Он, как полагается, повернувшись ко мне, вытянулся в струнку и взял под козырек.

Мельком я взглянул на матроса, отплевывающегося кровью. У него дрожали руки, сжатые в кулаки. Он смотрел на меня с таким видом, как будто был разочарован, что я вмешался в их стычку.

Я был вне себя от гнева. Несмотря на присутствие на палубе матросов, я накричал на лейтенанта, а потом своей властью подверг его домашнему аресту. Таким образом инцидент был исчерпан.

Прошло полтора месяца. Приближался конец февраля. До нас, офицеров, докатился слух, что в Петрограде происходит что-то неладное. Черная тень легла на душу.

Вскоре командующий флотом вызвал всех командиров — и меня в том числе — к себе на флагманское судно. Когда все были в сборе, адмирал распорядился закрыть двери кают-компании. Он уселся в мягкое кожаное кресло, грузный и по-сановнически медлительный, с водяными мешками под глазами, отчего лицо его казалось дряблым и усталым. Мы расположились на стульях вокруг длинного стола, понимая лишь одно: предстоит тайное совещание.

— Господа командиры! — заговорил адмирал, оглядывая присутствующих серыми усталыми глазами.— Я должен сообщить вам неприятную новость: в Петрограде начались бунты. Неизвестно еще, чем все это кончится...

Он разгладил лежащий перед ним чистый лист бумаги и согнулся, словно ощутил тяжесть золотых погонов с черными орлами. Толстая шея его стала короче, а плечи круто поднялись. На несколько секунд в салоне, ярко освещенном электрическими люстрами, водворилась такая тишина, словно сразу все прекратили дыхание. Стены из красного дерева, черный лакированный

рояль, зеркала, никелированные ручки на дверях отсвечивали холодным блеском.

Адмирал вдруг вскинул голову и выпятил грудь, увешанную орденами, словно хотел показаться нам более внушительной персоной. Оттопыренные уши в седых волосках стали красными. Голос зазвучал раздраженно, срываясь:

— Во всяком случае, ко всему нужно быть готовым! Революционная зараза может переброситься на суда! Тогда... Нечего вам говорить об этом! Вы все хорошо помните пятый и шестой годы...

Красный призрак прошлых лет грозно встал перед нами. Казалось, поднялся темный занавес, показывая минувшее. В воспоминания вторгались подробности о восстаниях в Кронштадте, на «Потемкине», на «Памяти Азова»,— подробности кровавые и жуткие.

Совещание продолжалось долго. Выработали меры: не пускать команды на берег, винтовки на каждом судне должны стоять только в офицерском отделении, следить за радиорубкой, чтобы получаемые сведения о событиях в Петрограде не попадали к нижним чинам, условились сообщаться с командующим флотом не иначе, как шифрованными телеграммами. В заключение адмирал заявил, что всякие попытки к восстанию на том или другом корабле офицеры совместно с кондукторами, унтер-офицерами и сверхсрочниками должны подавлять самым беспощадным образом, ни перед чем не останавливаясь. Если же, паче чаяния, какое-нибудь судно окажется в руках бунтарей, то оно немедленно будет потоплено артиллерией с других судов.

— Передайте, господа командиры, своим офицерам, что слабости я не потерплю! Сейчас решительность нужна больше, чем когда-либо! Да, решительность!..

Это были последние слова адмирала, услышанные мною. Больше я никогда его не видел и не увижу: он погиб во время восстания.

С нехорошими мыслями вернулся я на свой корабль. Мне казалось, что командующий флотом не все сказал, что-то скрыл от нас. Предчувствие подсказывало, что приближается конец нашей власти. Потом это подтвердилось. Мы сами начали получать радио из Петрограда.

Оказалось, что вся столица охвачена революционным движением.

Поздно вечером я приказал всем офицерам собраться в кают-компанию. Они уже знали обо всем. У многих вид был пришибленный.

Я обратился к ним прямо с вопросом:

— Что нам делать, если и у нас среди команды начнется революционное брожение?..

Все подавленно молчали.

Глядя на своих помощников, я сам заражался их тревогой.

— А как вы думаете, Василий Николаевич? — решил я вынудить на разговор старшего офицера, капитана второго ранга Измайлова.

Он поспешил с ответом:

— Зависит от хода событий. Пока что взбунтовался только Петроград. А у нас есть еще Москва — сердце России — и много, много других городов. Кроме того, неизвестно, как настроена армия. От нее зависит дальнейшее — в ту или в другую сторону. Во всяком случае, мы должны держаться до последнего момента.

В таком же духе высказались и другие офицеры. Некоторые из них, оживившись, начали храбриться. По их мнению, выходило так: пусть матросов много, но с голыми руками они ничего не могут поделать, а мы, вооруженные винтовками и револьверами, можем, если понадобится, перебить их, как стадо баранов.

Лейтенант Брасов был мрачнее других. Он сидел за столом, подпирая руками голову, держа в зубах давно потухшую папиросу. По-видимому, все советы офицеров не удовлетворяли его. Наконец он выпрямился, глаза вспыхнули блеском решимости.

— Я предлагаю заранее провести из бомбовых погребов электрические провода в офицерское отделение. Я хочу сказать, что нужно на всякий случай приготовить корабль к взрыву. И прошу поручить это дело мне. В нужный момент я без всякого колебания нажму кнопку.

Я строго посмотрел на Брасова.

— А дальше что?

Он продолжал твердым голосом:

— Мы взлетим на воздух вместе с бунтарями, с этими отъявленными головотяпами, не знающими ни чести, ни совести. Это будет смерть мгновенная, благородная. Она избавит нас от пыток и позорных издевательств.

При этих словах другие офицеры беспокойно заерзали на стульях.

Я резко заявил лейтенанту Брасову:

— Ни в коем случае! Это было бы страшным преступлением перед родиной. Нужно помнить о войне. Я полагаю, что никто из господ офицеров не согласится отдать Россию на растерзание немцам.

Мы ни к чему не пришли. Решили ждать, куда повернет колесо истории, все время быть на страже.

На второй день получили радиотелеграммы, ошеломляющие новыми событиями. Революционные ветры переходили в бурю, ломая подгнившие мачты старого режима. Зашатался царский трон. Большинство из моих офицеров потеряло головы. Каждый из них имел при себе револьвер, но я уже сомневался, что в нужный момент он сумеет разрядить его в своего противника.

На что надеется командующий флотом? Почему он держит матросов в неведении? Почему не примкнет к революционному движению? Только таким путем он мог бы спасти офицеров.

У меня на корабле пока было тихо, спокойно. Старший офицер пробовал прощупать матросов через своих тайных агентов. Ничего не удалось узнать. Не замечалось никаких признаков восстания. Являлось предположение: или команда действительно ничего не подозревает, что творится на Руси, или красные ведут свою заговорщическую работу настолько осторожно, что трудно за ними проследить. В смысле повиновения матросы стали еще лучше, исполняли свои обязанности более ретиво, чем раньше, и напоминали людей, заканчивающих последние тяжелые работы, после которых должен наступить длительный отдых. Но это обстоятельство больше всего наводило на подозрения.

За год до революции среди матросов нашей эскадры были произведены многочисленные аресты. Следствие потом выяснило, что на многих судах существовали крепкие политические организации. Оказалось — флот готовился к восстанию. Правда, жандармы в то время не

взяли с «Громовержца» ни одного матроса. Мы ограничились только тем, что усилили за командой тайный надзор, не давший никаких результатов. Однако трудно было поверить, что революционная зараза не проникла во вверенную мне команду. Вот почему за последние дни я относился к ней с недоверием. Мои подчиненные вдруг стали для меня жутко ненадежными в своей безответной покорности.

Я знал, что на корабле есть развитые матросы, не совсем благонадежные в политическом отношении. Главным из них считался старший радиотелеграфист Смирнов. О нем несколько раз докладывал мне старший офицер, предлагая под каким-нибудь предлогом списать его на берег. Но явных улик против Смирнова не было. Поэтому я относился к нему терпимо. Кроме того, он был умен, сообразителен, а в моем характере есть слабая черта — я люблю таких людей.

Мне пришла в голову мысль: известно ли ему о начавшейся революции, и как он будет вести себя со мной? Я решил лично повидаться с ним. Его позвали. Переступив порог моей каюты, он браво заговорил:

— Имею честь явиться, ваше высокоблагородие.

Он стоял передо мною в почтительной позе, держа в левой руке фуражку, а правую вытянув по шву брюк. Хорошо пригнанный матросский костюм, начищенные ботинки, гладко выбритое лицо с короткими черными усиками производили впечатление, что он человек аккуратный во всех отношениях. Он смотрел на меня пытливыми синими глазами, стараясь догадаться, зачем его позвали. Я начал с ним разговор о радиотелеграфе, о том, насколько исправно работают его аппараты, не требуется ли произвести какой-нибудь ремонт. Он ответил мне по-деловому кратко — в радиорубке все обстоит хорошо.

Я сказал:

— Очень рад, голубчик, это слышать. Я потому так беспокоюсь, что нам нужно быть готовыми к весенней кампании, несмотря ни на какие события в России.

Последние слова нисколько не удивили его. Значит, ему все было известно.

— Можешь идти.

— Есть! — отчеканил Смирнов и, задержавшись на одно короткое мгновение, взглянул на меня с каким-то сожалением.

Он ушел, унес тайну своих мыслей, а я остался один, придавленный тоской. Я вспомнил, как однажды тот же старший офицер сообщил мне, что у радиста есть три приятеля, с которыми он постоянно дружит: баталер, минный квартирмейстер и машинист самостоятельного управления. Последние все трое тоже находились в подозрении. Но в политике они себя не проявляли, а по службе были всегда исполнительны. Меня вдруг осенила мысль: не есть ли это организация? У каждого из этих троих, в свою очередь, имеются приятели и так далее.

Вскоре пришлось убедиться в этом.

Сидя у себя в каюте, я сочинял шифрованную телеграмму командующему флотом. Я хотел сообщить ему, что на корабле все спокойно. Это было в пятницу, часов в семь вечера. Я не спал несколько ночей. Нервы мои обострились. Вдруг я услышал выстрелы и топот ног. Тут же раздался чей-то предсмертный крик.

— Началось,— почему-то произнес я вслух и выскочил из каюты.

Меня сейчас же подхватили матросы, вооруженные винтовками, наскоро обыскали и повели в кают-компанию. Первым делом я заметил, что пирамида для ружей, находившаяся в офицерском коридоре, оказалась пустой. Это означало, что винтовки уже разобраны командой. Тут же, загораживая нам путь, валялся старший офицер Измайлов, без фуражки, с разбитой головой. Вокруг него, разливаясь по линолеуму, пунцово расцвела лужа крови, блестевшая в электрическом свете. Все тело его содрогалось последними остатками уходящей жизни. Мне пришлось перешагнуть через умирающего своего помощника, и, словно совершив тяжкий грех, я почувствовал, как опорожнилось мое сердце.

Дробно рассыпались выстрелы на верхней палубе, обрывая чьи-то жизни.

Когда я вошел в кают-компанию, там уже находилось несколько офицеров, два доктора и судовой священник. К нам был приставлен караул.

События начинали развертываться с невероятной быстротой. Приводили новых офицеров, кондукторов,

сверхсрочнослужащих. Вот показались машинисты. Они тащили за руки старшего механика, а он, несмотря на свою солидность, падал перед ними на колени и жалким голосом умолял:

— Товарищи, помилуйте! Разжалуйте меня в кочегары. Я буду за двоих стоять вахту...

И сам с себя сорвал погоны.

Машинисты с хохотом отшвырнули его от себя,— он грохнулся в угол кают-компании, как тяжелый чурбан. А потом, приподнявшись на один локоть, он прижался к задней переборке, съежился весь и нудно застонал, словно жалуясь на отнявшиеся ноги.

На корабле продолжалось движение людей, на первый взгляд бестолковое, а на самом деле великолепно организованное. Число арестованных увеличивалось. Где-то в глубине судна глухо защелкали выстрелы. Вслед за этим в кают-компанию вбежал кондуктор-электрик Головин, переодетый в матросскую форму. Лицо у него было в крови, и я с трудом его узнал.

— Спасите, ваше высокоблагородие, спасите...— в отчаянии завопил он, обращаясь ко мне.

Я попятился от него, как от сумасшедшего, резко крикнув:

— Отстань!

В дверях показались матросы, преследовавшие Головина. Он бросился от них на мягкий кожаный диван, уперся головою в угол, точно хотел пробуравить его, а нижнюю часть туловища поднял, словно нарочно подставляя под удары. Один матрос с грубой руганью вонзил ему штык между ягодиц,— вонзил глубоко, по самое дуло винтовки. Животный рев потряс стены кают-компании и сразу же оборвался. Другой матрос, размахнувшись, ударил штыком в спину, проколол кондуктора насквозь, пришпилил его к дивану. Задергавшись, Головин с трудом поднял искаженное лицо, вывернул из глазниц луковицы страшных глаз. Из груди его исторгался хрип, похожий на свиное хрюканье.

Мы в ужасе отшатнулись и застыли на месте. Казалось, что сейчас и с нами начнут так же расправляться. И душа цепенела, словно окутанная в свинцовый саван.

Но матросы, покончив с кондуктором, заговорили мирно, как бы извиняясь перед нами за свои поступки:

— Вот стервец! Хотел динамомашину вывести из строя.

— Он было хитро придумал. Если бы уничтожил свет, все наши злодеи разбежались бы с корабля, точно крысы. Кого впотьмах поймаешь?

И тот и другой спокойно вытирали пот с лица. Они ушли, оставив на диване мертвое тело. Мы удивленно переглянулись, как будто впервые увидели друг друга. Судовой священник начал вдруг креститься, беззвучно шевеля губами. Левой рукой он прятал за полу подрясника большой серебряный крест, словно это был предмет, могущий уличить его в преступлении. Боцман Соловейкин, оказавшийся в числе арестованных, зашмыгал носом, как будто внезапно схватил отчаянный насморк. Бросалось в глаза, что каждый старался спрятаться за других, поэтому все густо столпились у задней переборки нашего помещения.

Не успели мы опомниться, как офицерский коридор левого борта вдруг загремел выстрелами, криками, матерной бранью, топотом многочисленных ног. Там происходило какое-то сражение. Минуту спустя в кают-компанию принесли стонущего матроса. Его осторожно положили на стол. Минный квартирмейстер сурово распорядился:

— Господа доктора̀, на помощь!

Оба доктора, старший и младший, обрадованно бросились к столу и дрожащими руками, мешая друг другу, начали раздевать раненого. У последнего оказалась простреленной грудь. Он умирал, блуждая мутными глазами.

Один кочегар рассказывал:

— Это лейтенант Брасов угостил его так. Вот гад — не сдается. Заперся в своей каюте и отстреливается из револьвера. Одного человека сразу наповал уложил — в голову попал.

Другой матрос добавил сквозь зубы:

— Все равно Брасов будет в наших руках. Если бы в ад спрятался — достали бы и оттуда. Не пощадим дракона...

В коридоре наступило затишье. Я решил, что с лейтенантом Брасовым, вероятно, все покончено. Меня только удивляло, что матросы, стоявшие у левой двери, начали перешептываться с машинистами, и те куда-то

быстро убежали. Из кучки оставшихся матросов двое выдвинулись вперед, в коридор. Каждый из них, присев на одно колено, взял свою винтовку на изготовку.

Спустя некоторое время в кают-компанию прибежал чумазый кочегар, задыхаясь, торопливо сообщил матросам:

— Все готово. Сейчас начнется представление.

Около левой двери скопилось порядочно матросов. Все они, заглядывая в коридор, вытянули шеи и притихли. Я не понимал ничего, но что-то жуткое было в этом напряженном ожидании.

Вдруг тишина взорвалась треском разбитого стекла. В ту же секунду из коридора донесся до нас человеческий визг, смешанный с шипением пара. Матросы зашевелились, загалдели.

— Теперь нагонят Брасову тепла.

— Вот это баня!

Из дальнейших обрывков фраз я догадался, в чем дело. Оказалось, что лейтенанта Брасова никак нельзя было взять из каюты. Он отстреливался сквозь двери, а рисковать жизнью никто из команды больше не хотел. Тогда придумали другой способ покончить с ним: провели из машины шланг, разбили кувалдой в его каюте иллюминатор и пустили горячий пар.

Визг перешел в утробный рев, настолько страшный, что у меня вздыбились волосы на голове. Я с ужасом представлял себе, что делается в злополучной каюте. Пар врывался туда с невероятной силой, нестерпимо обжигая все тело. Лейтенант Брасов сразу же обезумел. Быть может, у него полопались глаза. Слепой, он шарахался в своем крохотном помещении во все стороны, всюду налетая на препятствия, опрокидывался и снова поднимался, бился головой о переборки. На мгновение он замолкал и опять исходил смертным ревом. И чем дальше, тем горячее становилось в каюте. Он варился в ней, как мясо в котле. Сползала кожа с лица, с рук, с головы, а внутри все еще билась болью жизнь.

Все арестованные в страхе жались друг к другу, бледные и безвольные, с дрожью в сердце.

Когда замер последний стон, открыли каюту, Брасов был обваренным трупом. Его унесли на верхнюю палубу и бросили за борт.

С этого момента корабль целиком находился в руках революционеров.

В кают-компанию вошел радиотелеграфист Смирнов, сопровождаемый несколькими матросами. Все они были вооружены револьверами, отобранными у офицеров. Он быстрым взглядом окинул арестованных и заговорил начальническим тоном:

— Прошу вас, господа офицеры, успокоиться. Все кончено. Вас больше никто не тронет.

В ответ, словно радостный вздох, послышалась благодарность.

Смирнов повернулся к караулу, сторожившему нас.

— Никаких бесчинств со стороны команды не допускать. В противном случае вы предстанете перед военно-революционным судом.

— Есть! — бойко ответили караульные.

— Трупы нужно убрать. Кондуктора бросьте за борт, а матроса отнесите на верхнюю палубу.

Смирнов со своей свитой удалился.

Как я и предполагал, он оказался главным лицом, руководящим восстанием. Так оно и должно было быть: умный, с хорошей подготовкой и решительный в нужный момент.

Явились вестовые, убрали трупы, а затем швабрами и тряпками вытерли кровь и вообще всю кают-компанию привели в порядок.

К нашему удивлению, бурное настроение команды быстро упало. Даже среди караульных чувствовалась какая-то растерянность. По-видимому, всех занимал вопрос: как обстоит дело с остальными кораблями? Не трудно было догадаться, что восстание там замедлилось. Это нас мало радовало. Если только матросы почуют, что им угрожает опасность, с нами больше не будут церемониться. Двенадцать человек караульных, вооруженных винтовками, в одну минуту превратят нас в трупы. Кроме того, я и другие офицеры, осведомленные мною, хорошо помнили слова адмирала: взбунтовавшееся судно немедленно будет потоплено артиллерией с других кораблей. И с этой стороны нам угрожала только гибель. Наш «Громовержец» стоял среди эскадры. С такого близкого расстояния не может быть промаха, и одного залпа вполне достаточно, чтобы от нас ничего не оста-

лось. Мы только что видели смерть, уродливую и отвратительную, и с дрожью в позвоночнике ждали того момента, когда десятки крупнокалиберных орудий из своих широких пастей рыгнут в наш корабль огнем и сталью. Над нашими жизнями продолжала висеть мрачная тень безумия. Я не знаю, как моим помощникам, но мне лично хотелось, чтобы матросы скорее свернули командующему флотом его старческую, отупевшую голову.

За начальника над караулом был минер Гасихин. Другие часовые стояли, а он камнем сидел на стуле около порога. Голова его, покрытая бескозырной фуражкой, немного склонилась от тяжелых дум. Лицо, широкое в висках, заканчивающееся острым подбородком, было угрюмо и неподвижно, как маска, а серые глаза ушли под шишки бровей. Изредка, не поворачивая головы, он резал нас косым взглядом.

В кают-компании начали появляться матросы в бушлатах. По-видимому, они прибегали с верхней палубы и приносили радостные вести, шепотом передавая их караульным. И сам Гасихин и его подчиненные становились бодрее, перешептывались о чем-то между собою, улыбались. Из этого нетрудно было заключить, что, вероятно, и другие суда примкнули к революции.

Я обратился к часовым:

— Разрешите, товарищи, покурить.

Ко мне повернулся Гасихин и добродушно ответил:

— Пожалуйста. Этим революции не повредите.

Я вынул из кармана серебряный портсигар, раскрыл его, взял сам папиросу и предложил часовым. Они тоже не отказались.

Задымили.

Я почувствовал облегчение, точно чья-то холодная рука, безжалостно державшая мое сердце, разжалась.

Тут только я заметил, что мои бывшие подчиненные — офицеры, кондуктора, сверхсрочнослужащие — смотрят на меня с завистью, как собаки на хозяина, уничтожающего вкусный обед. Меня даже покоробило такое раболепство. На что они еще надеются?

Я сказал:

— Почему же вы не закурите?

Последовал ответ с вежливым наклоном головы:

— Мы с удовольствием, если вы ничего не имеете против.

Меня это взорвало.

— Я сам нахожусь на положении арестанта, как и вы. Между нами никакой разницы нет. Обращайтесь вот к кому.

Я махнул рукой в сторону часовых.

Они ухмыльнулись.

— Кажись, всем дали разрешение курить.

Защелкали портсигары, зачиркали спички. В глазах засветилась надежда.

Прибежал матрос, что-то пошептал Гасихину на ухо. Тот приказал всем механикам немедленно отправиться с посыльным и назначил к ним двух конвойных. Сначала мы испугались — не хотят ли их расстрелять, но скоро все выяснилось. У нас на зиму некоторые машинные части были разобраны. Машинисты решили на всякий случай привести машину в полную готовность. Кочегары тоже не спали, поднимая пары в котлах. Такая предосторожность мне даже понравилась. Хотелось еще знать, как повстанцы будут действовать в дальнейшем. Корабли стояли на рейде во льдах. Чтобы вывести их в открытое море, прежде всего пришлось бы пустить в ход ледоколы. Приняты ли в этом отношении какие-либо меры?

Мои тайные соображения прервал громадный ростом и полнотелый судовой кок, показавшийся в дверях. На нем был парадный наряд: белый колпак и такой же белый, без единого пятнышка, фартук. Он вошел в кают-компанию величаво, словно был нашим шефом, и, бросив взгляд на арестованных, заговорил басовито, медленно, выговаривая слова по-владимирски на «о»:

— В кают-компании тепло и светло, а их скорежило.— Он повернулся к часовым: — А я, братва, обед готовлю для всей команды.

Те удивленно посмотрели на него.

— С чего это ты взял ночью обед готовить?

— А чем же отпраздновать нашу удачу? Радость-то какая! Офицерский повар у меня помощником орудует. Ну и супец же будет! За всю службу такого ни разу вы не едали. По два фунта мяса на человека. Только дай-то нам, боже, чтоб и дальше все было гоже.

— Вот это здорово! — воскликнул один из часовых, восторженно потирая руки.

Кок удалился, важно откинув голову назад, словно производил смотр кораблю.

Прошло еще часа два мучительного ожидания. В отношении нас никаких новых мер не предпринимали. Многие из арестованных сидели на стульях и на диване, другие стояли, привалившись к переборкам. Все молчали. Некоторые часто сморкались.

Мне надоело так сидеть, и я решил заговорить с часовыми. Подавив в себе тоску и отчаяние, я принял шутливый и беспечный тон:

— А ловко же, братцы, вы обставили нас! Моментально завладели кораблем, словно по расписанию.

Один из них промолвил на это:

— В таком деле зевать нельзя.

Минер Гасихин, ухмыльнувшись, обратился ко мне:

— А вы было приготовились отбиваться?

— Собственно говоря, положение было такое...

Он перебил меня:

— Да мы все знаем. Знаем даже, как лейтенант Брасов хотел корабль взорвать, а вы ему запретили. Только все равно не удалось бы ему это сделать.

Последнее сообщение меня поразило. Я смотрел на Гасихина, удивленно открыв рот.

— Вот этого я не ожидал!

— Конечно, не ожидали, потому что вы смотрели на нас как на серую скотинку.

Я горячо возразил:

— Никогда я не смотрел так на матросов.

А Гасихин продолжал оглушать меня новыми данными:

— Если так, за это очень благодарны вам. А только скажу еще, что нам известны и все ваши тайные доносчики.

При последних словах некоторые из арестованных унтер-офицеров съежились и ниже наклонили головы.

Я сейчас же сделал для себя надлежащий вывод: вот почему на моем корабле до поры до времени все было благополучно. За всю войну не произвели ни одного политического ареста. Наши тайные агенты, будучи известными матросам, становились для них совершенно

безвредными, а для администрации — бесполезными. Однако откуда, из каких источников черпала команда такие сведения? Неужели кто из офицеров являлся изменником своей касты? В угарной голове долго и бесполезно билась мысль, стараясь разрешить эту загадку.

В полночь нас стали угощать обедом. Нам прислуживали наши вестовые. Офицерам они принесли суп в медных баках и только для меня одного сделали исключение — подали тарелку, серебряную ложку и салфетку. Суп был наварист, с большим количеством мяса. В то время как часовые с волчьим азартом уничтожали обед, звучно чавкая и обливаясь потом, у нас было полное отсутствие аппетита, ибо в кают-компании все еще пахло человеческой кровью. И все-таки мы ели, словно обязаны были это делать.

После обеда, по распоряжению Смирнова, мне объявили, что я могу, если нужно, ходить в свою каюту, но при этом строго запретили появляться за пределами офицерского отделения. Боцмана Соловейкина освободили совсем из-под ареста. Обрадовавшись, он гаркнул на это:

— Покорнейше благодарю вас, господа-товарищи! Я всецело на вашей стороне. А с командой ругался только для видимости.

— Брось, боцман, глистой извиваться — все равно узнаем тебя,— сказал ему минер Гасихин.

Боцман забожился, уверяя других в своей преданности революции.

А когда я пошел в свою каюту за папиросами, он догнал меня в офицерском коридоре и, высовываясь из-за моего левого плеча, заговорил тихим и осторожным голосом:

— Ваше высокоблагородие, я знаю всех зачинщиков и могу все досконально о них доказать.

Я прошипел свирепо:

— Убирайся к черту! На что мне теперь нужны твои доносы!

Он прошмыгнул вперед меня и, согнувшись, быстро пошагал дальше, в помещения команды.

Меня крайне удивило, что в моей каюте ничего не было тронуто и все лежало на месте. Это служило хорошим признаком. Захватив папиросы, я опять отправился в кают-компанию. Мне захотелось видеть, что де-

лается с другими судами. Ссылаясь на головную боль, я попросился у начальника караула выйти на верхнюю палубу, чтобы подышать несколько минут свежим воздухом. Последовало любезное разрешение. Для сопровождения меня назначили одного часового.

Мы поднимались по офицерскому трапу. Как только голова моя показалась над люком, порывистый ветер плеснул в лицо холодом. Выйдя на верхнюю палубу, я огляделся. На первый взгляд все было по-прежнему: эскадра находилась в том же положении, в каком я видел ее днем; лед не тронулся с места и продолжал держать воды рейда в холодных оковах; быстро неслись, как и в прошлую ночь, рваные облака, а между ними, в далекой и темной вышине, дрожали золотые брызги созвездий. Одно только изменилось: на голых мачтах всех кораблей, больших и малых, тяжелых и быстроходных, горели алые огни. И в этом заключалось все — рубеж новой эры, торжество и надежда для одних людей, вопль и отчаяние для других. Правда, вдали чуть виднелась первоклассная крепость, черная и молчаливая. Там, вероятно, все еще не произошло переворота. Может быть, ее тяжелая артиллерия держит всю нашу эскадру под прицелом. Но разве может она остановить разбег революции!

Я посмотрел на свои башни: все они были повернуты дулами в сторону берега, все орудия наведены на приморскую железобетонную твердыню. На мостике, около боевой рубки, прохаживались темные фигуры матросов, вскидывая к глазам длинные бинокли. Корабль приготовился к бою. Вероятно, и вся эскадра была на страже.

В стороне от крепости, ближе к нам, мерцали редкие огни города. Туда, шагая по ледяному полю, направлялась большая партия матросов. Они шли на берег, должно быть, затем, чтобы и там поднять восстание.

В городе у меня остались жена и дочь. Я виделся с ними только вчера. Увижусь ли еще раз? При этой мысли в сердце ударила лихорадка, в глубине души застонала обрывающаяся струна. Я стоял, заложив руки в карманы брюк и чувствуя себя таким одиноким, словно весь мир изменил мне. В трех шагах находился часовой, который при малейшем моем подозрительном движении всадит в меня штык или пулю.

Вдруг я услышал вопли и ругань, заставившие меня повернуть голову в сторону. Это несколько человек тащили на палубу боцмана Соловейкина, а он, упираясь, умолял:

— Братцы, что вы делаете? Отпустите! Чем угодно поклянусь — ничего я не говорил. Спросите хоть у командира...

Чей-то суровый голос отвечал ему:

— Врешь, изменник!! Сами слышали.

— Пожалейте, господа-товарищи! Двое детей сиротами останутся.

— Об этом нужно было раньше думать.

Около борта он стал на колени и, не выговаривая больше слов, жалобно замычал быком. Насмешливо подвывала ему ночь в снастях мачт. На мгновение мрак разорвался огненными вспышками. Ветер унес в черную даль револьверные выстрелы и последний крик угасшей жизни.

Кто-то резко приказал:

— Сбрасывай!

И мертвое тело Соловейкина мягко бухнулось о толстый слой льда.

Я посмотрел за борт: там, на остекленевшей поверхности воды, темными пятнами распластались трупы — старшего офицера Измайлова, лейтенанта Брасова, кондуктора Головина и других, неизвестных мне. Может быть, и мне предстоит такая же гибель? Я почувствовал, что в сосудах моих загустела кровь, словно осыпанная снежной пылью.

Над землей висела бредовая ночь. Холодный ветер рвал тьму. На многочисленных реях, излучаясь, покачивались красные огни.

О Россия! Кто предскажет твое грядущее?

Когда мы спустились вниз, мне разрешили спать в своей каюте.

III

Сделав эту выписку из старой тетради, я подумал: как странно все происходит на свете. В ту безумную ночь, когда вместе с другими восставшими и наш флот перевалил через порог тысячелетия, мнилось мне: с гибелью правящего класса родина, словно поезд, полете-

ла под откос. С тех пор прошло более восьми лет. И оказалось — Россия не только не провалилась и никуда не пропала, а продолжает с каждым годом крепнуть. Были ошибки на ее бездорожно-ухабистых путях, есть они и теперь, но сама жизнь вносит свои поправки.

Помню, какой ужас тогда наводили на меня красные флаги. А теперь я смотрю на них, как и на все новые порядки, совершенно спокойно. Правда, осталось немало людей, которые до сих пор не могут примириться с фактом революции. Они шипят и злобствуют втихомолку, про себя, но от этого никому ни жарко, ни холодно. Жизнь проходит мимо них.

Взять моего родного дядю адмирала Подгорного. Он и его супруга Варвара Васильевна случайно остались живы — революция пощадила их. Я иногда захожу к ним. В то время как сыновья неплохо устроились на советской службе (один — доктором, а другой — инженером), старики жалко коротают свои дни. Они все время сидят дома, как затворники, и дальше своей уборной никуда не ходят. И это продолжается уже несколько лет. Оба высохли, оба пожелтели, сморщились, как печеное яблоко,— живые мумии, но не сдаются.

Однажды по просьбе сыновей, беспокоившихся о своих родителях, я попробовал уговорить их пойти со мною в театр.

Дядя гордо откинул голову и, глядя на меня поблекшими глазами, сердито проскрипел:

— Что? В театр? Идиотские пьесы смотреть? Да за кого вы, милостивый государь, меня принимаете?

Я мягко возразил:

— Гоголевского «Ревизора» ставят.

— Наплевать мне на то, что ставят. Эти разбойники, вероятно, и Гоголя испохабили так же, как испохабили всю жизнь.

— Напрасно вы так думаете, дядя.

— Не думаем, а знаем.

— Ну, пойдемте погулять на улицу или к реке.

Он задрожал весь, нелепо размахивая руками, и с дергающейся гримасой на лице выпалил:

— Не желаем мы советским воздухом дышать!

Жена добавила, шамкая беззубым ртом:

— Да, да. Если вы, Василий Андреевич, обольшевичились, это еще не значит, что и все потеряли совесть.

Кончилось тем, что мы рассорились.

Я удивляюсь их упорству: до сих пор они продолжают сидеть в четырех стенах своей комнаты, точно прокаженные. Единственное утешение находят в чтении старых французских романов. Книги Шатобриана стали для них то же, что евангелие для верующих христиан. И еще, как рассказывали мне сыновья дяди, он иногда по праздникам наряжается в свой адмиральский мундир с черными орлами на золотых эполетах, прицепляет к груди медали и кресты, подвешивает кортик сбоку, на голову надевает фуражку с кокардой. В таком облачении он подолгу стоит перед зеркалом, любуясь на свое отражение, или часами прогуливается в комнате, словно на мостике корабля,— прогуливается с мрачным видом, точно намереваясь отдать боевой приказ по эскадре. Время от времени он произносит одну и ту же фразу:

— Еще Наполеон сказал, что если в России выпадут два-три майских дождя, она непобедима.

Жена в таких случаях, обращаясь к нему, величает его:

— Ваше превосходительство...

В общем, они напоминают мне людей, которые хотят заскрипеть зубами, забывая, что у них зубы поломаны.

А вот другая сторона жизни.

После переворота на корабле я перешел на сторону революции и потом три года сражался против белых за утверждение нашей молодой республики. Что меня толкнуло на это, я до сих пор не могу по совести разобраться: желание послужить новой России или же скрытая трусость перед страшной силой поднявшихся народов. Во всяком случае, воевал я честно и храбро, не переставая внушать самому себе мысль, что это нисколько не противоречит моим убеждениям. Вместе с матросами я прошел через трагедию и смерть.

За это время я очень сдружился с радиотелеграфистом Смирновым. Савелий Арсеньевич — так зовут его — начал часто бывать у меня на квартире. Чем больше я узнавал его, тем сильнее проникался к нему уважением. Этот выходец из деревни Харитоновки, одной из север-

ных губерний, оказался на редкость способным самородком. Он кончил у себя на родине всего лишь церковноприходскую школу, а затем, поступив на службу в военный флот, прошел классы для радиотелеграфистов. На этом и закончилось его образование. Дальше черпал знания из книг. Но сколько энергии отпустила природа на его долю! Я не раз слышал его, когда он выступал с речами на собраниях. Своей пламенной верой в революцию он мог заразить самых отсталых и колеблющихся матросов и заставить их совершать героические подвиги. Во всех трудных обстоятельствах разбирался быстро, все его предложения были практичны. Заделавшись комиссаром, он с отвагой, доходящей иногда до безумия, защищал советскую власть.

После Октябрьской революции начались гонения на офицеров, в особенности когда разразилась гражданская война. Многие из них поплатились своими головами. Время это было жестокое, мутное, связанное с всеобщей разрухой, с иностранной блокадой, с голодом и кровью.

Обрушилось несчастье и на мою семью.

Но об этом я лучше сделаю выписку из своей старой тетради.

Красные арестовали моего зятя, Клавдина мужа, лейтенанта Богданова. Это был хороший офицер, по-своему честный, но, конечно, он никак не мог принять революции. Он женился на моей дочери в начале шестнадцатого года. Это был брак по взаимной любви. Дочь моя относилась к своему мужу с величайшей нежностью и считала себя счастливой женой. Поэтому арест Богданова был для нее оглушительным ударом, тем более что ему грозила смертная казнь. Она переживала трагедию молча, без слез, стиснув зубы, и таяла с каждым днем. На квартире у меня воцарился ужас. Я уходил из дому разбитым человеком.

Однажды я обратился к Смирнову, прося его лишь об одном — спасти зятя от расстрела. Комиссар сразу насторожился. Синие глаза, взглянув на меня, сверкнули холодным лезвием. В голосе прозвучала неумолимость.

— Если мы будем разбиты, ваш лейтенант Богданов первый поставит меня к стенке.

Волнуясь, я горячо заговорил:

— Этого никогда не будет. Я бы не стал к вам обращаться с такой просьбой, если бы не дочь. Посмотрите на нее — она погибает...

Он круто оборвал меня:

— Давайте лучше прекратим ненужный разговор об этом.

Смирнов стал бывать у меня реже

Как-то, после долгого промежутка, в один из сумрачных осенних вечеров он завернул ко мне. Жены моей дома не было. Мы с дочерью угощали его морковным чаем и горячей картошкой с полугнилой воблой. В черной кожаной куртке, в кожаных штанах, с револьвером в кобуре, прицепленным к поясу, он сначала произвел впечатление сухого и черствого комиссара. Потом выражение лица его изменилось, стало мягче, человечнее. Сидя за столом, он, как всегда, немного терялся, неумело работал вилкой и ножом. Клавдия сидела против него, по другую сторону стола, бледная и скорбная, в гладкой прическе темных волос. Разговаривая со мною о фронтах противника, напирающего на Советскую Россию, он изредка поглядывал на дочь. Наконец заговорил с нею:

— Простите, Клавдия Васильевна, я хотел вам предложить пройтись со мною на одно собрание. Кстати, посмотрите наш новый клуб. Вам нужно хоть немного отвлечься от своего горя.

Это было сказано искренне, дружеским тоном.

К моему удивлению, дочь охотно согласилась на это и начала одеваться.

Вернулась она поздно ночью. Я спросил:

— Ну что, понравилось тебе в клубе?

Она отозвалась с восторгом:

— Я очень довольна, что пошла. Выступал с речью и Савелий Арсеньевич. Папа, я не представляла себе, что он так хорошо умеет говорить.

— Да, замечательная личность,— подтвердил я.

С этого вечера она стала чаще уходить со Смирновым на разные собрания. Мать забеспокоилась, когда узнала об этом.

— Слушай, Базиль, как это ты позволяешь такие выходки?

— Что? — спросил я.

— Дочь наша кончила институт благородных девиц, а этот комиссар — простой матрос. Что общего может быть между ними? И она куда-то ходит с ним. Ты что-нибудь понимаешь в этом?

— Понимаю.

— Ну?

Я пошутил:

— Революция произошла.

Жена рассердилась, впилась в меня черными глазами.

— Боже мой, какие ты глупости говоришь! Ты окончательно потерял рассудок. Делайте вы перевороты на кораблях, во дворцах, воюйте со своими людьми, безобразничайте, сколько вам угодно. Но у себя дома, в своей квартире, в своей семье я не позволю этого...

А я, зная честность и благородство Смирнова, только радовался тому, что дочь моя ведет с ним знакомство. Клавдия ожила, повеселела, большие серые глаза снова заискрились. Я объяснил это тем, что муж ее, вероятно, не будет казнен. Может быть, тот же Смирнов сообщил ей об этом. Так или иначе, но я уже не боялся за Клавдию — жизненный инстинкт брал свое.

Прошло три месяца.

Зима стояла суровая — с крепкими морозами, с завывающими метелями. Мрак и запустение царили в нашем городе! Трубы фабрик и заводов давно уже перестали дымить в небо. Пролетарии большею частью были на бесчисленных фронтах, помогали красноармейцам и краснофлотцам, другие ушли в административные дела, а остальные расползались по селам и деревням, чтобы осесть там на земледельческих работах. Исчезли и все извозчики. Обезлюдели многие дома, и стояли они угрюмые, зияющие глазницами разбитых окон. Дикую картину представляли собою улицы, занесенные сугробами, с бесконечными очередями у казенных складов, с пешеходами, таскающими на себе пайки, вязанки дров и всякую рухлядь, с самодельными санками, в ко-

торые вместо лошади запрягался сам человек. Торговля прекратилась. Только на некоторых рынках собирались горожане, рискуя попасть в облаву: несли туда мебель, платья, дорогие чайные сервизы, хрустальные графины, серебряные подносы, чтобы обменять это у крестьян на картошку, брюкву, капусту, на подозрительное мясо. У кого заводились бумажные деньги, падающие в цене с каждым днем, тот старался как можно скорее избавиться от них, словно от язвы. По ночам город погружался во мрак, все жители прятались в своих каменных клетках и грелись у маленьких печек, ощущая в желудке тошнотворную пустоту. Перед многими семьями стоял лозунг: спасайся, кто как может.

Меня часто грызли сомнения. Иногда казалось, что мы бредем с завязанными глазами к какой-то жуткой пропасти. Порой я приходил в отчаяние и готов был пустить пулю в лоб. Быть может, я только потому этого не сделал, что наши контрреволюционеры находились под руководством иностранных войск. Последние уже хозяйничали на окраинах России как полные господа. Это возбуждало во мне ненависть и заставляло действовать с оружием в руках против тех, кто поднимался на Советскую республику.

Было безрадостное воскресенье. Я вернулся домой рано утром, застав своих за скудным завтраком. Дочь, по обыкновению, встретила меня ласково. Но за столом я заметил, что она была чем-то взволнована. Избегала встречаться взглядом со мною. Бледная, с краснотою в глазах, она производила впечатление, как будто не спала всю ночь.

— Что с тобою, Клавдия?

— Ничего, немножко нездоровится.

Я встревожился.

— Может быть, к доктору обратиться?

— Пустяки. Пройдет.

А после завтрака, когда жена стала мыть чайную посуду, Клавдия порывисто встала, несколько раз прошлась по столовой и, повернувшись к нам, решительно заговорила:

— Папа и мама, вы знаете, как я люблю вас. Мне не хотелось бы огорчать вас. Но я должна сказать вам правду...

У меня похолодело в груди. Мать, держа в руках чайный стакан, вскинула на дочь испуганные глаза и застыла. Клавдия стояла перед нами выпрямившись, стройная, повторившая в себе мой былой облик молодого мичмана.

— Клаша, что это значит? — прорвалось наконец у матери.

В свою очередь, и я спросил:

— Что случилось, дорогая?

Помедлив, она заговорила:

— Я очень благодарна вам за вашу родительскую заботу обо мне. Но я стала взрослой и самостоятельной женщиной. И я думаю, что вы не помешаете мне устраивать мою жизнь по-своему.

Мы воскликнули в один голос:

— Клаша, мы всегда предоставляли тебе полную свободу! В чем дело?

Отчеканивая каждое слово, она произнесла:

— Я выхожу замуж.

Мать смотрела на нее не мигая и, казалось, прилагала все усилия, чтобы поймать открытым ртом воздух, а я сурово продолжал допрашивать:

— То есть как замуж?

— Скажу больше: я уже вышла замуж.

Сердце мое готово было разорваться от страшной догадки, но я почему-то начал обманывать самого себя и мягко подсказал:

— Знаю. И твой муж, лейтенант Богданов, сидит в тюрьме, ожидая смертной казни.

— Не беспокойтесь, дорогой папа, он не будет казнен.

— Очень рад,— прохрипел я.

А она, сообщая дальше, словно топором разрубила мне грудь.

— Мой новый муж — Савелий Арсеньевич Смирнов.

Казалось, стены нашей квартиры насторожились. На мгновение стало тихо. Вдруг что-то звонко так треснуло, что я вздрогнул. Это выпал стакан из рук моей жены. Вслед за тем она ахнула и повалилась со стула. Я сначала ошалело заметался по комнате, а потом дочь помогла мне уложить мать на диван. Мы долго возились с нею, вспрыскивая водой, пока не привели в чувство.

Жена взглянула на Клавдию удивленно, и сейчас же в глазах ее отразился страх, словно она увидела невыразимые ужасы. Поднявшись, она спустила ноги с дивана. Лицо приняло выражение отчаяния и ярости, а губы быстро задвигались, издавая какие-то стонущие и свистящие звуки. Наконец она разразилась истерическим хохотом.

— Надя, что с тобой? — испуганно спрашивал я жену и тряс ее за плечи.

Опомнившись, она начала выкрикивать:

— Базиль! Базиль! Наша дочь сошлась с матросом. А муж к смерти приговорен. Может быть, его сейчас ведут на казнь. Что за безумие такое...

И самому мне казалось, что Клавдия покрыла себя неслыханным позором. Своим поведением она осквернила не только своих родителей, но весь наш род. Где прежние моральные устои? Революция смыла их. Я посмотрел на дочь: она, опустив ресницы, стояла неподвижно, с тупой усталостью на лице, точно слова матери не доходили до ее сердца. Меня охватывало бешенство, но я сдерживал себя, не теряя надежды, что можно еще уладить дело.

Дочь стремительно бросилась к матери и, опустившись перед нею на колени, застонала:

— Мама, не надо так убиваться. Успокойся. Ничего особенного не случилось. Я счастлива.

Мать оттолкнула ее и, переплетая слова с рыданиями, заговорила:

— Отойди! Я не могу больше смотреть на тебя. Ты стала развратницей. А твой поганый матрос — хам, вор! Он ограбил мою жизнь... Он украл мое сердце...

Дочь, вскочив, отступила на несколько шагов. По ее бескровному лицу пробежала судорога. В серых глазах отразилось уязвленное самолюбие. Резко зазвучал грудной голос:

— Мама, если ты не хочешь окончательного разрыва со мною, опомнись и не говори так.

Жена, не слушая, твердила свое, обращаясь уже ко мне:

— Я тебе говорила, Базиль, чтобы ты запретил дочери гулять с этим негодяем. Вот тебе результаты. Он

внедрился в нашу жизнь, как разбойник... Растоптал все наши надежды...

Клавдия тоже повернулась ко мне:

— Папа, запрети ей так отзываться о Смирнове. Ты сам мне рассказывал, как он спас тебе жизнь во время переворота на корабле. Кроме того, он не только мне муж,— он отец моего будущего ребенка.

Жена зажала уши и, свалившись на диван, зарыдала еще сильнее.

Я понял, что все пропало. Темная волна оскорбления залила мой мозг. Поведение дочери походило на предательство. Хотелось броситься к ней, обрушить кулаки на ее распутную голову, но такие меры в нашем быту не применялись. Кровь шумела в ушах. У меня было такое ощущение, как будто продырявили мне душу.

Клавдия оделась в зимнее пальто и, не сказав ни слова, вышла на улицу.

Я долго сидел около рыдающей жены, утешая ее, а в мозгу горел неразрешимый вопрос: как все это случилось? Я понимал офицерских вдов: поднявшаяся голь обобрала их имущество, казенных пайков не хватало, нечем стало жить. Как железными тисками их сдавливал голод и доводил до такого состояния, когда каждая клетка организма кричала только о пище. А в это сумасбродное время матросы находились в привилегированном положении, имея такие драгоценные предметы, как хлеб, сало, консервы, сахар. И офицерские вдовы, доведенные до помрачения ума, выходили замуж за убийц своих мужей или становились их любовницами. Я нисколько не осуждал их за это. Но у моей дочери положение было иное. Я служил в Красном флоте, откуда получал достаточно продуктов. Что же случилось? Неужели поступок ее можно объяснить испорченностью натуры?

Над городом нависло серое небо. В воздухе белой мошкарой кружились мелкие снежинки. Дома казались усталыми.

Клавдия на ночь не вернулась.

На второй день я не пошел на службу, сославшись на болезнь.

К нашему дому подкатил грузовой автомобиль. В квартиру вошли матросы. Поздоровавшись, они подали

мне записку от дочери. Она просила переслать ей некоторые ее вещи, и я выдал матросам все, что принадлежало Клавдии. Ребята снесли добро на автомобиль и снова вернулись.

— Еще что-нибудь нужно? — спросил я.

Один из них бойко ответил:

— Да, товарищ командир. Надо бы из мебели коечто. А то у наших молодых супругов — кругом бегом не зацепишься.

Другой добавил:

— Поимейте, папаша, в виду и насчет посуды.

Удрученный горем, я ответил машинально:

— Пожалуйста, забирайте, сколько найдете нужным.

Через несколько минут за окнами, запушенными снегом, раздались гудки отъезжающего автомобиля.

Целую неделю я безуспешно бился над тем, чтобы понять свою дочь. Поведение ее трудно было объяснить распущенностью: раньше я этого не замечал в ней. А с другой стороны — какие еще могли быть мотивы, заставившие ее бросить страдающего мужа и сойтись с матросом? Любовь к новому человеку? В это я тоже плохо верил. Так или иначе, но мой душевный мир настолько был нарушен, что я нигде не находил себе покоя. Приступы бешенства сменялись непомерной усталостью. Наконец я не выдержал и решил повидаться с Клавдией.

Когда я пришел к ней, Смирнова как раз не было дома. Увидев меня, она очень обрадовалась и по-прежнему кинулась целовать меня.

— Папа, как это хорошо, что ты пришел! Ты, значит, не считаешь меня отверженной дочерью?

Слезами радости оросились ее красивые глаза.

Я уселся на стул.

В углу просторной комнаты топилась маленькая железная печка. На ней стояли какие-то кастрюли. Пахло соленой рыбой.

— Давай, Клавдия, поговорим спокойно и откровенно.

— Я никогда, папа, не лгала тебе.

— Тем лучше. Конечно, я не считаю тебя отверженной дочерью. Но я никак не могу понять того, что ты из-

менила лейтенанту Богданову. Он и без этого переживает страшную трагедию. Ведь когда-то ты любила его?

Клавдия утвердительно кивнула головою.

— А теперь?

— Полюбила другого.

— Так сразу?

Она без колебания заявила:

— Да, так сразу, и настолько сильно, что я не расстанусь с ним. Если потребуется, я поеду с ним в его деревню Харитоновку и буду картошку копать. Должна еще прибавить — я полюбила не только Смирнова, но и ту новую жизнь, за которую он борется.

Несмотря на ее решительный тон, у меня явилось подозрение: не хочет ли она принести себя в жертву ради спасения своего первого мужа? Я сейчас же решил проверить это, заговорив осторожно:

— Мне казалось, что лейтенант Богданов в отношении тебя был преисполнен самого возвышенного благородства.

Клавдия глубоко вздохнула.

— Я тоже раньше так думала.

— А потом?

С минуту она сидела молча, опустив ресницы, словно не решаясь в чем-то признаться мне. Лицо ее приняло такое выражение, как будто она думала об отвратительных вещах. Сделав над собою усилие, она заговорила:

— Я недавно встретилась на улице с Ариной. Помнишь, в шестнадцатом году она жила у меня прислугой? От нее я кое-что узнала о благородстве Богданова. Когда я три месяца лежала в больнице, борясь со смертью, он в это время сошелся с Ариной. В результате она забеременела от него. Он уговорил ее не поднимать скандала и дал ей двести рублей. Она мирно ушла от нас. Сейчас у нее дочь растет — третий год пошел. Как видишь, у Богданова есть другая семья.

Последние слова она произнесла подчеркнуто сухо.

Я был изумлен ее открытием. Все дело представилось мне в другом свете. Против лейтенанта Богданова зародилось негодование. Это он толкнул мою дочь на гибель.

Гудела железная «буржуйка». Что-то клокотало в кастрюле. В комнате было жарко.

Я спросил:

— Значит, таким образом ты отомстила своему первому мужу?

— Нисколько. Даже не думала об этом. Я просто полюбила Смирнова. Иначе говоря, я поступила, как повелело мне мое сердце, которое я унаследовала от своих родителей. И теперь я нисколько не раскаиваюсь в этом.

Мы поговорили еще, и я простил мою любимую дочь. Но это не означало, что я избавился от тревоги за нее. Силою воли я скрутил самого себя в тугой узел, чтобы не размочалиться.

IV

То мучительное горе, которое я затаил в себе, через несколько лет расцвело величайшей радостью. Теперь я смотрю и на свою дочь и на второго зятя совершенно по-иному. Клавдия, пожалуй, поступила мудро, избрав мужем Смирнова.

За это время, обладая природными способностями, он настолько умственно развился, что по праву считается крупным общественным работником. Беседуя с ним, трудно даже предположить, что это бывший малограмотный крестьянин из деревни Харитоновки, а затем матрос, находившийся в моем подчинении. Он стал в полном смысле интеллигентным человеком. Я не могу относиться к нему без уважения, хотя и не разделяю многих его взглядов на жизнь. Если считать по-прежнему, он занимает адмиральский пост.

Дочь моя является ближайшей помощницей во всех его общественных делах. Под влиянием мужа она окончательно отрешилась от прежнего мира. Про нее тоже нельзя сказать, что это бывшая дворянка, кончившая институт благородных девиц. Это новая женщина, рожденная революцией. При встречах со мной она беседует о восстановлении фабрик и заводов внутри страны, о женотделах, о международной политике с таким увлечением, с каким говорила раньше о новых парижских модах.

Из своих наблюдений я вижу: он, подтянувшись, приобрел некоторый внешний лоск, а она, отказавшись

от многих своих прежних аристократических привычек, несколько стала проще. И получилась на редкость гармоничная пара. Живут хорошо.

У них двое детей: Борис шести лет и Тоня трех с лишком лет. Мальчик похож на отца — синеглазый, полнокровный, с настойчивым характером. Девочка с матовым цветом лица, в темно-русых кудряшках, резвая и веселая — вылитая Клавдия в детстве. Жена моя до сих пор относится к ним с холодной официальностью, не вызывая любви к себе, а я смотрю на них и не нарадуюсь. Я часто бываю у них, и для меня самые счастливые часы, которые я провожу вместе с внучатами.

Смирнов выписал из деревни Харитоновки свою мать Афросинью Матвеевну. Это — бойкая женщина лет шестидесяти, отлично сохранившая свое здоровье. Не обращая внимания на городскую обстановку, она продолжает ходить в сарафане, в простых башмаках, на голове — повойник, обтянутый темным платком с белыми крапинками. С внучатами она обращается так умело, что они привязаны к ней больше, чем к матери. У нее всегда найдутся простые и ласковые слова, доходящие до детского сердца. Мало того, и Клавдия относится к ней, своей свекрови, с большой любовью, называя ее при обращении не иначе, как «мамой».

Недавно жена моя уезжала на дачу к знакомым с ночевкой. Мне было скучно. Я позвонил по телефону к дочери, чтобы прислали ко мне внучат.

Вот что я записал в свою тетрадь в тот вечер.

Детей привела Афросинья Матвеевна.

Тоня, в коротеньком платье, с красной лентой в кудряшках, увидев меня, радостно взвизгнула:

— Дедуска, дедуска! Я тебе принесла цветов, а Болька — валенье!

И бросилась обнимать и целовать меня.

Борька в матросском костюме, держа фунтовую банку за спиною, хотел, очевидно, сделать мне сюрприз, но Тоня помешала ему. Нахмурившись, он недовольно проворчал баском:

— Дергают тебя за длинный язык.

Я взял от него подарок и поставил на стол, а самого внука высоко поднял на руках.

— Спасибо тебе, Борис Савельевич, за гостинец. Давно я чай не пил с вареньем.

Напускная хмурь сползла с его загорелого лица — он сразу просветлел.

Потом Афросинья Матвеевна, улыбаясь, протянула мне корявую руку.

— Здравствуйте, сваток.

— Здравствуйте, дорогая свашенька. Присаживайтесь. Сейчас чем-нибудь угостимся.

— Спасибо.

Опрятная, в новом сарафане, в начищенных башмаках, она выглядела по-праздничному.

Дети наперебой рассказывали мне о своих впечатлениях — что случилось дома и что видели дорогой, пока шли ко мне.

Наконец мальчик серьезно заявил мне:

— Дедушка, я больше не хочу быть пожарным.

— Почему же это ты, товарищ Смирнов, вдруг решил отказаться от прежней профессии? — спросил я не менее серьезно.

Синие глаза загорелись детской мечтой.

— Хочу на инженера махнуть. Корабль устрою самый большой. Ты будешь на нем за капитана, а я буду машиной управлять. Мы наберем сто матросов, еще сто и еще. И поплывем далеко-далеко — по всем морям. И бабушку возьмем с собой. А папу и маму оставим. Им некогда: они все с портфелями бегают.

Тоня, вскинув голову в кудряшках, живо спросила:

— А меня возьмете?

Борис важно ответил:

— Не будешь капризничать — возьмем и тебя.

— Нет, Болька, никогда не буду. Знаесь что, Болька? Я буду всех чаем угощать и обедом. Ведь плавда, дедуска?

— Совершенно верно,— подтвердил я, обнимая Тоню.

Она спрятала лицо в мою седую бороду.

Сватья покачала головой, выговаривая нараспев:

— Ну и выдумщик, оголец! И чего только не наговорит!

Некоторое время спустя внучат угостили чаем и пирожным. Довольные, они отошли в угол столовой. Борис, разложив прямо на полу чистый лист бумаги, рисовал на нем корабль и, фантазируя, много болтал. Тоня внимательно слушала его и вставляла вопросы. А мы со сватьей продолжали сидеть за столом, опрокидывая по маленькой «русскую горькую» и закусывая. После трех рюмок она повеселела и стала словоохотливее.

Я решил спросить у нее:

— Как, свашенька, довольны вы своей снохой?

Улыбаясь, она собрала вокруг глаз сеть мелких морщин.

— И не стоит спрашивать об этом, сваток. Сами, поди, видите. Мне остается только бога благодарить. Послал он мне, наш создатель, на старости лет утешеньице. Где еще такую сноху сыскать? Что лицом, что умом, что приветливостью — тут уж ничевохоньки против не скажешь. Да-а...

Она говорила неторопливо и певуче, вкладывая в голос всю нежность любвеобильного сердца.

— Нужно мне спросить у вас, сваток: довольны ли своим зятьком? Хоть и до учености достукался он и на самокате разъезжает, а вышел-то из простых людей.

Я ответил:

— Раз моя дочь счастлива, то у меня нет никакого основания быть недовольным зятем.

Она радостно подхватила:

— Да, сваток, живут они дружно — всем на зависть. Нерасстанная парочка. Как придут домой — гуторят не нагуторятся. И слова-то у них все мудреные — не понять их мне.

Мы опорожнили еще по одной рюмке за наших молодых супругов. А потом приступили к чаю. Сватья пила чай из блюдца, звучно схлебывая. В промежутках рассказывала о сыне:

— Вторым он родился у меня. Первый — того Степаном зовут — тоже не плохой парень. Только тот больше по хозяйству пошел. А этот, Савелий-то, с малых лет все грамоту нюхал. Бывало, за три версты на село к учительше бегал за книжками. В поле поедет — обязательно книжку с собой прихватит. Зачитается, а работа стоит: сама не сдвинется с места. Покойник отец, царство

ему небесное на том свете, допытается — сейчас же за волосы сына и ну его возить. Дело наше крестьянское — нужда во всем. Чего только отец не придумывал! И честью просил сына бросить эту окаянную грамоту, и колотил его, и самолично грозился учительше этой самой ребра поломать. Ничего не помогало. И стал Савелий вроде как в задумчивость впадать. А я, бывало, гляжу на него и слезы горькие глотаю. Ну-ка, думаю, да собьется парень совсем? Эх, кому свое дите не жалко! А вышло совсем не так: через книжки-то эти, может, и в разум вошел он, Савелий-то. Вот оно, сваток, как бывает на свете: не узнаешь, откуда счастье придет, откуда — горе...

Сватья, замолчав, стала наливать чай в стакан.

Я задумался над человеческой судьбой.

Вдруг Тоня с плачем бросилась к бабушке.

— Что с тобой, внучка?

Девочка, рыдая, жаловалась:

— Болька не хочет меня на мостик пускать.

— На какой мостик?

— Когда поплывем на палоходе. И назвал меня глупой девочкой.

Бабушка, качая головою, заговорила укоризненно:

— Ах он, пострел этакий! Ах, окунь красноперый! Да как он смеет сестричку обижать? Да я ему больше ни одной сказки не расскажу.

Она обняла Тоню и погладила по головке.

— Ну, уймись, моя ненаглядная крошечка. Разве плачет когда-либо звездочка на небе? Она только улыбается.

Тоня крайне удивилась такому неожиданному сравнению.

— Бабуска, я больси не буду плакать.

На ресницах ее еще дрожали росинки слез, а серые глаза, глядя на доброе лицо пожилой женщины, начали уже улыбаться.

— А ну-ка ты, василек синеглазый, подь-ка сюда.

Борис топорщится петухом, но все-таки приближается к бабушке нехотя, как-то боком.

— Я тебе разве не рассказывала сказку, как брат сестричку любил?

— Не-ет,— протянул Борька.

— Ах я, старая! Забыла, значит. Ну, сегодня вечерком напомни мне. Уважу я тебя, птенчик мой милый.

Борис запрыгал на одной ноге в угол столовой, где у него были разложены рисунки корабля.

Тоня бросилась к бабушке на колени, обняла ее и пролепетала:

— Бабуска, я тебя люблю больси всех.

Потом полезла ко мне на колени.

— Дедуска, я тебя люблю клепче всех.

Тоня спрыгнула на пол, несколько секунд смотрела то на бабушку, то на меня, озаренная вся какой-то новой мыслью. И вдруг с настойчивостью начала просить меня, чтобы я сел рядом со сватьей. А когда я исполнил это, девочка снова залезла к нам на колени, обняла бабушку и меня за шею и прижала к себе так, что наши головы соприкасались. Серебряным бубенчиком зазвенел, лаская слух, детский голос:

— Я вас обоих клепче люблю...

Раньше, до революции, когда на моих плечах красовались золотые погоны капитана первого ранга, а грудь была увешана орденами, я пришел бы, вероятно, в ярость от такой близости к сватье. А теперь это нисколько меня не унижало. Наоборот, я сам смеялся — смеялся просто и откровенно, охваченный таким радостным настроением, как будто душу мою посыпали яркими лепестками...

Да, я счастлив тем, что пустил глубоко корни на земле в лице своих милых внучат.

Раз я затронул свои семейные отношения, то нельзя еще не упомянуть и о первом моем зяте. Конечно, лейтенант Богданов не был казнен. Я думаю, что он избавился от смерти только благодаря Клавдии. Из тюрьмы его перевели в концентрационный лагерь, где он оставался до тех пор, пока продолжалась гражданская война. Выйдя на свободу, он ни разу не явился ни ко мне, ни к моей дочери, словно мы никогда не были роднею. Как он отнесся к тому, что жена бросила его и вышла замуж за матроса, иначе говоря, за его кровного врага, — я не знаю. Могу только догадываться, что он, вероятно, пережил глубокую драму. Может быть, это обстоятельство и заставило его так быстро исчезнуть с нашего горизонта. Четыре года мы не имели о нем никаких

сведений. Наконец наш общий знакомый, бывший капитан второго ранга, показал мне под секретом письмо от Богданова. Оказалось — он поселился на одном из островов Ледовитого океана, женился на самоедке и занимается промыслом: летом ловит рыбу, а зимой бьет зверя.

V

Я только после революции убедился, что мы, правящий класс, не знали свой народ ни с хорошей, ни с плохой стороны. Для нас многомиллионная масса людей представляла собою, по выражению Лескова, «продукт природы» и ничего больше. Как работали они, как жили, о чем мечтали, какова внутренняя сущность была у них — мы никогда не задумывались об этом. Нам важно было только то, что они повиновались нам и сколько, в случае войны, мы могли бросить на фронт боевых единиц. Вот почему впоследствии, когда наступило время расплаты за наши грехи, многим из нас показалось, что началось страшное светопреставление.

Мне хочется еще раз вернуться к прошлому, к марту семнадцатого года, и привести один эпизод, занесенный когда-то на страницы моей тетради.

После переворота на кораблях на второй день, утром, произошло восстание в городе и крепости. Таким образом, смертельная угроза, висевшая над нашей эскадрой, была устранена. Революционеры теперь чувствовали себя прочно.

Нужно было решить участь арестованных. В отношении унтер-офицеров и сверхсрочнослужащих, которыми старший офицер Измайлов когда-то пользовался как тайными агентами, никаких колебаний не было: под усиленным конвоем их отправили в тюрьму. Напрасно они клялись в своей невиновности, просили пощады — матросы были неумолимы. К ним присоединили и трех офицеров, отличавшихся жестоким обращением с командой. На судно никто из них больше не вернулся. Всех остальных арестованных, кроме меня, освободили. Со мною, после долгих споров, поступили по-иному.

Несколько дней тому назад или даже только вчера на корабле была дисциплинированная команда, очень послушная. Можно было гордиться ею. Каждое мое распоряжение исполнялось точно и быстро. Стоило мне сказать только два слова: «Боевая тревога», сейчас же по всему судну затрещали бы условные электрические звонки, и через какую-нибудь минуту-две каждый матрос, согласно судовому расписанию, стоял бы на своем месте, готовый к дальнейшим действиям. То же самое случилось бы во время пожарной тревоги или водяной. Словом, корабль представлял собой очень сложный организм, управляемый из боевой рубки, как из черепной коробки, единой и непоколебимой волей — моей волей.

И вдруг все это разом рушилось, словно все мои подчиненные заразились микробами, возбуждающими безумие.

Теперь я находился в жилой палубе, возвышаясь надо всеми на опрокинутом ящике. Справа и слева около меня стояли два матроса, вооруженные винтовками. Напротив меня, на расстоянии трех метров, были опрокинуты еще два ящика; на одном стоял старший радиотелеграфист Смирнов, выполняя роль председателя суда, а на другой попеременно всходили то обвинитель, то защитник мой, выделявшиеся из матросской среды. А затем нас окружила плотная стена из человеческих тел. Это было сборище, состоявшее из полутора тысяч матросских голов, причем каждая из них являлась для меня тайной, как чужая шифрованная телеграмма. Голоса сливались в один гул, пока что сдержанный, похожий на отдаленный ропот моря.

Началось с того, что радист Смирнов, погасив взмахом руки говор людей, обратился ко мне:

— Господин командир Виноградов! Команда обвиняет вас в том, что вы являетесь приверженцем царского режима. Признаете ли вы себя виновным?

В жилой палубе было светло от электрических ламп. Лица моих судей казались бледными. Ожидая ответа, все смотрели на меня молча. Только гудели вентиляторы, как потревоженные шмели в гнезде.

Против меня стоял Смирнов в черном бушлате нараспашку, с красной лентой в петличке. По-видимому, он

чувствовал себя неловко, волновался, закусывая нижнюю губу.

Стараясь быть как можно спокойнее, я сказал:

— Может быть, я являлся приверженцем старого строя, пока существовала известная система государственного правления. Иначе и не могло быть. Я полагаю, что такими же защитниками были и все собравшиеся здесь, исключая нескольких человек.

Кто-то из толпы сердито воскликнул:

— Ого!

Тут же я услышал другой голос:

— Правильно!

Председатель посмотрел на меня одобрительно, словно был доволен моим ответом, и, обращаясь к команде, спросил:

— Кто выступит обвинителем?

В толпе поднялась рука. Через минуту, протолкавшись вперед, взошел на трибуну матрос, небольшой и худощавый. Лицо его с оттопыренными ушами и маленькими черными глазками напоминало летучую мышь. Встретившись со мною взглядом, он сконфузился и потерял уверенность в себе.

— Говори, Чижиков,— приободрил его председатель.

— Товарищи! — начал он дрожащим голосом, словно сильно прозяб.— Нас всех мытарили. Мы терпели... Вот я и говорю: командир, как есть его высокоблагородие, должен отвечать нам теперь. Пусть пострадает... Товарищи... Его высокоблагородие...

Он запнулся и стоял с растерянным видом, безмолвно шевеля губами.

Кто-то посоветовал ему:

— Иди, браток, сначала закуси, а потом кончишь.

— Не перебивай оратора! — раздался голос из толпы.

— Да он сам замолчал. Голова у него, как худой карман,— все слова растерял.

Чижиков сошел с трибуны, сопровождаемый смехом.

Его сменил машинный квартирмейстер, широкоплечий малый с светлыми козлиными глазами. Заговорил он ровным, спокойным голосом:

— Терпели мы, товарищи, не оттого, что у нас был командиром Виноградов. Напротив, на других кораб-

лях было хуже, чем у нас. Он всячески делал нам поблажки. Нигде так хорошо не кормили команду, как у нас. Правда, все равно мы были бесправными существами. Но это зависело от всего проклятого старого режима, который, как правильно сказал командир, мы сами все поддерживали. Зачем же обвинять тут одного только человека? Мое мнение — оправдать его совсем.

В толпе послышались одобрительные возгласы.

Я облегченно вздохнул, решив, что большинство людей стоит за меня.

После этого против меня выступил вестовой покойного старшего офицера, некий Пяткин. Он был мордаст, с редкими усами, с глазами навыкате. Помню, на все обращения к нему он только и мог отвечать по-казенному: «есть» или «никак нет», как будто у него и не было других слов. Иногда, глядя на кого-нибудь из офицеров, глупо и нагло ухмылялся. Я даже как-то заметил Измайлову:

— Откуда вы такого идиота достали себе?

Старший офицер, усмехнувшись, ответил:

— Что он идиот — я в этом нисколько не сомневаюсь. Но более исполнительного вестового, чем Пяткин, я еще ни одного не имел.

Я даже обрадовался, что не кто другой, а этот именно человек выступил в качестве обвинителя, который, по моему мнению, и трех фраз не может сказать. Но как только он произнес несколько слов, я понял, что ошибся в нем. Он оказался умнее многих других, говорил горячо и убедительно, не запинаясь. Недаром при появлении его забеспокоился и сам председатель, который, как я все больше убеждался, сочувствовал мне.

— Мы уничтожили, товарищи, старшего офицера, моего, так сказать, барина,— начал вестовой, оглядывая всех выпуклыми глазами.— Почему же мы должны оставить командира? Какая разница между этими кровопийцами? Мне скажут: старшой лез в каждую дыру на корабле, содержал штат шпионов, вынюхивал крамолу, придирался к матросам из-за всякого пустяка, издевался над всеми. И это будет правда. Но каждый из нас знает, что такая уж у него собачья должность, что-

бы постоянно со всеми лаяться, как знает и то, что он являлся правой рукой командира. А тот в это время молчал, разыгрывал кроткого ангела и терпел все гнусные проделки своего ближайшего помощника. Конечно, лично он никого не обидел, но ведь и царь никому из нас лично не сделал никакого зла, даже худого слова никому не сказал. Давайте в таком случае отправимся все к царю и поклонимся в его золотые ножки, отец, мол, ты наш родной...

Мне стало ясно, какую роль играл вестовой на корабле: он слушал, о чем говорили офицеры, быть может, не раз заглядывал в столик своего барина, чтобы узнать, кто из матросов взят на заметку как неблагонадежное лицо и кто служит доносчиками, и передавал все эти сведения кому следует. Вот откуда узнали матросы о нашем тайном совещании. Я даже подозреваю, что он первый всадил пулю старшему офицеру.

По мере того как говорил вестовой, у меня пропадала вера в спасение. Толпа настраивалась враждебно ко мне. Лица становились суровее, глаза наливались кровью.

— Расстрелять его и за борт! — в заключение крикнул вестовой.

Толпа грозно закачалась, загудела, разделяя мнение вестового. Страсти разгорались. Я понял, что мне несдобровать. Жизнь моя заколебалась, как чаша на весах.

В мою защиту выступил кочегар Томилин. Он только что сменился с вахты, был грязен, в рабочем платье. Лицо с упрямым ртом и твердым взглядом серых глаз выражало решимость. Он смело заговорил:

— Со всеми, кто станет против революции, мы разделаемся самым беспощадным образом. Скажите, товарищи, честно: оказал ли сопротивление наш командир? Нет! Что у него было в душе — неизвестно, но он сразу сдался. Какие же за ним другие преступления? Ничего! Неужели мы будем обвинять Виноградова только за то, что он был командиром? А каждый из нас не захотел бы стать таковым? Я удивляюсь товарищу Пяткину. Считается сознательным человеком. Сам участвовал в заговоре. И вдруг потерял способность разбираться в офицерах. Он готов их всех свалить в один куль и

под лед пустить. А мы, товарищи, должны к этому делу подходить серьезнее. Ну-ка, пусть каждый спросит самого себя: что было бы, если бы вместо Виноградова был командиром капитан второго ранга Измайлов? Было бы хуже. Пойдем дальше: а если — лейтенант Брасов, этот двуногий зверь в офицерском мундире? Тогда наш корабль превратился бы в плавучую тюрьму.

Когда он, поговорив еще, кончил, толпа возбужденно загалдела:

— Оправдать командира!

— Довольно издеваться над человеком!

— Немедленно освободить!

Стало выясняться, что небольшая кучка матросов была определенно настроена против меня, но не меньше их было и на моей стороне. Что же представляли собою остальные люди? Толпу без определенного заранее плана — толпу, капризную и страшную, меняющую свое направление, как морской ветер, электризуемую положительным и отрицательным током в зависимости от того, какой оратор взойдет на трибуну. Я смотрел на своих бывших подчиненных и удивлялся, потому что впервые видел их такими. Здесь человек терял свою самостоятельность и сам не знал, на что он будет способен через пять минут: он может быть палачом с таким же успехом, как и всепрощающим Христом. Каждая личность напоминала звено в якорном канате. Кто-то беспокоил этот канат — то тяжелый якорь тянул его на морское дно, то брашпиль выбирал его обратно, а звенья, лишенные самостоятельности, только раздражающе лязгали и громыхали.

На трибуне появилась новая фигура — боцманмат Хрущев. Я никак не ожидал, чтобы этот человек выступил против меня. Я знал его как ретивого службиста, хитрого и злого, подхалимствующего перед начальством. Это был высокий парень, сильный и гибкий. Достаточно бывало бровью повести,— он уже знал, что нужно делать. Когда он поднялся на опрокинутый ящик, я посмотрел на его лицо, властное, в короткой рыжей щетине, отливающей красною медью. Он отвел круглые, как у совы, глаза в сторону и почти завопил:

— Товарищи, судите меня: я был жесток с матросами, каюсь, как у попа на духу,— многим попадало от

меня. Только прошу разобраться вперед: кто был причиной всему этому? С меня спрашивали — я и мурыжил команду. Я приведу маленький пример. Вот стоит рядом со мною наш уважаемый председатель радист Смирнов. Все мы его любим как лучшего товарища. Башка! Справедливый человек! Против него никто худого слова не скажет. А взять его теперь на кого-нибудь толкнуть, так толкнуть, чтобы он тому человеку, скажем, головою зубы выбил. Кто тогда, по-вашему, будет виноват: радист Смирнов или те, кто толкнул его?..

Из задних рядов раздались голоса:

— Ясно, что Смирнов тут был бы ни при чем.

— Здорово смекнул!

Боцманмат, ободренный другими, продолжал в более решительном тоне:

— Такое, братцы, и у меня было положение. Меня толкали на вас золотопогонные скорпионы. Ну, кое-кому доставалось от меня. Так разве я тут виноват? Да притом еще нужно взять во внимание — я человек малограмотный, академию не проходил. Учился в хлеву вместе с поросятами и телятами. А они, образованные кровопийцы, вроде нашего командира, пользовались моей темнотой...

Он привел еще удачный пример и настроил толпу против меня.

Яростно загудели угрожающие голоса:

— Смерть командиру!

— Повесить его на рее.

— Верно. Пусть денек-другой покачается на мачте.

— Не стоит вешать. Канители много. Лучше под лед пустить.

Все выкрики сопровождались грубой матерной бранью. Мне бросали в лицо самые унизительные оскорбления. Я нисколько не сомневался, что нахожусь под угрозой смерти. Со мною могут сделать все, что придет в голову этим людям, одичавшим в сумерках нашей российской действительности и ожесточенным мировой войной. От таких мыслей душа раздиралась на части, как парус от внезапно налетевшего шквала.

Председатель долго мучился, прежде чем заглушил шум толпы.

С таким же успехом, войдя на трибуну, начал опрокидывать боцманмата мой защитник минер Гасихин.

— Кто такой Хрущев? До сих пор это был первый винтила на корабле. Он и теперь начал с того, что густо помазал медом по устам председателя. Чует, подлая душонка, каким ветром подуло. Никто его не толкал, он сам лез на всякого, чтобы выслужиться перед начальством. Почему Ярошенко, Васильев и другие наши строевые капралы не были такими злыми? Хрущев был только боцманматом, и то от его лютости столько терпели матросы. А если бы его произвести в офицеры? Получился бы Брасов номер второй, а может, еще похлеще. А сейчас ему нужно на кого-нибудь свалить свою вину — он выбрал командира...

Разделавшись с боцманматом, минер Гасихин перешел к характеристике моей личности. Он перебрал всех командиров с эскадры, сравнивал их со мной, и лучше меня никого не оказалось. По его выходило, что я самый честный и справедливый офицер. Разве команда забыла, как я освободил пять человек своих матросов, арестованных одним армейским полковником за неотдание чести? А разве не командир запретил лейтенанту Брасову взорвать корабль с той целью, чтобы погубить всю команду? Гасихин продолжал дальше перечислять все мои положительные поступки, о которых я сам не знал. Я даже подозреваю, что многие из них он выдумал. Затем привел случай, когда я заступился за избиваемого матроса и подверг аресту лейтенанта Брасова. Последним фактом он окончательно расположил судей на мою сторону.

О жизнь! Неисповедимы пути твои. Мог ли я думать полтора месяца тому назад, что предстану перед таким нелепым судом в качестве страшного злодея и что стычка офицера с матросом послужит ярким доказательством моей невинности?

Раздались голоса в мою пользу, такие же искренние и азартные, какие раздавались раньше против меня. Возбуждение росло. От шума и крика полутора тысяч людей трещала голова. Можно было подумать, что все перепились спиртом, но я хорошо знал, что ничего подобного не было. С ящика мне было видно, как двигались

и качались головы, словно подсолнушки под ветром. Из общего гвалта я мог разобрать только отдельные фразы:

— Таким командиром мы должны гордиться!

— Сколько раз он спасал нас от смерти!

— Вот идиоты — кого вздумали судить!

— Такой командир нам еще нужен будет!

— Всенародно требуем оправдать!

Меня уж не радовали такие выкрики. Я находился в положении человека, переживающего жесточайшие пытки. Сначала меня как бы угощали смертоносной отравой, а когда мои конечности начинали холодеть, когда сердце сжималось в последних судорогах, мне преподносили противоядие, чтобы продлить жизнь еще на несколько минут. Эта операция была невыразимо мучительна. Мне оставалось только молчать и ждать. Чего ждать? Трагического конца или полного избавления? Об этом никто ничего не мог сказать, даже сами участники суда. Ибо кто может познать все извивы массовой психологии? Это омут, темный и загадочный, неизвестно чем населенный. С его таинственного дна могут всплыть всякие неожиданности: и безобидные золотые рыбешки, ласкающие ваш глаз, и уродливые чудовища, угрожающие размолоть ваши кости на здоровенных зубах.

— Братва, ша! — поднявшись на ящик, крикнул новый человек корявым голосом. Это был матрос второй статьи Разуваев.

Раздались протесты:

— Довольно судить!

— Ведь выяснилось, что командир не виноват, чего же еще?

— Теперь опять начнут морочить нам головы.

Кто-то жаловался визгливым голоском:

— Вот тут и разберись: одного оратора послушаешь — командир наш хуже дьявола, убить его мало, а другой наговорит — ну, никак рука на него не поднимается.

Как бы в ответ ему зыкнул один:

— А дальше совсем запутаемся.

Мне запомнился матрос Горелов, стоящий в передних рядах, почти рядом с председателем. У него было открытое лицо с мягкими, симпатичными чертами. Он был религиозен, постоянно прислуживал нашему священнику во время богослужения и усердно молился. Во вре-

мя судового богослужения отличался прекрасным тенором. А сейчас, выражая нетерпение, он вдруг заявил:

— Чего мы, братцы, канителимся с одним только человеком? Коли удавить, так сразу нужно удавить поскорее. Или отпустить совсем.

Я изумленно открыл глаза, услышав такое безразличие к человеческой жизни.

Разуваев, сделав правой рукой повелительный жест, снова рявкнул:

— Братва, ша! А которые ежели глотки свои дерут и мешают мне, честному бедняку, обмозговать все досконально, значит, сами старорежимники. Показывайтесь, кто есть вы такие?

Все притихли, словно испугались его властного окрика.

Молчал некоторое время и сам Разуваев, скользя взглядом по матросским лицам. По-видимому, он обладал страшной физической силой. Чувствовалось, что под грязной казенной форменкой и такой же нательной рубашкой скрывается коренастое туловище, толстокостное и крепкое, как бразильское красное дерево. Обнаженная голова с покатым лбом напоминала вытянутую дыню. Выдающиеся скулы, хищный клыкастый рот, выпячивающаяся вперед нижняя челюсть, жестко торчащие, как проволочная щетка, бурые усы, мелкие прыщи на щеках, словно обстрелянных бекасинником, желтые глазки, ушедшие в глубь орбит,— все это придавало его лицу вид необыкновенной свирепости. Когда он только посмотрел на меня долгим наслаждающимся взглядом, как, вероятно, смотрит ястреб на свою жертву, бьющуюся в его когтях, я сразу понял, что моя жизнь приближается к трагической развязке. На момент мне показалось, что я стою не на опрокинутом ящике, а на краю открытого люка, откуда, словно от рефрижератора, поднимается нестерпимый холод, леденя тело и кровь.

Разуваев заговорил спокойно, но, несмотря на это, басистый голос его звучал громко. Прежде всего он рассказал, как жили до сих пор господа. У каждого из них было денег больше, чем рыбы в нашем море, и они утопали в роскоши и брали от жизни «все шешнадцать удовольствий». А как в это время жил народ? Для рабочих и крестьян они, эти грабители по закону, оставля-

ли ровно столько, чтобы не сдохнуть с голоду и не замерзнуть от стужи, и вместе с попами утешали дураков будущим раем, пустым и обманным, как морской горизонт: век плыви, а до него все равно не доберешься. Он взял для примера своего отца, который всю жизнь работал на господ. А какие награды получил за это?

— Ничего! — бухнул Разуваев басисто.— Жили мы на краю села в кривобокой лачуге. Двор у нас был обнесен ветром, а покрыт небом. Набивали свою утробу картошкой, наливали квасом. От этого кожа на животе становилась тугой, как на барабане, а сытости нисколько. Бывало, только воздух портишь от такой жратвы...

Среди команды раздался злой и нервный смех.

А бас продолжал громыхать, словно сбрасывал с горы тяжелые камни:

— И не было у нас другой скотины, кроме вшей. Этой божьей твари водилось много. Можно было бы целый капитал нажить, если бы нашлись покупатели. А все отчего? Мой отец за всю свою жизнь только один раз вымылся с мылом. Точнее сказать, его вымыли другие перед тем, как в гроб положить. Вот оно что значит быть неразлучно с нуждой. Господ она обходит, а к нам пристанет — не отвязаться от нее. Пробовали мы свою нужду в проруби утопить — не тонет, окаянная. Попу своему продавали — не покупает, даже даром не берет, кошлатый идол...

И опять послышался смех, тревожный и жуткий, словно с горящим факелом приблизились к пороховому погребу.

— Вспомните, братцы, как ваши родители живут. Разве намного лучше? Неужели после этого мы будем милосердствовать со своими обиралами?

В толпе произошло движение. Каждая пара глаз смотрела на меня, не мигая, затаив глубокую ненависть. Вековые обиды, сдерживаемые раньше страхом дисциплины, начинали закипать слепой злобой.

Разуваев входил в раж. Моих защитников он назвал «слюнтяями». По его словам, таким пустоголовым людям даже нельзя доверить никакого дела, ибо они со своей телячьей жалостью могут провалить всякую революцию.

Я посмотрел на председателя Смирнова. Он стоял в напряженной позе, словно приготовился выдержать осаду. Губы его были плотно сжаты, а синие глаза потемнели.

Я задавал себе вопрос: почему он молчит и не скажет своего веского слова?

А бас между тем продолжал:

— Кто нас жалел, когда мы гнили по тюрьмам и на каторге? Посмотрите, товарищи, на капитана первого ранга. Вот он стоит перед нами в золотых погонах. Сейчас он смирный и тихий, как ягненок. Я спрашиваю всех: пожалел бы он нас, если бы офицеры взяли верх? Он сразу превратился бы в вампира. И все зачинщики давно висели бы на реях...

Лицо у Разуваева покрылось темными пятнами, рот кривился, словно от внутренней боли. Все его доводы были для команды ослепительной и неопровержимой истиной и будоражили сердца, опаленные бесправием и горькой нуждой. И сам я, несмотря на свою ненависть к этому матросу, чуял в его словах правду жизни, жестокую, как волчьи зубы. На момент я вспыхнул от стыда, словно получил пощечину.

Кто-то истерично взвизгнул:

— Правильно Разуваев объясняет!

Этот возглас взорвал безмолвие толпы. Люди шарахнулись ближе ко мне, разом загалдели. Все голоса слились в один косматый рев, до физической боли ударивший по ушам, накрывший мою истерзанную душу, как огромная волна взбешенного моря .

Но Разуваев не все еще сказал. У него остался большой запас убийственных доказательств против меня. Стараясь унять толпу, он воздел кверху руки с толстыми растопыренными пальцами и начал размахивать ими, словно кому-то семафорил. А когда снова наступило затишье, он едва мог продолжать свою речь дальше. Прежнее спокойствие исчезло. Его самого охватил неудержимый, взрывающий гнев. Широкая грудь бурно вздымалась. Потрясая кулаками, он ломался на трибуне, как безумный, и, выпячивая нижнюю челюсть, не говорил уже, а рычал:

— Попил этот злодей нашей кровушки! Довольно! Пора рассчитаться!..

Глядя на своих бывших подчиненных, я видел только багрово распухшие лица с горящими глазами. Все обливались потом. Иногда оратор запинался, подыскивая более тяжелые слова. Тогда, в эти короткие промежутки, слышалось посапывающее дыхание полутора тысяч грудей,— то враждебное дыхание с раздувающимися ноздрями, от которого у меня останавливалась кровь и, вероятно, синели губы, словно у покойника. Во всем этом было что-то звериное. Я не раз бывал в боях, видел страшное лицо смерти, но все это ничто в сравнении с накаленным гневом толпы, неумолимой и безжалостной, как нож в руках мясника. Временами казалось, что меня окружают не люди — это расположилось вблизи одно многоголовое чудовище, загородив собой все выходы, сузив вокруг меня кольцо. Я до боли сжимал челюсти, чтобы не защелкать зубами.

Из пасти Разуваева вылетали с хрипом какие-то слова. Они были бессмысленны, но он наливал их гневом, словно свинцом. Лицо его вздулось, приобрело фиолетовую окраску, на губах появилась пена.

— В кочегарку золотопогонника, в топку, чтоб его лихая душа вылетела в трубу вместе с дымом!

На этом речь его оборвалась, словно перехватили ему горло. Обуреваемый буйством, он разорвал на себе обе рубашки — форменку и нательную — и начал бить в обнаженную грудь кулаком.

Казалось, броня задрожала от рева голосов.

Три тысячи рук взмылись над головами, потянулись ко мне, чтобы рвать мое тело, три тысячи ног двинулись вперед, чтобы топтать куски моего мяса. Я зашатался, прощаясь с жизнью.

Но в этот момент случилось нечто неожиданное. Тот, кто поднял над моей головой сокрушительный удар, вдруг превратился в избавителя. Волна криков отхлынула назад, а передние ряды, замолкая, вытянули в сторону Разуваева указательные пальцы. Я с трудом расслышал несколько слов.

— Смотрите, смотрите, что это такое...

Вся широкая грудь моего обвинителя была в татуировке, изображающей двуглавого орла.

С молниеносной быстротой покатились выкрики по толпе, направляя гнев ее на другого человека:

— У Разуваева на груди двуглавый орел!

— Ах, шпана он этакий!

— Долой с трибуны арестанта!

Я понял, что этот озлобленный и несчастный матрос, сам того не желая, сыграл для меня ту же роль, какую играет спасательный круг, брошенный с борта утопающему в море. А он, жалкий и растерянный, стоял на трибуне, несуразно блуждая желтыми глазами, словно внезапно ослеп от яркого света. Кто-то толкнул его в спину. Он безвольно нырнул в толпу. Сначала люди отшатнулись от него, словно от зачумленного, а потом образовался длинный коридор из человеческих тел. Он шел по нему, спотыкаясь под ударами кулаков в шею и спину, нелепо ныряя вперед, осыпаемый бранью.

Только после такого случая заговорил сам председатель:

— Вы теперь знаете, товарищи, кто стоял за то, чтобы погубить напрасно человека. Разве для этого мы затеяли революцию? Мы никогда не позволим проливать невинную кровь. А тем, кто не может жить без крови, мы посоветуем поступить на скотобойню...

Как это ни странно, но меня взяли под защиту как раз те, кто больше всего рисковал жизнью, совершая переворот на корабле.

Смирнов, пользуясь благоприятным моментом, выкрикнул наконец:

— Голосую! Кто против командира, прошу поднять руки.

Ни одна рука не поднялась. Даже враги мои стояли неподвижно и смущенно молчали, словно их только что уличили в каком-то мошенничестве.

Чей-то здоровенный голос гаркнул:

— Качать товарища командира!

— Качать! — радостно подхватили другие.

Матросы, горланя, бурливым потоком ринулись ко мне, словно штурмуя неприятеля в бою. Отшвырнули часовых. Десятки рук подбрасывали меня в воздух с таким увлечением, что от моей тужурки отлетели все пуговицы. Голова моя болталась, руки и ноги готовы были вывихнуться из суставов. А когда кончилось это, я настолько уже ослаб, что не мог держаться на ногах и не-

уклюже опустился на палубу. Меня снова подхватили на руки, на этот раз бережно, и понесли в каюту, распевая «Марсельезу».

Сейчас, после восьмилетнего промежутка, я живу во втором этаже каменного дома. В раскрытые окна видна большая река в гранитных берегах. Прямо передо мною, углубляя ее дно, с железным лязгом работает землечерпалка. Немного подальше, вправо, буксирный катер, похожий на черного жука, старательно тянет вереницу баржей, нагруженных дровами. Навстречу, распустив веер черного дыма, идет товаро-пассажирский пароход под немецким флагом. Воды реки взволнованы, воды лучатся под июльским небом и так хорошо гармонируют с криком и визгом детей, играющих на каменной набережной.

Только что вернулась с рынка жена с покупками и начинает жаловаться.

— Можешь себе представить, Базиль? Мясо сразу подорожало на пять копеек. И говорят, что скоро совсем не будет...

Я отвечаю тем, что делаю удивленные глаза.

Как ни бережлива она у меня, но не может обойтись без косметики. И сейчас, сняв шляпку, она подходит к зеркалу, долго натирает духами свою сморщенную, как шагрень, кожу и пудрится. Странно все это. Потом, взглянув на меня, говорит раздраженно:

— Бросил бы ты, Базиль, свой глупый доклад писать. Лучше принеси дров. Нужно плиту затапливать.

Дело это неотложное — придется подчиниться жене.

Легкий ветер, врываясь в комнату, перелистывает старую мою тетрадь, словно и ему хочется узнать про минувшую быль моей души.

ПРИМЕЧАНИЯ

В первый том собрания сочинений Алексея Силыча Новикова-Прибоя вошли рассказы разных периодов его творческой деятельности, начавшейся в 1906 году, когда в газете «Новое время» (№ 10793 от 1 апреля) был напечатан очерк «Гибель эскадренного броненосца «Бородино» 14 мая 1905 года», и закончившейся работой над второй частью романа «Капитан 1-го ранга». Смерть писателя оборвала эту последнюю работу.

«По-темному». Рассказ был написан в Лондоне в 1911 году. В основу произведения положены личные переживания автора, вынужденного в 1907 году, после двухмесячного нелегального пребывания в Финляндии, эмигрировать в трюме торгового парохода из России в Англию.

В автобиографии А. С. Новиков-Прибой писал о годах эмиграции: «В Англии прошел «потогонную систему»; потом плавал матросом на коммерческих судах, работал в конторах. Писал мало — лишь в часы отдыха» [1].

Опубликование рассказа «По-темному» в журнале «Современник» № 2 за 1912 год связано с именем А. М. Горького. 5 декабря (по ст. ст.) 1911 года Новиков-Прибой послал из Лондона Алексею Максимовичу Горькому письмо следующего содержания:

«Дорогой товарищ!

Извините, что я осмеливаюсь обеспокоить Вас, хотя я не знаком с Вами лично. Прочитал я Вашу статью «О писателях самоучках» и решил написать Вам. Думаю себе: раз Вы читали произведения солдат, городовых, проституток и т. д., то, наверное, окажете должное внимание к сочинению матроса. А я-то и есть самый неподдельный матрос, который верой и правдой служил царскосельскому суслику и даже сражался за него при Цусиме (надо сказать правду, что кровь свою не проливал за него потому, что ни один снаряд не попал в меня). Прибавлю к сказанному, что я также самоучка и грешу пером. Для своего сочинительства я избрал

---

[1] Собр. соч. Новикова-Прибоя, т. 1, стр. 40, изд. 5-е, ЗИФ, 1928.

морскую жизнь, представляющую из себя уголок, обойденный русской литературой.

Итак, сделав сие предисловие, я приступаю к делу, которое заключается в следующем. Написал я рассказ «По-темному», а куда его двинуть — не знаю. И вот я решил обратиться за помощью к Вам. Если Вы мое сказанное найдете достойным печати, то, пожалуйста, направьте его в тот или иной орган, для которого он, по Вашему мнению, окажется наиболее подходящим. Буду Вам весьма благодарен. В противном же случае будьте так добры верните рукопись обратно.

Желаю Вам всего наилучшего.

С товарищеским приветом

А. Затертый.

Вам, наверное, известно уже, что г-жа Яворская ставит здесь Вашу пьесу «На дне». Английская пресса отзывается очень хорошо как о содержании пьесы, так равно и об игре» [1].

В «Страничке из прошлого», написанной для музея имени М. Горького в Москве, Алексей Силыч вспомнил, как «ровно через шесть дней» он уже получил ответ от Алексея Максимовича с одобрением рукописи, при этом Горький сообщил, что она будет напечатана в ближайшем номере журнала «Современник».

Рассказом «По-темному» А. С. Новиков-Прибой в прижизненных изданиях открывал сборник «Морских рассказов», составлявший в собраниях его сочинений, выпущенных издательствами «Пролетарий», «Земля и фабрика» (ЗИФ) и Государственным издательством художественной литературы (ГИХЛ), первый том. Лишь в последнем прижизненном издании «Морских рассказов» (Военмориздат, «Библиотека краснофлотца», 1942), где на первое место поставлен рассказ «Судьба», рассказ «По-темному» занял одиннадцатое место. Для этого издания в рассказе автором была сделана значительная стилистическая правка.

В настоящем издании рассказ «По-темному» печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Бойня» — один из ранних рассказов, явившийся откликом на смертную казнь 19 матросов-революционеров в Кронштадте в 1906 году. Рассказ был написан в последние месяцы 1906 года в Петербурге, куда в сентябре нелегально перебрался из родного села Матвеевского, скрываясь от преследования полиции, Алексей Новиков. Друзья-моряки устроили его работать у помощника присяжного поверенного Топорова, о котором автор «Цусимы» написал: «Это был прекрасный человек. Он разрешил мне пользоваться своей библиотекой». Но помощь Топорова не ограничилась раскрытыми дверцами книжных шкафов. Выполняя распоряжения своего «шефа», А. Новиков знакомился с различными судебными делами, на основе которых написал незавершенный «Рассказ сторожа». От Топорова и от товарищей-цусимцев он узнал подробности казни 19 матросов, вдохновившие его на создание рассказа «Бойня».

Рассказ «Бойня» впервые был опубликован в сборнике «Морских рассказов», выпущенном Книгоиздательством писателей в Мо-

---

1 Журнал «Залп» № 6, стр. 59, 1933.

скве в 1917 году. Для второго издания этого же сборника (издательство «Жизнь и знание», 1923) автор произвел дополнительную проверку фактов, легших в основу произведения, и внес некоторые исправления.

Рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Одобренная крамола» — один из ранних рассказов А. С. Новикова-Прибоя, впервые опубликован в русской эмигрантской газете, выходившей в Париже (название не установлено), в номере, посвященном первой годовщине смерти Л. Н. Толстого. В России впервые был помещен уже после Октябрьской революции в журнале «Красный балтиец» № 8 за 1920 год. Напечатан во втором издании сборника «Морских рассказов» («Жизнь и знание», 1923) и затем перепечатывался во всех его переизданиях.

Замысел рассказа относится к 1902 году, когда матрос Алексей Новиков делал первые, робкие шаги в литературе. В письме к преподавателю воскресной школы в Кронштадте И. Е. Орешину от 3 ноября 1902 года он поделился своим намерением написать рассказ «На баке военного корабля», в котором хотел «обрисовать жизнь матросов так, как она есть в действительности, то есть показать как хорошие, так и плохие ее стороны, и, кроме того, хотел бы коснуться более важных вопросов, например, религиозных и политических». Как видно из письма к Орешину, сам Новиков в начале своей матросской службы «болел» религиозными и политическими вопросами, настойчиво искал их разрешения. Он писал о себе своему учителю: «Мировоззрение я теперь странное имею. Как начитался этих дьявольских книг, простите за выражение, как-то: «Дарвинизм», «Происхождение органического мира», «Доисторический человек» и т. д., то почувствовал, что во мне что-то надтреснуло, и эта трещина раз от разу раздается все более и более. Архейская эра, палеозойская, мезозойская и т. д.; в одну эру вовсе органического мира не было; во вторую тот появился, в третью какие-то животные и наконец-то уже человек: и все это длилось тысячи или даже миллионы лет. В библии же читаю, что в 5-й день — рыб и птиц, в 6-й животных и человека. В голове все перепуталось и получился какой-то хаос. Весь смысл жизни я потерял. Раньше я работал, как вол, и не рассуждал: для чего работаю, для чего живу и т. д. Теперь ко всему отношусь скептически, одного шагу не могу сделать без сомнения. Замучили меня одни религиозные вопросы, а у кого что спросишь?»[1].

Знакомый с учением Льва Николаевича Толстого о непротивлении злу насилием, матрос Новиков остро ощущал противоречия великого писателя. В 1904 году, вскоре после отплытия эскадры Рожественского на Дальний Восток, он беседовал о Толстом с инженером броненосца «Орел» Костенко, названным в романе «Цусима» Васильевым. Вот что сказал матрос А. Новиков инженеру Костенко, в котором он видел человека, близкого себе по революционным взглядам: «...мне очень нравится Лев Толстой... Через

[1] А. Перегудов «Повесть о писателе и друге», стр. 33, Военное издательство Министерства обороны СССР, М.-Л., 1953.

него я впервые познал всю несправедливость нашей жизни... Но с выводами его учения трудно согласиться, особенно когда находишься на корабле в качестве нижнего чина. Предлагаемое им евангельское смирение, «непротивление злу» я очень много раз видел на практике. Стоит матрос. Подходит начальник и бьет его по правой щеке. Матрос не сопротивляется... Перерождается ли от этого офицер? Становится ли он лучше, добрее?.. Совсем иные результаты были бы, если бы он получил от пострадавшего утроенную или удесятеренную сдачу».

В 1909 году в Лондоне Новиков-Прибой написал по просьбе Н. А. Рубакина, с которым лично познакомился в эмиграции, большую статью «Что и как читали матросы?». (Статья не опубликована.) В ней он рассказал интересный эпизод о чтении матросом Затертым — его первый псевдоним — на палубе корабля сборника «Миссионерское обозрение» со статьями, направленными против Л. Н. Толстого, причем выпады церковнослужителей против великого писателя опускались, а оглашались лишь цитаты из его сочинений. По существу, эти страницы статьи можно считать первым вариантом рассказа «Одобренная крамола».

Рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Попался». Рассказ написан в январе 1913 года на острове Капри, в период пребывания Новикова-Прибоя у А. М. Горького. Впервые напечатан во 2-м номере газеты «Смелая мысль» от 18 мая 1914 года за подписью «А. Новиков-Прибой». Газета «Смелая мысль» выходила в Петербурге три раза в неделю с 14 мая по 6 июня 1914 года. Всего вышло 9 номеров, причем некоторые из них были конфискованы. В частности, так случилось со 2-м номером, где был помещен рассказ Новикова-Прибоя.

Рассказ перепечатывался во всех изданиях сборника «Морские рассказы». Лишь в последнее прижизненное издание сборника, вышедшего в «Библиотеке краснофлотца» (Военмориздат, 1942), автор этот рассказ не включил.

В архиве писателя хранится рукопись рассказа «Попался» объемом в пять страниц. Опубликованный текст рассказа в газете «Смелая мысль» отличается от архивного незначительными стилистическими исправлениями.

Рассказ печатается по тексту: Собрание сочинений А. С. Новикова-Прибоя, т. 1, изд. 6-е, ЗИФ, М.-Л., 1929.

«Подарок». Рассказ впервые опубликован в журнале «Северные записки» № 3 за 1914 год. Вошел в первое издание «Морских рассказов» (Книгоиздательство писателей в Москве, 1917) и затем перепечатывался во всех переизданиях этого сборника.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Пошутили». Рассказ впервые опубликован в журнале «Жизнь для всех» № 12 за 1913 год. Вошел в 1-й том собрания сочинений (ГИХЛ) в 1931 году. В дальнейшем не переиздавался.

Журнальный вариант рассказа «Пошутили» значительно отличается от опубликованного в 1931 году текста. В журнальном варианте матросская шутка над квартирмейстером Дергачевым носила характер такого тяжелого урока, что, по существу, рассказ мог бы называться «Проучили». Общий тон рассказа, некоторые образы и подробности которого натуралистичны, и особенно его окончание — сумасшествие Дергачева, — не удовлетворили автора, когда он вернулся к доработке своего произведения почти через двадцать лет после его первой публикации. Сцена сумасшествия Дергачева была снята, а к заключительной беседе командира с доктором, уличенным в легкомысленной постановке диагноза, была приписана фраза: «Доктор вышел из командирской каюты с таким видом, словно его высекли розгами».

При переработке рассказа автор освободил его от длиннот, сделал более выразительными описания моря и корабля «Самоистребитель».

Приводим заключительную сцену журнального варианта рассказа «Пошутили»:

«Дергачева привезли обратно на крейсер, но «помощник смерти» со стыда остался в городе.

Голова и лицо больного были забинтованы. Видны были лишь одни глаза, глубоко ввалившиеся, тупые и страшные. Он настолько ослаб, что едва держался на ногах. При виде офицеров он вздрагивал, отдавал честь и пятился назад, принимая в то же время такую позу, как будто он хотел схватить кого-нибудь из них за горло.

Начальство попробовало с ним заговорить.

— Ваше благородие, обязательно я убегу... Не могу, — бормотал он, глядя куда-то мимо людей. — Жена... Дети... Куда деться! Судите меня. Против дисциплины не позволю... Обязательно надо перекличку, где мертвец? В чем состоит дисциплина? В точном и беспрекословном повиновении начальству... Сволочь! Этого не понимает. Спрятался, надо найти. Ну-ка, черт полосатый, ответь мне по морскому уставу... Как отдать риф у бизани? Как убирают брамсели, когда корабль идет на фордевинд... Я его доконаю.

— Ты что это, братец, замолол? — подходя к нему, перебил его командир.

— Я сейчас... сейчас... французы напали... давят. — Дергачев вдруг засуетился, ощупал свою шею и, не найдя на ней дудки, приложил пальцы к губам. Раздался пронзительный свист, и понеслась громогласная команда:

— Шлюпки поднимать! Бегай все наверх! Французы давят... Братцы, живо!

И не успел никто ничего сообразить, как он, пробив себе дорогу, в одно мгновение очутился на рострах.

— Живо! Живо! Шевелись! — яростно кричал он, приготовляя лопаря для подъема шлюпок.

— Держи! Лови его! — спохватившись, командовали некоторые из офицеров.

Началась суета, беготня, крик и гомон.

Матросы схватили Дергачева, связали и по приказанию начальства потащили в лазарет.

Он дрожал всем телом, прикусил себе язык, изо рта его текла кровь, из глаз — мутные слезы.

— Кончай! — хрипел он, дергая руками и ногами.— Торопись!

Команда — весь корабль — угрюмо молчала, и в тишине тяжко топали по палубе ноги людей, тащивших Дергачева.

Для всех было ясно, что он действительно сошел с ума».

Рассказ печатается по тексту: Собрание сочинений А. С. Новикова-Прибоя, т. 1, изд. 7—8-е, ГИХЛ, М.-Л., 1931.

«Рассказ боцманмата». Написан в 1912 году на Капри, в период пребывания автора у А. М. Горького. Впервые был опубликован в журнале «Северные записки» № 1 за 1914 год. «Рассказ боцманмата»—самое значительное произведение из цикла морских рассказов 1912—1913 годов. Если в остальных рассказах писатель рисовал отдельные эпизоды матросской жизни, то в «Рассказе боцманмата» дана типичная биография русского передового матроса, «очистившего с души муть».

«Рассказ боцманмата» входил в сборник «Морские рассказы», выпущенный Книгоиздательством писателей в Москве в 1917 году, и затем перепечатывался в той же редакции во всех прижизненных переизданиях. Для издания «Морских рассказов» в «Библиотеке краснофлотца» (Военмориздат, 1942) автор произвел небольшую правку, сделавшую речь боцманмата, от имени которого ведется повествование, более колоритной.

«Рассказ боцманмата» был первым произведением А. С. Новикова-Прибоя, вышедшим в 1918 году массовым изданием в дешевой библиотеке Книгоиздательства писателей в Москве. Впоследствии переиздавался массовым тиражом еще несколько раз.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Словесность». Рассказ написан в 1912 году. Напечатан в сборнике «Морские рассказы», выпущенном в 1917 году Книгоиздательством писателей в Москве, и позднее входил во все переиздания сборника. Рассказ «Словесность» не был включен автором лишь в последнее издание «Морских рассказов» («Библиотека краснофлотца», Военмориздат, 1942).

В 1919 году А. С. Новиков-Прибой опубликовал рассказ «Словесность» в журнале «Творчество», книга 4—5-я, с подзаголовком: «Из дневника матроса».

Среди морских рассказов 1912—1913 годов рассказ «Словесность» отличается резким обличительным тоном. Писатель, конечно, знал рассказы Куприна о царской казарме, они, равно как и повесть «Поединок», могли подсказать ему тему, но разрешение ее он нашел самостоятельно, чему помог личный опыт матросской службы. В письме к брату [1], написанном в период первых литературных опытов, еще до отплытия с эскадрой Рожественского, матрос Алексей Новиков рассказывал о первых впечатлениях своего новобранства:

---

[1] Хранится в архиве писателя. Публикуется впервые.

«Молодой юркий офицер, держа в одной руке записную книжку, подошел к одному новобранцу и спросил его:

— Губернии какой?

— Петром зовут,— ответил тот, не расслышав заданного вопроса, так как, очевидно, задумался о своей родине, с которой его так бесцеремонно разлучили.

— Болван! — крикнул на него офицер и, чтобы вывести его из задумчивости, ткнул его кулаком в подбородок.

Покончив с этим новобранцем, он подошел к другому.

— Какой профессией занимался?

Новобранец, не поняв сущности вопроса, ничего не ответил и только заморгал глазами.

— Специальности какой не знаешь ли, спрашиваю тебя, олух? — возвысив голос, снова задал вопрос офицер.

Опять молчание, так как эти занозистые словечки не могли быть постигнуты умом безграмотного деревенского парня, не видевшего ничего другого, кроме тяжелой работы да великого горя.

Офицер наконец потерял терпение. Он, выругавшись матерно, схватил молодого матроса за нос, который потянул сначала книзу, а потом моментально вздернул вверх...

Картина получилась до невероятности комичная и в то же время грустная».

В значительно переработанном виде рассказ «Словесность» вошел в последний роман А. С. Новикова-Прибоя «Капитан 1-го ранга», составив пятую главу первой части.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: Собрание сочинений А. С. Новикова-Прибоя, т. 1. изд. 6-е, ЗИФ, М.-Л., 1929.

«Порченый». Рассказ написан в 1912 году на острове Капри. Впервые опубликован в журнале «Современный мир», книга 4—5-я за 1917 год (подзаголовок: «Из недавнего прошлого»).

Рассказ вошел в первое издание сборника «Две души» (книгоиздательство «Сибирский рассвет», 1919, Барнаул) и затем включался во все прижизненные переиздания сборника. Кроме того, рассказ выдержал несколько отдельных массовых изданий.

Замысел создания рассказа о крестьянском сыне, развращенном порядками царской армии и соучастием в преступлениях правящих верхов против революции, против народа, возник у Новикова-Прибоя в первые же дни после возвращения его в Россию в марте 1906 года из японского плена. Оказавшись в эмиграции, он много раздумывал над причинами поражения революции 1905—1907 годов. Выходец из крестьянской среды, почувствовавший в месяцы (март — август 1906 года), прожитые по возвращении в Матвеевское, и «силу, и слабость, и мощь, и ограниченность именно крестьянского массового движения» [1], он правильно оценил политику кнута и пряника, проводившуюся царскими властями. В очерке «Возвращение из плена», напечатанном в газете «За народ» № 15 за 1909 год, писатель наметил образ, который впоследствии, в 1912 году, он развернул в рассказе «Порченый». Первым

[1] В. И. Ленин Соч., изд. 4-е, т. 16, стр. 294.

вариантом «порченого» можно считать образ солдата из карательного отряда Меллера-Закомельского, который на расспросы матросов о своей службе под началом генерала-карателя сказал:

«— Пока еще плохого не видно. Его превосходительство обращается с нами хорошо. Каждый день водкой поит. Только вот левоцанеров ненавидит. Заставляет нас бить их без всякой пощады. Награды назначил нам за крамольников: за студента два рубля, за интиглента полтора рубля, тоже и за матроса; за рабочаго целковый, а за мужика полтинник.

— И за мертвого такая же цена?

— Все едина, лишь бы крамольник он был.

— А что делали вы с живыми крамольниками?

— Да тут же их и добивали, суда некогда дожидаться,— невозмутимо пояснил он».

Когда Алексей Силыч оказался в писательской среде на Капри, он увидел в своем личном интересе к крестьянству частицу большого общественного внимания к вопросу о деревне вообще. Поэтому здесь, на Капри, он снова начал работать над рассказом об «отступнике» от крестьянского мира, причем накопленный опыт работы над рассказами, а главное — возможность личного общения с Горьким обогатили прежний план. Хотя образ отступника «порченого» остался в центре произведения, но ему были резко противопоставлены носители революционных настроений как отчасти среди крестьянства, так и особенно среди сельской интеллигенции в лице учителя.

В «Страничке из прошлого» А. С. Новиков-Прибой пишет о своем пребывании на острове Капри в 1912—1913 годах: «Это время не прошло даром. Не раз сам Алексей Максимович, прочитав мою рукопись, делал мне такие ценные указания, какие не вычитаешь ни в одном лнтературном учебнике». Эти указания делались Горьким и по рукописи рассказа «Порченый». В личной беседе со мной М. К. Иорданская-Куприна, издатель журнала «Современный мир», подтвердила, что рассказ «Порченый» был прислан ей с Капри в 1913 году с препроводительным письмом М. Горького.

Рассказ «Порченый» был запрещен к печати царской цензурой и впервые был напечатан после февральской революции 1917 года.

В 1930 году автор произвел стилистическую правку рассказа, внеся в текст много исправлений.

В 20-х годах писатель хотел, используя некоторые мотивы рассказа «Порченый», создать пьесу «Так было». Приведем ее план, сохранившийся в архивных записях:

«Так было». Пьеса с прологом в 5 частях, в семи картинах.

«Сюжет взят из революции 1905—1906 годов. Некий Василий Селезнев, унтер-офицер Семеновского полка, с большим рвением подавляет восстание рабочих. За это он получает знаки отличия. Он радуется, мечтает поступить в стражники или жандармы. А в это время у него на родине, в селе, куда приехали уцелевшие от его расстрела двое революционеров, создается крестьянская организация, в которой принимает участие Николай Селезнев, родной брат Василия. Организация эта проваливается. Брат Василия попадает в тюрьму; отца родного по приказанию пристава избивают на сходке до полусмерти; жену-красавицу насилуют стражники,

и они же убивают его единственного сына, мальчика-подростка. Унтер-офицер узнает об этом, когда, окончив срок службы, возвращается домой. Потрясенный, он проклинает правительство, грозясь отомстить ему. Через двенадцать лет Василий Селезнев, снова призванный на службу, принимает участие в революции. Вместе с бывшим своим противником он нападает на тюрьму, чтобы освободить брата, но последний, только что избитый [.....] [1] плетями, умирает на его глазах».

Рассказ печатается по тексту: сб. «Две души», изд. 8-е, «Советский писатель», М., 1935.

«Лишний». Рассказ написан в 1912—1913 годах на Капри. В «Летописи жизни и творчества А. М. Горького», вып. 2-й, имеется следующее сообщение от 8/21 февраля 1913 года: «Литературное чтение на Капри. А. С. Новиков-Прибой читает свой рассказ о солдате, которого по ошибке объявили убитым («Лишний») [2]. Об этом рассказе Алексей Максимович сообщил между прочими новостями каприйской жизни в письме к администратору и артисту Московского Художественного театра Н. А. Румянцеву.

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современник» № 12 за 1913 год. Он вошел в первое издание сборника «Две души» (книгоиздательство «Сибирский рассвет», 1919, Барнаул) и затем перепечатывался во всех переизданиях сборника. В 1930 году автор произвел значительную стилистическую правку рассказа.

В архиве А. С. Новикова-Прибоя среди записей, сделанных им весной 1906 года в селе Матвеевском, после возвращения из японского плена, имеется следующая: «Варвара получила известие, что муж убит под Мукденом. Поплакала она, погоревала с двумя детьми (мальчиками) и вышла замуж за вдовца, у которого тоже был ребенок (девочка). Тот взял с расчетом ее: скоро передел земли, и он на две души прирез получит. Жить будет можно!

Из плена вернулся первый ее муж с оторванной ногой.

Как быть? Чья жена?»

Новиков-Прибой обычно вел записи двух родов: записи фактов и событий, о которых он узнавал лично или из рассказов посторонних, и записи идей своих будущих произведений. История Варвары, невольно оказавшейся двумужницей, поразила односельчан, и о ней в первую очередь было рассказано только что вернувшемуся из японского плена земляку-грамотею. Бесспорно, из жизни было почерпнуто объяснение брака Варвары, в рассказе получившей имя Фроськи, с вдовцом Ларионом.

В 1925 году издательство «Московское товарищество писателей» выпустило отдельным изданием рассказ «Лишний» под названием «Инвалид».

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: сб. «Две души», изд 8-е, «Советский писатель», М., 1935.

---

[1] Слово неразборчиво.— **В. К.**

[2] «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», выпуск 2-й, изд. АН СССР, М., 1958, стр. 337.

«В запас». Рассказ опубликован в журнале «Живое слово» № 24 за 1914 год. Входил в сборник «Две души» (книгоиздательство «Сибирский рассвет», 1919, Барнаул). В последующее переиздание этого сборника не включался. В 1922 году А. С. Новиков-Прибой выпустил сборник рассказов и повестей под названием «Море зовет» (кооперативное книгоиздательство «Утес», г. Чита), в состав его вошел и рассказ «В запас».

Первоначальное название рассказа, как свидетельствует рукопись, хранящаяся в архиве писателя,— «Перед отъездом».

Рассказ «В запас» стилистической переработке не подвергался. В настоящем издании печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Шалый». Рассказ написан в Москве в декабре 1917 года и является первым послеоктябрьским произведением писателя. Задуман он был еще в годы первой мировой войны. В записной книжке за 1914—1917 годы содержится такая запись: «К морскому рассказу «Шалый». После смерти Шалого в вещах его нашли письмо. Там после всех поклонов сообщалось, что единственного сына его — годовалого ребенка — съела свинья. Может быть, это была причина того, что он был так мрачен». В рассказе, законченном после Октябрьской революции, автор не воспользовался такой аргументацией мрачности, она была мелкой по сравнению с тем, что писатель вложил в душу героя.

Рассказ впервые был напечатан в сборнике «Две души» (книгоиздательство «Сибирский рассвет», 1919, Барнаул). В 1922 году автор включил его в сборник «Море зовет».

Рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Певцы» — сокращенный вариант рассказа «Живая история», опубликованного в журнале «Живое слово» №№ 11—12 за 1914 год. В этом варианте автор снял повествование матроса-цусимца о гибели крейсера «Адмирал Нахимов» в Цусимском сражении. Поскольку в состав сборника «Морские рассказы», вышедшего первым изданием в 1917 году, рассказ не вошел и был впервые опубликован в 1919 году в сборнике «Две души», можно считать, что автор подверг рассказ «Живая история» сокращению в Барнауле в 1918 или в начале 1919 года. Видимо, причиной такой переработки явилась невозможность уточнить в то время подробности последних минут гибели крейсера «Адмирал Нахимов». Во всех своих цусимских фрагментах писатель стремился к исторической точности, поэтому он и решил освободить рассказ от большого повествования моряка-цусимца. Возможна и другая причина: рассказ цусимца был как бы вводной новеллой в небольшой по объему рассказ, и стремление избежать диспропорции частей могло побудить Новикова-Прибоя ограничиться лишь изображением огромного впечатления, произведенного на слушателей пением цусимца и его подруги.

Рассказ печатается по тексту: Собрание сочинений А. С. Новикова-Прибоя, т. 2, изд. 8-е, ЗИФ, М.-Л., 1929.

«Зуб за зуб». Впервые напечатан в журнале «Молодая гвардия» №№ 1—2 за 1922 год (подзаголовок: «Отрывки из повести «Грозное время»). Включен в сборник рассказов «Две души» (изд. 2-е, ЗИФ, Москва, 1923). В 1927 году для четвертого издания сборника «Две души» А. С. Новиков-Прибой присоединил к рассказу «Зуб за зуб» в качестве его первой главы рассказ «Перед концом», ранее печатавшийся как самостоятельное произведение и также являвшийся отрывком из незавершенной повести «Грозное время».

Материал для рассказа «Зуб за зуб» дали писателю его наблюдения за жизнью сибирской деревни в 1919 году. Очевидно, в это время он и приступил к созданию художественного произведения о сибирских крестьянах.

В архиве А. С. Новикова-Прибоя сохранилось начало повести «Взбаламученная жизнь». Вероятно, это было первоначальное название незавершенной повести «Грозное время», фрагменты которой были переработаны в рассказы «Зуб за зуб» и «За городом». В повести автор хотел показать рост ненависти крестьянства к колчаковской власти, организацию и борьбу крестьянских партизанских отрядов против белогвардейцев. Рукопись повести содержит главу о захвате крестьянами оружия — повстанцы вооружились, разгромив колчаковский карательный отряд. В фрагментах повести более развернуто дана биография командира партизанского отряда Потапа Кротова по прозвищу «Отпетый».

Рассказ «Зуб за зуб» печатается по тексту сб. «Две души», изд. 8-е, «Советский писатель», М., 1935.

«За городом». Рассказ написан в городе Барнауле в конце 1919 — начале 1920 года. Впервые напечатан в сборнике рассказов «Две души» (изд. 3-е) и позднее перепечатывался во всех его переизданиях.

В рукописи, хранящейся в архиве писателя, рассказ «За городом» носит название «Зигзаги души». Это название подчеркивало «смутность» раздумий и чувств старшего конвоира-белогвардейца, сопровождавшего арестованного «красного» на расстрел и в конце концов предоставившего ему возможность бежать. Эта «смутность» не удовлетворила автора, поэтому он основательно переработал свой рассказ и дал ему другое название. В новом варианте была подчеркнута грозная обстановка, сложившаяся для белогвардейцев в связи с активизацией партизанского движения.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: Собрание сочинений А. С. Новикова-Прибоя, т. 5, изд. 6—7-е, ЗИФ, М.-Л., 1930.

«На медведя» — первый (по публикации) охотничий рассказ Новикова-Прибоя. Он вошел в первое издание сборника «Две души» (книгоиздательство «Сибирский рассвет», 1919, Барнаул) и перепечатывался в неизменном виде во всех его переизданиях. В 1930 году автор произвел незначительную правку рассказа.

Рассказ печатается по тексту: сб. «Две души», изд. 8-е, «Советский писатель», М., 1935.

«Судьба». Рассказ написан в феврале 1920 года в Барнауле. Впервые опубликован в журнале «Творчество», книги 5—6-я за 1920 год. Вошел в состав сборника «Море зовет» (кооперативное книгоиздательство «Утес», Чита, 1922). Затем перепечатывался во всех прижизненных собраниях сочинений. Рассказ «Судьба» открывает сборник «Морских рассказов» в «Библиотеке краснофлотца» (Военмориздат, 1942). Рассказ выдержал много отдельных изданий. В изданиях для детей он печатался под названием «Победитель бурь».

В архиве А. С. Новикова-Прибоя хранится рукопись рассказа, несколько отличающаяся от опубликованного текста.

Печатный текст дополнен объяснением, почему матрос разговорился с мальчиком.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Среди топи»—второй охотничий рассказ Новикова-Прибоя. Время написания не установлено. Рассказ впервые опубликован в «Рабочем журнале» №№ 1—2 за 1925 год, выпускавшемся организацией пролетарских писателей «Кузница». Был перепечатан в сборнике рассказов «Две души» (издательство «Пролетарий», Харьков, 1926) и в следующих переизданиях сборника.

В 1930 году А. С. Новиков-Прибой произвел значительную переработку рассказа, добившись большей лаконичности и выразительности текста.

В архиве писателя хранится рукопись рассказа под названием «Два друга» (первоначальное название рассказа «Среди топи»). Напечатанный текст значительно отличается от рукописного. Если в рассказе «Два друга» главное внимание художника направлено на раскрытие внутреннего мира «двух друзей», старого и малого охотников, то в рассказе «Среди топи» интерес сосредоточен на драматизме ситуации.

Вот как заканчивается рассказ «Два друга»:

«Солнечно. Тепло. Насколько мрачно там, в непролазной трясине, настолько же светло и отрадно здесь, на суше, в этом перелеске с голубыми просветами. Некоторые деревья в янтарных ризах осени.

Максимыч, несмотря на усталость, не может уснуть. В мыслях у него хозяйственные расчеты: сколько нужно продать дичи и сколько оставить для себя, хороша ли будет охота на пушнину, а потом мечтает о пятистенке, если только малец поможет достать стрихнину.

Коля лежит без дум. Он рад до смерти, что живым выбрался из Чертова Логовища. Сладкая истома разливается по молодому телу. Дует ветер, тихую мелодию напевает лес. Не листья срываются с веток — нет, это, кружась, порхают золотые бабочки».

Совершенно иначе, драматически напряженно заканчивается рассказ «Среди топи».

Рассказ печатается по тексту: сб. «Две души», изд. 8-е, «Советский писатель», М., 1935.

«Коммунист» в походе». Первоначальное название рассказа «Буря». Рассказ датирован ноябрем 1923 года. Место написания — Кильский канал. Впервые напечатан в «Рабочем журнале» № 2 за 1924 год. Рассказ вошел в сборник «Море зовет», составлявший второй том собрания сочинений А. С. Новикова-Прибоя в издательствах «Пролетарий» (Харьков), «Земля и фабрика» (Москва) и в Государственном издательстве художественной литературы (Москва).

Материал для рассказа писателю дала его поездка на пароходе «Коммунист» в Германию и Англию осенью 1923 года. Большое впечатление произвела на А. С. Новикова-Прибоя прекрасная организация службы на судах советского торгового флота.

В архиве писателя хранятся заготовки к рассказу: технические выписки о паровых судах, топовых огнях и т. п., несколько страничек из дневника, который вел писатель во время плавания, и рукописные фрагменты рассказа.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«В бухте «Отрада». Рассказ впервые опубликован в журнале «Прожектор» №№ 15—16 за 1924 год. Вошел в состав сборника рассказов «Море зовет» (издательство «Пролетарий», Харьков, 1925) и далее перепечатывался во всех его переизданиях.

В архиве А. С. Новикова-Прибоя хранится рукопись рассказа «В кошмаре» (первоначальное название рассказа «В бухте «Отрада»), несколько отличающаяся от текста, опубликованного в 1924 году.

Рассказ печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1941.

«Ухабы». Рассказ написан в 1926 году. Впервые опубликован в первой книге журнала «Новый мир» за 1927 год. Вместе с повестью «Подводники» «Ухабы» составили третий том прижизненного собрания сочинений А. С. Новикова-Прибоя. Рассказ «Ухабы» выдержал ряд массовых изданий.

В архиве писателя хранится рукопись рассказа с подзаголовком, в печати вычеркнутым,— «Повесть».

Рукопись несколько отличается от опубликованного текста. В ней отсутствует вступление, объясняющее, каким образом письмо Виноградова попало к старшему кочегару Томилину, изменена фамилия боцмана-доносчика Рябкова на Соловейкина.

При дальнейших переизданиях рассказа автор производил еще некоторую стилистическую правку.

Рассказ печатается по тексту: «Ухабы», ГИХЛ, 1935.

В. Красильников

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

70664

А. С. Новиков-Прибой.
Собрание сочинений в 5 томах.
Том I.

Редактор А. Терновский.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
Р. Алеева.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 20/XII 1962 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 1. Зак. 2880. Форм. бум. 84×108 1/32.
Бум. л. 6,88. Печ. л. 22,55+5 вкл. (0,51 печ. л.).
Уч.-изд. л. 23,63. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

